САША СОКОЛОВ

СОКОЛОВ

САША

ПАЛИСАНДРИЯ




SYMPOSIUM

САША СОКОЛОВ

ПАЛИСАНДРИЯ

•

Эссе

Выступления

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
1999

ББК 84Р7
С59

Послесловие
Бориса Гройса

Оформление
Александра Пожванова
и Олега Попова

ISBN 5-89091-091-4

ПАЛИСАНДРИЯ

to whom it may concern
кому положено ***(англ.)***

От биографа

Внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берии и внук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина, обласканного последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон, автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг (XX–XXI вв.) прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в Доме Массажа Правительства до главы государства и командора главенствующего ордена. Семь столетий, отделяющие нас от кончины мемуариста, не умалили ни исторического значения его огромной фигуры, ни идейно-художественных достоинств его фундаментальных трудов. Сегодня они предстают перед нами в ряду наиболее непреходящих духовных ценностей так называемой Переходной эпохи. И нет среди палисандровых книг ни одной, что не была бы нам как-то особенно дорогá; но эта — дорога бесконечно. Отдавшись на волю исповедальной горячки, Дальберг с первой до последней строки творит исступленно, не останавливая бега пера ни перед какими условностями. Дотошно воссозданные им фрагменты интимной жизни правящей олигархии, в частности этюды о совращении именитых кремлевских жен, описания самоубийств, покушений, казней, заметки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции — то есть по сути вся толща воспоминаний — читается безотлагательно.

год 2757
Биограф

От автора

Автор благодарит Судьбу, что любезно свела его на путях бытия с персонажами данной книги.

П. Дальберг

ПРОЛОГ

Вдруг случилось буквально следующее. Оклеветан клевретами, мой дядя в порядке отчаяния повесился на часах Спасской башни. И вот, единодушно рассматривая эту утрату в свете ее фатальной невосполнимости, летописцы расходятся лишь в деталях. Одни упоминают, что он воспользовался минутной стрелкой, другие настаивают на часовой. Часовой же не только ни на чем не настаивает, но не упомнит даже таких деталей, как собственные фамилия, имя, et cetera. А меж тем засекреченное резюме расследования, проведенного особой правительственной инспекцией, свидетельствует, что попытки всех и всяческих препараторов прошлого расщепить данный волос — вполне смехотворны: ведь было без шестнадцати девять. Забавно также, что и по роду служебной деятельности Лаврентий, чье имя дружественные кебекуазы присвоили одной из своих леденящих рек, связан был с атрибутами Хроноса. Ветеран келейной организации часовщиков, он стоял у ее истоков и был ее вдохновенный водитель. В кремлевской «Табели о должностях и зарплатах» старообразным почерком казначея-попечителя Саввы Морозова указывается, что с такого-то по такой-то год дядя мой, генерал-генерал философских войск, состоял Кардинальным хранителем настоящего времени и имел на руках соответствующий документ.

В начале девятого дядя быстро направился к башне и предъявил его у дверей. Часовой взвился соколом. Многочисленные мемуары военачальников, даже если бы эти труды избежали обычной бумажной участи — тления, огня и забвения, что паче огня,— не помогли

бы в деталях восстановить обличие морского кавалериста Якова Незабудки, ибо именно так в силу иронии рока звали упомянутого гвардейца. Кое лишь где, словно огонек в родной ему украинской степи, промелькнуло бы замечание, что представал подтянут, молодцеват, но не более. А ведь тоже был гражданин. Тоже мыслил, как лучше старался, на что-то рассчитывал, чаял, любил свой край. А ныне? Время сделало с ним свое неприглядное дело: сидит себе в богадельне, чудит, улыбается и скоро умрет. Бедный Яша, с каким жестяным безразличием проехался по тебе катафалк истории, гремя и шатаясь, как шарабан подгородного керосинщика, кровельщика и старьевщика, взятых в их триединстве.

Вы вольны спросить, а не занимаемся ли мы тут мифотворчеством, подтасовкой фактов, не творим ли себе кумира в форме этакого малоизвестного, что ли, матроса. Нимало. Указанный Незабудка, если хотите, реальнее нас, оторвавшихся от действительности небожителей. Он зримей, будничней и земней. На днях, навещая несчастного в упомянутом заведении для гвардии пожилых, мне показали его персональную карточку. Год, месяц и даже число рождения Яши целиком соответствовали году, месяцу и числу рождения меня самого. «Ровесники! — изумился я.— Но какие разные судьбы». Надеюсь, что это душераздирающее совпадение поможет Вам утвердиться во мнении, что Незабудка безусловно наличествовал, пребывал во плоти, был роста, возраста, пола, был — давайте не побоимся избитости выражения — человеком. Хоть был, разумеется, и отменный службист.

Вот и теперь, предъявителя беспримерно зная в лицо, но и отчетливо сознавая устав, часовой зубами снял варежку и полистал документ. Изображение корреспондировало. А подпись к снимку внушала не только доверие, но и трепет: «Хранитель!» Часовой содрогнулся и конвульсивно отдал часовщику последнюю честь.

«Отдыхайте»,— махнул рукою Лаврентий. Доброта генерал-генерала не знала мер никогда, и войска любили его, как умели.

Не мешкая, он взвинтил себя винтовой внутрибашенной лестницей до отказа и с маху толкнул входную, броней одетую дверь. Та вела в каземат механизма. Привычный запах казенного времени, сдобренный приторным ароматом особого часового масла, сработанного на маслобойнях Поволжья, показался Хранителю тошнотворно застойным. Сомнений в правильности принятого решения не оставалось: хватит, хватит, довольно.

Сегодняшнее заседание было последней каплей. Маленков упрекнул в неуплате масонских взносов, паршивец Шепилов сказал, что Лаврентий манкирует прямыми обязанностями, а этот офицеришка, этот жуковский лизоблюд Захаров обнаглел до того, что поставил ему на вид несвежий якобы подворотничок. А кто-то даже подставил ножку, когда в знак протеста Лаврентий чуть ли не выбегал из ложи. Неслыханно!

«Лаврентий,— кричал ему Ворошилов.— Куда вы?»

«Некогда мне тут с вами»,— отрезал Хранитель.

Карьеристы, завистники, внутренне кипятился дядя, не брезгуют никакими приемами. Или он сам споткнулся? Неважно, не суть. Ах, Иосиф, Иосиф, зачем ты оставил нас, генацвале.

Хотелось курить.

Безвременная кончина Генералиссимуса выбила из колеи. Который уж месяц не прикасался Лаврентий к любимой мингрельской лютне. А ведь бывало не проходило и вечера, чтобы задумчивыми пощипываниями иль пиццикато не извлек он из инструмента хоть пары аккордов. Где те вечера? Нет их. Да и вообще жизнь Лаврентия сильно переменилась, дела его стали табак, и всякий раз, как он разминал в музыкальных пальцах своих тонкую пахитоску и поджигал ее ломкой спичкой, он сознавал факт крушения с особенной ясностью. Поэтому в последние сроки дядя не баловался и курением, практически бросил его. Но сейчас, накануне конца, факты уже не имели значения; и он закурил.

Зима его треволнений была, как говаривало простонародье, сиротской. Морозы часто сменялись оттепелями, которые характеризовались длинными, он бы сказал, неприлично длинными для столицы сосульками.

Тем не менее цапфы и шестерни, молоточки и маятники, пружины и храповики кремлевских хронометров взаимодействовали монотонно. Не подводили и градусники, и форсунки, и капельницы. Печать ухода лежала на всех устройствах, частях, все блестело или лоснилось, двигалось или стояло на месте, тикало или молчало, однако не интересовало уже Хранителя.

Он припас бечевку заранее. Верней, не припас, а приметил. На ней висел аварийный фонарь, освещавший цепную шахту. Закурив, Берия наклонился над ней и внимательно изучил пролет сверху донизу: ни фонаря, ни бечевки. Тогда, заметавшись мыслью по древу, Хранитель вспомнил, что третьего дня их в числе остальных вспомогательных инструментов, приборов свезли на инвентаризацию в Палату Мер и Весов. «В бывшую Оружейную»,— подумал он в скобках; он был неисправимый педант.

Судорога огорчения свела генерал-генералу челюсть. Куранты забили половину девятого и оглушили. Он сплюнул, выбранился и осмотрелся. И тут фортуна, что в образе костяной старухи с косой незаметно подглядывала за ним откуда-то из угла, осклабилась и указала Хранителю на сыромятный ремень, который известным образом соединял стальную опору конструкции с одним из маятников. Тот был худо отрегулирован, и, работая по принципу поводка, ремень на каждом шагу одергивал, окорачивал маятник, суживал ему амплитуду, не позволяя пойти вразнос. Лаврентий никогда не отказывал себе в метком профессиональном речении. «Вразнос»,— повторил он, испытывая сейчас особенно бережное отношение к слову вообще и в частности. «Вразнос»,— отозвалось эхо. Реверберация в башне была поразительная.

Будучи при параде, Лаврентий вытащил кортик и, приноровившись к движению маятника, срезал ремень. Устройство петель не отняло и пяти минут, после чего до без шестнадцати девять оставалось четыре свободных. Он знал, что набросит крепежную петлю не на одну, а сразу на обе стрелки, поскольку одна, вероятно, не выдержит: тяжесть тела заставит ее обратить-

ся вспять, и она опустится в положение получаса или шести, и петля соскользнет с нее. И он, пожилой государственный человек, ровесник целой эпохи, мешком упадет на зубья брандмауэра и в кровь разобьется. Трудно вообразить себе больший конфуз. Нет, концовка жизненной партии, хотя ты и проиграл ее, потому что любая смерть — проигрыш,— должна быть красивой, наглядной и вопиющей. Пускай непредвзятый потомок, листая пожелтевшие отчеты криминалистов, воскликнет: «Вот дивный эндшпиль!» — и залюбуется вчуже.

Но — земляки! Сын, внук и правнук закавказских огнепоклонников, Лаврентий предвидел, что родственники, земляки не похвалят его за избранный способ: огнепоклонник обязан погибнуть в огне, чтоб в огне и воскреснуть. Так поступали и поступают все наши высокогорные предки. Обычай суров, но прекрасен. Если тебе окончательно нездоровится, если состарился, жалок и немощен или же бесконечно устал от всего земного, собери себе хворосту — разведи на закате костер — и подобно Зевесову сыну — подобно фениксу — отдайся всеочищающему милосердному пламени. И да пылает имя твое на устах, в очагах и во взглядах звезд.

Однако дядины обстоятельства были стесненными. Ибо где же набрал бы он нынче хворосту, где развел бы достаточный для свершенья обряда костер. Перелески и рощи Кремля зимою сквозят и легко просматриваются соглядатаями, а ехать на дачу, за город, значило бы ввязать себя в досадную проволочку, чреватую тотальным фиаско. Да и тоскливо теперь на даче — муторно, нехорошо. Нет, только здесь. И немедля.

Так называемая ремонтная скважина циферблата, имевшая форму замочной, предназначалась для выхода на циферблат. Лаврентий Павлович подошел и открыл ее.

Продутый умеренными ветрами, Эмск возник перед дядей своей юго-западной панорамой — дохнул на него городской распутицей, неуютом складских помещений, жилищ, больничной карболкой, строительными работами, хлебной гарью, квашениями и солениями,

ворванью и рогожами, бьющимся на веревках бельем, пищевыми отбросами, дегтем, свалкой, патокой и пенькой — заторчал фабричными трубами — трубами механических мастерских и пекарен — котелен — слесарен — ржавыми шпилями и крестами — куполами и башнями — и весь преломился он в лужах — в сточных канавах — в сочащейся из-за горизонта тягучей, времяобразной, как жизнь, реке цвета сукровицы и разбавленного спекулянтами кваса.

«Пора,— сознавал Хранитель.— Пора».

Без восемнадцати девять он сбросил шинель и вышел на цифру восемь. Высота охватила его. Впервые за десятилетия он наблюдал пернатых, паривших не над головою, а где-то внизу, как в глубоком ущелье. За скверной и суетою равнинной рутины Лаврентий совсем позабыл о подобных явлениях и теперь, встрепенувшись от забытья, подумал, как страшно, должно быть, он одичал на помпезной службе своей — размяк, подурнел, отвык от природы.

С отвычки подташнивало. И чтоб не упасть, он вынужден был ухватиться рукой за минутную стрелку, которая уже наползала на часовую. А часовой расхаживал внизу по брандмауэру, сутулясь по отчему дому и глядя под ноги. Когда же стрелки сошлись окончательно, Лаврентий, прижавшись спиной к циферблату, набросил на них крепежную петлю. Другая, нашейная, заняла свое место также. Заученным жестом, каким зачастую затягивал узел галстука, он, почти не заметив отсутствия зеркала, затянул их.

Затем оставалось решить вопрос о пенсне. Было три варианта: пенсне не снимать; снять и сунуть в карман; снять и выбросить. Рассматривая указанные возможности, он догадался, что независимо от того, на чем остановит свой выбор, выбор этот станет его последней волей, однако за неимением палачей исполнить ее придется ему самому. Взвесив все pro и contra, Хранитель выбрал последнее — выбросить; но осознал вдруг, что в спешке оставил пенсне на сенатской вешалке. И удивился, заметив, что втайне, исподтишка, пеняет себе за оплошность.

«Прощайте!» — ходульно подумалось ему тогда о семье. Отрешенно-улыбчивые, словно в фотографическом ателье, лица матери, дочери и жены слились в одно среднеродственное, но ненаглядное. И все же последняя мысль Лаврентия была о внучатом племяннике, которого он, несмотря ни на какие перипетии в их отношениях, по-отечески беззаветно любил.

«Палисандр, Палисандр, дерзай же!» — умогласно воззвал он ко мне в Новодевичий монастырь, балансируя на пороге небытия. И, по-детски всплеснув руками, шагнул в него.

КНИГА ИЗГНАНИЯ

За годы потянувшегося за тем безвременья и сменившей его эволюции из прохудившихся кранов нашей твердыни воды утекло — на редкость. Вот и сегодня, внаброс окрыляя себя крылаткой, паки и паки влачишься в Комендантскую башню живым меморандумом: «Все течет! Пришлите специалистов!» А комендант лебезит, заискивает, дескать, о да, Ваша Вечность, уже высылаем, уж выслали. Однако Улита все едет, и факт остается фактом: беспечности кремлевских водопроводчиков можно лишь позавидовать. А гофрированное косноязычье дождя все не рвется, мигрень разыгрывается как по нотам, и утро без тени сомнения преобразуется в вечер.

Заосеняло и мне. Сам — сырое ненастье, в сознании крайней задолженности грядущему, я * поспешаю предать бумаге обстоятельства моей жизнедеятельности. Поспешаю, да не спешу. И не краток я буду, но обстоятелен. Ибо — что бы там ни брюзжали завистники — на великом пути замечательна всякая мелочь, и любая, казалось бы, чепуха — знаменательна.

Никогда, например, не забуду убытие из Гибралтара. Кадриль — мазурка — виватный кант — выкрики «С Богом! С Богом!». Дрезина дернула — Отчизна придвинулась. Впереди, за хребтами и реками, вальяжно раскинувшись на многострадальном ложе своих исконных пространств, искусно убранном скромными поле-

* Биограф, смею надеяться, попустит нам это амикошонское перволичие единственного числа здесь и далее; равно как здесь и далее — примечания автора. *П. Д.*

выми цветами, ждала нас Россия *. Кто-то, помнится, всхлипнул — платки всплеснули — хрупкая, изнуренная свадебными путешествиями фигура английского короля Чарльза Третьего отмежевалась влево, и, наплывая, ее заслоняла уже ладья какого-то порнографического киоска, но тут, рокируясь, король обогнул ее и, обставленный пешками сопровождающих лиц, изобразил фигуру прощанья. Поехали. И тогда-то, тогда-то я и увидел, как яйца, что только что и неколебимо покоились на закусочной околесице, покатились с нее — упали — и если бы не Амбарцумян, а точней — не его упрямство, участь их была бы весьма плачевна. Простой армянин, не имевший ни малейшего представления относительно мистической сущности государства российского, но зато твердо веривший в его высокую судьбоносную будущность, повар нашей канцелярии на марше Амбарцумян Артак Арменакович был поваром закавказской несгибаемой складки. И пусть не единожды отдавалась ему команда: «Яйца неукоснительно всмятку варить!» — он варивал их неуклонно в мешочек, а то и вкрутую, как нынче. А нынче, насколько можно было довериться новейшему отрывному календарю на год за номером тысяча девятьсот девяносто девять, установились пригожие, прекраснодушные числа Льва-месяца, последние дни того чужестранного положенья вещей, которое мы никогда не называли изгнаньем; посланье — вот славное имя.

Некто, популярный среди верноподданных как Свидетель Российского Хронархиата и Командор Палисандр, я на поезде сугубого назначения возвращаюсь на родину. Кроме пары яиц — а ведь так или иначе их следовало извлечь из-под легкой походной ванны, что я принимал — мне предстояло отведать немного бобов по-кентерберийски, трепангов, кальмаров, перуанской турятины, шпрот и свежей голубики со сливками — блюдо, возлюбленное мной со времен бесшабашной привилегированной молодости.

* Даная!

Я оглянулся. Свеча, при которой мне привелось набросать начальные строки исповеди, оплыла и угасла, а сумрак — не загустел. О молодость! Распорядившись тобою спустя рукава, сколь нередко бываем застигнуты мы рассветом на грани слез по щедротам твоим, коими ты едва ли не разразилась.

Игривая, ты разразилась граем хазарских харчевен, ширазских базаров, хорезмских гаремов и бань. Ты выплеснулась хартией вольностей, партией фортепьяно, грянула бранью казарменной барабанной побудки. Ты прянула рьяным пьянящим ливнем — пряная, будто воробьиная ночь. Ночь, когда доведенные до голубого каления карающие десницы протягиваются чрез все небо, все рамы растворены, драпри взвиваются и трепещут, а канделябры и бра — бликуют: начищены. Причем инструмент непременно распахнут, расстроен иль по-рахманиновски разбит. Не избегайте услуг настройщика, но прибегните к ним. Стремглав приведите себе на память, а то и сразу в гостиную, это неимоверно взвинченное действующее лицо. То нередко студент всевозможных учебнейших заведений, но чаще — потенциальный студент. Выходя из дворян, хлопнул дверью и сделался разночинцем. Влюблен, недостаточен. Чахоточен и хаотичен. Вечен и обречен. Вот его вермишель без соли. Вот средства от цыпок, потливости, от угрей. А тут — неоплаченные счета цирюльника. Жизнь взаймы, опереточный быт мансард. И — обручена с одним из других — существо обожания. «Канарейка, субтилка певчая»,— определит сосед-орнитолог. «Консерваторка чертова!» — сгоряча охарактеризует консьерж. Сей прислушивается к поспешающим вверх похаркиваньям сказавшегося настройщиком пришлеца. Кудлатоголов, блудовзорен, расхристан, тот какой-то юлою взвинчивал свое худосочное тело на заветный этаж, мысленным глазомером примериваясь к пролету имени Гаршина, которого бесконечно ценил: как человека и классика. А инструмент, говорим мы,— распахнут. И вот уже партия этого допотопного фортепьяно, ликуемая в четыре неврастенические, алчные до бемолей и нигде

не находящие себе места руки, и вся исполненная неописуемой фиоритуры, фугобахально неистовствует: она состоялась. Внимая ее летящим с Ордынки бравурным обрывкам, Вы приступом ностальгии застигнуты в подворотне Боровицких ворот, где когда-то один Ваш до боли знакомый покусился на жизнь высокопоставленного функционера. О, как умиленно разнюнитесь Вы милицейскому постовому в пахом пахнущую овчину его: «Ах, кажется, это — гросс-фатер: марш, постепенно переходящий в вальс и живой экосез». Молодость? Хлынула. Как? Appassionato! Да очевидно ли это? Достаточно ли все сие зримо? Ощутим ли неложный пафос великого мимолетья? Надеюсь. Ведь только подумайте: хлынула, захлестала, грянула, и вот — вот уж, впрочем, и отлетела. Прощай же. Слова мои о тебе да будут нетленны. И ничего, что из окон нашего кабинета в Потешном дворце, где составляются настоящие строки, мы не имеем вида на жительство суетливых кварталов неунывающей бедноты, ибо он открывается на торжественное великолепие Александровских палисадников; ничего — мы и отсюда, чрез велеречивое лепетание лип словно бы различаем надтреснутый, как пластинка, голос Булата — бродячего музыканта тех светозарных дней. И хотя главный ключ его был минор, трубадур забредал на наши пирушки желанным гостем и украшал застолье, как мало кто. А потом, где-то ближе к концу биографии, он забрел к нам в послание. Очарован явлением старомодной, как танго, латиноамериканской луны, он перестроил свое укулеле на залихватский лад и посвятил нам ноктюрн на мотив нестареющей «Девочки-Нади», этой непритязательной лакомки:

Наступила noche,
Выкатилась luna,
Здравствуй, моя старость,
Прощай, моя юность,—

пел он. Куплеты его оказались пророческими. Минуло каких-нибудь полстолетия — и все оказалось в прошлом. Настала пора прострелов, пора выписывать руководство по одиночеству, пособие по неспособности,

самоучитель небытия; ибо где же учитель? И наступила пора окончательных мемуаров, последней, мандельштамовской прямоты.

Явившись на свет в семье потомственных руконаложников, а говоря без ужимок — самоубийц, я годам к десяти-двенадцати впадаю в сплошное сиротство, нарушаемое лишь визитами опекунов, чьим вниманием дорожу все менее и забот которых все более убегаю. Баловень судеб, я напоминаю себе пресловутого жадностью рыцаря, не желающего ущемления своего блистательного состояния; в нашем случае — состоянья свободы, в неверном мерцании отроческих ночников опознанного как осознанная необходимость, во славу которой редела и будет редеть не одна германская борода.

Отчужденность, благоприобретенная в ходе побега от ничтожных и ненавистных опек, сказалась. Довольно долго я рос вдали от страстей и сердечных привязанностей. И может быть, до сих пор так и вкушал бы я от наивных утех невинности, если б однажды не пережил озаряющее потрясение и не вспомнил, как некая многоопытная особа из числа беспринципных родственниц развратила меня, совратив. И хотя случилось это в ином, предшествующем воплощении, нынешние мои чувства и быт бурно преобразились.

О Мажорет! неистовая, циничная и прожженная «дама из Амстердама», единоутробная сестра моей прежней матери. Сколь искренне жаждется мне, чтобы ты не избегла признаний измызганного тобою, едва не рехнувшегося от скверны твоих умений, от блеклых и дряблых, но таких малярийно знобящих прелестей, от бульварных твоих романов с лакеями и форейторами, от попранности, поруганности тобою. Ибо в своих признаниях я в частности обличу и тебя. С присущей мне прямотой я поведаю здесь всю правду о том, как это было — как именно — как оскорбительно, томно, истошно. Как если бы это случалось не с нами. Не с нами, а чуть ли не с жабами. Случалось не так, как случалось. И даже совсем не случалось. Как ветер на галереях

качал гирлянды китайских фонариков, играл на ксилофонических ветровых колокольчиках, бредил в жалюзях, растворял все двери, и тени ходили по залам, по их анфиладам, свидетельствуя о наших кромешных радениях. О, сколь дерзко то было с твоей стороны, Мажорет,— дерзко, кровосмесительно, неуместно.

Дерзай и ты, мое непритязательное перо, воздай обольстительнице за соделанное: сорви с нее, образно говоря, фарисейские облачения и, обнажив ей прожорливое межножье, отмсти бесчестием же. Возжелав возмездия, я позволяю себе не верить, что мертвые сраму не имут. Не верю! Сие суть ложные слухи, муссируемые сторонниками усопших, живо заинтересованными в их посмертной реабилитации. И поскольку уж мы заговорили о смерти, поговорим еще.

Незнакомый Биограф! Сказать, что старуха с дамасской косою гостила в наших фамильных чертогах нередко, значит глумливо блеснуть литотой, ее клинком. Генеалогическое древо Вашего корреспондента, уходящее своими корнями в кремлевский подзол, сибирский золотоносный песок, грузинский гранит и шотландскую глину, есть древо такого печального толка, что — как шутил Лаврентий — это уже не дерево, а готовая виселица. Поводом к чисто кавказской шутке его служили обычно надгробия на могилах наших с ним родственников, тут и там видневшиеся по всему кладбищу — будь то Ваганьковское, Востряковское иль Новодевичье. Хотя в смысле правительственных охот, проводившихся регулярно на данных угодьях, последнее было несомненно угоднее остальных. Если Вы искушенный стрелок, преимущества Новодевичьего Вам очевидны, и Вы согласитесь: переоценить их немыслимо. Если же нет, то извольте взглянуть на план. Обратите внимание: несмотря на то, что у меня нет решительно никакого желания Вам растолковывать, что Новодевичье кладбище живописно разбито на территории одноименного монастыря и как бы заподлицо с ним обрамлено высокой стеною с бойницами, башнями, нишами и другими приметами фортификации, я уже, тем не менее,

растолковал. В чем и раскаиваюсь, т. к. делать это гораздо проще, нежели перемарывать целый лист. Весь фокус, однако, в том, что, взойдя ввечеру на стену, Вы можете различить на фоне зари — не тянет ли, не летит ли уж дичь, и если уже летит, то есть тянет — поспешно спуститься, укрыться в нише и бить, с позволения выразиться, в угон. Тяга — так исстари называют не только эту разновидность охоты, но и многочисленные отчеты о ней в изящной словесности. Аксаков, Тургенев, Пришвин — нам дороги их имена.

Что же касается перемарываний вообще, то, верите ли, не стоит свеч. Сколько ни переиначивай — все равно не оценят. Поэтому в целом работаю сразу набело — потоком сознания, слов. Испытанный, верный способ. Воспаляя воображение масс, им баловались еще Бальзак, Боборыкин, Сковорода. Хорошо нам, писателям: пишешь, пишешь, и вот — бессмертен. Хотя и не всяк.

Раззудите свое самодовлеющее седалище аллеями книгохранилищ, сих колумбариев добрых надежд и тщеславий. Указывая на бесконечные корешки, спросите Служителя: «Как сложились дальнейшие судьбы усопших? Не на ветер ли побросали они бисер слов?»

Червяк, буквоед, глумливец, Служитель распоряжается захоронениями, как своими собственными, выдавая прах на дом на срок до двенадцати дней. «На ветер,— ответит Служитель.— И те, и другие благополучно забыты».

«Благополучно? Быть может, вы хотите сказать, забыты коварно, исподтишка, без суда и следствия, при закрытых дверях?»

«Мужайтесь,— скажет Служитель.— Они забыты за обыкновенной ненадобностью. Распространенное среди экзальтированных натур впечатление, будто достаточно умереть, и имя ваше просияет в веках, не подтверждается практикой. Вот уже сотни лет, как в хранилище почти никто не заглядывает. Увы вам, кропателям,— скажет череп Служителя,— иноходец Истории блед и необратим».

Тут Вам сделается ужасно, и Вы встрепенетесь. Видение оборвется, но неумолимо продолжится явь:

заседание магистрата, ложи, разнообразные литургии, приемы, парады, награждения отличившихся, именины и тризны. Что говорить, иноходец Истории требует жертв.

Споспешествуя ему по мере сил во всех его направлениях, сыздетства я увлекся хрупкими, тлеющими страницами первоисточников. Читаю. Рассматриваю диаграммы и карты, картинки и схемы битв. Грешным делом и сам играю в солдатики. Около пятидесятого года формирую потешный полк кремлевской охраны, по образцу петровского, и лета напролет — за исключением лет послания — командую им до глубокой старости. Пехота — это пречудно. Это звучит, отзывается в сердце, чарует. О ней, о славе ее оружья пристало творить эпопеи. Люблю и морские сраженья. Ценю их торжественность, плавность, распахнутость их театров.

И все-таки в целом история есть типичная кантовская вещь в себе. Если не замечать известной апокалиптичности ее интонаций, если не апоплексичности их, то прежде всего отмечаешь тот неслучайный, быть может, факт, что она преисполнена скрупулезно датированных, но незнакомых и непознаваемых происшествий. Взятые по отдельности, они озадачивают; вкупе — обескураживают. В результате не знаешь, что и подумать — тревожишься — ожидаешь дурных известий — посматриваешь на дорогу — оглядываешься — удваиваешь посты. Но поскольку надо как-то определиться, встать в маломальски ученый строй, подравняться, то принимаешь волевое решение и формулируешь кредо. Я лично решил для себя полагать и могу поклясться, что история есть процесс непрестанной, хоть плавной, ломки. Одно неизменно сменяло другое, другое — третье, а пятое, как говорится,— десятое. И всегда были люди, народы, публично питавшие друг ко другу симпатию или неприязнь; а где-то поблизости всегда оказывались какие-то люди, писавшие касательно этих взаимоотношений; и не переводились люди, писавшие об этих писавших, а также писавшие о писавших насчет писавших. И вот нам уже зевается, дремлется, читаемое, при всем к нему

уваженьи, валится из рук, академическая * мурмолка сползает нам на чело, и мы опять засыпаем.

Такова история моего увлеченья историей. Спору нет, ухажер я стал вялый, квелый, но знали бы Вы, сколь прилежно я волочился за этой капризной барышней во дни дерзновенной пряности. В подтвержденье сошлюсь на собственные послания к Великой Княгине Анастасии Романовой, собранные, если не ошибаюсь, в пятнадцатом томе юношеских сочинений.

«Друг мой! — писал я в одном из тех писем.— Вы спрашиваете о моем отношении к гордой Клио, к суровому, но справедливому прошлому нашего родного Отечества. Что мне ответить? Я — с Вами. И Вам подобно, всей задумчивой русской душой прилепляюсь к далекому близкому, к дыму пращурова табака, к идеалам былого».

«Вместе с тем,— сообщал я далее,— есть в нашей будничной повсеместности круг реалий, к которым питаю я слабость в такой же мере. Вы, может быть, оскорбитесь вчуже за мелочность, приземленность пристрастий моих, но Вам я не могу не открыться и первыми в том кругу назову калоши». (Курсив мой.— *П. Д.*)

Ю. В. Андропов, курировавший тогда мою корреспонденцию, назвал выделенное здесь курсивом вольнолюбивой лирикой, и во избежание трений пришлось опустить сей абзац в том примечаний и вариантов. Однако же я отрекся не от убеждений — от слов. Так что перед судом все той же истории совесть моя чиста. И не таясь, говорю ему просто и внятственно: «Да, я люблю калоши».

Люблю, шагая слякотным предвечерьем с каких-нибудь образцово-показательных похорон, вслушиваться в поквакиванье заморских своих мокроступов и думать о чем-нибудь абсолютно не относящемся к случаю. На заутренней службе в Елоховском храме и в суматохе

* Поздравьте-ка, кстати: Ваш покорный слуга — действительный член сорока семи академий.

служебного дня благодарно улавливаю их лаковое благоуханье, навевающее полузабытые запахи марокканских фиакров, тасманских каучуковых плантаций, терпкие ароматы айсорских сапожен и проч. И гуляю ли в оголенных до неприличия пущах имени Горького, предаюсь ли увеселениям в кущах Нескушного, мысль моя поминутно обращается к ним: «Мокроступы!» С хорошим чувством читаю и перечитываю я их следы, отпечатанные на песчаных дорожках, безоговорочно принимая всю их (подошв мокроступов.— *П. Д.*) пупырчатость и ребристость. Мне привычно сдавать свои мокроступы ворчливому церберу оперных гардеробов, привычно являть себя в астматическом полумраке прелюдий в глубинах балетных лож, но привычно же, не перенеся разлуки с искусством, этой жантильнейшей из разлук, торопливо обрушиться обратно в фойе — вручить гардеробщику хладный еще жетон — залучить мокроступы — обуть — выйти вон — возвратиться — вручить на чай — выйти вон — и выйдя, вдруг осознать, что — чужие. И снова вернуться. Вернуться — выбранить гардеробщика — вытребовать свои — в наказанье за разгильдяйство изъять чаевые — переобуться — и — вон — в промозглую эмскую хмарь и сумятицу — выйти в намерении никогда уже более не ходить в спектакль, пой там хоть сам Паваротти, пляши Нуреев, Барышников или шуми Шостакович — пускай меня и связала с ними блестящая закулисная дружба *.

И я обожаю, вернувшись в конечном итоге из этих неудавшихся театров или же с удавшихся тризн, приказать, чтоб наполнили ванну — да поживей — и непосредственно с холоду, ничего особенно не снимая, поскольку все равно все стирать, погрузиться в нее, в ее зеленоватую хвойность и муть, и немедленно отойти всею сутью от суетных, недостойных тебя треволнений и передряг, этих побочных издержек зрелищных и музыкальных мероприятий. Хорошо потребовать кофе, ликеров, свежих газет и, не мешкая, понаделать из ваших, г.г. борзописцы, досужих умыслов — кораблей: боевых и опасных.

* Связала навеки!

Люблю, повторяю, морские сраженья. На *их* театрах события разворачиваются куда бодрей. Бывает, воспользовавшись численным превосходством противника, канонерские мыльницы «бледных» неожиданно начинают и методически уничтожают такую армаду «серых», как «Биржевые Новости», «Несчастные Случаи», «Заметки Фенолога», «Смесь» и «Работы по Найму», после чего береговая артиллерия «пегих», ведя перекрестный огонь, топит бледные мыльницы. А той порою две наши глубоководные заслуженные субмарины, отдаленно напоминающие пару наших глубоких калош, возлежат на дне и осуществляют благосклонное наблюдение. А бывает — да мало ли что бывает в пылу батальи. Но что бы там ни было, по-крупповски неусыпно заботьтесь о боеприпасах! Огонь ведется из всевозможных орудий кусочками мыла, любезно изрезанного на них орудийной прислугой — она же и Ваша собственная.

Небезынтересно в настоящей связи отметить, что по мере возвращенья на родину в том незабываемом девятьсот девяносто девятом году мой денщик, а попутно и банщик Самсон Максимович Одеялов подавал мне в походную ванну мыла разных держав в той последовательности, в какой мы их миновали, поскольку снарядов хватало в среднем на два — максимум три — перегона. Сменялись и национальные стяги, условно реявшие над флотилиями неприятелей. Так, приобретенных в Гибралтаре газет достало лишь до Мадрида, с мадридскими мы едва дотянули до спасительного Аустерлица, а с парижскими с грехом пополам доползли до Брюсселя. А так как маршрут наш пролег прощальным зигзагом чрез многие европейские страны, то в ходе маневров эскадры всех этих карликовых государств были потоплены. И не любопытно ли, что газета, уведомившая меня относительно гибели моего дедоватого дяди и заодно смутившая все течение моего сиротского бытия, была в равной степени чужеродной.

В те сравнительно отдаленные сроки Опекунский Совет временно выдворил меня из Кремля за недостой-

ное поведение и вменил мне в обязанности непокойную должность ключника правительственного Дома Массажа, который теперь размещен в старом здании Генерального Штаба, что на Гоголевском бульваре, а в дни моего ссыльного отрочества ютился в кельях Новодевичьего монастыря, более или менее распущенного. Както раз, отдежурив, решил принять грязевую ванну. Приемлю. Дремлю. Вдруг стучатся.

«Кто там?» — раздраженно окликнул я, полагая, что то какая-нибудь массажистка пришла беспокоить меня по поводу ссуды на лондонское белье или чего-нибудь в том же ничтожном духе. Здесь следует, вероятно, заметить, что модницы наши делились на «перманенток», или «послушниц», то есть безвыходно проживавших в Доме, и «прихожанок», называемых еще «визитерками», причем «послушницы» казались особенно требовательными и капризными.

«Кто же там?» — повторил я вопрос, застегивая на себе верблюжью пижаму. Одетые грязью пуговицы слушались плохо. Они выскальзывали из грязных пальцев и не попадали в отверстия петель. А если и попадали случайно, то устрицами выскальзывали из них, тоже грязных. Иной на моем, по выражению Пастернака, «бедственном месте» давно бы уж плюнул на эти пуговицы и приветил гипотетическую массажистку с распахнутой грудью. Обычаи заведения допускали не только подобные, а и вполне бесподобные вещи. Подчас в новодевичьих ваннах, бассейнах и саунах творилось непередаваемое. Но я никогда не участвовал в тех вакханалиях. Больше того. Полагая мытье и купание исключительно частным делом, я не уставал и не устаю запирать за собою двери соответствующих помещений и навсегда сохраню за собою же право плескаться одетым — в халат ли, в пижаму, а если потребует ситуация, то и в броню. Ибо стены, почтеннейший, имеют не только уши, но и специальные смотровые глазки, не говоря об означенных выше дверях с их замочными скважинами. Допускаю, Вам, может быть, наплевать. Вы, может быть, даже поклонник того философского направления, представители коего величают себя

нудистами. Что ж, тогда извините. Тогда нам впору прощаться, т. к. нам вовсе не по пути. Т. к. интимно разоблачиться при посторонних — а посторонние, как нетрудно подметить, суть все — не мыслю. Со времени осознанья себя исключительной личностью я старался не обнажаться даже пред собственным отражением, пусть это и было достаточно трудно, поскольку практически все кремлевские туалеты и спальни были тогда озеркалены. От пола до потолка. Включительно. И проклял бы я нашу помпезность и роскошь, и давно бы ушел из Кремля с кочующим мимо цыганским табором, если бы не сознание долга: сначала — перед Опекунским Советом, потом — перед Родиной. Долг. Ведомо ли Вам его чувство? Оно щемяще *.

Свой долг перед нашим Отечеством я усматриваю во всяческом поощрении его неуклонного продвижения вверх по служебной лестнице в направлении истины, света, добра. Подгонять не надо. Однако следует бережно наставлять и способствовать. Ведь оно еще так удивительно молодо, хрупко и уж хотя бы поэтому не без греха. Оттого-то и за Отечество, кстати, мне тоже бывает смутительно. И, наверное, наоборот. Нередко мерещится, что народ мой не меньше конфузится за своего полномочного сына, чем тот за него. И думаешь: что за притча? Чем я нехорош ему? Косоглаз? Положим. Но Карл Двенадцатый — тот и вовсе был паралитик, а — на руках носили. А Сулла, Корнелий Люциус, которого буквально забрасывали цветами, когда он скакал по Аппиевой дороге,— разве он не страдал паршою? Нет, дело тут, кажется, не в обличии; иначе за что бы прозвали меня Прелестным?

И спрашиваешь: «Скажи мне, народ мой, откройся — не худо ли я справляюсь с обязанностями?» Молчит, кажет долу глаза народ мой. А скажет — обманет. Хитер. Хитер и робок народ мой перед сыном его.

* Мне не хочется, впрочем, чтобы у Вас сложилось обманчивое представление, будто бы я играю на Ваших патриотических настроениях, параллельно бравируя врожденной застенчивостью. Ничуть. Откуда Вы взяли. Я просто спросил.

Да и тот не смелей: мнется как-то, тушуется. И выходит, взаимно мы с ним стесняемся и робеем. Словно собственных отражений. И нет того табора, с которым нам друг от друга уйти. А если и есть, то — куда же?

«Так кто же там?» — повторил я опять.

«Брикабраков»,— ответил мне его голос.

Бельгийские графья де Брикабракофф обретались когда-то в Париже, достаточно тесно общаясь с семействами Бриков и Браков, на́д чем в те безоблачные десятилетия столь принято и приятно было подтрунивать. Страницы вечерних альбомов хранили милейшие эпиграммы на эту тему, экспромтом начертанные меж партиями в серсо и трик-трак, придававшими брикабраковским пятницам и средам какую-то неизъяснимую прелесть. «Рябит в очах от Бриков, Браков в салоне добрых Брикабракофф»,— съязвил, например, В. В. Маяковский, сам его записной завсегдатай.

Но среды и пятницы немилосердно оборвались, когда торговое судно семейного процветания с партией исландских ландышей на борту налетело на риф, разбилось о корабельный бунт, и вместе с обломками, отпрысками и остатками роскоши бельгийцев выбросило к другим берегам.

Жили бедно, ютясь и лаясь. Страницы бесценных альбомов в отчаяньи разодрали на самокрутки, а дворянский партикул de продали нуворишам Птичьего рынка за совершеннейшие гроши. Парижанка до мозга костей, молодая графиня пошла по рукам, обрусела, и я познакомился с ней на одном из злачных вокзалов, куда меня, монастырского ключника, регулярно командировали за «визитерками» для нашего заведения.

«Жижи»,— изысканно назвалась она, протягивая теплую руку, обтянутую нитяной потертой перчаткой с левой руки. Вечерело, накрапывало. Люд, шедший мимо, был щупл, зябл, приезж, и все это вроде бы располагало, но сердце мое уж пленилось турчанкою Ш., благочестивой, но трепетной капитанской матерью, так что с бельгийкой сразу все кончилось, не успев и начаться. Ведь, не в укор будет сказано каким-нибудь

ловеласам, я — однолюб. А главное — она была не в моем амплуа.

Однако дебют Жижи в Новодевичьем случился удачен. Наутро ей предложили ангажемент, постоянную должность «послушницы», и вскоре она подвизалась уже на первых ролях. Карьера ее была решена. Массажируя влиятельных протеже, Жижи оказалась в фаворе и выхлопотала синекуру для своего мужа Оле́, который и постучался ко мне в то однажды.

Когда не двояк, круг обязанностей Оле́ Брикабракова представлялся трояк. И если с одной стороны Брикабраков работал вестником — доставлял в Дом Массажа известия и мелкую корреспонденцию из Кремля и обратно, то с другой, там и сям специальными веществами губя насекомых — клопов, комаров, тараканов, он фигурировал как опылитель. Был ловок, и ухо его украшала медаль «За верность». Летуч и ветрен, словно леклеровская кавалькада, он беспрестанно порхал, посвистывал, опыляя и семеня, собирая дань сплетен и рассеивая ее на всех сквозняках. И стоило упомянуть его имя в гостиной, трапезной или бильярдной, как Брикабраков через минуту являлся там. Обладал ли он редкостной легкостью на помине или просто всегда и повсюду стоял за портьерой, почтительно вслушиваясь в разговор, и не было ли это третьей обязанностью его — неясно. Да и какое нам дело!

Оставив попытки по-человечески застегнуться, я вытянулся во всю мою поразительную длину и весь, не считая облепленной грязью главы, стал под грязью невидим. И лишь затем дернул шнур: щеколда отскочила: во исполнение собственного предсказанья возник Брикабраков. Но если бы в месте действия было чуть-чуть темней, то я бы навряд узнал Брикабракова. Скорее, я принял бы его за вылитого двойника Брикабракова — настолько тот оказался самим собой, настолько типично по-брикабраковски выглядел, двигался, говорил. В своей вызывающей подлинности он казался недостоверен.

«Bonjour»,— говорил Брикабраков.

«Bonjour»,— отвечал я ему по возможности в нос и картаво.

«Все сибаритствуете?»

«Напротив: лечу себоррею. Присаживайтесь».

Олé примостился на канапе. Он был моложав. «Представьте,— заметил он,— составилась партия в покер, и девочки ободрали меня, словно липку. Вот не рутé!»

«Примите мои соболезнования»,— холодно молвил я, никогда не игравший на деньги.

«Вы знаете, между прочим, как прозвали вас эти канальи?» — сказал опылитель.

«Прозвали? — насторожился я.— Но — за что? Разве я подал повод?»

«Не будьте наивны. Женщинам здешнего толка повод не нужен. Достаточно им слегка приглянуться — и еще одного доброго имени как не бывало. А в вас, красавчик, они влюблены, будто кошки. Почти поголовно».

«Гиль!» — хрипло сорвался я в дискант. Металлическое корыто, угрюмо висевшее на стене, откликнулось целым концертом для контрабаса с порванными струнáми.

«Факт,— сказал Брикабраков.— Особенно перманентки. Прямо сбесились. Но самое поразительное — другое. Самое поразительное, что вы этим фактом бездумно пренебрегаете, не принимаете его к рассмотрению. Вы — ключник, любезнейший, осознайте. Вы — по древней традиции — есть лицо, начальствующее над всеми монастырскими скважинами. Причем не только, и даже не столько в прямом, сколько, знаете ли, в переносном смысле». Жест, которым Олé проиллюстрировал свою мысль, был малоприличен. И граф продолжал: «Да, ваша должность двусмысленна, тем и трудна, я знаю. Зато она символична, почетна. Зато вы служите не каким-нибудь клерком на побегушках вроде любого из нас, неудачников, а вы служите символом сокровенной власти и воли к ней. Однако вместо того, чтоб использовать свое служебное положение по назначению, вы его не используете. Dommage,— сказал Брикабраков,— Dommage. Нет, не зря они вас прозвали Лемуром».

«Лямуром?»

«Лемуром,— поправил он.— Вы — Лемур, дорогой мой, подумайте».

И тогда я сказал ему: «Вы, наверно, ослышались, граф. Тут, в России, не может быть никаких лемуров. Тут слишком холодно».

«Не играет роли. А кроме того, на лямура вы тоже смахиваете. У наших стрельцов, в караульне, висит, если вы обратили внимание, гобелен — мальчик с луком и крыльями. Обратили? Типичный вы. Правда, вы несомненно крупней и старше, да ведь Бог их всех, купидонов, знает, какие они на практике. Говорят, отдельные особи бывают довольно матеры. Так что не спорьте: вы и то и другое. И то и се. Вы двуедины. Вернее, двулики. Двуликий Дальберг. Представьте».

«Не сочиняйте»,— сказал я раздавленно.

«Горячность, с какою вы возражаете, красноречива,— ответил граф.— Впрочем, суть-то не в этом. Сказать откровенно, я забежал задолжаться, залезть, то есть, в долг, занять у вас энную сумму денег. Ведь я проигрался, подумайте».

«О, конечно, увы вам,— заметил я.— Однако войдите и в мой расчет. При всем обоюдном желании я не наскребу у себя и десятой доли такой исключительной суммы».

«У себя? — изумился граф.— А разве я предлагаю вам одолжить мне из личных прибережений? Ужель я настолько бестактен, что в силах уязвить человека его недостаточностью? Поверьте, я хлопочу не о ваших карманных или чулочных, там, средствах. Отнюдь. Опекунский Совет, я догадываюсь, держит вас в несколько черном теле, не так ли? Но повторяю: вы — ключник, любезнейший, со всеми вытекающими отсюда ключами. В том числе и от сейфов. А это уже немало. Это, считая по-италийски, несколько миллионов лир нетто. Как минимум миниморре. Казенные. То есть почти ничьи, безнадзорны. И когда вы негласно одалживаете кому-то их часть, то сначала совсем ничего не заметно. Совсем. А после — после я уже и верну.

Незабвенно. Буквально в самом ближайшем. Ну-с, по рукам?»

«Невозможно,— ответил я опылителю.— Вообразите, что скажут в Совете, если прибудет ревизия и недостача откроется. Невозможно».

«Ах вот как,— увял Брикабраков.— Похвально. А я по наивности полагал, что мы с вами приятели. А вы не думали, кстати, что скажут в Совете, если откроется, что внучатый племянник Лаврентия Павловича, сидя в ванной, грешит онановым рукомеслом. И главное — каково себя будет чувствовать сам дедоватый, вообразите».

Потеки грязи распространились мне на лицо, и для смущения, таким образом, не было видимых оснований. И, преодолевая его, я не столько вспыхнул, сколько вспылил: «Откуда вы знаете? Вы не знаете! Я всегда запираюсь».

«Не запирайтесь, вас видно насквозь».

«Вымогатель! — подвернулось мне хлесткое слово.— Хотите оклеветать невинного. Пользуетесь его несовершеннолетием. Полагаете, если он обретается на порухах, а вы облечены келейным доверием, то поверят вам — не ему. В добрый час — клевещите. Однако не обнадеживайтесь, что вследствие шантажа одолжу я вам денег. Наоборот, я одолжу их не вследствие, а вопреки, чтоб вам сделалось покаянно».

«Идет! — восклицал Брикабраков.— Заметано!»

«А за грехи мои,— молвил я,— попросил бы не волноваться. За них я отвечу сам. И не где-нибудь, не в каком-то там жалком Совете, но в Высочайшей Инстанции! Я отвечу, что будучи человеком долга, человек не может позволить себе интимности с сослуживицами, и вот — принужден мастурбировать». И, нащупав на шее своей монисто, набранное из ключей, на ощупь же отстегнул я один из них. И протянул его. И вручил. По моим словам, он отмыкал лакированную шкатулку в моих покоях. «Ступайте и отоприте. В ней — сумма, отпущенная на лондонское белье для послушниц. Какая именно? Именно энная. Расписка? Расписку оставьте себе в назиданье. Но ключ верните».

«Браво! — ликовал Брикабраков, выпархивая.— Браво!»

Оцепенело ополоснув лицо, я заметил на канапе газету. Газет мне не полагалось. Опекунский Совет не выписывал мне периодики, справедливо догадываясь, что весь этот — по выражению Байрона — «вздор докучный» меня не касается и будет лишь изнурять. Поэтому я объяснил себе наличие газеты на канапе в моей процедурной тем, что курьер Брикабраков оставил ее случайно, забыл.

«Случайно? — проклюнулся где-то в сплетенье птенец интуиции.— Забыл?»

«Будущее покажет»,— спокойно ответил ему внутренний голос.

Вследствие непричастности к новостям как таковым, не говоря уж об элементарной моей брезгливости — к ним и предметам чужого пользования вообще, я никогда бы не посягнул на газету, оставленную пренеприятным мне опылителем. Не посягнул бы в принципе. Но газета, из коей мне предстояло узнать о потере последнего моего родственника из ближайших — ближайших, по крайней мере, по духу,— была, как я уже замечал, иностранной. Экзотика ее броского оформления дразнила взор. И рука сама потянулась к изданию. Так любознательность оказалась сильней предрассудка.

Я мог бы, наверное, обмануть Вас. Мог бы измыслить какую-нибудь несусветную «утку» наподобие тех, что на каждом шагу сочиняет присяжная шайка мемуаристов в составе предателей родин и палачей народов, бандитов и узурпаторов, холуев их ничтожных величеств и представителей несуществующих национальных меньшинств, фигуранток и суфражисток, институток и проституток, заложников и наложников, вдов и отпрысков, греющих руки над теплыми еще урнами с именитым прахом, и прочей шушеры, обремененной избытком памяти. Я бы мог, например, Вас уверить, что выписал из какой-нибудь Гваделупы чепчик а-ля Че Гевара, и присланный чепчик завернут был в эту

газету. Или что эту газету занес мне в ванную комнату мусорный ветер радужных перемен. Или все, что хотите. Только в отличие от перечисленных выше мошенников я берег свою совесть смолоду, и оттого, не стесняясь предстать перед Вами в банальном, но невечернем свете правдивости, подтверждаю: газету «Албанское Танго»* занес мне курьер Брикабраков.

Довольно хорошо образован, и, в частности, весьма филигранно владея тоскским наречием — должен признаться, на редкость абракадабрым,— я поначалу увлекся заметкой за подписью Обозреватель. «В обозреваемом будущем,— интимничал он,— белье для дам зашагает в ногу с прогрессом. Оно потеряет сегодняшнюю актуальность, обретет массу кружев и постепенно сделается совсем прозрачно, а то и призрачно».

Даже теперь, когда кровь уж давно перекипела во мне, я не способен цитировать приведенные строки без сладостного содроганья. Да, я — Свидетель, но в некоторых отношениях меня не назовешь безучастным. Учтите: далек от идеализации полового акта как самоцели, я никогда, тем не менее, не чурался здоровой эротики. Воображение отрока подогревали и объявленья колбасников, иллюстрированные натуралистическими изображениями изделий. Публиковались и объявления более общего свойства. В них без конца кого-то разыскивали, умоляли откликнуться, призывали к сожительству, что-либо покупали, обменивали, продавали и соглашались на все. И вдруг — примите мои уверения, все, имеющее решительным образом помутить течение вашей жизни, случается или возникает внезапно — вдруг в опасном соседстве с торжественными обещаниями «Оскорблю и унижу», «Растлю малолетнюю», «Зацелую допьяну» — предложением обоюдовыгодной сделки, сопряженной с обменом мании величия на манию преследования — и уведомлением о предпраздничной распродаже гробов мне метнулось в глаза приблизительно следующее:

* Орган тоскских сепаратистов в Новой Этрурии, ратующих за провозглашение северной ее половины анклавом Албании.

«Состоятельная чета этрусских дворян, проживающая в герцогстве Бельведер, увнучит блестящего одинокого юношу соответственного происхождения, имея в виду отцветающих лет совместное с ним проживание в средневековом фамильном замке, далекие путешествия, музицирование, мелодекламацию, решение и составление викторин, крестословиц и прочие способы приятного времяпрепровождения. Постепенная передача в наследование ценных бумаг и других подвижных и недвижимых ценностей разумеется. Рекомендации надлежат».

Обворожительно улыбнувшись, я окинул себя посторонним взором. Сомнений не возникало: кандидатура моя удовлетворяла всем требованиям дворянского пожилого гнезда. Посудите сами.

Родителей своих я не помнил. Кремлевские Мойры — кормилицы, няньки и приживалки, в ненастье и в вёдро вязавшие на скамейках Тайницкого сада, рассказывали, что мать и отец-часовщик мои жили счастливо и умерли в одночасье, приняв какие-то подслащенные порошки. Так или иначе отошли на иные — пусть не всегда летальные — планы родные бабки и деды, тоже часовщики, мастера единственно верного, эмского времени. Сестер и братьев мне Бог не послал. Экзистенс многоюродных теток элегически затерялся где-то в Староконюшенных, Кривоколенных, а из двоюродных родственников по-настоящему близким приходился мне только Лаврентий, председатель Совета Опекунов моих. Правда, с годами привязанность наша ослабевала, обоих одолевали будни, и сходились мы в основном на охотах да в храме, и то по престольным праздникам. В обычные воскресенья он службы не посещал, и Патриарх Алексий на дядю при встрече косился и оклобученно покачивал головой. Таким образом, я и вправду был одинок, неприкаян, а блеска, незаурядности мне было, конечно, не занимать.

Писал, например, я прекрасно и много. Залеживаясь в ванной библиотеке своей до рассвета, работал верлибр и гекзаметр, амфибрахий и ямб. Создавал, освежал,

разрабатывал виды и роды поэзии, прозы, драматургии. Почти все жанры меня занимали, влекли. И все, что мною творилось — творилось само собой, с той же моцартовской легкостию, что и ныне. Но был я скромен. Не раз, шлифуя дикцию, мимику, жест, репетировал я на сценах Большого Дворца и Кремлевского Театра перед пустыми залами, однако публичное мое чтение совершилось только однажды — на традиционной елке в помещении Арсенала. Туда в Сочельник стекалось свободное от дежурств население крепости — крепостные, как мы себя шутя называли. Шутки и песни, шутихи и бенгальский огонь, конфетти и конфекты — вот типичная атмосфера кремлевского рождественского застолья. Не обходилось и без курьезов. Один из них связан с моим выступленьем.

В тот раз гостями на нашей елке были вьетнамские лидеры во главе с Хо Ши Мином. Летосчисляя восточно, стоял год Мокрицы. Гвоздем программы наметили поэтический блицтурнир. Участникам предлагалось составить экспромт. Робея толпы, я сидел под наряженным деревом и рассеянно поедал нечто вроде филе в желе. На голове у меня была маска жирафа, и все вокруг говорили, что я в ней необыкновенно пригож.

Выступали Буденный, Молотов, Маленков. Выступал Вася Сталин, знаменитый в будущем выпивоха и преферансист. Выступала тетя Нина Хрущева, бессменная наша Снегурочка. И другие. Дети и взрослые, штацкие и военные. И каждый внес свою яркую лепту. И все-таки выступление Леонида Брежнева было особенно незабываемым. Он вытянул фант «К любимой», немного подумал и, похожий в своем маскарадном жабо на енотовидного чиновника из департамента Потусторонних Сношений, каковым он, в сущности, и служил, проскандировал:

Ты меня ревнуешь,
Значит, любишь — да?
Отчего же губки дуешь
На меня всегда?

Посыпались умиленные аплодисменты.

«А ты, Палисандр, почему не участвуешь? — хитровато сощурилось на меня жюри в лице его единственного члена дяди Иосифа.— Ты разве не сочиняешь? Порадовал бы собравшихся».

Тетива перцепции моей натянулась, и я осознал, что Генералиссимус отлично осведомлен о моей одаренности и внимательно следит за успехами сироты. Размеренно, шагами грядущего Командора, приблизился я к лотерейной вертушке и, вытянув фант «Политика», зачитал озарившее:

Из дверей, занавешенных густо,
Взошел человек без ушей и щек.
Быстро сказал: «Передайте Прокрусто:
Китай к коммунизму сделал скачок».

Овация потрясла хрустальную люстру. Публика кинулась к авансцене в намерении качать вундеркинда, но сил не хватило. Все снова расселись.

Возвращаясь к себе под дерево, я заметил, что старая лиса дядя Хо подошел к Иосифу и, приоткинув маску, бросает ему в лицо что-то едкое. Спустя минуту жюри назвало лауреатов. Первый приз, официальный визит в Сан-Марино, получал Вася Сталин. Вторым, дружественным визитом в Финляндию, награждался Брежнев. А я удостаивался лишь третьего. Он состоял из, с моей точки зрения, унизительной братской поездки верхом на муле по горной Маньчжурии. Я оскорбился. И, выйдя вон, крепко хлопнул дубовой дверью с имперскими двухголовыми птицами.

«Не печалуйся»,— догнал меня в коридоре дядя Иосиф. Ладони его мягко легли мне на эполеты КРУБС — Кремлевского Ремесленного Училища Благородных Сирот.

Училище состояло из оружейного, часового и погребального отделений. Студенчествуя на последнем, я шел на одни пятерки. Тема мне предстоявшей дипломной работы формулировалась туманно: «Сравнительная характеристика похоронно-процессуальных кодексов Нижней Мальты и Верхней Вольты». Но, взяв девизом известное изречение Цицерона «Уходя, уходи», столь

милое сердцу Хранителя, я намерен был защититься с блеском.

Порывисто обернулся я к Сталину: «Я не хочу в Маньчжурию, дядя Иосиф, там — дико».

«Неволить не станем,— ответил он.— Однако ты должен понять, почему я не мог наградить тебя ни первой премией, ни второй. Ты допустил дипломатическую бестактность. Нужно было сказать не Китай, а — Вьетнам к коммунизму сделал скачок. Хо отчитал меня, как последнего семинариста. Нехорошо получилось, негостеприимно».

«Простите, я не подумал. Все вышло, право, экспромтом».

«Забудем,— Иосиф обнял меня за плечи и доверительно молвил: — Я знаю, Сандро, ты — поэт Божьей милостью. Мне докладывают. Да я и сам кое в чем маракую. Попомни слово Генералиссимуса: когда-нибудь ты взовьешься в самое небо, и равных тебе не будет. А пока потерпи: оперись, окрепни, набей, понимаешь, руку». И он пожал мне ее.

Мы оба расстрогались и, скрывая слезы взаимной привязанности, взглянули куда-то вверх. Флаг над Сенатом поник, убелен идущим как бы на цыпочках снегом. Было самое время вылепливать снежных баб. Время строить и укреплять наши снежные бастионы, играть в снежки.

Никогда не забуду, как заразительно лихо ворвались мы с полководцем в громокипящий празднеством зал, и дядя Иосиф, рвя крючья допереворотной косоворотки и заглушая зыком медную падеспань, призвал веселящихся к боевому порядку. На ходу дотанцовывая, дожевывая бутерброд, публика повалила на двор Арсенала. По моему приказу, отданному еще в ноябре, потешная гвардия заложила там снежный игрушечный град.

Разобрались на партии. И едва завязалась потеха, как чьим-то шальным снежком Иосифу сбило фуражку. Тогда он нахмурился, и войска разбрелись восвояси.

Шагая в ногу с Генералиссимусом по кремлевской брусчатке, посыпанной крупной каспийской солью,

проконтролировать смену почетного караула у Мавзолея, я находился во власти той неопределенной смятенности духа, которую нередко называют тревогой. И при виде каменноликих, словно бы столбняком одержимых стрельцов-привратников, при виде их церемониально деревенеющих, траурно стынущих на каждом подкованно цокающем шагу отчеканенных сменщиков, меня постигло дурное предчувствие.

«Не была ли наша невинная снеговая игра, так нелепо закончившаяся, лишь прелюдией к чему-то более непоправимому, роковому?» — спросил я себя.

«Увы,— отвечал мне под переборы курантов внутренний голос.— Увы».

Беспардонная, продувная, прожорливая бестия Вечности уж алкала себе новой жертвы, и соль хрустела под обувью, как на зубах.

Врожденное уважение ко всякого рода *писчебумажному*, развившееся с годами в неизлечимый, но гениальный недуг графомании, не должно тем не менее заслонить остальных достоинств Вашего корреспондента. Никуда, например, не спрячешься от наиболее зримого: я велик. Знаете ли Вы, что с младенчества мне все приходилось не впору, все было мало, и, чтобы не мучить плоти, я почти постоянно ходил то в тунике, а то в хитоне.

Известно также, и документально подтверждено, что под сорок четвертым годом голландские ваннодела сработали для меня специальный сосуд — навырост. Но вскоре прихлынуло отрочество, полное половозрелых забав, и, упираясь в мужающий подбородок, из полой воды и грязи опять заторчали колени. Последовал новый правительственный заказ. Полученное было сродни надувной резиновой лодке. Надув, Вы усаживались в это эластическое плескалище и привычным телодвижением академического гребца переходили в положение лежа, одномоментно растягивая собою сосуд на собственные габариты. Безразмерная, ванна почти облегала Вас. Влага поэтому в основном вытеснялась телом, а небольшая масса оставшейся быстро

стыла. Будучи хрупкого здравия, но нередко витая в других эмпиреях, Вы почти что не замечали этого. Закалка сказалась. Крепостной эскулап Припарко Семен Никитович в своих медицинских воспоминаниях констатировал: «П. перестал прихварывать и сделался еще крепче душой».

Прекрасно; а был ли я силен и физически? Вне сомнений. Так, шея отловленного на кремлевских задворках цыпленка сворачивалась мной, малолетним, с такой же легкостью, с какою мой дед по матери Григорий Новых (Распутин) сворачивал шеи своим идейным противникам. С молоком кормилиц всосал я восторг перед замечательным старцем. Его поясной портрет, обретенный в семейных архивах, стал одним из моих настольных. Он высится меж чернильным прибором и черепом капитана Кука, подаренным автору полинезийским вождем. Череп мог бы служить мне пепельницей, однако не служит, ибо я никогда не работаю в кабинете. Годами царящий там кавардак претит мне, но в принципе безысходен: прислугу туда я не допускаю — она у нас чересчур любопытна, а самому прибраться то, знаете ли, невдомек, то, вроде бы, недосуг, то что-нибудь третье. Поэтому главным образом творю в процедурной, читай — в ванной комнате, в ванной библиотеке. Рядом с Распутиным — изображение более отдаленного предка: сэр Лэрри Дальберг. Немец грузинского происхождения *, он связал себя первым браком с прародительницей Уинстона Черчилля, Шерри Фли, а вторым — с шотландской принцессой Пегги. Гигант о девятистах с лишним фунтах, Лэрри прослыл полнейшим человеком эпохи, но полнота не мешала ему работать на благо и процветание общества, быть его полноценным членом. Владелец большого узилища неподалеку от Глазго, он содержал заведение в образцовом порядке и добросовестно выполнял поручения власть имущих, связанные по преимуществу с казнями диссидентствующих молодчиков. Не вдаваясь в портретную характеристику пращура, укажу лишь на самую

* Полная фамилия — Дальбергия.

выразительную деталь его туалета. На голове у Лэрри — мешок, а точней — мешковатая маска с прорезями для всепроницающих глаз. Палаческая карьера Дальберга достигла своего апогея в пятьсот восемьдесят седьмом году, когда он, в невидимых миру слезах, обезглавил свою любимую тещу Марию Стюарт и стал предметом почтенья и зависти передовых зятьев Возрождения. Труд Дальберга был высоко оценен. Яков Первый Английский наградил его титулом Лорда и орденом Топора первой степени.

В часы процедурных раздумий о судьбах Родины я умозрительно, но откровенно любуюсь моими досточтимыми праотцами. Тому ж, кто, стесняясь невысокого происхождения, пытается отыскать свои корешки в чужом огороде, говорю не тая: ступайте и посмотрите, какою гордостью за не столь уж далеких предков — безвестных работников основных путей сообщения, разбойников и пиратов — светятся и даже как-то неуютно посверкивают глаза австралийской элиты. Особенно с наступлением ночи — ночи цикад и летающих тараканов, слетающихся на террасы особняков послушать ноктюрнов; ночи кроликов, муравьедов и броненосцев; ночи сумчатых упырей и русалок; с наступлением сумчатой ночи, бредущей своими пустынями от норы к норе за зернами подаяния; ночи, пожалованной за беспримерное мытарство бриллиантовым Южным Крестом,— пожалованной и осиянной. Ибо к кому бы ни восходил Ваш род — пусть к самому отъявленному прохвосту,— Вы не вправе чванливо отворачиваться от родственника в годину его запредельного отчуждения. Ибо кто Вы такой — кто Вы сами, чтобы, не зная доподлинно обстоятельств земного его пребывания, мотивов, побудивших его к неверным поступкам или будивших в нем зверя, хулить его, осуждать. Что за бестактность, право! Да сами Вы после этого жулик, сударь. Жулик и сноб. И я первый не поприветствую Вас из своего экипажа.

При всем при том вести свою родословную от высшей аристократии, мне подобно, тоже не возбраняется. Это облагораживает, бодрит. И если бы я не имел никакой

информации о менее отстоящих предках моих, а среди приглашенных случились даже и знатные австралийцы, то и тогда я навряд ли ударил бы в грязь лицом на рауте у этрусков. Мне было бы чем блеснуть, генеалогически говоря, и им не пришлось бы краснеть за приемыша.

Так я мыслил, стараясь оценивать не только свои достоинства с колокольни этих беспримерно милых людей, а и достоинства их предложения со своей. Казалось, наша взаимозаинтересованность напоминает взаимозаинтересованность пары взволнованных Сарасате рук, которые не успокоятся до тех пор, покуда не встретятся, не обретут друг друга, и пальцы их не сомкнутся в замок, взаимозаполнив зияющие пустоты промеж. И лишь тогда Вам вздремнется.

И не беда, что, родившись и проведя столько лет в изоляции, за кремлевскими стенами, я никогда не бывал в Бельведере; зато теперь все во мне говорит за то, чтобы ехать туда хоть тотчас — хоть вскачь. И зато я пронзительно одинок, сиротлив, неуемно талантлив. И пусть, наконец, музицирую я не часто и не ахти — музыкален я дьявольски. У меня обостренное чувство гармонии, такта, отменный слух. «Э, батенька, да вы, я чай, абсолютный ушан»,— сказал мне Стравинский, когда на его бенефисе, ребячествуя, я спародировал ля-диез прокофьевской чайной ложки, упавшей на пол по нерасторопности Ростроповича. Словом, участь этрусских ценностей, в т. ч. и бумаг, представлялась решенной, и все во мне в предвкушеньи внучатых ласк и «прочих способов приятного времяпрепровождения» — мелодекламировало и сослагалось в благозвучные гаммы.

«Писать! — зазнобило меня.— Писать! Проволочки губительны».

Перо, которым я сочинял тогда, было вечным. Я дорожил им и соблюдал все инструкции. Пользуясь поршневым наборным устройством, я регулярно и тщательно промывал капилляры пишущего узла водою комнатной температуры. Я никогда не эксплуатировал

сей прибор возле пара и ртути, едких газов и щелочей. И ни разу — клянусь Вам честью! — не оставлял его у источника сильного излученья тепла.

Я отвинтил золотой колпачок, отвернул пластмассовый корпус. Затем, вращая рифленую гайку, набрал чернил и обнаружил себя в довольно растрепанных чувствах.

По причинам, которые если и будут изложены, то потом, жанр эпистолы до известной поры не манил меня совершенно. И если я редко писал в каком-нибудь жанре — так только в этом. И вот результат. Перед листом почтовой бумаги с грифом «секретно» и с водяным, потаенным оттиском «Дом Массажа Правительства имени Л. П. Берия» внучатый племянник последнего держится первоклассником. Не то чтобы нормы хорошего корреспондентского тона ему незнакомы: нет, он достаточно сведущ в них. Скорее, они ему просто претят. Положение усугубляется тем, что эпистола долженствует убыть во вне, в Зарубежье.

Безликая вереница наставников, гувернеров, бонн, призванных оттуда на частных началах к моему воспитанию, давно миновала. Но перед тем, как слиться вдали в типизированный образ ментора-эсперантиста среднего рода единственного числа, взятого в нуднейшем из падежей — винительном, эти модальные существа сумели придать воспитаннику известный лоск и подвигли к познанию целого ряда наречий, из коих и предстояло выбрать: на коем же изъясняться.

Древнегреческий и латынь отпадали без разговоров. Лапидарные, куцые, они бы только стеснили воображение. Тосский, наоборот, казался излишне велеречивым. Использование родного мне русского или грузинского могло бы создать у моих адресатов ложное впечатление, будто будущий внук их — невежа, неуч, не дружен с иностранными языками и, манкируя образованием, жуирует жизнь. Писать на этрусском? Да ведь писать на этрусском этрускам — не значит ли одолжительно снисходить к ним, снисходительно их обязывать? В баскском, признаться, я был не слишком силен, санскрит рисовался слишком уж мертвым, фран-

цузский — слишком живым, немецкий — черствым, английский — чопорным, а берберский нуждался в основательном освежении. Практики требовал и цыганский, поскольку шатры его непосед-носителей давно не пестрели у наших стен. Тягучие непогоды принудили этих теплолюбивых весельчаков откочевать ближе к югу. Парадоксально! Две-три скрипучих и хрустких, словно капустный лист, зимы кряду — и Вы начинаете путать спряженья. С другой стороны, морозы высвободили дополнительные часы для общения с более нордическими собеседниками. Служанка, развозившая на закусочной околесице утреннее какао и прозванная мною Эос, в те зимы заставала меня в вечерней еще воде за чтением Сен-Симона и Энгельса, Ясперса и Маркузе, Хайдеггера и Фурье. Не по летам скукожившаяся и жухлая в отмщенье за перлюстрацию моих манускриптов и ябедничество, она приходилась кузиной монгольскому маршалу Чойбалсану. Заметив как-то, что Эос тайком наблюдает мою процедуру из смежного туалета через небрежно закрашенное стекло, я вызвал ее колокольчиком и напрямик спросил: «Отчего вы так поступаете? Что вами движет? Не стыдно ли вам?»

Надменное монголоидное лицо ее прошила судорога замешательства, но: «Нисколько»,— сказала она насмешливо.

«Да? Тогда раздевайтесь».

«Что-что?» — притворно удивилась служанка.

«Что слышите. Я собираюсь нынче же наказать вас, чтобы вам наконец стало стыдно».

«Наглец!» — отвечала Эос.

«А вы — неискренни, дорогая, и это прискорбно». Бешенство овладело мною вполне. Не сводя с нее своего магнетизирующего взгляда, я откладываю «Психологию детского страха» З. Фрейда, хватаю служанку за тощую талию, возношу над собой и усаживаю себе на колени.

Она вся затрепетала. «Пустите, мне холодно!»

«Потерпите, сейчас согреемся»,— позволил я себе нечто в духе наших гвардейцев, нередко озорничавших со своими подружками в крепостных подворотнях.

Я действовал обходительно, но безапелляционно. Кисти рук моих словно бы сами искали и находили путь в неразберихе ее дорогого и модного для той эпохи тряпья со всеми его застежками и крючками.

«Только не это,— фальшиво жеманилась Эос.— Я ведь гожусь вам в бабушки».

«Только это, мой друг, только это»,— сказал я с какой-то даже печалью.

Нащупав необходимое, пальцы услужливо разобрали податливые лепестки лилéи, и мое нетерпеливое альтер эго устремилось в открывшийся лабиринт. Вода заиграла, вспенилась, и поза Эос, все более уступавшей инстинкту, принимала все менее пристойный характер. Совершалась Зевесова воля.

Мне шел, если не ошибаюсь, девятый год, и, естественно, то была далеко не первая моя связь. Бытовой уклад и неписаные законы Кремля являлись нисколько не монастырскими и предоставляли в известном смысле достаточные возможности. Ряд старейших актерок крепостного театра и цирка, сотрудницы библиотек, архивов, музеев и бань не считали зазорным уделить сироте часть досуга, тем паче что мужья большинства из них давно гнушались своими супружескими обязанностями. Однако ни с кем из служительниц муз не испытал я такого живительного катарсиса, как со служанкою Эос.

Причина тут, вероятно, в том, что к обычному и часто обыденному половому переживанию добавилось чувство восстановленной справедливости и сознание, что порок наказан. И невольно, хоть с робостью, сравнивал я себя с Бонапартом. Ведь тот укрощал дворцовых строптивиц именно этим способом, причем в самых неординарных подчас условиях: средь шумного бала, в пылу сражения, на параде. Сравнение было не в пользу автора. Мои условия показались бы корсиканцу непозволительно комфортабельными, думал я. И думал: «Нет, в узурпаторы я пока не гожусь». Так простая историческая параллель помогла осознать, что и в данном искусстве рука моя была еще далеко не набита.

И все-таки наказание выглядело достаточно профессиональным. Сначала я решил довести счет содроганий Эос до десяти и поступил так. Затем, не умея останавливаться на достигнутом, вынудил ее еще к четырем, после чего сбился со счета и ориентировался только во времени. Мы начали около половины восьмого, когда в предрассветных сумерках, сочившихся в окно процедурной *, зябко просеменили на заседание члены моего Опекунского Совета, а закончили после того, как они разошлись на обед, то есть около четырех пополудни.

Когда Эос в до нитки промокшем платье, и все пытаясь его зачем-то одернуть, выходила из ванны, плоский, однако уже ничуть не спесивый лик женщины более не вызывал во мне раздражения. Впрочем, и видеть ее я более не желал; почему и отправил сушиться на кухню.

«Я буду жаловаться,— проговорила она, обернувшись в дверях.— До Генералиссимуса дойду».

«Зачем? — удивился я.— Разве вам не понравилось?»

Тогда, осознав всю беспочвенность и утопичность своих намерений, служанка истерически расхохоталась, обнаруживая таким образом оба ряда вставных зубов.

«Вот видите, как смешно»,— молвил я с назидательной укоризной.

Монголка вздохнула и вышла. И сразу вернулась. По-девичьи прыская мелким провинциальным смешком и потупив очи мне в пах, говорила восторженно и подобострастно: «Ну надо же, надо же, экий ты весь великан».

Полагая сюсюканье моветоном, явленьем недопустимой развязности и безвкусицы,— «Будьте любезны с органами своей экзекуции пребывать на Вы! — прикрикнул я на служанку.— Преподанный вам урок не дает оснований для панибратства, равно и для комментариев. И — ступайте».

* Край ванны касался его подоконника.

Она удалилась, и мы остались просто приятелями. Впоследствии Эос уже не фискальничала, из чего я сумел заключить, что наказание пошло ей на пользу хоть несколько. А перлюстрировать и подсматривать она продолжала, ибо нету такой методы, путем которой мы исцелили бы женщину от любопытства. Я взял тогда специальные меры. Велел покрасить стекло в туалете в три слоя и начал писать по-чувашски. Беспомощно и вотще шевелились уста малообразованной Эос, пытавшейся прочитать мои тексты. Еще чуть ли не сам я указывал, что при всем своем любопытстве прислуга наша ленива, нелюбознательна и далека от лингвистики. Исключения вроде моего денщика Одеялова лишь подтверждают правило.

Проведя за кордоном полжизни и по мере возвращения из послания скупая газеты на станциях, Самсон Максимович Одеялов объяснялся с киоскерами лишь на пальцах. Долго я приглядывался к моему неразговорчивому попутчику, не решаясь найти хоть какое-нибудь объяснение его феномену. Наконец, в Богемии, в Пльзене, по-свойски распив с верноподданным дюжину одноименного зелья, отважился выяснить сей вопрос у самого Самсона.

«А чего это ты, Максимыч, наречиями пренебрегаешь? — пожурил я его.— Скверно, брат, скверно. Не к лицу денщикам российским с языками пижамничать».

Безоблачная до тех пор физиогномия Одеялова оживилась досадой, и он возражал. «Ах, Ваша Вечность!» — возражал он. И тут же, расхныкавшись в плисовую палисандровку, сушившуюся после ванны на плечиках, рассказал, как все было. Я же, внимательно сидя в своем хитатаре, скромном халате для повседневной носки в средневековой Японии, дал тезисы.

В механических мастерских, где бьет баклуши какой-то замасленный разнорабочий люд, из коего Сидоров выбивается в мастера, а Петров навсегда остается в простых механиках, находит себе посильное применение и отец моего Одеялова, Одеялов-отец, отец которого, Одеялов-дед, сотрудничал там же. Если не прини-

мать во внимание молотки, не считать их, то из утвари, более или менее регулярно употребляемой в мастерских, достаточно упомянуть лишь угольники, клещи, тиски, наковальни, какие-то рашпили да кое-какие сверла. А что касается дефицитной наждачной бумаги, то достать ее можно было только у Сидорова, да и то не toujours.

Волей случая мастерские располагались на берегу проистекавшей из-за поворота реки и в кустарниках. И тогда, слегка закусив, молодые рабочие принимались ухаживать за гулявшими там работницами. Так в силу стечения обстоятельств родился Одеялов-внук.

А война, как обычно, выдалась пыльная, затяжная, и что до механиков, то мобилизация, а образнее выражаясь, лезвие ее брадобрея, коснулось всех поголовно. Только Петрова и иже с ним забрили на передовые, а Сидорова командировали в Бангкок за наждачной бумагой. Меж тем в цехах расформированных мастерских, торопясь на позиции, отдыхали кавалеристы интернациональных бригад. И в то время как местные барышни искали и без труда находили с зарубежными наездниками общий язык, более мужественное население держалось особняком и, полагая кавалерийскую белиберду несусветно чучмекской, глядело на конников буками. Ни бельмеса не понимает и подрастающий Одеялов. Однако пытливый, неистово он берется за языки: изучает, зазубривает и всякое слово, брошенное из седла, подхватывает на лету. И выучив множество языков, похвалялся. Узнав об этом, Господь решил наказать Одеялова и смешал их у него в голове, будто игральные кости в горсти своей. И перестав различать их, Самсон взял ружье и ушел добровольцем. И армия стала ему как мать. А война — продолжалась.

«Принимая участие,— жаловался Одеялов,— не понимаешь, когда стрелять. Днем все прячутся, в сумерках все похожи, а ночи на фронте густы и наваристы, словно солдатские щи, и пуля в них вязнет и плющится».

Человек почти что нечеловеческого сложенья, почти с меня, лейтенант самокатных войск С. М. Одеялов

с боями докатывается до предела непонимания и короткими перебежками отправляется вдаль.

«Та кампания закончилась миром, позорным для всех сторон,— резюмировал мой денщик.— Им досталась Вестфалия с Лотарингией, нам — Чукотка да Колыма». И, забеспокоившись, где стоим, он выходит скупить газет.

Ну-с, а Вы, господин Биограф, что там поделываете? Что скажете, сударь? На каком языке Вы писали бы на моем месте потенциальным родственникам? Посоветовали бы хоть постфактум. Молчите? А может, Вы тоже далеки от лингвистики? А? Но с этрусским-то, я надеюсь, накоротке? Иначе как же читаете Вы настоящую рукопись? В переводе, что ли? Иль Вы не читаете? Так читайте, читайте — Вы слышите? Непонятно. Да и вообще — что о Вас мне известно? Не скрою, сведения чисто гипотетические. Историк? Естественно. Исследователь архива? Сотрудник Палисандрова дома-музея, что должен быть расположен в здании Грановитой Палаты? * Почти уверен. Сидите, небось, копошитесь себе месяцами в моем барахле, перебираете разные там обноски да выброски — классифицируете — сортируете, письма — сюда, зубочистки — туда. Ах, неужели, мол, это факсимиле, неужели его рука касалась этой простой пипетки, неужто он сам скатал этот катышек из билета на конку. А денежка Вам тем временем государственная течет, денежка капает. Ну, положим — факсимиле, скажем — касалась, допустим — сам. Что нужды? Странный Вы, право, какой-то. Какая-то Вы, м. г., тварь дрожащая: все трепещете, умиляетесь, приискиваете утраченные другими иллюзии. На черта они кому сдались, между нами, девочками, говоря. Приискали бы лучше занятие почестней. Сегодня, в пору мистических откровений, Ваше место на сквозняке истории, а Вы тут сидите, эстетствуете. А кстати, бывали ль Вы в Бельведере? Конечно, конечно бывали. Там мило, не правда ли? Мой совет: воссоздавая пейзажный

* Так я по крайней мере указывал в завещании.

фон, не жалейте реалий и красок. Упомяните бегонии на лугу в Мулен де Сен Лу — непременно. И пинии. И мускусных лебедей, что развел Сибелий, наш управляющий *. И холмы, и куртины, и заходящее прямо в озеро солнце. А знаете, как любили мы наблюдать закат с галереи флигеля? Очень! Причем тот из участников зрелища, кто первым вскрикивал, едва светило притрагивалось краем своим к воде, за ужином получал две — подумайте! — сразу две порции сладкого. Какая живая традиция, но сколь недолго все длилось, сколь страшно рухнуло в тартарары. И все из-за женщины. Женщины, сударь, они в общем случае — зло. Поберегите же честь, будьте бдительны и бегите сих алчущих плотского. Не забывайте, до чего довела меня Мажорет, переоценив все ценности и принизив высокое. Хотелось бы так же выяснить, какие пути привели Вас к моим нотабенам, в мои кабинеты, чертоги. Званы Вы или призваны? Дайте как-нибудь знать, сообщите. Это краеугольно. А все напускное, наносное, вроде Вашего роста, возраста, пигментации и других особых примет — оставим в покое. В конце концов, мы ведь не в полицейском участке: расслабьтесь. И примите мои уверенья. Ваш П.

Пространно раздумывая о печальных последствиях вавилонского катаклизма, решая, которое же наречие выбрать, чтобы успешней снестись с предстоящими близкими, машинально продолжал перелистывать «Албанское Танго». Интернациональная пестрота публикуемых материалов радовала. Тут всемирный конгресс ухогорлоносовиков молнировал о чем-то премьер-министру Навуходоносору, там уж который век шла дискуссия меж самоедами и вегетарианцами, а здесь продолжалась полемика в среде отставного жандармского воинства. Пикируясь с товарищем по оружию и называя того штафиркой, автор перепечатанного из «Пари-Матч» письма настаивал, что при обороне Бастилии конники их отделенья подвязывали хвосты лошадям

* По другим источникам — гувернер княжны Н.

желтоватыми лентами, а товарищ настаивал на розоватых и требовал сатисфакции и восстановления исторических правд.

Литературную часть украшала глава из книги маститого русского мемуариста Оползнева «Огни и Воды». «Чу! — в частности вспоминал он.— Пофриштикав артиллерийскими клецками и подошвами вверенного ему Его Величества Таврического полка раздрызгивая бульонного вида слякоть на Сенатском плацу, Сигизмунд Спиридонович Чавчавадзе-Оглы, хорунжий, чутким ухом бывалого бонвивана уловил холостой, как он сам, хлоп кухмистерской пушки, возвестившей, что в принципе можно б и отобедать. Тогда, усмотрев за рекою, над бастионами Петропавловской крепости шар бурого порохового дыма и собственно закурив, Сигизмунд Спиридонович загляделся на шпиц, величаво венчающий достославное заведенье, куда незадолго до здесь описываемых событий перевели офицерскую ресторацию, обретавшуюся прежде в Адмиралтействе и без сомнения благопрепятствовавшую работе последнего».

Опрометью просмотрел я нехитрую крестословицу, мысленно заполняя ячейки этих словесных сот. Черный железистый турмалин? Несомненно мерл. Согласный звук, образуемый при загибе кончика языка к твердому небу? Естественно, церебральный. Шестибуквенный кулинар наследного принца Конде, убивший себя за то, что не смог приготовить заказанное ему блюдо в срок? Разумеется, Ватель *.

Имелась и викторина. Верно ли, интриговал составитель, что род победоносного Ганнибала восходит к племени каннибалов, что Капабланка наездами живал в Касабланке, Шопен держал переписку с изобретателем мусорных урн господином Пубеллем, а тот в свою очередь — корректуру его сонат? Верно ли, наконец, что Голда Меир в девичестве состояла в возвышенных отношениях с Шикльгрубером, и когда правительство

* Ах, Артак Арменакович, мой верный, но непослушный повар Амбарцумян. Разве способен ты был на подобную жертвенность хоть фигурально.

Нидерландов не оказало ему политического приюта в Гренландии, он спрятался в Палестине под именем Моше Даян и наглазной повязкой? Я отвечал уклончиво.

А на странице тринадцать печатались некрологи — — — как вдруг налетевший сквозняк задушил свечу, и я принужден был прервать составление настоящих записок.

Я заметался. Неправда, что я боюсь темноты. Зря болтают. Однако же и любить ее не имею достаточных оснований. И я заметался в своем хитоне, как подсадной аргентинский вампир по кличке Перон, которого натаскали наши новодевичьи ловчие. И когда мы, бывало, стояли на тяге летучих мышей, он, привязанный за когтистую лапу к макушке какого-нибудь монумента или креста, так и вился. Я заметался по всей моей бункерной спальне. Забыв о слепорожденности ее окон, я принялся лихорадочно раздвигать гардины и закричал: «Одеялов!» Денщик возник. Он возник, гремя коробком шведских спичек и поскрипывая несмазанным сторожевым фонарем, словно молошным бидоном, с которым мавзолейные часовые отлучаются в колониальную лавку напротив: дескать, за молоком, а в действительности приносят в подобном бидоне бутыли с так называемым белым, каковое и распивают на важном посту, за что получают выговоры от меня персонально. Ибо, располагая зрительною трубой, я сижу в мезонине Смотрильной башни и наблюдаю.

Так что не правы окажутся те догматики и схоласты, что станут с высоких университетских кафедр уверять нашу прекрасную учащуюся молодежь, будто армейская дисциплина при мне ослабла. Ослабла не дисциплина, а показуха — учтите. И не ослабла даже, а просто упразднена. Вместе с ней упразднен и ряд других институций. К примеру — бюро прогнозов. Ведь, фаталист, я решительно против гаданий; que sera — так, собственно говоря, и sera *.

* Как будет... — так и будет *(исп.)*.

Ночной струит, стремит
Эк
    зис
        тен
            циа
                лизм,

указывал я в поэме «Беседы с Сартром».

Я взял у Одеялова протянутые мне им спички и оживил свечу. Операция удалась на славу, если не считать тех по ловкому совпаденью семи остывающих на данном листе стеариновых капель, что сберегут для Вас оттиски моих пальцев: тех тоже ведь семь, как у деда. Воспользуйтесь лупой, всмотритесь. Линии отпечатков замкнуты, концентричны и, словно круги на древесном срезе, с годами растут числом. Не поленившись учесть их количество, следователь узнает возраст преступника, Вы — мой.

О неуемные пальцы мастера, вы уже тронуты увяданьем. Стесняясь конкретно запечатленной в них избранности, он бдительно прячет эти чуть скрюченные, подагрические побеги куда придется: в муфту, в варежки, в карманы пальто. Или прячется весь. Отшельничая, лелея свое ни в чем не участие, он мечтает, хандрит, переводит картинки и презирает толпу. Презирает, но — соглядатайствует за ней. За ней — за улицей — площадью — за градом игр человеческих. И отражает увиденное со всеми подробностями и неурядицами, коими только и живо искусство. Ибо: «Да здравствует ишиас и холера, свинка и почечуй, инфлюэнца и люэс, чесотка и лунатизм!» — восклицают исцелители человеков. «Да здравствует хлеб наш насущный — грех!» — рассуждает служитель культа и бульваристка, околоточный и адвокат. «Да сбудется тьма египетская!» — молится просветитель. «Да-да, непременно сбудется,— мыслит художник,— да здравствует все перечисленное плюс все прочие неувязки и глупости вроде несчастной любви, отчужденья, семейных сцен и добрососедского человеконенавистничества». Так как что же ему описывать, если этого ничего не станет? Ведь далеко не каждый удовлетворится пейзажною лирикой. Вам, обыва-

телю, вынь да положь трагедию, драму, зрелищ Вам подавай. Не напрасно по данным журнальных статистиков самая популярная рубрика — некрологи.

Страница тринадцать кишела ими.

«Умер как бил — наотмашь»,— восторженно отзывался некий боксер о благородном жесте соперника: тот выбросился из окна гостиницы накануне решающего поединка. В возрасте шестидесяти четырех лет оставил свой клетчатый мир какой-то гроссмейстер, и где-то в курзале имело быть умилительное публичное проигрывание последней, навсегда им отложенной партии. Сообщалось о гибели знаменитого бедуинского лесоруба, видного индийского матадора, почетного монтекарлского нищего. Умер и Зуммер, отец прерывистых телефонных сигналов.

Полоса была сверстана вдохновенно, со вкусом, и все некрологи смотрелись необычайно броско. Но самое очевидное место на сей прискорбной скрижали досталось единственному небезразличному мне уведомлению, и ясно, что поначалу я словно бы не заметил его, как если бы текст и портрет были смазаны, смутны. Типично: если у Вас умирает близкий, то Вы до того не желаете признавать факт утраты, что готовы решительно его игнорировать и считать покойного просто вышед: вот-вот вернется. Так в наших солдатских учреждениях чтят память героя, не смея сминать ни постель его, ни мундир.

Еще более неожиданной и несуразной представляется Вам зачастую смерть собственная, т. е. собственно смерть. Потому что покуда дело идет о прочих, Вы говорите ей в принципе нет, помещая этот феномен в область голой абстракции и рассматривая его лишь как некий эрзац, абсурд или жупел. Когда же в итоге всего на свете приходит и Ваш черед, Вы оставляете желать много лучшего. Вы огорчаетесь, ударяетесь в панику, браните врачей, палачей, судьбу. А теперь обратите внимание на меня. Хотя я и специализировался по классу гробокопания и кремации и шел на одни пятерки, смерть меня никогда не тревожила. Я презирал ее. И поэтому Ваши стенания, жалобы мне недороги

и невнятны. Доверительно поверяя Вам скромный опыт своего бытия и бессмертия, могу рекомендовать в приказном порядке: отставить! прочь слабость! Стыдитесь ее и будьте, как я — без упрека. Ибо еще немного — и кончено. И Вас уже нет. И Вам уже не отмыться. Не высветлиться. И лик Ваш — Ваш образ ни при каких правительствах — никогда! — не воссияет в веках. И вымпелы с Вашим профилем никогда не зареют на реях. Будьте, как я и как Муций Сцевола, Геракл и Феникс. Будьте — и поступайте по вышеобъявленному: уходя — уходи. Лишь тогда, может быть, обессмертите Вы свое имя, как сделал это мой дедоватый. Его некролог начинался словами:

«Такого-то года, месяца и числа в Кремле известный государственный деятель кавказского происхождения Л. П. Берия, сказавшись занят, стремглав покинул экстренное заседание, проходившее в здании так называемого Сената, и, взойдя на Спасскую башню, покончил с собою на циферблате ее часов. Было без шестнадцати девять. За истекшие десятилетия в гармоническом сотрудничестве с подчиненными покойный с офицерской четкостью заботился не только о благозвучье курантов, но и о благозрачности сооружения».

«Брикабраков! Я знаю, что вы опять стоите за дверью!» — крикнул я, дочитав сообщение о великой гибели.

«Простите,— немедленно отозвался граф.— Я хотел постучаться, да призадумался. А в чем дело?»

«Во-первых, подсуньте ключ от шкатулки».

«Извольте»,— сказал Брикабраков, подсовывая.

«Во-вторых, я прошу вас теперь же телефонировать в крепость и выяснить обстановку, а то сидишь тут в монастыре, как в деревне, и ничего не знаешь. Вы, кстати, просматривали свежие некрологи?»

«Не успел еще, закрутился. А что — имеются негативные?»

«Вроде бы. По крайней мере, один. Впрочем, я не уверен. Вернее, не хочется верить. Во всяком случае, не серчайте, что не могу отворить. Не одет. Точнее,

переодеваюсь. Хочу поменять пижаму. Сменить. А то отсырела. Пожамкалась. Терпеть не могу подобного».

Интуит, мастер сложной дворцовой интриги, я, признаться, вводил Брикабракова в известное заблуждение. Затворничество мое было вызвано вовсе не переодеванием, хотя, положа руку на сердце, я действительно не отнес бы себя к любителям влажных пижам и в течение процедуры не раз задаю себе труд снять волглое и надеть сухое. Истинная причина моего нежеланья открыть опылителю носила характер порочной и относительно жгучей тайны.

Накануне, после того, как Оле́, восклицая «брависсимо», удалился из ванной с ключом от шкатулки и я начал читать оставленную курьером газету, ко мне опять постучали. Застегнутый на сей раз несравненно подробней, я отворил безо всякой опаски. Впорхнула Жижи. Речь ее представляла собою легенду о траченном молью нижнем белье и сводилась к просьбе о разовом вспомоществовании на предмет обновления гардероба. Именно в ту минуту знакомился я с бельевым футурологическим обозрением и посоветовал массажистке не торопиться растрачивать наши казенные средства на быстро устаревающую одежду, а подождать обозримого будущего, когда мода внесет в нее новые коррективы. Тогда Жижи заявила, что я, вероятно, не понимаю серьезности ее затруднений, что она не желает в глазах клиентуры выглядеть оборванкой, и, задрав на себе нечто среднее между ночной сорочкой и бальным платьем, принялась демонстрировать мне исподнее.

«Вот, право, докука»,— подумал я. Но из вежливости коротко покосился. Действительно, и трусы, и чулки «перманентки», поддерживаемые резинками пояса, казались чем-то изъедены. Они были сетчаты, словно фасеточный глаз насекомого. Лифчик был испещрен отверстиями в равной мере. Видневшаяся сквозь них кожа производила впечатление слишком гладкой и матовой. Несмотря на свои сорок с лишним, массажистка смотрелась удручающе молодо и свежо. Тем не менее у некоторых членов правительства — особенно

у геронтократов типа Пельше и Суслова — она пользовалась успехом и вызывала приливы творческих сил. Я пообещал, что поутру выдам ей денег из специального бельевого фонда, которым я заведовал по совместительству, и опять углубился в чтение. Увидев это, Жижи начала упрекать меня в безразличии к ее обстоятельствам — профессиональным и личным — и, бурно расстроившись, вдруг открылась. Мол, с первого взора на злачном вокзале грезила она о неких взаимоотношеньях со мною, не исключающих, по ее выражению, даже близости.

Бедняжка Жижи! Могла ли она представить, насколько неоригинальны были поползновенья ее и как часто ее ровесницы и более молодые особы строили мне аналогичные куры, домогаясь хоть некоторого вниманья. Имя им — легион Похоти. Бравируя неглиже своей исступленности, они высказывали готовность на любое безумство ради удовлетворения этой слюнявой музы. А ведь не все, далеко не все из них были, что называется, падшими. Наоборот, в большинстве своем они были весьма и весьма приличные, светские дамы из хороших семейств. Жены и дочери, невесты и невестки, племянницы и кузины министров, значительных дипломатов, всевозможных светил. И все-таки поразительным прахом шли усилия упомянутых женщин. Милые плаксы, неистовые воительницы, любвеобильные амазонки! Как безнадежно и непростительно юны представали вы перед будущим Командором, сплошь да рядом подкарауливая его в укромных местах в уповании украсть поцелуй и вверить ему свои упругие прелести. Вы оказывали ему знаки внимания, а он как будто не замечал их. Искали встреч — уклонялся. Посылали записки — сжигал, не читая. Цветы? Оставлял подметальщицам, прачкам. Простите, но он не давал вам ни шанса.

«Голубушка,— не обинуясь, но и по-прежнему не отрываясь от чтива, сказал я Жижи,— отчего вам рыдается? Что в моем отношении к вам заставило вас уповать на вероятность более тесных контактов? Неужто я, сам того не заметив, представил повод?»

«Ах, нет,— отвечала она.— Вы, наверное, ни при чем. Я вас, должно быть, придумала. Но! — пала она на колени и ухватилась руками за край моего плескалища, будто усматривала в нем залог своего спасения,— но к чему эта холодность, нелюбезность. И зачем вы все время читаете».

«Затем, дорогая моя, и к тому, что я навсегда взволнован другою»,— расставил я точки над і, разумея, естественно, Ш. И хотел уже объявить графине об окончании аудиенции, как — довольно внезапно — пошла реклама колбасников. Извещения сопровождались изображениями наименований: сосисок, сарделек, колбас. Иллюстрации были такого характера, что распалили бы и цинических коллекционеров граффити, составителей аморальных уборных сборников. Словно б комплект балалаечных струн натянулся во мне при виде этих наглядных сальностей. Фантазия самого низменного полета разнузданно засучила лапками, и я в секунду вообразил, как некая опытная покупательница, придя домой с одним из таких наименований, тихо делит с ним скромный досуг.

Наделенный способностью к зрительным галлюцинациям, я увидел почти воочию, как женщина расстилает постель, задергивает занавес и разворачивает покупку. Вот она разворачивает ее. А вот уже развернула. Разоблачается и сама. На дворе, вероятно, декабрь, и на ней — поношенная кацавейка, несколько вязаных кофт, длинное, еще гимназического покроя, платье с оборками, ботики или ботинки. И все перечисленное перештопано, периферийно, повытерто в очередях за пособиями, в склочной сутолоке толкучек, в омнибусной толкотне. И все это следовало бы подновить, а то и справить обновки, да много ли на пособие справишь, много ли обновишь. И все это надо — снять. Снять поспешно. В волнении. Предвкушая.

И ледащая, словно ист-эндка-лондонка, с неухоженными и по-отрочески большими ушами, с тощим личиком в обрамлении мелких крашеных завитков, с сухощавой чешуйчатой кожей предплечий, шеи, спины, серой ящеркой юркнула ты под темно-вишневую шаль.

Тем не менее я и там, в полутьме, нахожу тебя, ясно вижу, пристрастным оком вкушаю от застарелого, сухопарого твоего греха. Воображая, будто противишься чьему-то насилию, ты сама же его и творишь. Ты............ (Здесь и далее многоточие заменяет мысли, оставленные автором при себе по рекомендации Комитета Самоцензуры, который он учредил при своем Опекунском Совете.— *П.Д.*) Вернее, не ты, а — кто-то — кто? кто это столь утонченно, угрюмо и яростно бередит твое естество, вожделеет к запретному? Кто именно вознамерился обесчестить тебя, пожилую жеманницу, фифу, прельстительную недотрогу? А-а, может быть, это тот самый проезжий корнет, что ночевал в номерах, где служила ты в молодости кастеляншей. Снова — как некогда — вошел он к тебе без стука и, подбоченясь, надменно овладевает тобою — без заверений, без клятв, и назавтра — чуть свет — отъезжая в заброшенной грязью пролетке — даже не обернется. А может, это небезызвестный пройдоха, что дважды стоял у вас на квартире: сначала во дни твоего девичества и в качестве миловидного юного барина, а затем седовласым в чинах военным, когда ты уже овдовела, выдав замуж едва ли не пятерых дочерей. И оба раза, несмотря на сначала твои капризы, а затем — на свои ранения, делал то, что желал. Делал шумно, чинно и долго, словно догадывался, что и ты втайне хочешь, чтобы это никогда не кончалось. О, как жалобно он стонал! Наконец, далеко не ходя, то, быть может, просто колбасник, отвесивший тебе сегодня свой мясистый батон. Колбасники, мясники да лекари — все они одного поля ягода, все — дородные, ушлые, руки у всех волосатые, за ухом — карандаш. И не зря сей колбасник участливо так подмигнул из-за стойки: вот и нагрянул. Огромный, душно пропахший своим товаром, он засучивает рукава по локоть и, обнаруживая всю низость мужской натуры, безжалостно размежевывает тебе чресла. Кричать? Не услышат. И ты сама, торопливыми пальцами спялив скользкую кожицу с гуттаперчевой мякоти наименования, покорно влагаешь его оконечность туда, где все уж исполнено теплого

влажного ожидания. А откуда-нибудь — например, из комода — тянет одеколоном, ладаном, и где-нибудь за стеной, у соседей, о чем-то безмерно своем сокрушается молодой Карузо.

Став невольным свидетелем описанного грехопадения, я испытал два чувства: сочувствия и соучастия. Они смешались, вступили в противоборство. Жалость к попранной не могла, однако, притупить моего желания довести предпринятое до конца; тем паче что поставив себя на место несчастной, я понял: не довести — значило бы унизить ее совсем, оскорбить еще более изощренно. Вместе с тем, ревнивое и чуткое присутствие массажистки затруднило бы воплощение плана в жизнь, а отправка Жижи во вне, церемония завершения аудиенции потребовала бы соблюдения минимального этикета, какого-то диалога, и такие церемониальности могли бы не только ослабить порыв соучастия, но и свести последний на нет. Эта пиковая ситуация подвигла меня на беспрецедентный в моей биографии компромисс с моралью. «Да, я взволнован другою,— сказал я просительнице.— Но если угодно — allez-y *». Повторять приглашение не пришлось. Не раздеваясь, она вступила в плескалище и уселась мне на колени так, что если бы нас не разделяло «Албанское Танго», то мы сидели бы vis-a-vis. Бельгийка вознамерилась было извлечь издание из рук дерзающего лица, но то заверило, что газета нисколько не помешает, и попросило ее заниматься непосредственно тем, ради чего она уже так подмочила себе и платье, и репутацию.

Желая сделать мне местный массаж, графиня стала на ощупь, под грязью, изыскивать доступ к моим святыням, но пальцы ее заблудились в застежках и пуговицах пижамо́ и безвольно повисли какими-то щупальцами. Я поспешил на выручку. Отложив газету на канапе, я привычным рядом приемов высвободил — раскрепостил из-под гнета материи то, чем мы с такой методичностью услаждаем женщину, реже — мужчину, а в клинических случаях — четвероногого друга.

* Давайте *(франц.)*.

Услаждаем, а вместе и унижаем. Поэтому несмотря на всю выслугу лет, верноподданность, стойкость и другие бойцовские качества оно не составило себе настоящего, доброго имени, не выстрадало его. Вынужденное вести неявный, сумрачный образ жизни, издавна оно обзывалось кличками, исстари поминалось всуе. Но деликатность — по крайней мере вербальная — оставила, к счастью, не всех нам подобных. К примеру, неистовая Мажорет, при всей своей половой распущенности, ни в речи, ни на письме не признавала ничего, кроме интернационального реченья *зизи* (курсив мой.— *П. Д.*), уникального в том отношении, что в нем нету ни тени вульгарности. Благосозвучное ветровым колокольчикам, оно не осквернит и младенческих уст, и при желании им можно именовать гениталии и джентльменов, и дам; двусмысленное, оно изумительно куртуазно. Позаимствуем же его.

Веретенообразное, как «Наутилус», мое зизи проникло в подводный грот госпожи Брикабраковой, легко прошив эфемерные водоросли ее белья, и чтобы не зреть отвратительных корчей, гримас, не слышать ее фарисейской мольбы о пощаде, я снова загородился от этого мелодраматического персонажа этрусским еженедельником и поудобней откинулся в моем надувном вместилище. И меж тем как графиня визжала и плакала, елозила и ходила винтом, я все более углублялся в колбасные разновидности, длил порыв соучастия и служил у моей периферийной вдовы то корнетом, то генералом, то мясником. Поочередно и вкупе. А после снова поставил себя на ее место и больше уже сочувствуя, нежели соучаствуя, подвергся уничижению сам — мясником, корнетом и генералом; а также самим собой. Причем это, последнее, изо всех безумств было, пожалуй, изысканнейшим.

Доводить предприятие до кульминации и развязки пока не хотелось, и чтобы слегка ослабить порыв, я перешел от колбас к «всякой всячине» и некрологам. Доглатывая некролог по Лаврентию, я ощутил, что за дверью кто-то стоит. Вернее, не кто-то, а Брикабраков, и, если Вы помните, вступил с ним в переговоры.

«Брикабраков! — вскричал я ему.— Я знаю, что вы опять стоите за дверью!»

Успели ли Вы обратить внимание, что я абсолютно не поинтересовался судьбой энной суммы, которую он якобы собирался изъять из моей шкатулки. Дескать, ну что, Брикабраков, изъяли? — позволительно и логично было б спросить у графа, когда тот подсовывал ключ. Логично, то есть по Вашей логике, по разумению стороннего наблюдателя, понятия не имеющего об условиях существования в закрытом кремлевском обществе, где формальная логика не в чести и подвергается остракизму. В наших сферах, милейший, играли по большей части в другие игры, кипели другие страсти, нежели в Ваших. А значит, и правил придерживались других. Так, Брикабраков был наперед уверен, что ключ, который я накануне вечером отстегнул от монисто и подал ему, чтобы он отомкнул им шкатулку,— шкатулку не отомкнет. Граф знал, что монисто носит чисто декоративный характер и набрано из ключей фальшивых, которые не подходят ни к одному на свете замку. То были, в сущности, не ключи, а ключевые болванки, какие Вы видите в скобяном ателье, у ключника: заготовки без желобков и зазубрин, железные tabulae rasae, коим лишь предстоит стать ключами в итоге слесарных манипуляций *. А я, в свою очередь, был уверен, что Брикабракову вовсе не нужно денег, что история с проигрышем в покер есть блеф, и что просьба об одолжении их — лишь предлог навестить меня в процедурной. Зачем навестить, однако? Чтобы наговорить всяких колкостей, язвительных сплетен? Выведать мои настроения? Взгляды? Узнать, чем я тут занимаюсь? А затем доложить по команде и выслужиться? Казалось, на сей раз визит опылителя продиктован был соображениями иными, возможно, и не его собственными. Но — чьими? Какими? Это было загадочно. И я притворился на всякий случай, будто поверил в его историю, внял шантажу, согласился дать денег. А он

* Настоящие ключи хранились мною в особом месте.

сделал вид, что поверил в мое согласие, в функциональность ключа, и направился якобы отпирать им шкатулку, отчетливо сознавая, что та — тоже является фикцией — чистой условностью — сном моего филигранного разума.

Словом, мы оба лгали и изворачивались, тщась уверить друг друга, что верим друг другу, и каждый знал, что не верит тут ни единому слову: ни своему, ни партнера. Мы играли в порочную круговую поруку завзятых лукавцев, лжецов, в типичные словесные поддавки, некогда столь популярные там, где я появился на свет, жил и — буду, и буду, запав в сознание трехсот семидесяти миллионов сограждан. Игра завораживала, пленяла. И если я не поинтересовался у графа, изъял ли он энную сумму, то лишь потому, что, прочтя некролог Лаврентия, стало не до забав. Я ведь сделался опечален. «Эх, дядя, дядя,— мыслилось мне,— сколько решительных мер ты мог бы еще принять на благо отечества».

Но если я снова пытался ввести Оле́ в известное заблуждение, то вовсе не по соображениям траура, не затем, что желал бы остаться в те горестные минуты один. Впустить Брикабракова в ванную комнату просто не виделось мне резонным, ибо здесь уже находился один представитель этой весьма обедневшей, но все еще знатной фамилии.

«Телефонируйте,— бормочу я Оле́.— Разузнайте, не нужно ли вывесить флагов печали. И если нужно, то выясните, ради Бога, что с ними сталось, а то я в последние сроки их не усматриваю, не наблюдаю. Уж не побила ли моль. Бархат все-таки, креп, материя».

«А почему бы вам самому не телефонировать?» — снадменничал Брикабраков, меж тем как супруга его беззвучно юлила и сотрясалась, будто пронзенная дичь. Мыльная пена в плескалище давно опала, и на поверхности грязи интерферировала мельчайшая рябь экстатического озноба.

«Да видите ли,— возражал я Оле́,— процедура, купаюсь, не хочется прерывать. И потом, вы же знаете, экий я увалень: у меня и мизинец в те дырочки не влезает».

«В какие?»

«На телефонном диске».

«А карандаш? — спросил Брикабраков.— Попробуйте карандашом».

«Подобное,— рек я графу,— мне глубоко претит, ибо отзывается извращением».

«Миль пардон,— отвечал Олé,— миль пардон».

Между тем ситуация становилась критической. Массажистка была близка к тому кратковременному, но буйному помешательству, которое наступает у дамы в минуту запредельного возбуждения, когда она по существу собой не владеет и самовыражается исключительно шумно. И мне представлялось, что если до той минуты я не успею откомандировать Олé на достаточное расстояние, он — несмотря на пробковую облицовку стен — все услышит и все услышанное истолкует превратно.

Я не успел. Казалось, где-то неподалеку прорвало кингстоны. Жижи забубнила, заквакала, заклокотала, и зизи мое сверху донизу обдала волна тепловатой, утробной слякоти. Мельком взглянул я на массажистку через прореху в газетном листе: сейчас, в апогее чувственности, графиня смотрелась на редкость непрезентабельно. В частности, очи ее закатывались за горизонты век, как в падучей.

«Палисандр! Не кощунствуйте. У нас сегодня, быть может, день скорби, а вы опять мастурбируете,— истолковал услышанное Олé.— Я сообщу Лаврентию».

На что я воскликнул: «Не кощунствуйте сами! Ибо если мы и скорбим сегодня, то именно по Лаврентию Павловичу». Сказав так, я рассмеялся смехом леонкалловского паяца — смехом тамтама и бубна, переходящим в рыдание виолончелей, скрипок, виол.

«Возможно ль! — вскричал Брикабраков.— Не Берия ли собирался быть нынче у нас с инспекцией!»

Тут зазвенели бубенчики, и на подворье въехали правительственные экипажи. В тот час у ворот суетились пильщики. Они рубили так называемые дрова, и сидевшие в экипажах могли наблюдать, как на пилах и топорах разгорается новое утро.

Я скомкал формальности, завершил предприятие и выпроводил графиню через запасный выход. Грязь струилась с Жижи каскадом, и, глотая слезы глубокого удовлетворения, вся она глядела пожамканно, как пижама. Мы простились.

В конце коридора заслышались голоса, шаги, и часть из них несомненно принадлежала Андропову. Отличнейший гитарист, детство свое претерпел он в Мордовии, в юности пел и плясал в цыганском хоре особого назначения, знался с Вертинским, Лещенко, был на короткой ноге с Шаляпиным, Верой Холодной, Айседорой Дункан, был неудачно женат на сестре абстракционнста Кандинского, а после ее ухода к архитектору Корбюзье выдвинулся по протекции Полины Молотовой (Жемчужиной) в ординарцы моего дедоватого дяди.

Да и вообще из мира сценического искусства, с эстрады в Кремль шагнуло немало ярких, истинных дарований. Начинала с канкана выученица Петипа тетя Катя Фурцева; известным у себя на Урале канатоходцем и вольтижером был когда-то Яков Свердлов; Анастас Микоян устраивал публичные спиритические сеансы; а Жданов работал маркером в игорных домах Мариуполя.

«Ба! Дядя Юра! Какими ветрами!» — приветствую утром одиннадцатого февраля полковника Юрия Владимировича Андропова, взошедшего ко мне в процедурную. Мы обласкались.

«А я к тебе с грустным известием»,— просто сказал Андропов.

«Не надо,— еще проще звучал мой ответ.— Я знаю».

«Тем лучше. Тогда я хотел бы потолковать с тобой о другом. Конфиденциально. Есть дело государственной важности. Чрезвычайно келейное. Речь идет о коренных преобразованьях».

«Нишкните! — черкнул я Андропову огрызком симпатического карандаша на поле “Албанского Танго”.— Здесь всюду крутится Брикабраков. Давайте-ка лучше умчимся».

«Куда?» — отписал полковник.

Несмотря на цыганское его прошлое, артистические заслуги, знаки отличия, ордена и медали, внешность дядюшкина ординарца была почти ординарна. Неброскость его, однако, сполна окупалась летящим — словно бы к «Яру»* — почерком. В нем прочитывались и какое-то удальство, и какая-то глубоко потаенная лихость, и какое-то даже ухарство, выгодно сочетавшееся с предельною скромностью **.

«Для обсуждения дел государственной важности, милейший Юрий Владимирович,— писал я ему,— места укромнее Сандуновских бань я не знаю».

Мелькнул искаженный зевотой лик отца-привратника Никона. Возник и исчез Тимирязев, преобразованный в бронзу селекционер. Шагнул и канул психопатический Маяковский. Ни за грош пропали заядлые дуэлянты Пушкин и Лермонтов. Сгинули где-то за рубежом первоклассные публицисты Герцен и Огарев. И проскакал Долгорукий. Весь град, повитый поземкой, мелькнул и пропал, накренившись, словно бы каменный исполинский стриж. И вот уже воздымаясь по мраморной сандуновской лестнице, мы воздымались по ней. Нам навстречу заблаговременная охрана гнала взашей панургово стадо недопаренной шушеры. Шушера на ходу огрызалась и разглагольствовала о каких-то правах человека. Узнав нас, гонимые почтительно побледнели и сняли шапки.

«Распустился народ, разбаловался»,— элегически-огорченно отметил Андропов.

«Образованщина несчастная»,— добавил я.

Нахлеставшись,— причем полковник из солидарности тоже не снял нательное — мы спустились к бассейну, причудливо отделанному яшмой и бирюзой.

* Эмский ресторан цыганского пошиба.

** Графология стала моей любимой наукой еще в стенах КРУБС. Курс ее — по совместительству с остальными обязанностями — вел Хрущев, полноватый такой господин с залысинами, впоследствии тоже мемуарист. Главное его качество как педагога была задумчивость. Как-то раз по дороге на кладбище я спрашиваю его: «Дядя Ника, вы почерк мой разбирали когда-нибудь?» «Почерк?» — переспросил Хрущев и надолго задумался.

К датскому элю имбирному нам предложили омаров, к шампанскому — устриц, к мортелю — икры. В прейскуранте имелась и вобла вяленая, но мы отклонили.

«Докладывайте»,— по-военному бросил я после небольшого заплыва.

«Во-первых, поздравь: я — новоизбранный Председатель Совета Опекунов твоих».

«Поздравляю. Только не зазнавайтесь, пожалуйста».

«Постараюсь. А во-вторых, как ты знаешь не хуже меня, настоящей страною фактически правят определенные силы, штаб-ложа которых находится где-то вовне, за “занавесом”».

Я кивнул величаво.

«В силу неких причин,— говорил Андропов,— они стяжали в своих руках непомерную власть, и мы, законное русское руководство, только выполняем их волю. Мы номинальны».

Это я тоже знал. Но врожденная вежливость не позволяла мне попросить полковника быть ближе к сути.

«Даже Иосиф не мог изменить ситуацию,— витийствовал Юрий.— Сам Иосиф! Они не уважают меня, кричал он на заседаниях. Что мне проку в этих сусальных погонах, если моя страна подневольна, если мы все — вассалы! Его, как могли, утешали, а некоторые и поддерживали. Среди них был твой дядя. Вокруг него сложилась плеяда патриотически мыслящих. Родилась идея публично раскрыть свои зарубежные связи, саморазоблачиться перед народом, воззвать к нему за поддержкой. К нему и к армии. А если потребуется, то и к Китаю, к Америке, ко всем людям доброй воли. Но смерть Иосифа смешала все карты. Маленков с Ворошиловым струсили, отреклись. Дрогнул и Жуков. Плеяда распалась. Лаврентий остался один, без авторитетной поддержки. Оппозиционеры стали травить его: улюлюкали, издевались. И вот результат. Изверги. Такого часовщика погубили. А сейчас — ты знаешь, что они собираются сделать сейчас?»

«Что?»

«Они собираются сделать вид, будто это не самоубийство, а справедливый расстрел. То есть — посмертно приговорить его к высшей мере за попытку государ-

ственного переворота. И — сделают, приговорят, еще не такое делали. Вот увидишь».

«Да ведь уже циркулирует сообщение о самоубийстве».

«Где? На Западе? Запад им не указ. Им указ — лишь определенные силы, которые требуют от Кремля упорядочения беспорядков. А упорядочить беспорядки можно только путем запрещенья общественного мышления, последних известий, известных свобод. Я говорю, вероятно, неточно и путано,— волновался полковник,— но ты понимаешь, о чем я, в принципе, говорю».

«Не сомневайтесь,— звучал мой ответ.— И располагайте мною всемерно. Правда, я тут как раз наметил отъезд за границу, так что даже не знаю, на чем мы сойдемся. Чем, собственно, мог бы я вам служить в Бельведере?»

«Где?» — якобы поперхнулся Андропов.

«Не морочьте мне голову,— резко отреагировал я.— Это ведь вы подослали ко мне курьера с “Албанским Танго”».

«Пожалуй,— сознался полковник, чтобы тут же солгать.— Понимаешь ли, мы хотели тебя уведомить о состоянии дел Лаврентия. Вернее, о собственном его состоянии. Имелось в виду информировать как-то исподволь, вскользь. Зная твою ранимость, склоняешься к всевозможной чуткости».

«Благодарствуйте. Однако же милосердие ваше зиждется в данном случае на чем-то ином.— Я предельно напряг умозрение и в сумеречном пространстве какого-то незнакомого мне кабинета рассмотрел очертания некой изящной перегородки складного толка.— А, понимаю. Выражаясь пикантно, милосердие ваше — лишь ширма, не правда ли?»

Чтобы не выдать смятенья, полковник жевал омар и только отмыкивался.

«Подбрасывая путем Брикабракова упомянутую газету, Юрий Гладимирович *, вы рассчитывали увлечь

* В детстве я не выговаривал В и в память о том периоде произносил отчество Андропова через Г.

меня грезой о Бельведере, соблазнить сироту эфемерной возможностью счастья возле семейного очага, чтобы затем — посредством инсинуаций — оттягивая, к примеру, выдачу подорожной — вить из юноши требующиеся веревки, вынуждать его, то есть, к сотрудничеству, склонять к услугам. И в этой мизерной интриге вы все, словно в капле. Ибо вместо того, чтобы честно и смело играть по-крупному, вы суете мелкие взятки. Да разве так спасают Россию!»

Андропов кашлянул.

«О нет, соблазнами ее не спасти,— продолжал я ему.— Ни соблазнами, ни подачками, ни искушением граждан. Не искушайте, полковник! Не лучше ли, не достойней ли сразу, начистоту — дескать, так, мол, и так, не желаете ли задание — или что там у вас — выкладывайте».

«Ну что ж,— молвил он,— в проницательности тебе не откажешь. Так слушай. Третьего дня без шестнадцати девять настало безвременье — время дерзать и творить. Мы, келейная партия часовщиков, постановили отмстить ренегатам за смерть Лаврентия Берии, нашего поруганного секретаря. Но это — только программа минимум. Максимум же — восстановить наконец все попранные вольготы, восставить их во главу угла, а самим встать на страже новейших веяний».

«Изъясняйтесь определенней»,— ободрил я.

«Мы — за полную и окончательную справедливость, за суверенитет,— нервно дышал Андропов.— Мы — против определенных сил, узурпировавших нашу власть. Мы хотим, чтоб отчизна пошла другим историко-эволюционным маршрутом. Да-да, именно эволюционным. Страна так устала от переворотов, скачков, что о них не может быть речи. Хотя отдельных актов террора, естественно, не избежать. И тогда! — закричал полковник,— тогда нам потребуются молодые, но трезвые сорвиголовы, почитающие за счастье погибнуть во имя всеобщего блага. Герои! Солдаты истории! Да читал ли ты, братец, Бакунина?»

«Михаила Александровича? Да кто же его не читал».

«Вот это фигура! — задохнулся Андропов.— Ты помнишь, как он там сформулировал, сукин кот, как

сжато: разрушение есть созидание. Сказал — как отрезал. Вбил гвоздь. Вколошматил по самое некуда. Диалектика, Палисандр, какая-то эклектическая, всепожирающая перистальтика духа! Только много ли их, бакуниных да кропоткиных? — И сам ответил: — Чертовски, дьявольски мало».

«Вы напрасно так кипятитесь, полковник. Я лично — к вашим услугам».

Тот вскинул голову. Словно любуясь ими, взглянул мне в глаза. И чтобы он не подумал, будто я отвожу их, я вынужден был содвинуть их к переносице.

«Значит, я не ошибся в тебе,— притопнул Юрий, и мне показалось, что он вот-вот босоного, как в таборном детстве, сорвется в “цыганочку”.— Так, именно так и держать, дорогой. Будь достоин, что говорится, отцов и дедов, верных сынов нашей славной организации. Будь готов быть последователем, наследником их невоплощенных еще, понимаешь, идей. Будь лучшим, талантливейшим представителем нашей часовщической молодежи. И да благословит тебя Хронос».

«Эх, дядя Юра, какой вы, право, зануда. Неужто нельзя без высокопарностей. Давайте хоть нынче, в связи с великой кончиной, побудем людьми не слова, но дела. Долой, извините за прямоту, экивоки. Рискните ва-банк, а? Ведь скушно».

Лицо полковника подобралось, возмужало, и он возражал в том смысле, что — да, что они надеялись, что предложенье этрусков заинтересует меня, ибо им нужен свой человек в Бельведере, локальней — в Мулен де Сен Лу, где как раз и живет пожилая пара, и, дескать, есть сведения, что Милки-уэй, кольцевая проселочная дорога, петлей захлестнувшая это поместье, ведет — говоря, разумеется, образно — в ставку определенных сил, крестословов Высокого Альдебарана.

«Наша цель двуедина,— сказал Андропов.— Российским часовщикам пора уже посчитаться с этими господами. А лично тебе хорошо бы остепениться, обзавестись семьей. Словом — едешь?»

«Еду, еду, Юрий Гладимирович, лечу — весь крылья. Только бы рекомендаций достать».

«Рекомендации мы берем на себя. Их подпишут виднейшие монархисты подполья типа Кутепова и Шульгина».

«Отчего монархисты, милостивый государь?»

«Оттого, сударь мой,— возражал полковник, картинно откидываясь в лонгшезе,— оттого, что девическая фамилья особы, которая скоро увнучит вас, в чем я нимало не сомневаюсь, поелику келейные переговоры с нею по поводу вас, нашей первоочередной креатуры, прошли отменно, фамилия эта, сударь, имеет основательное касательство к отставленному российскому трону». Впервые он обращался ко мне на «вы».

Я риторически выгнул надбровные дуги.

«Да-да,— риторически улыбнулся Андропов.— Ваша будущая бабуля не кто иная, как Великая Княгиня Анастасия».

«Недурно. А кто ж дедуля?»

«Супруг Княгини в салонах теперь не блещет, прихварывает. Тем не менее имя его вам должно быть знакомо: барон Чавчавадзе-Оглы».

«Как же, как же, старый, можно сказать, знакомый».

«То есть?»

«Он загляделся на шпиц Петропавловки, помните?»

«А, мемуары Оползнева! Забавный опус. А знаете ли, отчего барон загляделся на этот шпиц? Имеются данные, что Сигизмунд Спиридонович страдает так называемой острофобией».

«Тоже?»

«Не путайте. У вас астрофобия, неприязнь к звездам».

«Была, дядя Юра, была. Вы даже не представляете, насколько я выздоровел, поздоровел. Трудно поверить: вот мы ехали утром в кибитке, и я смотрел на ваши погоны без всякого страху. А прежде, в бытность ребенком, опекуны навещали меня исключительно в штатском — чтоб не травмировать. Но я был классический астрофобик, и дурнее всего мне делалось от ночного ясного неба. При взгляде в него меня начинало мутить, разрывали внутренние противоречия, мучили газы.

Ах, что за кудесник этот дядя Андрюша: практически исцелил. Вы знаете, как он пошел нынче в гору?»

«Я слышал, вы за него хлопотали».

«У-у, пустяки. Я просто выдвинул его в Академию и предложил назвать мой недуг его именем: комплекс Снежневского. Вы не против?»

«Звучит неплохо».

«А Сигизмунд Спиридонович, стало быть, острофобик? Он что же — трепещет острых предметов?»

«По преимуществу колющих. Говорят, его батюшка погиб на колу».

«Любопытно».

«Впрочем, это не просто трепет. Он смешан с восторгом, зане отца своего барон ненавидел».

«Ах вот как. Я вижу, нам будет о чем побеседовать с дедушкой на досуге: болезнь есть болезнь, как ты ее ни зови».

«За успех предприятия!» — поднял Юрий фужер.

Мы чокнулись и пригубили. Было приятно. Я чувствовал, что мысль моя заостряется.

«Погодите, но если она урожденная Романова, а он — Чавчавадзе, да еще и Оглы, то, — дошло до меня,— то какие ж они этруски?»

«Только постольку поскольку»,— глотнул из бокала полковник.

«Поскольку?»

«Поскольку в Европе этрусские корни и паспорта теперь очень в моде. Отсюда и цены на всякое ископаемое барахло: брикабрак, антик. И считаться этрусским дворянством гораздо почетней, чем русским. Вот они и считаются».

«А, значит, свои! — вскричал я обрадованно.— Ну, так я им по-свойски и отпишу — по-русски, чтоб не мудрить. Вернусь в обитель — и набросаю».

«Не торопитесь,— промолвил Юрий.— В узилище набросаете».

«Виноват?»

«В равелине»,— синонимизировал часовщик, вздымая со дна моей безмятежности муть беспокойства.

Я посмотрел на полковника исподлобья. Беспечно он предавался банному ничегонеделанию. Глаза офицера

спокойно глядели то синими сциллами, то голубыми барвинками, то лиловыми крокусами: в ту пору, попав под влиянье Руссо, я уже приступаю гербаризировать.

Переоценить значение этого просветителя в свете его влияния на развитие ботанических чувств — вообще затруднительно. Стоило ему в сердечной связи упомянуть в своей «Исповеди» цветок taraxacum officinale — и публика просто ринулась в окрестные тюильри. Полюбоваться им заспешили клошар и гризетка, матрос и прачка, барышня и шевалье: всем хотелось пустить по ветру летучий галантный пух. Вскоре, прозванный в честь своего певца жан-жаком, одуванчик становится эмблемой ВАМ — Всемирной Ассоциации Мемуаристов. Ежевечно съезжаясь в Женеве, они проходят перед трибунами ипподрома своими сутулыми, благородно лысеющими легионами, украсив петлицы цветком просвещенной искренности. Звучит менуэт.

«В каком равелине?» — спросил я Андропова единственно уголками губ.

«Это не архиважно,— ответил полковник.— Думаю, впрочем, что Петропавловский — или как его там: Алексеевский, что ли? — вас навряд ли устроит. Мрачновато там, сыровато, казематы проветриваются нерегулярно, провизия скверная, часто с душком, интендант приворовывает. Короче — не посоветую. То ли дело кремлевская наша тюрьма, что в Архангельском: любо-дорого».

«Помилуйте, Юрий Гладимирович, не мы ли минуту тому толковали касательно замка Мулен де Сен Лу, что как раз в Бельведере. Вы непоследовательны».

«Владеете ль вы оружием?»

«По преимуществу прободающим. Помните некую Долорес Ибаррури? Она занималась со мной испанским, а попутно и фехтованием».

«Ибаррури? Которая жила в Водовзводной башне?»

«Не путайте, в Водовзводной жила Клара Цеткин, преподаватель немецкого, тоже, кстати, большая моя приятельница. А Ибаррури жила в Москворецкой. О, каким только фокусам не обучила меня сеньора

Долорес! Ведь в той науке — пропасть всяких позиций, способов, так сказать, прободанья, финтов. Слава Богу, испанка была уж не первой свежести, так что чего-чего, а опыта ей было не занимать».

«Вы не поняли,— сухо проговорил Андропов.— Я спрашиваю об оружии огнестрельном».

«Что ж, монтекристо я не чураюсь. Да и на охоте малый не промах: бью влет».

«Похвально. Только на сей раз придется прибегнуть к боевому калибру. Есть мнение, что пора устранить со сцены одно слишком действующее лицо».

Прямота дяди Юры располагала к отваге, и я заявил, что, конечно, готов пострадать за правую часовщическую идею, однако позволил себе усомниться в резонности собственной кандидатуры. «Почему вы решили задействовать на этот предмет меня, окрыленного чемоданными настроениями? Разве нет на примете менее занятых единомышленников? Дооцените и то обстоятельство, что если меня ненароком сгноят в застенке, то в Бельведере, наверное, огорчатся. Не знаю, как вы, а я не желал бы разочаровывать вероятных родственников».

Юрий Владимирович улыбнулся: «Во-первых, мы постараемся, чтобы вас не сгноили. А во-вторых, когда наш человек уезжает в послание, ему в первую голову следует обзавестись порядочным реноме. Иначе он — персона нон грата и ни в какие внуки не гож».

«Позвольте, но у меня такая генеалогия!»

«На голой генеалогии далеко не уедешь,— заметил полковник, расхаживая у самой воды. Очки его запотели, и он различал меня смутно, однако, увлекшись беседой, смотрел на помеху сквозь пальцы.— Настоящее реноме обеспечивается громким процессом, предосудительными деяниями, скандалом в прессе. Бросьте взгляд на картину нашего Зарубежья. Кто выехал тихой сапой, сам по себе, без нашей поддержки, тот сам по себе, тихой сапой там и живет, перебивается на подачках. А подопечные наши, то есть те люди, кому мы способствовали, создавали рекламу, оказывали достойное преследование,— они в послании благоденствуют.

Иные даже в пророки выбились, рассуждают. И все что-то пишут, пишут, печатают. Жестокий, все-таки, это недуг — графомания».

«Не говорите,— посетовал я,— так и косит».

Мы выпили сельтерской, закусили. Затем воспоследовали водные процедуры, в ходе которых стороны пришли к обоюдовыгодному соглашению: во имя настоящего реноме путь мой в послание ляжет через террор и острог. Причем с моей стороны промелькнула немаловажная нотабена, что мне недосуг засиживаться. И поставлено было условие: «В какой бы острог вы ни выписали мне путевку,— сказал я Андропову,— позаботьтесь о персональной ванне. Другие удобства меня практически не волнуют. Я ведь неприхотлив до смешного»,— сказал я ему. И добавил, печально шутя: «До смешного сквозь слезы».

«Ванна будет»,— сказал полковник и произвел часовщический клятвенный пасс — знак тайны и скромной твердости.

После чего приступили к деталям.

«Итак,— молвил давно знакомый вам я,— вы хлопочете об аннигиляции какого-то лишнего деятеля».

«Государственного»,— уточнил Андропов.

«Хм, кто бы это мог быть? Просто теряюсь в догадках. Да знаю ли я обреченного?»

«Даже очень».

«Тогда разрешите мне угадать».

«Угадывайте»,— сказал качающийся в своем вольтеровском кресле-качалке Председатель Совета Опекунов моих, или, как я скаламбурил бы по-английски, my rocking-chairman.

«Ягóда».

«А вот и не угадали, Ягода уже на отдыхе».

«Маленков».

«Промашка. Он тоже теперь в удалении».

«Георгадзе!» — одушевленно воскликнул я, увлекаясь.

«Мимо!» — сказал и в подражание пуле присвистнул полковник.

«Тихонов!»

«Перелет! — возражал Андропов, и сам входя в ажитацию.— Не та фигура».

Перечислив в запальчивости чуть ли не все кремлевское руководство, я сдался.

«Б»,— подсказал мне А.

Не берусь изложить весь сумбур обуявших меня в ту минуту душевных протуберанцев. Во всяком случае освежительная бассейная зала вдруг показалась удушливей душегубки, и я заспешил в направленьи окна в побужденье открыть фрамугу.

Урбанизм разверзавшегося из окна пейзажа предстал кромешен. Дворовая свалка банно-прачечного заведения, загроможденная грудами бросовых ржавых шаек, стиральных досок и мыльниц, смыкалась со складскими задворками какого-то воздуходувного предприятия, заваленными в свою очередь приспособлениями для нагнетания и отсасывания газообразных веществ. Гудок данной фабрики, поминутно выдавливаемый кем-то из горла ее сифонообразной трубы, отзывался сухой омерзительной фистулой сифилитика. Между тем где-то сбоку, умело используя курослеп предвечерья, печально набычась, вдоль вывески «Магазин мужского и женского верхнего и нижнего готового и не вполне готового платья» крался куда-то нечистый проулок.

«Вам не надует?» — не оборачиваясь смашинальничало дерзающее лицо.

«Навряд ли,— сказал Андропов.— Я надену чепец».

Лицо потянуло веревку: фрамуга с грохотом отвалилась. Ранние эмские сумерки хлынули в зало.

Народ, проходивший в тот час проулком, был большею частью народ-весовщик, кладовщик, конторщик. Шагал там народ-проходимец, пройдоха. Шел народ-забулдыга, народ-инвалид.

Шел ветер.

Всмотревшись, мне сделалось по преимуществу больно: «Россия, родная, когда же придет настоящий день твой! Доколе, терзаема неотесанным мужичьем, ты будешь влачить крест своей незлобивости и долготерпения. Чрез непогоды. Печально набычась. Брось!»

И взволнованная моя голова патетически заторчала из форточки. Там, снаружи, вступала в свои непосредственные обязанности весна. Она вступала в юродивую городскую природу, как боль в поясницу: внезапно — и словно бы навсегда. Шел, как я указывал выше, ветер. Растения в палисадниках, оголтев, шумели, как оглашенные. Описание припустившего вскоре косого дождя с предварительным кособреющим летом ласточек, почитающихся в столовой Сената лучшим лакомством наряду с вампирами-табака, могло бы занять до полутора рукописных страниц. Однако мой кожаного переплета с ляпис-лазуревыми вкраплениями, тиснениями и застежками фолиант, куда я своей сухожилистой и без каких бы то ни было украшений рукой ригориста заношу настоящие поверительные наброски, увы, представляет собою гроссбух в откровенно прямую клетку, а не в косую линейку для прописей. Отчего опускаем описание именованного дождя как невписывающееся. И подставив под струи его париком окудрявленное чело — «Вы надели чепец?» — озаботился я о Юрии, стараясь перекричать шум стихии. Привычка к резким температурным сменам, которыми я по рассеянности муштровал организм, давала все основания полагать, что простуда меня не коснется. Но за Андропова было не по себе. Несравненно моложе его годами, я испытывал по отношению к опекуну беспокойство ответственности, свойственное многим потенциальным родителям. Своей непрактичностью в бытовых вопросах, физической неуклюжестью и наивностью в сфере абстрактных тем он вызывал во мне это чувство систематически.

Совершенно иным человеком предстает в моей памяти другой ветеран часовщической организации — тот, кому по соображеньям товарищей предстояло пасть от руки, составляющей данные строки.

Леонид Ильич Брежнев! Местоблюститель! Как, все же, в свои за семьдесят бывал он по-диккенсовски остроумен, по-чаплински находчив и бодр.

Возвратившись с охоты в Кремль и стягивая с себя в передней зеленые болотные сапоги, чтоб обуть расши-

тые мелким бисером шлепанцы, Леонид полагал, что на сей-то раз то была несомненно последняя вылазка на природу. Пора и на угомон, ведь уже не мальчишка. В его лета Черчилль с Рузвельтом едва ли даже вставали с дивана. А ему б, Леониду, все баловаться: пороша да листопад, инеи первых утренников и туманы последних, покашливание егерей и покрякиванье воронья, быстрый пролет живой и грузные гроздья набитой дичи — зачем бы это ему, неглупому и ответственному работнику, солидному семьянину. Забросить. Забыть.

Но миновала неделя, другая, максимум третья, и Леонид начинал не находить себе места: в Кремле ли, на выставке, на премьере ль в Большом. Раздумья, казалось, больше не увлекали его, и прием в честь очередного арабского «чурки» исключительно тяготил. Сославшись на нездоровье, Б. оставлял церемонию: шел на псарню и на конюшню, шутил с псарями, с конюшими, подолгу гладил животных.

Путь его нет-нет да лежал и в отдел охотничьих ружей Оружейной Палаты, где засидевшийся допоздна Устинов, дядька нашего ремесленного училища, а в будущем — марсовых дел министр, был рад показать ему образцы старинных дробовиков и мушкетов — как в собранном, так и в разобранном виде. Шло время. На Спасской било двенадцать, час, два, полтретьего, а они все сидели там, разбирая и собирая и путаясь в чертежах: член правительства, Местоблюститель, герой войны — и обычный мастер, Устинов Николай Дмитриевич, скромный, кряжистый и в бухгалтерских нарукавниках человек.

И снова проходили недели, и Леониду становилось понятно, что неприкаянность его нисколько не уменьшается, а возрастает. И причина ее — охота. Как-то там, без него, на тяге, на гоне? Благоприятствует ли погода? Хватает ли дроби да пороху, пороху да тенет, тенет да чучел, чучел да разных ошейников, ошейников да манков. Излюбленное Новодевичье манило и бередило Брежнева, и мысли его на собраньях мешались с речами. И наступали моменты, когда противиться застарелой страсти делалось по-мальчишески невмоготу

и нелепо. Тогда Леонид подходил к шифоньеру — распахивал инкрустированные сердоликом и костью резные створки — доставал амуницию. И если ягдташ его был немецкий, из патриархального Марбурга, то патронташ подарил Леониду давнишний приятель Урхо, заядлый тоже охотник, державший на вилле под Гельсингфорсом перворазрядную сауну. По обычаю прадедов, хозяева паривали там гостей в компании с белобрысыми дамами из числа своих секретарш. Не всякий, впервые гостивший в стране Урхо Кекконена, знаком был с этим обычаем. Не подозревал о нем и лауреат крепостного конкурса блиц-поэтов Брежнев.

Загнав на закате большого оленя, участники благополучно вернулись на виллу, и уже пали сумерки, когда им в гостиную подали темный, как кофе, туборг.

«Попаримся?» — обронил нестареющий лыжник Урхо.

«Распорядись, коль не лень,— рассудительно отвечал Леонид.— Только веники есть ли?»

«Веники?» — не понял премьер.

«Веники»,— перевел на финский наш консул.

«Ах, веники! — аккуратно расхохотался Кекконен.— Да у нас кое-что похлеще имеется»,— объяснял хозяин, меж тем как они торопились вниз по тропе, направляясь на берег Балтики, где нахохленно чахли сосны, небрежно валялись какие-то валуны и виднелись подсобные сооружения.

Факельщики в казацких папахах, шедшие впереди, расступились и остались снаружи. В сенях Леонид обернулся: море темнело, пенилось и шипело за спинами факельщиков, словно туборг. За горизонтом угадывалась родная Эстония.

Друзья разделись. Проводив Леонида за некую переборку, Урхо набросил себе на плечи купальный халат и уверил, что скоро вернется. И вышел. Б. сел на одну из тех деревянных широких ступеней, что вели в тупик потолка. Начал ждать. В помещении было тускло. На теле выступил пот.

Вид собственной обнаженной натуры давно не радовал Леонида. Изучая ее, он всегда констатировал, что

годы минуются не напрасно: тут — новая складка, там — словно бы пролежень, а здесь, возле щиколотки,— петушиная шпора. И ни утренняя гимнастика, ни микстуры не могли отвратить увядание. Бренность тканей наличествовала во всей полноте.

Как вдруг Б. почувствовал, что не только он сам, но и кто-то помимо участливо всматривается в его наготу. Он поднял взор. Долговязая, юная и тоже нагая, пред ним, разглядывая его, стояла какая-то незнакомка чухонского вида. Охотник насторожился. Подобного с ним не случалось даже в период военных пертурбаций, когда вопреки уставу случалось все что угодно.

«Попариться заглянули?» — обратился он к даме с галантным вопросом, но осознав всю убогость его дежурности, стушевался.

«Массаж, массаж»,— безбожно коверкая это слово на иностранный лад, залопотала та.

«Вот она, заграница! — мыслил Местоблюститель, млея на топчане под ласкою настоятельных рук.— А мы, недотепы, все ветками хлещемся. Эх, язычество, понимаешь!»

Руки эти, все их ухватки, были такого рода, что, несмотря на телесную свежесть специалистки, выдавали в ней опыт бесстыжей блудницы, гулящей игривицы.

Голова приятно покруживалась. На ум приходили волнительные картинки из тех неприличных журналов, которые сын его, Юрий, выписывал из заморских стран. Под предлогом незнания языков Леонид никогда не просматривал их в домашнем кругу: застенчивость в данных вопросах была у него пятою Ахилла. Но тут — он не выдержал. Он привлек массажистку к себе и, походя растрепав ей белесые лохмы, сделал с ней то, что, ссылаясь на занятость, давно уже не проделывал ни с супругой, ни с посторонними женщинами.

Смущенье, с каким Леонид овладел массажисткой, с лихвой окупалось развязностью, с какою та отдалась, амикошонски обвив его шею ногами. Поэтому он легко подавил угрызения совести, с легким сердцем вернулся на родину, быстро прошел в кабинет и вызвал Косыгина. Тот пришел.

Угостив его хельсинкской папиросой, Леонид нетерпеливо спросил: «Послушай, что там у нас в Новодевичьем делается?»

«Кладбище функционирует нормально,— рапортовал Алексей.— Хороним, охотимся».

«А монастырь?»

«Типичная пустынь. Разор, запустение. И нового ничего там в действительности не делается. Одно название».

«А что если нам туда и вправду девчушек каких-нибудь поместить? — дерзнул Леонид.— Возобновить, понимаешь, традицию».

«Девчушек? — зарделся Косыгин, тоже, в сущности, не избалованный эротикой человек.— По этой части ты лучше с молодежью переговори — с Романовым, Пономаревым, а я, знаешь,— пас».

«Напрасно отказываешься: здоровая вещь. Приобщились бы иной раз, отдохнули б. Да и гостям развлечение. А то что получается? Прибывает ответственная делегация, а ее кроме театра и повести некуда. Несолидно,— сказал Леонид,— несолидно». И дал отчет о визите в Финляндию. Брикабраков же, впоследствии пересказавший эту соблазнительную историю автору строк, стоял, как всегда, за портьерой. Он был вездесущ.

Выслушав Леонида, Алексей совершенно преобразился, воскрес. Его лихорадило. Тогда, не тратя времени попусту, они пригласили прораба, составили смету на реставрацию монастыря, провентилировали вопрос в Сенате, согласовали план действий с Митрополитом и выбили необходимые средства. Так был учрежден негласный Дом Массажа правительства, сыгравший такую заметную роль в воспитании, а позже и в перевоспитании моих чувств.

Новодевичье! Вольница! Я ль не люблю твоего подворья, твоих лукоглавых храмов, лукавых калек, лупоглазых паломников, облупившихся стен и повитых чем-то ползучим, колючим и колокольчатым стен и башен. Не я ли играл в твоих парках, садах и скверах, мечтал по твоим читальням, мужал в твоих

кельях и закоулках. Не ты ли, обитель царицы Ирины, дышала в лицо перегаром древности, сквозняками своих подворотен, застойным духом неприбранных усыпальниц, грибною духмяностью свежих захоронений. Признайся, не юность ли Командора бродила аллеями помпезного твоего погоста, звенела твоими ключами и ключевыми болванками, скрипела рассохшейся обстановкой твоих меблирашек и караулен стрелецких.

О, нам есть что припомнить на старости наших лет. До чего ж, например, незапамятны самые первые вылазки в пределы твои совместно с опекунами моими. Поверите ли! мы выезжали засветло — затемно — в полдень — когда угодно. Даже зарею, когда в злачной лавке на станции Эмск-Кабацкий откупоривался последний пивной бочонок, а мимо, визжа полозьями и тугими, упругими девками, проносились куда-то тройки. Случалось это всегда спонтанно. Наскоком. Без всякого перехода. Так бьют навскидку. Это — сбывалось! Случалось, у нас в Александровском вертограде, сурово насупив брови, еще только тужатся под присмотром прислуги кремлевские пудели и болонки, а Ваш покорный слуга в развевающейся хламиде уже направляется по пешеходной дорожке брандмауэра в Пыточную башню-клинику — сдать на анализ щепотку кало, несомую в спичечном коробке сопутствующей няней Агриппой; иль попросту вышел пройтись по делам искусств и ремесел, из коих важнейшими ему всегда представлялись пластические (см., например, мои собственноручные записи в гроссбухах кунсткамер).

Пытаюсь, но не могу припомнить такого периода, когда бы их судьбы не волновали меня. И часто заглядывал я то в музей восковых фигур, расположенный в Грановитой Палате, то к его вдохновителю и директору чучельнику Вучетичу, то в полуподвальную мастерскую скульптора Неизвестного. Вращаясь в кругах крепостной богемы и создавая надгробия членам правительств и орденов, он снискал себе всенародную славу и тем посрамил фамилию. Незабываемо было спуститься под своды его ателье, ощупать фактуру новых произведений, вдохнуть ароматы мрамора, алебастра,

извести, пристально вглядеться в размашистые повадки художника *.

Однако приятная утренняя прогулка в клинику или в художественное ателье могла быть безапелляционно оборвана шедшим навстречу мне Леонидом Брежневым. Одет в таких случаях он бывал между прочим, по-загородному, с напускным небрежением. Но если одежда еще могла оставлять в отношенье его намерений те или иные сомнения, то берданка, висевшая на плече, их развеивала.

«Собирайся! — кричал он мне издали.— Едем!»

Достаточно Вам спуститься особой лестницей в наши винные погреба, пройти одним из боковых лабиринтов, соединяющих зал полусладких с залом полусухих напитков, наискось пересечь последний, открыть дубовую, круглую, замаскированную под дно бочкотары дверь в освещенный газовыми рожками сужающийся коридор, миновать его — и Вы попадаете в своеобычный тупик: на конечную станцию подземной конки негласного типа. Линия конки одноколейна, с разъездами, тоннели ее узки, а вагоны малы и грохотны. Зато ка-

* Будьте любезны дать сноску. Памятник, установленный мне напротив ночлежного учреждения «Метрополь» на месте чуждого нам по духу немчуры Маркса, изваян именно Неизвестным, и я безусловно склоняю голову перед сим атлетического сложенья талантом, хотя идею памятника Эрнст позаимствовал у оригинала. Вернее, я просто набросал ему на салфетке примерный проект, в двух словах уточнил детали, и через несколько месяцев ансамбль замаячил на площади Эволюции (бывш. Революции). Он причудлив. Мои современники были особенно эпатированы тем фактом, что колесо двухколесного катафалка не то чтобы еле держится, а совсем уже отлетело и, снабженное парой орлиных, растущих из ступицы крыл, уселось на вспомогательный постамент. Такое решение выдвигает на первый план ощущение высокого динамизма конструкции и несмотря на очевидную неполадку, точней — вопреки ей, заставляет почувствовать, как нарастает скорость повозки, как ритм бешеной скачки, символизирующей агонию поступательного движения, попирает все основные законы механиков — пародирует их — рядит их в шутовской колпак, околпачивая заодно и косного зрителя. А в целом скульптура выполнена с ошеломляющей искренностью и теплотой. На северной грани цоколя выбита проникновенная надпись — цитата из книги моих же избранных эпитафий: «Не плачь по мне, Россия!»

кие-нибудь полчаса — и Вы на месте: четверка пегих веснушчатых пони, запряженных классическим цугом, развозит вас — членов правительства и ваших семей в самые противоположные уголки города — на Ваганьково, Новодевичье, в Востряково, другие места активного отдыха граждан.

«Поди-поди!» — лихо трогает с места в карьер Климент Ворошилов, восседающий на табурете вагоновожатого. Человек-легенда, прошедший путь от простого питерского извозчика до казачьего маршала, он держится строго, степенно, себе на уме. Остальные охотники настроены благодушно, непринужденно. Все — в шапках, папахах, а если весна — в фуражках. Речь заходит о чем придется. Рассказываются пикантные происшествия, обсуждаются виды на урожай, беседуется о стихийных бедствиях, говорится о пользе локальных войн и репрессий. На поворотах сильно мотает, и то и знай сидящие слева валятся на сидящих справа. Начинается куча-мала, все смеются, дурачатся, ставят друг другу рожки, а непременный маэстро наш Ойстрах наигрывает задорную фугу. Поездка проходит в обстановке товарищества.

Я взглядываю на Хрущева. Голова его свесилась, рот приоткрыт, а глаза прикрыты. Думает ли Никита Сергеевич над моим вопросом, забыл ли о нем?

«Дядя Ника,— опять треблю я его рукав.— Вы почерк мой разбирали?»

«Чего? не слышу,— преобразился он в слух.— Повтори».

Повторять не хотелось, и мы вернулись к этому разговору позже, когда дядя Ника был уже не у дел, а я, сиротливый недоросль, все еще не при них. В те дни Лобное место осенили куполом шапито и открыли там для элиты оздоровительное кафе-шантан с виртуозками живота, стриптизками и прочей экзотикой. Кафе располагало широким ассортиментом блюд. Фирменными считались гланды тапира и аденоиды кабарги. Мы договорились о встрече и заранее задержали столик. Довольно массивный, он стоял в центре зала и в выгодное отличие от походной ванны моей ножками не обладал.

О небо! какой Нострадамус мог бы предугадать, как обернется вся эта история с яйцами.

Ведь тогда, пытаясь извлечь их оттуда, куда они закатились, я взываю — стучу в переборку — звоню в свой серебряный колокольчик: вотще: извиваясь механическим серпантином, мы озабоченно мчимся во чреве Аркос-де-лос-Фронтерийского тоннеля. Шум поглощает мои звуковые сигналы: никто ничего не слышит и не приходит. Утратив терпение, я перевешиваюсь через борт таким образом, что мгновенно терплю фиаско, читай — утрачиваю равновесие. Причем не только свое, но и ванны. Вы поняли, что я имею в виду: но и ванны! И опрокинувшись, та словно бы выблевала из себя всю воду вместе с нашей в ней утренней процедурой и португальской эскадрой, завтракавшей на рейде. Да что там эскадра; выплеснуло даже мои нейтральные субмарины.

«Экое дурное предзнаменование!» — обрушиваясь, осенило меня. И пав еще одной жертвою гравитации на пол купе, я лежу, ужасаясь подняться, страшась свидетельствовать остальные последствия катаклизма: разрушения, причиненные им, могли быть поистине впечатляющи.

Первое поползновение мое было в сторону двери — открыть — позвать Одеялова — только не колокольчиком — и не криком — а воплем ушибленного гамадрила. И уже не столько насчет яиц, сколько насчет распоряжения об отмене похода. А то и просто на помощь. Но добравшись до двери, мне было поразительное видение: в зеркале! Вы тоже, возможно, езживали в таких озеркаленных сплошь салонах. Не думаю, чтобы их упразднили — зачем бы? В конце концов, не так уж они и плохи, как принято почему-то считать. Объемны, светлы, одноместны. Конечно, на первых порах, может быть, и случается одиноко, однако если Вы обратили внимание, ванна в любом из таких помещений встает без проблем — ну, а это уже немало. А зеркала при желании можно задрапировать; что и было предпринято накануне отправки. Впрочем, ткани, как водится,

не хватило: дверное зерцало продолжало зиять. И взглянувши в него, дерзающее лицо отшатнулось.

Нет-нет, не помыслите ерунды — я вижу себя, лицезрю и, следовательно, наличествую. Я — есть, клянусь Вам. Клянусь и подчеркиваю. Иными словами, я хорошо понимаю, в чем именно Вы желали бы усомниться, читая читаемое. И вообще — оставьте в покое Вашу иронию, этот тон недоверия, эту платоновскую ухмылку. Боюсь, они не идут Вам. Сомнение здесь не полезно. Оно на манер коррозии разъедает творимый Вами же миф. Вами, мой незнакомый дружище,— не мной. Ибо что я на самом деле — если уж разбираться — такое с точки зрения бестии Вечности или себя как стороннего наблюдателя? Опасаюсь, я не больше того, чем себя сознаю и помню, чем полюбил полагать. Я есмь клейкий росточек генеалогии. И только. И лишь. Сколь непомерно бы ни занесся. А вот для Вас, для Биографа, я — в силу обратности исторической перспективы — несравненно выше любого меня, пусть даже и вознесенного, мрамореющего уже при жизни. Я — миф. И Вы творите его.

Короче, уж как Вы там смеете себе фарисейничать — понятия не имею. И если Вы все же, ехидствуя вымышленным мною ликом, проскрипите скептическое: «А был ли мальчик?» — ибо эта банная шутка, наверно, еще не изъята из обращения — я бесстрашно отважусь на позитивный ответ: «Был. Правда, прежде, когда-то. А ныне вместе с водой и калошами на пол ванного, если угодно, купе — вдали от родных берегов — было выплеснуто одинокое, забытое денщиком существо в отсырелой пижаме. Существо, горделиво прячущее виноватую улыбку в монокль. Большое. И в чем-то глубоко уязвленное. Этакий, извините за наукообразность сравнения, престарелый выкидыш. В зеркале!»

И говорю себе, внутренне отшатнувшись: «Отнюдь! Отставить! На помощь звать теперь невозможно. Услышат — сбегутся. Проводники, дрезинщики, канцелярия. Поднимут, станут внешне сочувствовать, а внутренне, про себя — улюлюкать: дескать, стыд-то какой: Свидетель Хронархиата, а практически не одет, да еще

и в бирюльки играет, в кораблики. Чернь, умишка на грош, а ведь не оправдаешься перед ними, не обелишься. Не будешь же им стратегию морского сражения излагать: бисер, батенька, бисер. Немало званых, да с горстку призванных».

Так, рискуя простыть и окончательно слечь, слабый, но гневный на Одеялова, что он ни о чем не догадывается, не идет, я лежу один на один с отражением, не сумев позавтракать, в луже, пока он, все-таки, не является, осознав, что к яйцам, видите ли, соли неплохо подать. Но когда он пришел с ней, придя, я уже совершенно остыл и ничуть не бранил его. И вместо того чтоб наставить — лишь мирно расстроился я у денщика на груди. И вспомнилось детство, когда, рассадив, бывало, колено, я коридорами власти прибегал к утешениям вот таких же усатых и важных опекунов моих. Дядя ль Иосиф, Серго ли Орджоникидзе, Буденный ли — они никогда не отказывали мне в ласке. И сколь худо о них ни писалось бы задним, давно загробным числом, я никогда не поверю в эту бессовестную, суесловную чушь. Смею уверить вас, дамы и господа борзописцы, то были довольно прекрасные люди присущего им периода. Во всяком случае, не хуже нас с вами. И я не вижу, как сложились бы мои обстоятельства, если бы не они — не забота их и внимание. Убежденный интернационалист, я, разумеется, возлюбил сих великих кавказцев. Возлюбил, несмотря на всю их гортанность и взвинченность. Так и знайте!

«Что? Почерк? — переспросил спустя много лет дядя Ника.— Да-да, разбирал».

«Ваши выводы?»

«Я нахожу тебя человеком крутого замеса. Ты создан руководить».

Годы неопределенности и становления перешли. Мнение Хрущева оказалось пророчеством. Но тогда, в средоточье России, на Лобном, автор строк лишь взмахнул руками: «Ах, что вы, что вы, какой из меня политик». И как умел — рассмеялся. Смех мой был хрупок, рассыпчат и нередко переходил в аллергиче-

ский кашель, а вскоре и вовсе рассеялся, словно бы папиросный дым.

Ветер, дувший в прорехи шатра со стороны Исторического музея *, весьма освежал. Освежало и пиво. Ника по вредной привычке много курил, стряхивая пепел в кадушку, откуда росла смоковница.

«Человек! — обратился Хрущев к молодцеватому половому в мундире от медицинских войск.— А верно ли сказывают, что головы тут рубили?»

«Так точно,— рапортовал тот навытяжку.— Отнимали».

«Мерзавцы!» — посетовал мой визави, в сердцах откидываясь на спинку петровского трона, заимствованного в Грановитой Палате на летний сезон. Я же, если не ошибаюсь, непринужденно откинулся в елизаветинском.

«Топором»,— пояснил половой, услужливо ударяя себя по шее ребром ладони. Но боли он не почувствовал, только тело его сразу словно б увяло, стало ненужным, чужим. На вид казненному было за пятьдесят, тогда как в действительности не сравнялось и сорока. Если верить архивным источникам, он переживал очередную молодость с одной из мадьярских стриптизок, этих весьма темпераментных и лохматых лахудр; отсюда и мешки под глазами.

«А где? — разволновался Хрущев, с зоркостью близорукого осматривая кафе.— Где конкретно?»

«Разрешите побеспокоить?» — сказал военный. Сказав так, он переставил все со стола на поднос и хищным движением сдернул скатерть.

Предмет, открывшийся нашему взору в тот по-летнему незабываемый вечер, Вы можете наблюдать ежедневно за исключением выходных в лавке своего излюбленного мясника, если только мясоедение еще не отменено декретом вегетарианского кабинета министров, каковая мера давно назрела и висит в перспективе клинком Дамокла. Разумеется, мы не настаиваем ни на чем ином, кроме обыкновенной дубовой колоды, на которой особыми секирами и ножами глумятся над

* Ныне музей Безвременья.

трупами наших ни в чем не повинных собратьев по фауне. Причем наиболее деликатной частью телятины и конины всегда почиталась грудинка, или, как в честь фаворитки-графини назвал эту вырезку Лжедмитрий Второй, Челышко-Соколок *. Никита Сергеевич осторожно рассматривает сплошь иссеченную поверхность нашего неполированного стола, трет затылок и, словно что-то соображая, долго молчит.

«Плаха, что ли?» — роняет он наконец.

«Плаха, плаха,— угодливо, словно снятую с плеч долой августейшую голову, подхватывает на лету половой.— Та самая. На ней и рубили». Ища отличиться, он щелкает каблуками.

Никита Сергеевич вздрагивает.

«Историк один разыскал»,— говорит военный.

«Историк?» — вступил, оживясь, я в беседу.

«По древностям спец, сочинитель. Искал по подвалам икону какую-то, а набрел на плаху».

«Фамилию помнишь?» — спросил я официанта.

«Солоухин»,— ответил тот.

Тогда имя это мне ничего не сказало, однако впоследствии он нашумел своими речами и манифестами так, что даже и мне, человеку без политической подо-

* Свекор Клавдии Митрофановны Челышко-Соколок приходится мне прародителем пятнадцатого колена по материнской ветви. Пришлась мне впору и его музейной редкости епанча, найденная в ходе моих отроческих похождений по запасникам Платяной Палаты. Это дает основания утверждать, что род наш не оскудел еще плотью. Находка ценна и в другом отношении. Она свидетельствует, что организм шубной моли tinea pellionella иммунитет к нафталину успешно выработал. Не успел я составить дистих «Вот надену себе епанчу — и помчу, и помчу, и помчу!», как ворс в основном осыпался, ткань распалась, и при свете керосиновой лампы Павла Петровича из екатерининского псише (род старинного зеркала на высоких подставках), где каких только прелестей не отражалось когда-то, на меня загляделся один мой до боли знакомый, одетый, однако, почти инкогнито: столь преобразили его пращуровы лохмотья. (Вдобавок на нем была критская маска Орфея, одна из ценнейших в его огромной коллекции.) Впрочем, пристало ли нам кичиться знатностью происхождения. Оставим сие на откуп тем, кому ее не хватает, и — в путь. Как заметил старик Лэрри Дальберг своему королю Карлу Первому, когда у того на помосте сдуло и покатило шляпу и оба пустились ее догонять и догнали, «Делу время, потехе час, В. В.».

плеки, случалось почитывать его сочинения. Горяч, задирист, автор их не лишен был известной публицистической жилки. В послании, куда его удалили за антиправительственные дерзости, мы познакомились лично. Правда, там его знали под несколько видоизмененной фамилией — Солженицын.

«Добрый день, дорогой мой»,— сказал я ему, по-прежнему делая вид, будто рассматриваю в трубу следующих за нами дельфинов, поскольку догадывался, что пароходы подобного класса кишат агентами всевозможных служб.

«Палисандр Александрович? Вот так встреча!» — воскликнул он, также не оборачиваясь. И раскольничья борода его обрадованно взметнулась.

Мы шли на персидском судне «Звездочет Низами» рейсом Порт-о-Пренс — Гибралтар. Огибая Азорские острова с подветренной стороны, беспрестанно качало. Подробнее наши взаимоотношения отражены в моем томе «Неизгладимое». Полистайте: весьма любопытно.

«Вы свободны»,— сказал я официанту.

Он повернулся идти.

«Погодите,— поймал я его за лацкан с гремучей змеей.— Я должен вручить вам ряд денег за оказанные услуги. Вот. Только потрудитесь не пересчитывать». И выдал ему несколько золотых «палисандров» — квадратных монет с профилем Вашего корреспондента *.

Проводив полового взглядом, я оборачиваюсь к Хрущеву. Облокотившись на плаху, Никита Сергеич рыдает: он явно навеселе. Наверно, уместней было бы не заметить слабости бывшего педагога, выказать такт, не спрашивать — мало ли о чем может скорбеть стареющий мемуарист под мадьярскую скрипку. Тем не менее я не выдерживаю: «О чем вы?»

«Да видишь,— салфеткою утирался Никита Сергеевич,— люди тут кровь проливали, историю делали,

* Автор что-то определенно путает. Описываемый эпизод относится к эпохе иного профиля, иного чекана, когда на денежных знаках фигурировал один из моих предшественников. «Палисандры» же появились значительно позже. Хотя в остальном с подлинным все справедливо: на чай полагалось давать во все времена. И давалось.

а мы тут, значит, едим, распутничаем, классику слушаем. Непочтительно это все, некрасиво. Иваны мы, сударь, непомнящие».

Я киваю. Не успевший уйти окончательно половой приносит еще пару рижского.

«А особенно,— продолжал Хрущев,— особенно стрельцов я жалею. Верно Суриков их, художник, показывает, Василий Иванович: жены, матери их кругом — печалуются, кричат, а ребят все одно, понимаешь, под руки — и на казнь. А утро — ну такое, значит, хорошее, такое раннее — живи-не хочу. Нет, изволь расставаться»,— описывал дядя Ника и топал ногой.

Стриптизка визжала. Смычок экстатировал.

И было уж за полночь, когда вдвоем с половым мы вывели Х. под открытое небо. Повозку подали. Я усадил воспитателя. Сел и сам. Конструкция тронулась.

В связи с капитальным ремонтом Кремля мы временно жительствовали тогда за мостами, в Замоскворечье, где, судя по некоторым данным, должно было поселяться купечество, но я что-то ни разу не обращал внимания, так ли это на самом деле, а если и так — так что же? Меж тем ремонтировали и мосты, и везли нас долго, кружным путем. Зато я нисколько не утомлю Вас описаниями погоды, если с присущей мне сдержанностью констатирую, что погода была. Конечно, Вы вольны добавить какую-нибудь отсебятину, я не против. Рисуйте и дорисовывайте. Передайте, кстати, что вызвездило. Заметьте, что на небе вместо дежурных Рыб заказали отличного Рака. Что по мере езды катафалк все шибче дряхлел, кучер необоримо обнашивался — и осень кончилась разом, словно бы оборвалась остывшая водевильная связь. Назад уносились засиженные белыми мухами тумбы, киоски, вывески и другой реквизит городского спектакля, к восхищению модного зрителя расставленный исключительно нехаляво — как если бы упразднили цензуру.

Попутчик мой спал. Его наполеоновская шинель, подбитая средиземноморским мистралем, грела плохо, и сны ветерану виделись из рук вон, да, наверное, броские, яркие, полные хитросплетений: он вскрикивал

и подергивался. А я, изведя уж изрядную сумму страниц, нисколько не удосужил себя маломальской фабулой. Пропасть моей вины перед Вами — неизгладима. И пусть, в бесчисленный раз оглянувшись, я нахожу, что жизнь моя была бессюжетна, скушна и непередаваемо хаотична, а снов я, увы, не усматриваю в силу какой-то патологической ненаблюдательности, это не избавляет меня от необходимости упорядочить данное бытоописание, изукрасить его, сделать удобочитаемым и, если потребуется, обратиться к энциклопедическому соннику. Словом, пора завязать интригу. Но прежде чем я поступлю так, пообещайте, что в книге моих посмертных, или, если угодно, Ваших прижизненных обо мне записок (что, по сути, одно и то же, поскольку я разрешаю Вам пользоваться моими набросками широко, без стеснения, до неиспользования кавычек включительно, иначе Вы станете это делать без разрешения и испытывать естественную неловкость, а я не хочу налагать Вам охулки на руки ни в каком отношении) не будет помещено никаких материалов, касающихся моих взаимоотношений с Надеждой Сергеевной Аллилуевой.

Я позаботился, чтобы вся переписка наша была сожжена. Сожжены и совместные фото. Но, может, что-то еще осталось. Найдя — уничтожьте. Прошу Вас. Пусть память о ней пребудет безупречно светла — а? Безумица! Я до сих пор не могу набрать для ее поступка весомых мотивов. Ведь дядя Иосиф души в ней не чаял. А обо мне, кому она заменила умершую мать, а затем и ушедшую в лучший мир няню Агриппу — и говорить не приходится. Я обожал ее всесторонне. Став другом семьи, мне открылись страницы ее истории.

Иосиф встретил Надежду, когда она была фигуранткой императорского варьете. Подружились, сошлись характерами, решили венчаться. Возникло неожиданное препятствие: против церковного брака вообще и в особенности выступили троцкисты. Тогда, чтобы не дать нежелательной пищи для политических кривотолков, повенчались тайно, а Троцкого под благовидным предлогом выслали в Уругвай, где он и почил от укуса тарантула. Брак же случился на зависть радужен.

Пролистывая в порядке ознакомления безответственные мемуары Светланы, их беглой дочери, я благодарил Провиденье за то, что чаша родителя меня счастливо миновала, и дети мои — вероятно, лишь в силу отсутствия — не нагородят подобной обо мне несусветицы. Насколько же нужно не уважать мать с отцом, живших, что говорится, плечом к плечу, чтобы на потребу сенсации намекать на какие-то страсти-мордасти в духе шекспировского «Отелло».

«Простите меня, старика, Светлана Иосифовна,— писал я ей в частности,— но боюсь, Вы не ведали, что творили. Ваш батюшка ревности был восхитительно чужд. Да и к кому — среди сборища маразматических мозгляков и гнид, которые его тогда окружали и были рассеяны * лишь с приходом Лаврентия — мог бы ее ревновать этот ладный и годный еще хоть куда Дон-Кихот без упрека и страха? Переберите весь добериевский Кремль: среди сколько-нибудь любвеспособных мужчин не отыщется ни одной достойной кандидатуры. Правда, был еще я, но я был вне подозрений. Всегда. Во всех случаях. Ни одному крепостному мужу не взбредала на ум абсурдная мысль ревновать супругу к ребенку, пусть и необычайно крупному. И Ваш батюшка, милочка, исключения тут не составил. И не оспаривайте, пожалуйста, я знаю лучше. Иначе говоря, Надежда Сергеевна оставила нас добровольно, по собственной инициативе, и я неоднократно рассказывал соответствующей комиссии как. Раз, играя в серсо у дверей ее будуара, я услышал отчетливый выстрел и заглянул посмотреть, не нужна ли помощь. Увы: все было кончено. Иосиф склонился над еще теплым телом жены, сжимая в руке ее *собственный* дамский браунинг. Завидя меня в дверях, уронил: “Финита”. И сразу добавил: “А как ты думаешь, почему она это сделала?” Недоуменно пожав плечами, я наскоро распрощался и скорбно выбежал. Прощайте и Вы, Светлана Иосифовна. Остаюсь, с удивлением, Ваш Палисандр Александрович».

Что же касается так называемой загадки смерти собственно Сталина, то спешу заверить любителей по-

* Более точно — расстреляны.

мистифицировать публику вроде некоего Авторханова Абдурахмана, оставившего Отчизну в годину ее затруднений и настрочившего несколько псевдоисторических детективов, что там, где есть факты, загадкам — бой.

Как-то летом дядя Иосиф наметил круг пограничных реформ. Речь его шла о поднятии «железного занавеса». Кавычки здесь не случайны. Ведь никакого такого занавеса на границе не было и быть не могло, иначе то была бы, наверное, не граница, а балаган. Впрочем, как и на всяких суверенного государства рубежах, там в небольших полосатых будках селились добропорядочные чиновники определенных ведомств, обуреваемые сомнениями и тревогами. Сталин, однако, не разделял опасений сих осмотрительных служб: он считал, что настороженность по отношению к соседствующим державам служит к обоюдному уничижению и конфузу.

«Слушай,— не раз сокрушался он Берии по пути на рыбалку в Парк Горького,— для чего нам на этих заставах людей держать? Неудобно. Давай отзовем».

«Слушай, что говоришь! — отвечал Лаврентий, прилаживая поплавок.— Народ уезжать начнет».

Насаживая на крючок мотыля, Генералиссимус возражал: «Что худого? Поедет — посмотрит, вернется — расскажет. Зачем неволить? Народ — птица вольная».

«Нельзя, дорогой.— Лаврентий забрасывал удочку.— Неприлично, чтоб люди без денег ехали».

«Что деньги, Лаврентий! Неужто кредиток тебе для народа жалко. Напечатай — и обеспечь». Клевало. Генералиссимус подсекал.

Аргументация Сталина оказалась настолько емкой, что уже к Сретенью в расположении крепости появились партии отозванных с пограничья псов — первые ласточки знаменитой «оттепели», инициатива которой приписывается кому угодно, только не дяде Иосифу. Собак оказалось масса. Вольеры реконструировались исподволь, и в ожидании новоселья животные содержались в подвалах Большого дворца, куда мы, кремлевская детвора, безусловно имели доступ. В ход шли пирожки, мармелад, пирожные и другая нехитрая снедь,

в обилии остававшаяся после приемов. Понятно, что дружба наша с четвероногими состоялась и крепла. Мы регулярно водили их на прогулки, купали, чесали за ухом. Зима же происходила своим чередом, и снежинки подолгу не таяли и на собачьих лохмах, и на наших бобровых воротниках, розовея при свете рубиновых звезд. Было очаровательно.

Раз под вечер, кубарем накатавшись на ледяной горе, заливаемой Главным Дворником в районе Соборной площади, мы продрогли и направились отогреться в бревенчатую избушку, перенесенную в Кремль из Филей в качестве дома-музея Кутузова и войны восемьсот двенадцатого года вообще. Затерялась эта крестьянская хижина на самом юру, меж Палатой Телесных Наказаний и виселицей декабристов, рачительно сберегаемой для потомков. Но если никто не видел, мы использовали ее как «гигантские шаги» и качели. Правда, под сорок девятым годом группа подростков употребила эту реликвию чуть ли не по назначению. Дело получило огласку. Но его наверняка удалось бы замять, если б не выяснилось, что казненная кошка была не бродячая, а была презентована китайским правительством русскому и отзывалась на кличку Мао. Слух о казни дошел до последнего как такового, и, оскорбленный, он требовал извинительных грамот и выдачи озорников по этапу. Следственная мельница встрепенулась, взмахнула крыльями, и, звеня кандалами, по Сибирскому тракту в Пекин потянулись колонны причерноморских скифов, ни в чем, казалось бы, не повинных. Разбирательству, да и нашим проказам, не видно было конца.

К сожалению, в многочисленных обо мне мемуарах приятелей того времени постоянно встречаешь неточности в описаниях нам присущих игр и прочих рассеяний. Сын Л. И. Брежнева — Брежнев Ю. Л. в трехтомнике «Палисандрово детство» писал: «Кремль был полная чаша. Все жили весело, увлекательно, без особых забот». Это верно, но не поленимся процитировать далее. «Из аттракционов,— рискованно утверждает он,— недоставало разве что каруселей».

Обидно, когда хорошую книгу портят такие, казалось бы, незначительные, а по существу непростительные ошибки, способные навести на мысль о намеренной фальсификации прошлого, о попытке если не повернуть обратно, то уж во всяком случае застопорить его маховик. Да, формально Вы правы, Юрий Леонидович. Отсутствие каруселей в строгом смысле имело место и на сторонний взгляд отзывалось откровенным лишением. Но разве не заменяло их нам своеобычное колесо, на котором колесовали когда-то наиболее рьяных крестьянских политиков типа так называемого Петра Третьего, прозванного Пугачевым? С лихвою. О, колесо! Сколь сладко подчас заскрипит оно на ночном ветру. И терпко затеплится, трепетно засвербит, заноет в нас грусть по схлынувшему. И колобродим. Не спится. Звеним в гостиной бокалами, вилками. И щупальцами изветшалого мозга все шарим и шарим в туманных провалах былого. И нечем дышать. И рыдаем. Припомните, не оно ли хранилось тогда под навесом конюшни. Оно! Тушуйтесь же; не к лицу вам, кремлевскому старожилу, вольтижировать фактами. Ученый обязан быть точен и бережлив, а тем паче ученый с такой фамилией, как у Вас. Вы знаете басню о граблях? Один человек был небрежен и часто бросал их в траву как попало. Порок его был наказан. Однажды он сам наступил на их зубья. Удар черенка, пришедшийся лентяю по голове, заставил о многом задуматься. Так и минувшее. Блистательные калейдоскопы правительств и их народов, коронации и восшествия, походы и битвы, казни и покушения, расцвет ремесел и закаты цивилизаций — такими, мой милый, вещами нельзя разбрасываться в равной мере. Минувшее, не устаю повторять я своим приверженцам, следует уважать хотя бы уж потому, что мы сами, к несчастью, становимся его достояньем. Точнее не мы, а вы: вы становитесь, господа. Да, пружинится возразить нам завзятый скептик, но есть в минувшем и теневые стороны. Что ж, если вглядеться в глаза Истории надлежащим образом, то заметишь под ними и тени усталости, и морщины — следы терзаний, бессонниц. Взять прошлое русского трона. Издревле

к нему на подступах творилась нездоровая атмосфера взаимонепонимания и нетерпимости. Смотришь — этот удавлен корсетным шнуром одалиски, тот — заколот стилетом гардемарина, третий гильотинирован, четвертый как раз четвертован, пятый отравлен или затравлен — you name it *. А я возвращаюсь к смерти дяди Иосифа. Я расскажу, как все было в действительности. Без умолчаний и без прикрас. Им нету здесь места.

Мы знали, что в той лубяной обители, где осенью восемьсот двенадцатого вершилась за ведерным самоваром судьба России, теперь вместо фельдмаршала К. коротает свои овдовелые ночи Генералиссимус С. И шумной, привилегированной, но по-своему демократичной гурьбой вбежали мы в эту избу в упомянутый выше вечер. Дети, внуки, племянники маршалов и министров, работников дипломатических и специальных служб, донельзя изнеженные приевшейся и постылой кремлевской роскошью, мы, нередко бывая здесь, находили немало прелестного в скромном убранстве старинной хижины, в ее неструганой обстоятельности, домовитости, в домотканности ее занавесок, в скупой, как мужская слеза, меблировке. Вот — стул и стол, чтобы было на чем и за чем сидеть, закусывать, мыслить и все набрасывать и набрасывать конспиративным бисером памятку, тезис, приказ. Вот мыло и умывальник — умыться. А вот и то, что у нас в Отчизне пятеро из десяти назовут кушеткой, один — оттоманкой, а прочие — топчаном: спать? «Какое там спать, в Мавзолее выспимся»,— кротко отшучивался дядя Иосиф в ответ на укор своего денщика Абакумова, отчего же он, дескать, все бодрствует. И, наконец, этажерка. И все это совершенно невзрачно — некрашено — ненаглядно.

Вбегаем. На столе еле теплится спиртовая лампа. Гвоздь в шифоньере, который мы не упоминали прежде, чтобы упомянуть сейчас, бездействует: привычная шинель с него не свисает.

«Прогуливается!» — вскричал кудрявый и слабонервный племянник Молотова Илья, имея в виду

* Перечислите сами *(англ.)*.

Иосифа. Без него было скучно. Слонялись, листали рукописи, в подражанье хозяину попыхивали его коллекционными трубками, рассказывали неувядающие притчи про Ленина, ковыряли шпаклевку.

Вдруг вспомнили о собаках, оставленных на морозе, пошли впустить, но те уже убежали ужинать. Остался и был приведен в музей только верный Руслан, длинная пограничная такса лет четырех. Само собою явилось решение сделать дяде Иосифу небольшой сюрприз, для чего Руслана заперли в шифоньере, а сами залезли на печь и притихли. Задернутый полог ее пах Филями, Мытищами, и маленьким Паганини пиликал сверчок.

К моменту, когда, ни о чем не догадываясь, взошедший в избу Иосиф скинул шинель и шагнул к шифоньеру повесить ее на гвоздь, спирт в лампе выгорел, пламя заколебалось, угасло, и остаток земного пути Сталин проделал ослепью. Ослепью же он нашарил торчавший в замочной скважине ключ.

Дверца скрипнула. Возликовавший о вольности волкодав благодарно кидается освободителю на грудь. «Засада!» — мнится последнему. Аорта Генералиссимуса переполняется кровью жил, не выдерживает и рвется. Тело падает, а фуражка, слетев с головы, откатилась. Комета, мутнеющая в окне на манер бельма, подчеркивает всю фатальность свершившегося. Животное выло и скалилось, и, оскользаясь, бежали мы обледенелой брусчаткой вестниками всеобщей беды, и лица наши были перекошенней лун.

«Он умер, умер, и черты его заострились!» — смятенно бился косноязык изреченной мысли в колоколе головы.

Осознание своей без вины виноватости, ядовитый осадок косвенного соучастия в преступлении века до сих пор разъедают мне память сердца, и без того истерзанную. И мне не хочется вспоминать в подробностях компликации воспоследовавших дней. Буду краток.

В четверг всю компанию посадили под домашний арест, а в пятницу РКК — Родительский Комитет Кремля — совместно с моим Опекунским Советом приговорили нас к ссылке и лагерям. Приговор привели

в исполненье немедленно, и на похороны полководца мы не попали. Обидно. Ведь так мечталось набрать по оврагам подснежников, наплести венков, постоять в почетном карауле у саркофага. Не привелось. Уложили мы в немудрящие гробики их зубные щетки свои, иное рассовали по рундукам и разъехались по предписаниям кто куда. Слабонервный Илюша Молотов, например, уезжал в бальнеологический Баден-Баден. В Крым, в Артек, отправлялся лечить плоскостопие сын Кагановича Никанор. Желчную внучку Суслова хотели везти поначалу на грязи, однако врачи настояли на минеральных водах. Учитывая ее чистосердечное раскаяние и что Катя сходила с ума по Лермонтову с его демоническим идеализмом, Ессентуки заменили ей Пятигорском. Мне ж показан был Дом Массажа. Как старший по возрасту и практически ладный собой и здоровьем, я отдавался туда в работу на должность ключника, или — говоря языком плутовского романа — поверенного в келейных делах *.

Нежеланный отъезд детей омрачал и без того невеселый дух крепости. Мы еще не успели убыть, а по нам уж, казалось, соскучились. Навещали, кормили разными вкусностями и, журя, желали скорейшего возвращения.

Помню сцену разлуки на росстани зимы и весны у Кутафьей башни: объятья, слова приязни и преданности, обещанья писать, позванивать **.

* Литературная участь постигла и незадачливого Руслана. Хотя сам он сгинул на мыловарне, его биография, составленная сочинителем В. и изданная где-то на Западе в серии «Жизнь Замечательных Собак», вызвала большой политический резонанс.

** Замечу, правда, что лично я никому ничего подобного не сулил, поелику был не слишком коммуникабелен. Отсутствие родственников и знакомых вне крепости (многоюродных теток в расчет не берите: их экзистенс элегически затерялся в Тверских-Ямских, Староконюшенных и Кривоколенных; не имеет тут смысла учитывать и закавказских огнепоклонников: они все равно неграмотны) ставило меня перманентно вне почты, вне рабской зависимости от нее, а с другой стороны, лишало корреспондентских навыков, всей ценной коллекции таковых, как губка впитавшей в себя: регулярное приобретение особых бумажных листков и марок, блокнотов для содержания адресов; умение пользоваться специальным ножом для распечатывания конвертов и клеем для их заклеивания, умение

Высылка! Помню длинный кортеж, эскорт, помню талые лужи и отраженные в них траурные хоругви, штандарты, портреты. Лик виновника невеселого торжества, обрамленный аспидным крепом, глядел на меня с укоризной. Я отворачивался, и плечи мои сотрясались.

И вот уж я в Новодевичьем.

И меня встречают.

вписывать в узкие графы пункты предназначения и адресатские ФИО, абракадаброй велеречивости коих мы столь чураемся; и, конечно, умение компилировать тексты посланий — придавая им некий смысл, украшая их датами и реверансами. Плюс, если только не минус, я был беспомощен в отношении бэлловского аппарата с его иерихонской трубою для уха и рта, с его дырчатым диском. Когда, услаждая жену Брикабракова, я бормотал ему из своей процедурной, что и мизинец мой не проходит в те небольшие отверстия, то душой не кривил. Члену Ордена Часовщиков по праву рождения, учеба на часовом отделении КРУБС не была мне рекомендована именно в силу величины и неловкости пальцев: в часах ведь такие тонкости, что даже и небольшой по размеру специалист постоянно трудится в лупе. Придирчиво взвесив все за и против, я поступаю на смежное, погребальное отделенье училища, которое в связи с высылкой в монастырь решаю закончить экстерном.

КНИГА ДЕРЗАНИЯ

Меня встречают уснувшие до тепла фонтаны, пруды в ледяных мундирах с катающимися на них грациозками. Меня встречают какие-то вековые деревья со скачущими по ветвям небольшими животными. И встречают киоски, решетки; встречает осунувшийся, по-пушкински ноздреватый снег. Встречают и статуи, на зиму предупредительно замурованные в гробоподобные ящики. Меня, наконец, приветствуют и кое-какие служащие. Почтительно избавляют от багажа и ведут непосредственно в трапезную.

«На обед подавали рябчиков,— констатирую я в своем неукоснительном дневнике в тот же вечер.— Столики были сервированы на двоих».

Испросив позволения и не получив ни его, ни отказа, подсаживаюсь к незнакомой даме. Витая еще в путевой прострации, вид ее показался знакомым. «Я только что видел ее в среде конькобежек»,— думаю я. И сказал ей:

«Пленительная погодка, миледи. Типичная оттепель. Вы заметили, как помутился и матов каток? Мне неймется его уподобить старинному зеркалу, у которого потрескалась амальгама. А вам? Между прочим, у нас в Кремле тоже есть ледяные пространства. Там, видите ли, заливают аллеи. Скользишь себе на досуге, вальсируешь».

Вся в чем-то вечернем и черном, в чадре и темных очках, незнакомка не отвечала, и мне не оставалось иного, как самому поддержать незаладившуюся беседу.

«Я в зимних забавах, конечно, не дока, не спец, но, по-моему, вы фигурируете на заглядение плавно.

Просто что-то особенное. В вас бездна пластики, бездна. Вы истинная виртуозка». И все такое.

Как видите, тон беседы был bon, т. е. исключительно светск. Отобедав, моя незнакомка знакомого вида откинулась на спинку жесткого черного кресла и плавно отъехала в нем, манипулируя какими-то рычагами. Тогда, окликнув лоснящегося метрдотеля, которого звали З., автор строк надавал молодцу казначейских билетов и живо поинтересовался: «Скажите, дражайший, а та миловидная старушенция, с которой мы так славно потараторили только что, она вообще разговаривает?»

«Обычно без умолку,— отвечал мне распорядитель.— Впрочем, вот уже несколько лет, как — ни слова».

«То бишь — решительно ни гу-гу?»

«Совершенно».

«А что так?»

«Мадам настоятельница блюдет пост молчания».

«На какой же предмет?»

«Сожалеет о невозвратном. Вообразите, когда-то она состояла в супругах персидского головореза Хомейни. Слышали про такого?»

«Так, краем уха».

«Теперь старикан пошел в гору, разбогател, а прежде был заурядным муллой безо всяких перспектив. Жен своих содержал в беспорядке, впроголодь. Говорят, у него в серале не было даже водопровода».

«А ванна? Чем же они ее наполняли? Неужто единственно грязью?»

«Ванны не было тоже».

«Какое несчастье!»

«А за нуждою,— повествовал З. доверительно,— ходили в канаву и вместо туалетной бумаги употребляли обычные придорожные камни».

«Зачем же не подорожник?»

«Использование широколиственных трав в Персии карается по Корану,— ответил распорядитель.— Короче, рутина гаремной жизни тяготила мадам, до замужества жившую как у Аллаха за пазухой. Шутка ли: дочь Мехмеда Шестого!»

«Вахидеддина?»

«Да-да, султана Оттоманской империи. Добрейший, рассказывают, был папаша, ничего для детей не жалел. И как-то, гостя у него в Трабзоне, она говорит ему: папа, можно я покатаюсь на лодке? Ну, разумеется, покатайся, сказал Мехмед. Тогда она села в шлюпку и уплыла».

«Далеко ли?»

«В Россию. Точнее, в Аджарию».

«Понтом?»

«С вашего разрешенья, Эвксинским. С ней плыл один знаменитый пройдоха — поэт, который, в сущности, и вовлек ее в авантюру».

«Турок?»

«М-м, младотурок,— уточнил метрдотель, знавший цену определенности.— Напосвящал ей стихов, обещал жениться, уговорил бежать, а по прибытии, если не ошибаюсь, в Батум, пошел да и утопился».

«Какая бестактность!» — рассерженно я сказал.

«Поразительная,— ответил З.— Бросить женщину с малолетним мальчиком на руках. Она ведь бежала с сыном айятолы».

«С сыном? А что с ним сталось?»

«Сначала вырос, потом состарился»,— молвил метрдотель.

«О, за старостью дело не станет, время стремит искрометно,— посетовал автор строк.— И где же сей подвизается?»

«Неподалеку. Да вы его, верно, знаете, Ваше Сиротство, у него синекура на здешнем кладбище».

«Кербабаев?»

«Он самый».

Ах, мне ли было не знать Берды Кербабаева! Типичный персидский турок, он числился в офицерах того разряда, за коим упрочилось бравое имя запаса, и, будучи в нем капитаном, нередко нáшивал не сапоги он, но валенки.

Есть люди, в чьих жестах упрямо сквозит ни на чем не основанная уверенность — в себе ли, в завтрашнем дне, в преданности ли своим идеалам — кто знает их,

этих выскочек. Есть и другие, в чьих жестах сквозит неуверенность, что совершенно естественно и похвально. Наличествует, наконец, и третья категория публики. В жестах ее — даже если она по-бернаровски драматична — не сквозит ничего.

Капитан от складирования Кербабаев Берды Кербабаевич не вписывался ни в единую из перечисленных категорий, поскольку жестов за ним никаких не числилось и замечено не было. Он не употреблял их. Поэтому иногда казалось, что органами жестикуляции он попросту не владеет. Так те из нас, кто не использует бранных, или, как их еще называют, крылатых слов, способны произвести впечатление, будто их и не знают. Ведя себя таким образом, т. е. таким, что руки его постоянно висели — но не безвольно, как плети, однако и не по-солдафонски, навытяжку, а спокойно и просто висели,— Берды представал перед Вами фигурой безыскусственной простоты, очевидности, был воплощенная ясность. Впрочем, не родился еще тот вышестоящий по званию командир, который отважился бы упрекнуть его в неотдании чести: прямота и спокойствие, с какими складеец держался перед любым начальством, не только делали Кербабаеву честь, но и не допускали никаких нареканий. Они же, разумеется, и подкупали. Все перечисленное обеспечило ему репутацию блестящего отставника и сотрудника, и привычка к валяной обуви не мешала ему в неслужебный ядреный денек блеснуть перламутром штиблета, брильянтом запонки, александритом галстучной скрепки, что, разумеется, не могло не питать завистливых сплетен, будто бы капитан нечист на руку и, сторожа от других, обирает захоронения сам. «Так ли это?» — бестактно расспрашивали его иногда подвыпившие охотники, соизволяя шутить. Смугловат, хмуроват и подтянут, капитан им в ответ лишь насмешливо ухмылялся, и рот его, искаженный в детстве аджарскими компрачикосами, горел золотыми коронками, как монастырь — куполами.

«А мадам? как слагались ее обстоятельства? И если уж мы завели о ней речь, то как ее имя?»

«Мадам Шагане Хомейни. Хотя большинство клиентуры зовет ее просто Джуна. В последние годы она служила по заграницам — от Чили до Индонезии, в лучших домах нашего типа. Огромный опыт. Так что по возвращении в Эмск ее сразу направили к нам и произвели в настоятельницы».

«Строга?»

«Мегера»,— признался метрдотель.

Мысленно потирая руки, П. загадочно улыбнулся: из дамских характеров ему наиболее импонировали злые и вздорные. «А что это за спицеблещущая колесница? У мадам, вероятно, проблемы с ногами?»

«Навряд ли,— сказал мне З.— Их ведь нету».

«С чего бы это?»

«С рожденья».

В тот же день прохожу инструктаж у завхоза, расписываюсь в амбарной книге в полученье ключей и за полночь, весь проникшись сочувствием к настоятельнице и в нарушенье всех правил, благоупотребляю один из. Вращаясь, окладистая бородка ключа коснулась нижней кромки сувальды, штифт вошел в ее выемку, пружина ослабла, и ригель послушно откатился в резерв. Дверь не скрипнула. Я вошел.

Шагане почивала под балдахином. У изголовья ложа горел ночник, выхватывая из сумрака изысканно скупую сервировку прикроватного табурета: мелковатый фужер и заметно початый графин благородного саке; в нем, польщенная моей убедительной просьбой, кухарка мадам с вечера растворила немного снотворного. Лицо настоятельницы покрывала чадра. Как, должно быть, прекрасно оно в закоснелой своей порочности, подумалось мне, как неурядицы ремесла, вероятно, сказались в нем, если даже впадая в объятья Морфея, она продолжает скрытничать. Испорченное воображенье зашлось в ознобе. В минуту мое альтер эго окрепло, взошло, и, не прибегая к услугам рук, которые были скрещены на груди, я со стоном осеменил себе изнанку исподнего.

Шагане застонала. Ей снилось, будто какой-то прекрасный юноша — неискушенный, почти что невин-

ный — изнеживает ей межножье. Всмотревшись, я трепетно узнаю в нем себя и снимаю с лица ее сетчатую вуаль. Предо мною возник испещренный краплениями, трещинами, траченный в азартных тасовках лик пиковой дамы — заблудшей дочери истамбульского истэблишмента.

Она разметалась. И если Вам посчастливилось созерцать хоть студенческий слепок начинающего Пигмалиона, изваянный с антикварной калеки из Мелоса, и если при виде физических недостатков богини дыхание Вам перехватывал спазм эстетической горечи, тогда Вы поймете, что мне открылось и довелось пережить. Жалость прилила ко всем членам моим, как хмель — и тут же перебродила в вино филантропии, гуманизма, в неутишимое искушенье принять участие — в ней, потасканной страстотерпице — во всех ее сквернах, пороках, падениях и греховных исканиях. Мне захотелось пройти с нею вместе весь пройденный ею предосудительный путь, исследить его ретроспективно; опосредованно — методом искупительного самоуничижения — отведать лишений замужества и внебрачных мытарств, проникнуться болью ее подневольных оргазмов, цинизмом интернациональных оргий — и только потом уж дать волю мятущимся чувствам, накипевшим слезам — раскаяться и расплакаться: за нее, за себя, за нас взятых вкупе — нас, без устали, разными способами погубляющих себе души.

Осторожно я приподнял ее, подложил ей под поясницу подушку, взошел на ложе и скромно, как для молитвы, встал пред женщиной на колени. Не решаясь прильнуть к ненаглядному телу, я дерзко, но сострадательно, словно лекарь, предпринял вмешательство во внутренние ее дела.

О беглянка! Войдя моим сызнова восхищенным блудом в изнывающее в грезах лоно твое,— я вошел в эти грезы — наполнил их своим существенным содержанием — упруго овеществил — стал естественным и полнокровным их содержанием.

Очи турчанки взволнованно заметались под веками, линии лба и щек исполнились как бы сладкой иронии,

но Морфей не выпускал ее из объятий своих, и Эрос бесстыдно зазыбил несчастную в люльке желания. Когда же сомнамбулическое блудодейство постигла высокая кульминация и все существо Шагане потрясла малярия катарсиса, она очнулась; однако видение продолжалось и наяву: ею пользовались. Сон оказался на редкость в руку. Настоятельнице было невыразимо приятно и стыдно вместе. Хотелось кричать. Но — о чем? От чего именно? Она терялась в догадках.

«Простите, я вижу, вы смущены,— начал П., в свой черед приближаясь к заветной развязке.— Признаться, я тоже в смятеньи. Мне мнится, я давеча вас огорчил. Только я не выдумывал: там действительно кто-то катался, а я — я дальтоник, я — дальнорук, и весь мир — вся подлунная с точки зренья меня — или, если хотите, по мне — есть пестроватое крошево. Вся вселенная аляповато расплывчата. Фигуры заскакивают одна за одну — заползают, и где же — откуда мне было знать — согласитесь. Касательно, то есть, вашего incapacité — откуда? Мне, свежеприбывшему новобранцу. Сослали, сослали в ваше распоряжение, в ключники, а сами не предуведомили, не упредили. И вот — выхожу кругом виноват. Захожу принести извиненья — загладить — вы дремлете — раскидались — вся как-то ни в чем — и я мыслил просто поправить — не ситуацию, так хоть одеяло, подушку — хотя бы погладить — нет-нет, не кричите — теперь уже поздно — уж за полночь — ваши уста скреплены обетом — и вот — не взыщите — такая оказия — я на грани — на грани прекрасного!» — задохнулся П. в пароксизме раскаяния и прильнул к ее туловищу всем своим. И зизи его запульсировало, орошая ее развращенное чрево, которое всепростительно конвульсировало в ответном порыве.

Ночь пришлась нам не впору — была коротка. Коротка, как ночная сорочка для легкого поведения. И когда темнота начала кончаться, я продлил ее, плотно зашторив бойницу кельи, имевшую непристойную форму овала.

Мы познавали друг друга, не зная устали. Мы были решительно разные, но это-то и сближало нас — огром-

ного русского отрока и небольшую пожившую женщину оттоманского происхождения. Ей нравилось во мне все: и голос, и внешний вид, и переизбыток страсти, и расцветка моего пижамо́, и величина моего альтер эго, которое в продолженье всего визита практически не оставляло предмет восхищения своими заботами. Да и я отмечал в ней немало приятного: пожилой, нездоровый багрянец щек, крючковатый костистый нос, полноватый живот и линялый, местами повытертый, ворс лобка, и вислые, очень длинные груди с пупырчатыми наперстками синеватых сосцов: ими я упивался, как тибрские братья. Выше всяких похвал оказалось и лоно, которое то и знай доводил я до бешенства и в котором было вольготно, как ни в одном из ему предшествовавших: в тех мой блуд находил себя постоянно в стесненных, а то и в душивших его обстоятельствах.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . Не отставала и Ш. Мы оба были настойчивы, бескомпромиссны и беспощадны друг к другу, словно маньяки, купнодушно ищущие философский камень. И наши совместные поиски сближали нас и сближали: мы обретали друг друга. И упиваясь горячечным бредом соития, я причащался грехов ее, становясь человечнее, проще, а значит — прелестнее. А Ш., вкушая моей относительной непорочности и юной любовной влаги, прочувствовала, осознавала глубины своих минувших падений и — очищалась, раскаиваясь.

«Мы родились, чтобы встретиться, и встретились, чтобы переродиться»,— горит моя дневниковая запись от марта девятого дня.

О, как целительна была наша связь, как искупительно и отрадно было это взаимное унижение. И на исходе следующей ночи и сил мы не могли больше сдерживать слез и детьми разрыдались в какой-то сквозной истерике: пытка счастьем казалась невыносимой.

Так, сударь мой, вспыхнуло — полыхнуло — хлынуло первое настоящее чувство дерзающего лица. И точно так же началась его служба в качестве рядового ключника на каторге эротических буйств.

Должность ключника, насколько я ее понимал, считалась почетной, однако в Ваши обязанности что-то, все же, входило. Во-первых, Вы были обязаны быть им, считаться, числиться, что уж само по себе докучало; а во-вторых, знать и помнить об этой обязанности, для чего и носили на шее монисто из ключевых болванок, перебирая их, будто четки. Вдобавок Вы записались на монастырские курсы ирландской чечетки и много практиковались в уединении. Причиндалами Пана — призывно! — бренчало Ваше монисто и клацали Ваши голландские клоги — то тут, то там — по зацветающим закоулкам подворья. Вы звали — и она приезжала. Спицы ее партикулярного кресла, отлично подтянутые мастером на все руки отцом-привратником Никоном, воспаленно сверкали, и им навстречу сияли ролики моего самоката, искусно смазанные тем же Никоном. И реяли полы халата.

Съехавшись, мы немного катались по парку, нимало не прячась от монастырской челяди и гостей, ибо состояние персонального счастья, любезнейший, есть в первую голову состояние обостренного безразличия к посторонним — со всеми их кривотолками. Случалось, не вытерпев ждать до сумерек *, мы убывали в заброшенный сектор сада, где к нашим услугам висел читальный гамак. Мы читали в те дни «Кармасутру», староиндийский самоучитель фривольных утех под редакцией знаменитого сексопатолога Эриха Фромма, эсквайра. Девятитомное руководство пестрело сотнями репродукций с картин замечательных колористов Востока. События, запечатленные на полотнах, восходили,

* По доброй традиции, которую мы почти никогда не смели нарушить, сотрудники заведения могли находиться в женских (Мариинских и Лопухинских), а сотрудницы — в мужских (Годуновских) палатах лишь от захода солнца до полудня.

по-видимому, к раннему матриархату и носили, что называется, групповой характер, имея место на всевозможных качелях, батутах и в гамаках. Число участников ограничивалось только рамками иллюстраций: они буквально клубились телами, но каждый был очевидно при деле — кто непосредственно, кто — в порядке обслуживания: подавали напитки, помахивали опахалами, покачивали качели. Но чем бы и как бы ни занимались любвеобильные древние, Вас всегда остраняло выражение изображенных лиц — их спокойствие, созерцательность, кротость, их какие-то непричастные, благостные улыбки. Улыбки Будд. Отдавая дань мастерству, явленному в сих забавных буколиках, позволим себе осмыслить, что уже и античные живописцы не всегда, к сожалению, следовали этнографической правде жизни. Ибо таких малоэмоциональных улыбок в такие интригующие моменты действительности не удается приметить нигде — пусть и на самом дальнем Востоке. И тем не менее «Кармасутра» доставила нам немало приятных и небесполезных часов. Конечно, мы не могли выполнять всех ее предписаний дотошно. Положим, в нашем распоряжении был гамак, но ведь не было никаких сообщников: целомудренны, мы довольствовались лишь друг другом. Но сколь по-настоящему, полнокровно довольствовались! И мимика наша — поверьте, мы специально сравнивали — не шла ни в какое сравнение с мимикой буддийских эротоманов. Наша была бесконечно естественней и щедрей.

Но лето кончалось: на кладбище зааукались первые грибники.

Размышляя о русской осени, заключаешь, что та не балует человека ничем, кроме вызревших кое-как плодов, и полна отвратительной слякоти и печали. Осень негуманно ставит Вас перед фактом своих проливных дождей, продувных норд-остов. У многих обложено нёбо, но небо — у всех. И хотя в бесхозяйственных наших широтах батуты и гамаки качаются меж березами и в декабрьский градобой, и мартовским буреломом, лично Ваш качальный сезон завершается в августе месяце. В сентябре же, когда безответное детство и

отрочество гуртом загоняется в душегубки гимназий и бурс, а птицы шеренгами летят на курорт, Вы начинаете пользоваться гостеприимством некоторых разоренных склепов.

Бывало, я извлекал Шагане из коляски, усаживал на пустующий пьедестал и скорбно, в ритме «Аве Марии», делил с ней два-три безумья подряд. А потом, приведя себя в прежний вид, мы снова катались. Неуют этих поистине нежилых помещений, подернутых мхом, как мехом, и слизью, как слизью — снаружи и изнутри, не претил нам. Точнее, мы просто не замечали его, третировали невниманьем. И тот, кому хоть единожды на веку довелось пережить бесшабашное уличное приключение, а лучше — целый бездомный роман, тот поймет почему. Поймет, ностальгически улыбнется и скажет: «Горение и чистоплюйство — несовместимы». К несчастью, пьедесталы нередко случаются не под стать — главным образом раздражительно высоки, даже мне — и тем самым напоминают знакомые всем подоконники наших парадных подъездов, а сей ущерб интерьера игнорировать не приходится: приходится применяться. Поэтому тот, кто догадывается, чего мне стоили те тактические победы над вертикалями, как болели потом оскорбленные мускулы и зизи и как по-настоящему никогда не выветрится из цепкой обонятельной памяти запах тех нечистот, что кучами оставляют после себя осквернители склепов во всех странах мира,— тот пусть вместе с нами воскликнет: «Да здравствуют зимы, что озонируют воздух, а также возводят Вас, представителя нашей дерзающей молодежи, на котурны коньков!»

И зима наступает.

Утро. На первом, за ночь выпавшем снеге появляются анонимные прокламации, суть которых сводится к самой из них незатейливой: «П. плюс Ш. равняется Л.».

В ответ поступаем не менее математически: ноль внимания. Правда, пролистывая сейчас свои новодевичьи записи, я улавливаю намеки на то, что меня в глубине души нет-нет да коробили, задевали проделки

сплетников. В дневниковой заметке от третьего января, лаконичной и хлесткой, читаем: «Ничтожества!» А от четвертого: «Любопытствующее человечество напоминает нам тараканов, питающихся грязцой чужого несвежего бельеца, и с какою-то прямо брезгливостью ежеутренне осознаешь, что и сам ты имеешь обличие гомо. И коснувшись себя — так и хочется кинуться в омут спасительного всеочищающего плескалища. Да, собственно, и кидаешься».

А не плачевно ли, к слову сказать, что все старания Брикабракова-опылителя не увенчались успехами? Годами пульверизировал он кремлевские покои и туалеты, но мухи все продолжали жужжать, комары — нудели, клопы — покусывали, а когда, преисполнены мизантропических настроений, Вы устремлялись к пока еще ненаполненной ванне, чтобы наполнить ее, то обнаруживали в ней безобразнейших «прусаков». И Вас начинало не то что подташнивать, а форменным образом рвать.

«Прямо в ванну?» — слышу я голос дотошного летописца.

Увы, дружище, увы. И пусть лекарь Припарко Аркадий Маркелович в своих «Рассуждениях крепостного врача», опубликованных в латиноязычном журнале «Аурора Бореалис», настаивает, будто ранние *мокроты* * мои выделялись на почве глистов, оставим сие безответственное утвержденье на совести тех, кто присвоил ему ученую степень. Мальтузианское омерзение к насекомости человечества и к себе, его неотъемлемой части,— вот действительная причина всех наших обратных утренних перистальтик.

Меж тем отношения Ш. и П. развивались неординарно. Мужчины давно привыкли, что женщина поначалу снобирует их притязания единственно для того, чтобы с пущим эффектом вступить в связь впоследствии. Мировая драматургия и синема отполировали этот унылый фарс до блеска общего места, до лоска заерзанных зрительских фалд. Но тем-то и примечательна жизнь, что,

* Читай, разумеется,— рвоты.

игрива и взбалмошна, предлагает нам более исключений, чем правил. Довольно активно отдавшись на первом же, если так можно выразиться, рандеву, Ш. по прошествии кое-какого времени стала словно бы сожалеть о содеянном. В один из последующих февралей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним — поначалу лишь взглядом, а после и личным образом. А если общение оказывалось неизбежным, то все чаще оно отзывалось голой платоникой. Последняя близость в склепе относится к середине марта. Действующие лица — все те же, привычен и антураж, однако П. откровенно неистовствует, а Ш. безучастна, как мумия. Соитие разочаровало обоих. Когда они покидали кладбище, снег сыпал типичной известкой, следы колес и коньков исчезали тотчас, а наступившей весною Ш. так охладела, что относительно гамака не могло быть и речи.

Недоумевая, П. жаждет выяснить отношения, но и это оказывается проблематичным. По вечерам Ш. у себя не бывает, ночами ключ П. не входит в замочную скважину настоятельницы, а точнее — в скважину дверного замка в двери ее кельи, т. к. Ш., запершись изнутри на свой, оставляет его в замке до рассвета, а на рассвете ее навещает пить чай заведующая гримуборной Ф., типичная молодящаяся пожилуха. Подобных ей дам Вы найдете в домах массажа любого правительства. Все они вроде бы высоконравственны, недоступны, все одеваются разнообразно, крикливо, пестро, только как бы они ни оделись, Вам чудится, что помимо туфель на них — только розовый пеньюар — пеньюар да и только — подумайте! И разве подобное не выводит из равновесия? не томит? не выбивает Вас из наезженного? не толкает на малообдуманные поступки? С целью вызвать у Ш. чувство ревности и тем воскресить былое, П. решается на один из.

Довольно ярким апрельским утром, в день тезоименитства небезызвестного Ленина — уж так почему-то совпало — П. в разгар чаепития является в опочивальню Ш. и на глазах еще сонной хозяйки откидывает Ф. на софу. Он срывает с гримерши опостылевший пеньюар и явочным, как говорится, порядком овладевает ею.

Обе женщины бурно, хоть совершенно по-разному, переживают эту мимолетную связь: Ш. бьется в глухой бессловесной истерике, Ф.— в экстазе. Финал психодрамы классически зауряден: с горящими на мясистых щеках пощечинами незадачливый интриган выставляется вон. Вопреки его ожиданиям случай в келье нисколько не послужил к воскрешенью былого. Напротив — при встрече Ш. не подаст провинившемуся ни руки.

П. в отчаянии. Он проклинает тот час, когда впервые вошел в ее грезы, овеществив их. Он желает забыть и ее, и свою к ней привязанность. А напрасно. Когда-нибудь, оглянувшись, он осознает, что их взаимоотношения достойны отнюдь не забвения, но всяческого о себе напоминания, ибо были прекрасны во всех нюансах. Впрочем, что значит — были? Ведь: «Истинные взаимоотношения,— набросает П. на каком-то случайном клочке бумаги, вступая в третье тысячелетие от Рождества Христова,— взаимоотношения в лучшем значении слова не прекращаются и за чертой неизбежности, где, по мнению маловеров, кончаются все, даже лучшие, начинанья». И ниже: «Роль, которую в воспитаньи незрелых эмоций моих довелось сыграть сей благочестивой магометанке, огромна и подобна дрожжам: бросьте их куда следует: и зелье забродит». И на обороте того же клочка: «Как наивная барышня из чудесной провинциальной семьи, приехавшая в столицу причаститься шекспировской страсти,— та самая барышня, что с вокзала обольщена артистическим прощелыгой — ничтожнейшим щелкопером — смазливым щеголем — свезена в номера и обманута — и в сумятице закулисных оргий отмстительно сыплет гребенками по все новым подушкам — и тратя остатки скромности — и не чураясь самоновейших позиций — лихорадочно плещется в нечистотах общественных ванн — так и я же: обманут — оставлен — задет в возвышенных чувствах: кипел и безумствовал, юношествовал и дерзал!»*

* О молодость, ты ли не отболела!

Когда какие-то вялые, изможденные голоса негромко, но внятно зовут Вас по имени-отчеству, а на всей перспективе бульвара, как Вам, дальнозоркому, представляется — ни души, не убеждайте себя, что сегодня Вы попросту не в себе, не выспались, утомлены и гонимы, и что, в сущности, то никакие не голоса, а лишь вспорхи и перепархивания пернатых выводков в кронах очаровательно, что там ни говорите, метлообразных и долговязых вязов нашей эмской провинции, а лишь ненавязчивый и бессвязный лепет подземных вод, а только шуршание листопада, падающего дождя или выпавших из плевательниц облигаций казенного золотого займа; не убеждайте. А также не сетуйте на слуховой аппарат и спичками с ватными наконечниками не ковыряйте в ушах, ибо если Вы даже проткнете себе в сердцах барабанные перепонки, то и тогда голоса не угаснут: Вы будете слышать их не ушами, но всем существом, как слышал свои хоралы оглохший Йоханн Себастиан.

Вот, вот — опять. И опять по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович,— отзовитесь!» Да-да, отзовитесь, а то никогда не угаснут и, словно пернатые выводки, станут клевать Вам коленную чашечку Вашего черепа *: «Палисандр Александрович, помните? помните? а?»

Будьте же, сударь, мужчиной, каковым Вы претендовали быть в те бесславные залихватские поры — не трепещите. Ведь это не более чем голоса — отголоски тех глоссолалий, истошных сладострадании, любовных одышек и блудливых речей, которые Вас некогда столь умиляли — Вас, тогда похотливого хохотливого жеребца, а теперь непотребного сентиментального мерина. Словом, внемлите и возражайте: мол, да, я — Палисандр Александрович Дальберг, уважительно прозванный своим благодарным народом Палисандром Прелестным. И это именно я, Прелестный, стою на бульваре, взволнованно опершись на чугунный с брильянтовым набалдашником зонт, что в тысяча пятьсот восьмидеся-

* Alopecia areata, милостивый государь, alopecia areata.

тые годы метнул в своего непослушного недоросля Иван Васильевич Грозный, один из моих кремлевских предтеч. Зонт, а вместе с тем — посох, причем отличнейший: и остер, и увесист. Таким, доведись, не только от сына — от своры собак отобьешься. Простите себе эту горькую самоиронию, но с чем идти по миру, Вы уже обрели. Только не теперь, потерпите. Такое всегда успеется. Нынче — время бестрепетно отозваться взыскующим голосам: дескать, припоминаю, припоминаю, правда, не все и не досконально. Еще бы, еще бы Вы удержали в памяти всех поверивших Вам старушек — из тех, что имели обыкновенье гулять аллеями Новодевичьего. И не только; войдя во вкус, Вы позарились и на скорбелиц Ваганькова, и на изысканных, утонченных дам Данилевского колумбария, и на маститых вдов Переделкинского погоста. А после, когда натешились ими, Вас отнюдь не смутило различие вер; повадились на немецкое, греческое, еврейское кладбища, на исконные вотчины прочих национальных меньшинств. Не для Вас, удалого охальника, писаны были сакраментальные тексты.

Впрочем, надо отдать Вам должное, Вы никогда не склоняли к прелюбодеянью насильственно, и взыскующие голоса готовы свидетельствовать о том. Иначе за что бы они обожали Вас — до сих пор — Вас, матерого вертопраха — зачем бы шептали: «А помните, помните?» — о, они! — охмуренные Вами печальницы — набожные божьи коровки — квелые одуванчики — прирученные и покинутые зверушки — и на кого же, подумайте,— и навсегда. Странно мыслить: они уже все не здесь. До единой. Ведь и тогда наиболее молодой — непростительно, непростительно молодой из них — было под шестьдесят. И сначала Вы даже не обратили — почти что не обратили внимания на нее. Почти прошагали мимо. Даже и прошагали. Но, умозрительно приглядевшись, вернулись представиться. Ну, конечно, она была не вполне в Вашем вкусе. Весьма не вполне. Однако ночные охранники с колотушками приступили уже к обязанностям, посетительницы расходились, и выбора практически не оставалось.

Ей всплакнулось над свежей могилой сына, что, судя по эпитафии, был какими-нибудь десятью-одиннадцатью годами Вас старше, и то ли его переехал омнибус, то ль что — всякое, знаете ли, случается. И Вы принялись сочувствовать, начали принимать в ней участие, и дыхание ее участилось. Тогда Вы обволокли ее иллюзией преданности, защекотали щеточками фальшивых усов, усладили мягкими прикосновениями. И не успели еще просохнуть ее материнские, как навернулись слезы желания, и она закачалась у Вас на бедрах, восхищенно изнемогая от той энергичной участливости, с какой Вы входили в ее обстоятельства. Оренбургский пуховый пеплос, которым на зиму глядя она прикрывала седины свои и плечи, стеснял ее, и она развязала его и отбросила на зубья ограды, и он повис на них, зацепившись.

А когда вы прощались, она целовала Вам руки, упрашивала попустить ей неопытность, неумелость — умоляла не забывать — назначала свидания — дарила что-то на память — как все они, впрочем, как все. Вот именно, в том-то и состояла беда этих разноплеменных доверчивых душ, что несмотря на раскосость, отсутствие волосяного покрова и некую необычность целого ряда черт, Вы обладали каким-то нечеловеческим шармом. Вы были, если хотите, харизматичны. И Брикабраков не врал, что насельницы Новодевичьего почитают Вас душкой, лямуром. Вы были каризматичный лямур, ангел неги, Eros! Вы были, милейший, старушья присуха — смерть. И они, заскорузлые грустные души в обносках тел, зачарованно поступались честью. Все как одна. Даже и те, что уже и не понимали, зачем и как это нужно делать. Или — не помнили. Погодите, да многим нечего было и вспоминать. Их-то, ветхих Христовых невест из числа нецелованных бабушек, певших в церковных хорах, и монашек в миру — их Вы могли бы и не приручать, могли не будить им небуженного. Хотя бы из чисто отвлеченного гуманизма. Разве Вы не читали о нем? Или свечение отроческого ночника вправду было неверным? А все эти нищие инвалидки, паралитички, юродивые — то есть, каким же обра-

зом Вы, белоручка, брезгливец, ходивший к причастию с собственной ложкой, позволяли себе сношения с ними? А таким, что якшались с указанным контингентом только в особых каучуковых перчатках, соответственно облачая и альтер эго. А органы придыхания — рот и нос — защищались марлей: потомок известного шотландского палача, и сами в известном смысле порядочный изверг, Вы также орудовали зачастую в маске. Среди остальных причиндалов, что постоянно носились с собой в небольшом несессере, не следует упускать из виду склянки с импортным мирром и вазелином, которые Вы использовали в особо запущенных случаях.

Свежа ли, кстати сказать, в Вашей памяти та горбатая и придурошная побируха с задворок Преображенского кладбища, провидица без определенных занятий, которую Вы называли вдовой на выданье и которая вся пропахла подпольем, поскольку жила в нем? Свежа — или тоже заплесневела? Абонируя в сем вертепе угол за ширмой, Вы содержали в нем три-четыре своих выходных наряда для выхода в свет, для сумеречных и ночных похождений. Сняв дневное, служебное, и надев вечернее платье, а также парик и приличные туфли, Вы там поистине преображались. Естественно, Вы ничего не платили старухе за беспокойство: она довольствовалась теми минутными радостями, которые Вы ей нет-нет да оказывали на кованом крытом ветошью сундуке, где — как Вы насмехались — хранилось ее приданое. Правда, радости эти оказывались столь велики, что в миг содроганий она не выдерживала и выделялась в астрал — покидала убежище тела. Тело, образно говоря, выдыхало ее из себя и, выдохнув, становилось еще тщедушнее, усыхало. Заметно тускнели и останавливались глаза ее, и выхолощенной напрочь мошонкой свисала грудь. Но самое любопытное происходило с горбом. Он проваливался, западал. Так под ногою охотника западает порою болотная кочка. И когда обитательница водворялась обратно, сложнее всего ей бывало протиснуться именно там. Да и в целом, оставленное на минуту, тело оказывалось бедняге не впору, тесно́. Ей приходилось его разминать, разнашивать,

по-станиславски вживаться в плоть, как в забытую роль.

Находясь в тех, по-видимому не столь отдаленных местах, куда она отлучалась и которые называла «поля ожидания», горбунья встречалась с умершими, видела то, что будет и было. Что было — Вы знали из тысяч прочитанных мемуаров и летописей не хуже других, и поэтому интересовались лишь будущим, да и то между прочим и вскользь: дескать, будет ли. Отчеты соительницы звучали лукаво и темно, словно Евангелие от Луки. Только в одно из последних преображений Ваших старуха высказалась определеннее, посулив Вам казенный дом, дальнюю дорогу, чужбину, мороку и хлопоты и любовное догробовое томление по малолетней. Все перечисленное, а томление по малолетней в особенности, не вписывалось в Ваши прожекты нимало, и, решив не верить пророчеству, Вы испуганно расхохотались на весь подвал, которым уж начинал попахивать и Ваш реквизит. Бросив его на вечное попеченье вещуньи, Вы справили себе более модный и стали преображаться по новому адресу. Век ее, впрочем, продлился недолго. Случайно встреченная на кладбище внучка соительницы, имевшая на Вас свои тщетные виды, порывисто сообщила, что бабушка окончательно отлетела.

Бедолага Лукерья Кузминична, как-то вам можется там, в пустырях ожидания, произрастает ли в них хоть какая былинка — хоть лопушок — хоть цвет побежалости? Не молчите, подайте весть.

А голоса все отчетливей. Мол, Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович, а помните, как вы стали захаживать к нам, вашим многоюродным теткам, и как мы, дескать, доверились обаянию вашего отрочества, и как вы не то чтобы не оправдали доверия, но как бы превратно истолковали его? А ведь мы, Палисандр Александрович, ждали вас годы и годы.

Вам, должно быть, известно, что в крепость, где вы появились на свет и жили, мы не были вхожи, но вследствие родственных слухов знали, что где-то там, в нам недоступных чертогах, растет способнейший якобы

мальчуган — мальчуган-вундеркинд, гений чистой воды, который когда-нибудь вырастет и удосужится навестить своих дальних и как-то не слишком достаточных родственниц. Нет, судьба нас не жаловала излишествами. Периодически мы считали копейки и сетовали друг другу, что вот, мечтаешь на похороны прикопить, да все на лекарства тратишь. Однако, истые институтки, мы вынесли из своих пансионов любовь к добродетели и девизы: вперед! — выше голову! — не поддаваться унынию! Незамужние сестры, мы двигались разными тропами, но навстречу единой заре. Мы шли, взявшись за руки, и скромность предпочитали бесчестию, чем бы это последнее ни вуалировалось. И пускай мы знакомились с некоторыми из порядочных молодых людей, и некоторые из них производили довольно благоприятное впечатление,— знайте: при этом никто никогда не переступал известной грани, черты, а если и выискивался излишне самонадеянный кавалер, то он немедля получал поделом — немедля!

Но вам, должно быть, также известно, что дни нашей молодости минуются исподволь, словно волны, и как-то вдруг понимаешь, что только несколько теплых очаровательных встреч по-настоящему памятны, живы, непреходяще волнительны. Словом, вот мы и не заметили, как зачастили на дорогие могилы, навещая почивших подруг. И все чаще мы, сестры, собирались своими непритязательными кружками — вязали, штопали, стряпали, играли на фортепьяно, в лото и вспоминали, как жили прежде. И что бы вы думали? Выходило, что жили мы славно: трудились, мечтали, верили, пестовали идеалы. Мы жили, как все, Палисандр Александрович, и грех нам жаловаться. И мы не любили, когда, возникая на наших девишниках, вы с какой-то такой дедоватой прямо-таки иронией утверждали, что вечно блуждаете в наших головоломных проулках и что наш ностальгический экзистенс элегически затерялся в кривоколенных и староконюшенных подворотнях. Зачем вы так говорили? Нам были обидны уколы ваших иносказаний. Мы жительствовали вовсе

не в этих улицах, а в совершенно иных. В Мещанских, если угодно, в Тверских-Ямских, на Грузинах. Хотя что верно то верно: небось, с непривычки и тут заплутаешь: бедлам. Таблички на зданиях выцвели, дворников рассчитали, рожки повыкрутили, от кошек проходу нет. Купишь, бывало, колбаски, вывесишь к вечеру за окно, а зарею посмотришь — один огузок висит: вот и постись неурочно.

Но лучше бы он совсем потерялся — пусть вовсе бы сгинул, наш экзистенс,— совершенно, чтоб вам, Палисандр Александрович, никогда не найти к нам дороги — чтоб нам никогда не встретиться — не сойтись — не обмолвиться словом. Вы слышите, гадкий мальчишка! Ах, Господи, как вы нарушили нам престарелый покой. Ведь это же просто невероятно: годами — буквально годами — ждешь учтивого, благовоспитанного племянника, сына, может быть, неродного, но незабвенного брата, и вдруг — нате вам: заявляется фанфарон и бретер, фат и циник с замашками ломового извозчика. И наиболее возмутительно то, что вы решительно не желали меняться к лучшему, перенять хороших манер. Так, стоило нам тактично заметить вам, что потому-то и потому-то не следует делать то-то и то-то, положим — качаться на стуле, поскольку портится дорогая вещь, и затем, вы рискуете сверзиться и размозжить себе мозжечок,— как вами овладевали типичные достоевские бесы — конвульсии. Вы принимались кататься по полу, душераздирающе хрюкали, хохотали, лаяли. А когда мы бросались вызвать карету скорейшей помощи, вы спокойно вставали, отряхивались и заявляли, что все прошло и кареты пока не требуется. Такое фиглярство! А мы по своей наивности столь опасались за ваше здоровье — не дай Бог что случится: с нас же и спросится,— что слово потом уж боялись вам поперек молвить. А вы стали пользоваться этим в своих интересах, взялись помыкать, командовать нами, покрикивать, вынуждали нас пить спиртное, петь уличного разбору песенки и зазубривать наизусть вульгарнейшие куплеты вашего собственного сочинения, которые вы безза-

стенчиво называли пиесами. Никогда не забудутся строки одной из них, самой с виду невинной, а на поверку донельзя уничижающей вкус и достоинство одинокой женщины беспримерной двусмысленностью.

Одиножды один — шел гражданин.
Дважды два — шла одна вдова.
Трижды три — в квартиру вошли.
Четырежды четыре — свет потушили.
Пятью пять — легли на кровать.
Шестью шесть — разделся весь.
Семью семь — раздел ее совсем.
Восемью восемь — еще его просит.
Девятью девять — приятно ей ведь.

Извините нас, Палисандр Александрович, но здесь нет ни толики вдохновенья — ни толики! Не говоря уж о бледной рифмовке. И если вы вправду прослыли в Кремле вундеркиндом, то, видимо, в неком ином отношении. Вообразите же, каково было нам, с гимназических пор упивавшимся Надсоном, Гейне, Бальмонтом, зазубривать, а затем декламировать приведенную низость, что вы полагали своею программной пиесой! Причем декламировать с выражением, с подвываниями — ведь вы настаивали на них — настаивали — не отпирайтесь. О, как мы наплакались, исстрадались. Не смея роптать, мы ходили по струнке, иначе вы принимались пощелкивать себя по носу — часто-часто, Палисандр Александрович, часто-часто, словно вы были майнридовский пересмешник, дерзающий передразнить дрозда. Дрозда или барабанщика, отбивающего барабанную трель. И звук пощелкиваний, между прочим, казался пугающе звонок, будто бы вы стучали не по носу, а прямо по перепонкам. То был признак какого-то внутреннего треволнения, грозящего перерасти в неуемную бурю и натиск. И мы не смели ослушаться, мы не смели. Хотя однажды имели неосторожность поинтересоваться: мол, отчего вы так поступаете.

«Оттого,— отвечали вы, горячась,— что в детстве мне на нос упала гиря от ходиков — а?»

«Бедный малютка! Какое несчастье! Мы ничего об этом не знали, нас не уведомили. Простите».

«Простите? Мне не в чем винить вас. Ни вас, ни кого бы то ни. Разразилось стихийное бедствие. Перетерлось связующее звено, и распалась привычная цепь времен. Вот и все. Только ведайте: ваш племяш перенервничал, перетерпел, судьба распорядилась им негуманно. И ведайте также, что с колыбельных лет переносицу ему заменила платиновая пластинка, и вследствие происшедшего он лишен возможности наслаждаться течением Хроноса, тиканьем его адептов — часов, а особенно — ходиков! Всех эпох и конструкций! Ибо он ненавидит — бежит — или же сокрушает их — на бегу!»

И словно громадная кошка, вы кинулись вдоль этажерок с различными статуэтками и хищнически принялись срывать со стен наши чудные антикварные ходики, которые мы буквально годами скупали в комиссионных, коллекционировали и презентовали друг другу на вечную память. Вы срывали, швыряли их на пол и тщательно плющили каблуками своих гренадерских потешных сапог. Вы были немилосердный варвар — вандал, и зубчатые те колесики, милостивый государь, раскатились по вашей милости кто куда.

«Не отчаивайтесь! — кричали мы вам печально, как чайки.— Отныне мы ведаем, ведаем! И мы сожалеем, скорбим вместе с вами».

«Не в силу ли вышеуказанного,— кипятились вы,— не затем ли не смог ваш племяш пойти по стопам своих предков и родственников, стать достойной им сменой, продлить замечательную традицию, но вынужден был подвизаться по классу гробокопания и кремации!»

«Разумеется, Палисандр Александрович, разумеется, в силу. Такая нелепая несправедливость — кремация — ужас!»

«И если вы до сих пор удивляетесь, отчего он так поступает, то знайте: он поступает так потому, что не может не. Ибо это так называемый тик. А поскольку причина данного тика так связана с часовыми приборами, то попросил бы его называть точнее — тик-так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, безусловно тик-так, как же иначе».

«Однако весьма заблуждается тот,— всклокотали вы сызнова,— кто считает, что ваш племяш воспитан в духе сиротского эгоцентризма и позволяет себе тик-так в отношеньи себя единственно».

И тогда, приблизясь, вы вдруг и больно-таки пощелкали тетушек по переносицам их. Только звук оказался не тот, что у вас: был не звонок, не перепончат, будто звучали мы под сурдинку, пиано.

«Ну, а теперь,— приказали вы,— подымите руки, кто читывал петербуржскую повесть "Нос" Гоголь-Моголя».

Мы все подняли руки, хотя нам стало как-то неловко за Николай Васильевича, что вы его несколько походя очернили. Ведь как-никак, а вполне уважаемый автор своих собраний, писал человек, не ленился. Но мы не смели и тут возразить, Палисандр Александрович, просто не смели. И чтобы польстить племяннику, стали и сами вольничать — расхихикались, расшалились, словно бы в классах: дескать, у Николай Васильевича у самого нос был длинный.

«Ха! Только ли нос, дорогие тетушки, только ли нос»,— отвечали вы нам, недостойно подмигивая.

Мы зажеманились, засмущались: «Ну что вы, право, конечно же, только. Да мы и не понимаем таких экивоков — ведь правда, девочки?»

«А напрасно, напрасно не понимаете,— наставляли вы.— Ибо не только сказка, но и любая писаная небылица содержит подспудный подтекст. И поэтому всякое образованное правительство цензурировало и намерено впредь цензурировать вверенных ему графоманов. А то правительство, которое наивно воображает, будто герой петербуржской повести майор Ковалев в самом деле остался без носа, есть полное дуро. Нос, любезнейшие,— лишь тонкий намек на толстые обстоятельства, эвфемизм-с. Незадачливого майора оставил не нос, а — что-с?»

«Фуй, какой вы шалун, Палисандр Александрович! Да ну вас прямо. Давайте мы лучше о Петербурге поговорим, о городе в целом. У нас масса открыток

с видами этой Пальмиры. Сядем, будем рассматривать, припоминать имена архитекторов, инженеров, прорабов — да сколько бронзы пошло — да гранита — да извести — да при ком возвели — да зачем — да сколько рабочих погибло — да чаю согреем».

«Э-э, разве это открытки»,— взглянули вы искоса.

«Палисандр Александрович, а карты, карты? Пасьянсом так хорошо коротается вечер, что хочется, чтобы он никогда не кончался. Вам знакомо это желанье — не правда ли? — никогда».

«Тоже мне — карты,— надменничали вы, тасуя.— И не скушно вам так-то, с такими, то есть, картинками — а? С тоски удавиться можно. Вот я свои принесу — тогда и разложим».

И на следующий наш сестришник приносите вы такие уж мерзопакости, что мы даже не мыслили, что подобные вещи вообще практикуются. От стыда за этих негодников, в особенности за дам, с нами сделалась удивительная апатия, вялость, и мы просто сидели все тихо рядком и рассматривали. А потом разнервничались, разволновались, вино стали пить, пустились раскладывать, рассуждали, что вот как, оказывается, возможно — и так, и эдак, валет, мол, сбоку, король с припеку, а дама, бедовая ее голова, во все тяжкие: ералаш да и только.

А когда мы уж сами себя не помнили, вы приказали нам поиграть в дочки-матери — помните? Некоторые не послушались, уселись за клавесин да и бренчат себе некую чепуху опереточную, четверти что-то такое на три — жили-де у бабуси веселые гуси, аллегро. А прочие — они стали несколько нянчить друг дружку, словно бы были маленькие, несмышленые. Да мы ведь и были. Мы впали в далекое близкое — в детство. Мы выпали из ума, из воли. Вернее, вы отняли их у нас. Вы, вы, не отказывайтесь. Недаром — ах, как недаром! — мы находили в вас столько распутинского очарования.

Нянчим, значит, себя, пеленаем, бай-бай укладываем, вы же — присматриваете, наставляете, учите не-

умех уму-разуму. А раскапризничаемся, напроказим — то ата-та, ата-та нам, а зачастую и в угол. Поначалу-то все из-под палки, исподволь, но после так разыгрались, в этакий раж вошли, прямо куда там. Знать, верно ученые говорят, время все вылечит. А тут и медик как раз стучится: тик-так, тик-так. Пригляделись, а это вы, наш племянник. Только переоделись немного: бородку себе приклеили чеховскую, простынку на плечи набросили — чем не врач.

«Вызывали?»

«Тик-так, вызывали».

«Тогда раздевайтесь».

И распеленали для вас, Палисандр Александрович, матери дочерей своих, и раздели дочери матерей, и вы стали их пользовать. Вставили себе лупу какую-то в глаз и объясняете по-научному: «Будем пальпировать». И давай нас подряд всех пальпировать, то есть прощупывать, у кого что не так. Щупать, в сущности. Мы, конечно, в амбицию: мол, помилуйте, деточка, что же вы это себе позволяете, некрасиво, нелепо, у нас возрастная пропасть: вам рано, а нам, по всей вероятности, поздно. И по рукам, по рукам вас, чтоб впредь неповадно было. А вы говорили, бородкой-то чеховской нас щекоча где не след: «В течение профилактических процедур пациентам категорически воспрещено противиться. Отвлекитесь. Тик-так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, тик-так, только трико-то хоть не снимайте».

А вы говорили: «Забудьтесь, считайте, что все понарошку, переходите в нирвану».

И забылись, разнежились, дуры набитые,— перешли. А что вы хотите — щекотно же. Да и любопытно притом — чем дело-то кончится. И не успели мы толком сообразить, что к чему — а оно уж и кончилось. Славную, славную задали вы нам профилактику, милый доктор, уважили, называется, на закате лет: только жилы похрустывали. Вылечить, может быть, и не вылечили, но разделали под орех. Какое уж тут понарошку, когда по всей форме использовали. Да и не один, если вдуматься, раз. И верно ведь вы декларировали,

что ежели семью семь, то считай, что полностью: до нитки разоблачили. И восемью восемь точно: впоследствии клянчили все да заискивали: еще бы разочек, а, доктор, еще бы — девятью девять же, чего там греха таить. Правда, насчет шестью шесть вы неверно высчитали, поскольку сами-то — не разделись. Как были при бабочке, так и были: ни дать ни взять — Гиппократ. И даже рецепт на прощанье выписали: «Процедуры практиковать два-три раза в неделю». И лихо так расписались внизу: «Доктор Фрейд».

А потом вы нашли в прихожей на вешалке дирижерский, еще деда нашего, фрак — надели — пришпилили к лацкану объявленье: «Настройка запущенных инструментов» — и направились к тем из нас, которые упражнялись на клавесине, наивно себе полагая, будто буря их миновала. Напрасно радовались — досталось умницам на орехи, задали им по концерту для скрипки с хорошим смычком. В такое тремоло их всех чохом вогнали — только держись, все струны внутри дребезжали. Поделом же им, старым авоськам, будут знать, Палисандр Александрович, как от коллектива откалываться. Музыкантшам вы тоже толковую памятку прописали — у самых уже дверей: «Инструмент регулярно смазывать. Бах». И только мы вас, вундеркинда, и видели. Ай да пролаза, думаем, ай да ходок. Погодите, да вы же растлили нас — обесчестили — лишили всякой невинности! Немедля вернитесь и попросите прощенья! Вы слышите? Нет, даже не обернется. А ведь годами, годами.

А еще, если помните, где-то в Сокольниках, в Марьиной Роще и на Бегах проживали другие из нас, тоже более или менее многоюродные, кого вы приворожили не на дому, а на кладбище, где мы навещали почивших подруг. И поверите ли, мы тоже ждали годами, априори не чая в вас ослабевшей души, и не чая уже увидеть. Но вы приходили.

Вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертанья предметов призрачны, а черты отошедших особенно миловидны и памятны,— в час,

когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры, украшенные ниспадающей бахромой оренбургских пуховых платков и башкирских шалей, нисколько не отличимы от безутешных, горюющих вместе с нами плакучих ив — о, нисколько — и наш старушечий лепет вплетается в лепетанье их листьев и в копошение птиц, что гнездятся в их дуплах,— и черные наши ленты вплетаются в их побеги, в их косы — и наша плоть одевается их заскорузлой корой — и течение нашей крови свивается с хладными струями ивовой живицы, сукровицы — и свиваются наши судьбы и сроки — о нет, Палисандр Александрович,— неотличимы — ничуть. Правда, вы отличали нас, потому что являлись нам в образе палисандра — всегда и беспечно цветущего розами дерева роз — чрезвычайно ладного, гибкого, сладостно веющего благодатью негаснущих вечеров нашей юности — тех томительно будоражащих, знаете, вечеров — предвечерий — предночий, в которые, кажется, недостает только крыльев — лишь опереныя, дабы взлететь — воспарить — взметнуться. Однако в саду есть качели, и можно, зажмурив глаза, воздыматься и падать, и падать и воздыматься. А где-то поодаль играют прелюды, в крокет или просто беседуют, расположившись в плетеных шезлонгах, а на пруду — скрип уключин, плесканье купальщиков, и кто-то прислал вам записку: вас ждут. Но вы, разумеется, никуда не пойдете. Вы влюблены? Нимало. Просто вы замечтались улыбчиво, смотрите ласково на облака — те волшебны. И непередаваемо догорает закат. И вот тут-то в цветное стекло веранды ударяется шумный жук! Вы вздрагиваете: майский или июньский? Лукаво не мудрствуя, глянешь на численник и поймешь: если май — значит майский, а если июнь — непременно июньский. Но вечером тридцать первого мая по старому стилю — кто знает: такая неразбериха, сирень. Вы помните, сколько дискуссий на эту тему кипело в кружках дворянской учащейся молодежи, особенно вольноопределяющейся. «Не спорьте, голубчик, это типичный майский». «Неправда, июньский». «А я вас смею уверить, что майский». «Сами вы, братец, майский!» «А вы,

а вы!» — и уж непременно стреляться. А экие страсти горели в среде разночинцев, и сколько там было вольнолюбивейших идеалистов, романтиков, незамутненных сердец. Вы помните? — где-то, когда-то, в каком-нибудь неопределенном уезде, когда вы только что поступили на курсы — или закончили их — или приехали на вакации, в доме родителей, кажется, в левом крыле, нанимал квартиру один перманентно всклокоченный телеграфист — страшный щеголь, и это, естественно, он посылал вам записки. Да-да, посылал-посылал, а потом уложился, упаковался — и в Тулу. И мы никогда уж не виделись — никогда. В Тулу, кто бы подумал. Ах, ничего-то вы, сударь, не помните, вас ведь тогда еще не было. Впрочем, являясь нам в образе палисандра, какие живые детали былого умели вы навевать, утешая словами листьев, лобзая губами бутонов и вдруг — утоляя наши печали нектаром пестиков. Но — пробужденье! Оно застигало подобно форменному кошмару — врасплох.

Под утро, когда все чары рассеивались, мы вспоминали, что вот, вечор, перед самым закрытием, вы подошли к нам в обличии мастерового с предложеньем обычных услуг: подновить ли ограду, поправить ли покосившийся крест: «Что, мамаша, потрафим усопшему?» А мы все отказывались, отстранялись: «Нет, нет, благодарствуйте», — а вы все настаивали, приступали: «Потрафим, потрафим», — и, очаровывая, сулили прелестное. «Вам,— говорили вы,— будет приятственно». Честно сказать, вы безумно интриговали нас, молодой тогда человек. Мы поистине млели от любопытства и вместо того, чтобы звать бродивших в окрестностях сторожей, чтобы они колотили вас колотушками,— в ужасе — в каком-то радостном ужасе! — мы соглашались. На — все. И когда это все начиналось и длилось, а длилось оно всю ночь, мы, желая идеализировать ситуацию, предавались иллюзиям, фантазировали: «Мы — ивы, ивы, согбенные ивы, а он — палисандр, палисандр, палисандр, веющий благодатью негаснущих вечеров». И впадая в патетику, отдавались душою и телом. Пылко! Подобострастно. Однако под утро все

чары рассеивались, и мы обнаруживали себя в обстоятельствах крайне стеснительных, скомканных, непоправимых. Нам открывалось, что мы никакие не ивы, а вы — никакое не дерево роз, и пуховые наши платки сиротливым укором висели на так и не выпрямленных крестах и на зубьях так и не выкрашенных никем оградок.

Вглядитесь же! Не на этих ли акмеистских скамейках кладбищенского бульвара, где ныне вы воздвигли себе прижизненный монумент в виде себя самого, оперевшегося на сложенный зонт,— не на этих ли, говорим мы, скамейках вы юношествовали с нами до зеленой зари — с нами, вашими горделивыми тетками, жившими некогда в Театральном проезде, в Старообрядческом переулке и на Собачьей Площадке. О! О такой ли заре мы мечтали, с энтузиазмом мужествуя с непогодой, борясь и шествуя в едином строю, Палисандр Александрович. «А, Палисандр Александрович,— тормошили мы вас.— Проснитесь, это становится невыносимо. У вас омерзительная наследственность: вы всхрапываете, точно дед Григорий — навзрыд. Ничего не скажешь — хорош, хорош, наградил Бог племянничком». Слушайте, да отдаете ли вы себе хоть малейший отчет в происшедшем? Превратно истолковав их доверие, вы совершили массовое растление престарелых. И пусть мы не знаем и не желаем знать, о чем гласят соответствующие статьи уложения о наказаниях, ибо мы не из тех, кто выносит болячки чести на поругание стряпчим, имейте в виду: вам зачтется. Ибо, скрепя сердце, мы все пожалеем мальчика и, конечно, простим, пожурив, потому что мы любим — мы до сих пор обожаем его, сына наших довольно-таки отдаленных, но все-таки родственников. И пускай он не пощадил одинокой старости нашей, он, верно, тоже привязан к теткам. Не правда ли? Хоть немного, по-своему. Так хочется верить. Признайтесь, ведь — да. Так кивните, кивните, подайте нам знак согласия. Непременно должна быть некоторая взаимность. К тому же у вас никого, кроме нас, не осталось; учтите, вы — сирота и нуждаетесь в ласке, в опеке — так навещайте нас, навещайте,

право,— мы больше не гневаемся — мы простим — пожалеем — воспомним прежнее — поиграем. Во что-нибудь этакое. «Милый, милый — о, милый»,— писали мы вам и плакали прямо на буквы. Ну, что же вы не приходите, бывший мальчик — чугунный старик — безобразник противный: годами, буквально годами. А Клио, о которой вы отзывались не слишком почтительно, уверяя нас, будто ее кобыла стоит на кремлевской конюшне и некоторые учащиеся вашего ремесленного училища келейно используют ее в низменных интересах,— Клио тоже скрепит себе сердце. Ах, музы, музы, все они — наши сестры, горькие и заезженные существа вроде нас — незлобивы, отходчивы. Клио тоже простит, Палисандр Александрович. Простит и остынет. И позабудет. Ручаемся. А Бог даст — и еще возвеличит. Да только вы-то, вы сами — разве забудете? Разве гарпии совести не превратят преклонные ваши дни в сплошные терзанья, а розы — в тернии? Всенепременно, всенепременно, причем уже превращают, зане преклонные дни наступили, и мы — клекот гарпий: зачтется, зачтется — воздается! Признайтесь-ка, кстати, скольких вы совратили, бесчестный оборотень. Доверьтесь, доверьте нам наше число по секрету. Исключительно антер ну — да ну же, честное пенсионерское, мы никому не скажем. Уважьте, польстите старческому любопытству, побудьте хоть раз откровенны, а то — заморочим, не станем давать покою даже ночами, как вы не давали нам. Только вдумайтесь: не только белые дни, но и синие ночи отчаянья! Слышите? Дайте отчет и раскайтесь, иначе мы осеним вас своими крылами.

«Раскаяться? — отвечали вы.— Хоть сто раз, как говаривал мой до боли знакомый. Но ваше число не поддается учету». И продолжали.

Мол, помните Лопе де Вегу? Когда-то он был молодежным идолом. Пьесы этого выдающегося графомана шли на многих столичных театрах, и многие почитали долгом хоть раз причаститься его страстям, в каком бы глухом захолустье ни жительствовали. Успех драматур-

га весьма неслучаен. Перу его принадлежит до полутора тысяч скабрезнейших водевилей, а перьям им соблазненных особ — сборник довольно претенциозных писем — по одному от каждой. Со вкусом составил и под броским названьем «Me gusta de Vega»* издал этот сборник сам Лопе. И вот, когда мы с его земляком Хуан-Карлосом расставались под гулкими сводами Эстасион дель Ниньо Езус, то все не могли припомнить количества тех посланий. Тогда-то и было заключено пари, известное нам теперь по учебникам как Мадридское, или — что более точно — Вокзальное. Условия его необременительны. Та из высоких договаривающихся сторон, которая, не прибегая к услугам справочников, библиотек и советников, первой вспомнит число составляющих сборник писем, считается стороной, первой вспомнившей упомянутое число, и ей вручаются соответствующие грамоты. Стороне же, вспомнившей упомянутое число второй или вовсе его не вспомнившей, не вручается ничего.

Со стороны испанской плутократической республики соглашение подписали Хуан-Карлос с супругой и сопровождающие их смуглые лица. Со стороны новорожденной российской хронархии — я и сопровождавшие меня Одеялов и Амбарцумян, что пошел в походную кухню и быстро вернулся, неся на подносе цыпленка по-киевски и выпить на посошок. Так в который уж раз мне представился случай удостовериться в деятельной преданности нашего кашевара-на-марше. «Сей не отравит»,— подумалось мне и блеснулось хорошей, хотя и кривой, саблезубой ухмылкой. Все выпили, закусили, и в знак приязни мы с королем преломили куриную дужку.

«Берите и помните, Ваша Вечность»,— сказал он мне.

«Беру и помню, Ваше Величество»,— парировал я.

Тут Хуан подал знак, и господ отъезжающих пригласили в вагоны. Ударили отправленье — раздался

* «Люблю де Вегу» *(исп.)*.

«Некрополитанский романс» Чайковского — взвились семафоры — вымпелы — поезд весь передернуло — лица моих людей прикипели к стеклам — вода в моей ванне вскипела — и яйца, яйца, что только что — впрочем, довольно о них — довольно — обрыдли — всю Западную Европу напропалую — яйца да яйца — паки и паки — круче и круче — невероятно — какая-то межеумочная — напролетная — безысходность — будто кто-то неправый, но грубый обрек вас на эти яйца, как на галеры — приговорил к ним пожизненно — приковал — принайтовил — а? Артак Арменакович? Артак Арменакович, в сущности, ни при чем. Он не властен. Он лишь старательный повар. Вернее, слишком старательный. Спору нет, он мог бы, по-видимому, помилосердствовать — снизойти — урезать сроки варения или убавить пламя. Но разве это решенье вопроса? Nay! яйца останутся яйцами, если по всей раздираемой противоречиями западноевропейской теснине — по крайности вдоль чугунных ее путей — продают исключительно яйца — да, может быть, соль к ним — да мыло — да лезвия, слава Богу,— да, может, газеты. И все. И обчелся. Сколь унизительно оскудела и полиняла земля, подарившая миру десятки байронов, сотни фуко и — тысячи геростратов. Не уморительно ли в настоящей связи цитировать сетование Македонского, завзятого книгочея и просветителя: ах, у него, мол, видите ли, библиотека в Александрии сгорела. Уморительно, гражданин Александр. Потому что потом у вас же и в остальных империях в результате все тех же противоречий сгорело всякого барахла на мильярды драхм: ипподромы и велодромы, кунсткамеры и рейхстаги, мосты и механические мастерские. А уж библиотекам сам черт велел: ведь — папирус. Отвлекитесь от ваших потусторонних забот и взгляните окрест: пепелища. А какая безнравственность, по каким пустякам разгораются эти сыр-боры! Однажды на вечере у принцессы Монако принц Лихтенштейна, имевший с ней ранее более нежели тесные отношения, но освобожденный от них как не справившийся с обязанностями, при

всех предлагает ей куртуазный вопрос: «Как вы думаете, если бы мы условились называть свои ноги усобицами, то что в нашем случае мы разумели б под междуусобицами?»

«В вашем, Ваше Высочество, случае,— оскорбилась принцесса,— совсем немногое». И вдобавок распорядилась немедленно оскопить несчастного. Так разразилась очередная континентальная распря, получившая наименование междуусобной, или — Новой Столетней, поскольку конца ей не видно. И когда отвращение к яйцам переходит последний рубеж, когда мы уже не чаем полакомиться чем-либо помимо оных до самых русских границ, тогда к нам судьба направляет Самсона Максимовича Одеялова с околесицей разнообразнейших яств.

«В чем дело, почтеннейший? — говорил я ему, не слушающимися от вожделенья перстами заправляя салфетку за воротник дорожного куртеца.— Вы шутите, мнитесь или навеяли сон? Развейте, развейте, это нехорошо, негуманно, я не желал бы иллюзий. А — специи? Протяните специи. А — приборы? Благодарю вас. Однако, какой Лукулл посылает нам от щедрот все эти кнедлики и шпикачки? Или они — из старых, еще гаитянских запасов? Не я ли вижу турятину и гонобобель со сливками? Но тогда — отчего не прежде? К чему же было томить, испытывать весь поход, его месяцами? Вы что — саботируете? Мешочничаете? Укрываете пищевые продукты от лиц государственной важности? Несолидно, милейший, вы все-таки интендант высокого ранга. Подумайте, что подумает Трибунал Истории. Раскайтесь, молю вас. Зачем говорить своему мешочничеству малодушное да, если можно сказать ему доблестное лейтенантское нет — навязать ближний бой — дать блистательную баталью! Иль вы хотите сказать, что купили данную роскошь на станции, у некоего легендарного Креза? Прекрасно, скажите. Правда, я не могу обещать, что поверю, но я постараюсь — дерзну поверить».

«На станции, Ваша Вечность,— кивнул Одеялов С. М.— У крестьян».

Раздернув оконные шторы *, не тотчас узнал я ее — так она посвежела, так брызнула красками пастбищ и толп: утопически тучная и счастливая Польша, исполненная событиями чисто польского толка, свободно стелила передо мною свои полевые пределы. И подумалось мне тогда о моем старинном приятеле Павле Иоанне Втором, которого я всегда называл просто папа. Подумалось о наших задушевных беседах на яхте Жискара д'Эстена с дразнящим названием «Лоллобриджида», что плавно покачивалась когда-то на Лаго Маджоре в виду Локарно. Подумалось и о вере, надежде, любви, о пользе религиозного возрождения в рамках не только общин и сект, но и стран, континентов. И как-то само собою воспомнилось, что знаменитый год, на который первоначально планировался Конец Времен, тысячелетье отсрочки коего широко отмечалось международной общественностью накануне отбытия моего из послания, мистическим образом соответствует сумме писем, составивших «Me gusta de Vega». И туго натянутыми проволоками железнодорожного

* Всеми своими складками они до странности напоминали мне шторы, задергивающие пасть крематорской механизированной преисподней, дабы пришедшие Вас проводить не смотрели, как остро нуждающиеся кочегары и практиканты от благородных училищ злорадно вытряхивают прифранченного Вас из гроба и грабят; берут одежду и обувь, пенсне и монисто, колье и браслеты, паспорт и зонт — и вконец обнищавшего, обнаженного швыряют в жар. Одна, как заметил какой-то поэт, но пламенная страсть владеет там равно и человеком, и гражданином. Вас поводит, коробит, Вы корчите из себя живого, пытаетесь приподняться, восстать, но особыми вилами Вас аррогантно придавливают к раскаленным колосникам. Тогда Вы смиряетесь, съеживаетесь, сереете и теплым пеплом тихо сыплетесь между ними в поддон, где и смешиваетесь с останками остальной клиентуры, в частности, бродячих животных, сжигаемых в той же печи по разнарядке вышестоящих организаций. В бытность мою практикантом Центрального Эмского Крематория имени Патриса Лумумбы я не пользовался привилегиями остро нуждающихся, то есть — не грабил, не раздевал, но прекрасно видел, как ловко и слаженно это делается. Когда-нибудь я с удовольствием поделюсь полученными там впечатлениями, а пока разрешите раздернуть только оконные шторы — шторы окна, имеющего быть окном одного из вагонов идущего на восток состава сугубого назначения.

телеграфа в Мадрид полетела моя зашифрованная депеша Хуану: «Девятьсот девяносто девять».

Не знаю, как мог я запамятовать это число: ведь некогда, в мои новодевичьи годы, три де веговские девятки носились в воображеньи всечасно. Три девятки! Никогда не мечтал я о титуле андалузского графа, да и литературная слава Лопе меня не влекла; но лавры, выхлопотанные испанцем на поприще будуарных нег, подстрекали будущего Свидетеля к сплошному дерзанью. Да, я завидовал драматургу. И вы, мои многоюродные ракиты-плакиты, и какие-то просто тетки — чужие, прохожие и проезжие, тетки в уличном, бытовом осмыслении слова — становились невольными жертвами этой зависти, этой азартной неуспокоенности моей. Три девятки! Что значат в сравнении с ними лишь две девятки Марины Цветаевой, слывшей когда-то кокетливой ветреницей. Не случайно в светелках наших российских скромниц портреты ее давно уступили место иконографии более умудренных, матерых, созвучных времени поэтесс. Не те же ли самые скромницы разовьют переплеты моих мемуаров, раздерут их поглавно и постранично и станут читать и заучивать столь же прилежно, взахлеб, сколь мамули, бабули и прабабули оных зазубривали кумиров своих эпох: мопассанов и миллеров, де садов и арцыбашевых. Я приветствую вас — пухлогубые, нежные, истерично восторженные и ужимчивые! Дерзайте и вы — терзайте — члените — зачитывайте меня до дыр. Не стесняйтесь — делайте свою интимную жизнь с Палисандра Прелестного. Только действуйте осмотрительней. Не забывайте меня под подушками, в ящиках парт и вообще учитесь конспиративным приемам. Возьмем дневники. Почитайте за лучшее не вести их совсем. А если неймется, если микроб графомании поселился и в вас, то по крайности не увлекайтесь подробностями. Не пишите, что, дескать, вчера необдуманно уступила А., нынче — Б., а завтра уж непременно отдамся В. Это худо. Полиция нравов не дремлет. Пускай статистика будет сухой. Проставляйте не имена и не инициалы даже, но палочки, галочки, крестики, нолики, разные закорючки.

А будучи спрошены, что означают сии пометы и отчего их так много, скажите: считаю в небе ворон, и вот их много. Сам я использовал такой иероглиф, как запятая. Для лиц с миниатюрным воображением, из каковых, главным образом, состоит вышеназванная полиция, запятая — не более чем невинный знак препинания. Но художник, эстет, интуит иногда заподозрит в ней скрытый смысл. Запятые, которыми испещрял я беленые стены моей монастырской кельи, столь явно (для интуита) символизировали старух, согбенных в плакучем блуде своем, что гривастый иконописец и главный маляр Патриархии Илья Глазунов, по веснам производивший побелку новодевичьих помещений, при виде моих скрижалей смущенно бежал, обронив в коридоре кисть, и никогда не вернулся. Настенная тайнопись была спасена.

А Божественное Провиденье вершилось своими спиралями. Моей девятьсот девяносто девятой, заветной, бабусей становится прихожанка Елоховского собора, старушка набожная и опрятная, поведавшая, что когда-то была она величайшей грешницей. За ненадобностью я забыл, что именно Пелагея Ильинична подразумевала под этим. Была ли она вокзальная девка, то ли просто гулящая, была ли воровкой, обкрадывавшей сыновей своих, или же подвизалась в какой-то мерзейшей партии — не припомню. Сейчас все так спуталось, переплелось. Да и не все ли равно — нам-то с Вами, теперь-то, спустя и спустя, кто кого там обкрадывал или бесчестил, продавал или покупал — там, в старом Эмске иль в древних Афинах, в Вавилоне иль в Исфагане, в Пенджабе или в Содоме. Сами мы, слава Зевесу, одеты, обуты, накормлены, никого не обманываем, не пытаем. А то, что где-нибудь в Новой Гвиане ввели закон о всеобщем и полном ношении набедренных тряпок или что фривольная земля Калифорния последовала наконец примеру загадочной Атлантиды и почти целиком провалилась в тартар, то тут мы также не властны воздействовать, отменить, помешать произволу. Принципы невмешательства святы и жестки, и наши с Вами манифестации никого не взволнуют. И, пожа-

луй, единственное, чем мы можем ободриться перед лицом своего исторического бессилия, это факты чистосердечного осознания Пелагеей Ильиничной прошлых грехов ее, раскаяния в них и наступившего вслед за тем благочестия. Оно-то и не позволило сбить Пелагею Ильиничну с панталыку немедленно по знакомстве. Точнее — с пути ее в церковь. Наоборот, мне потребовалось идти туда с нею вместе: и чтобы сделать приятное ей, ублажить, задобрить — пришлось раздать на паперти всю карманную мелочь, купить и расставить местами свечи, а после встать самому и выстоять всенощную напролет, слушая, как Пелагея Ильинична со товарищи выводит что-то пасхальное, и подпевая. А духота была — невозможная. Ведь экие прорвы людей сходились некогда в храмы по праздникам: пели, молились, плакали. Да и теперь еще ходят. Добрый, отзывчивый все же у нас в России народ. Таким народом и править-то совестно. Впрочем, разве я правлю? Я только свидетельствую, созерцаю. А управляет у нас, как известно, Время, с которого взятки довольно гладки. Хотя, если верить теории Ниппельбаума, оно изумительно вымеобразно.

Лишь утром, когда служба закончилась, уговорил я Пелагею Ильиничну прогуляться со мной ботаническим вертоградом, где приобрел ей различных конфект, шоколаду, а также любимых ее леденцов, в том числе и на палочках. И пока она в забытьи их сосала, я также имел свое скромное удовольствие. Совокупление состоялось среди орхидей отдаленной оранжереи, в сплетениях дрока, под сенью цветущей агавы и мандрагоры.

«Грехи наши тяжкие»,— угрызала себя Пелагея, напяливая шерстяные рейтузы на помочах.

Я сколь мог успокаивал потерпевшую, но мыслилось о другом. «Девятьсот девяносто девять! — праздновал мой тщеславный ум.— Девятьсот девяносто девять!»

Затем мы направились к ней в Колодезный переулок. Весна была ранняя, дружная, и вокруг все блестело от слякоти. Будучи дворником, приятельница моя проживала в дворницкой, где в означенный день состоялась пасхальная вечеринка вскладчину в составе некоторых

непримужних и пожилых швей-надомниц, лифтерш, судомоек и прочих на редкость простых, безыскусственных обывательниц околотка. Съев до дюжины куличей и напившись кагору, фиеста, как говорят, взорвалась. Играли, в частности, в фанты. Мне выпал фант покатать всех по очереди на лифте.

Для пущего интереса мне завязали глаза. Лифт подали. В нем уже ожидала некто, сладко веявшая половой тряпицей. Словно слепой баянист, я нашарил кнопку верхнего этажа и нажал ее. Мы взмыли. По возвращении в цоколь первая некто вышла — вошла другая, отдававшая кухонным полотенцем третьегодняшней стирки. И все повторилось. Дом был в несколько всего этажей, но лифт заедало, и потому всякий раз я успевал за одну поездку проделать именно то, что только и имелось в виду ненасытными, надо сказать, старухами. Живая очередь их клокотала и вздорила. Нет, не скрою: занятие наше отзывалось голым начетничеством и грубой механикой в духе текущего века, зато теперь сумма бабушек, оказавших мне благорасположение, весьма перевалила за тысячу. Так был посрамлен и низложен кумир моего монастырского отрочества Феликс Лопе де Вега Карпио.

После Пасхи похождения продолжались, однако характер они имели уже более спорадический. Немного почив на лаврах и больше не выцарапав на скрижалях ни запятой, я сбился со счета. Поэтому кто теперь знает, любезные тетушки, сколько вас было. Ищи-свищи, говорят, в поле ветра. Да и к чему вам? Не все ли едино в Полях Ожидания. И не все ли вы прах. Милый, чудный, растленный, но — прах. И следовательно — не зовите меня оттуда по имени-отчеству. Не зовите никак. Ибо вас нету. Вы убыли. Я попросил бы принять это обстоятельство к сведению и не позволять себе также выкриков типа «зачтется, воздастся». Откуда вы знаете, может быть, мне давно воздалось. Что знаете вы вообще о пройденной мною жизни и о других, прежних жизнях моих! К тому же, как выражался мой дедоватый дядя, а ваш незабвенный братец, одно растление есть трагедия, тысяча — просто статистика. И поэтому

я не страшусь вас. Тем более бледным днем. А когда сонной ночью сквозняк ненароком удушит пламена моего канделябра, то Одеялов немедля придет оживить их — придет, придя. И, бравые полуношники, мы разопьем с ним бутыль конфискованного у гвардейцев белого. За упокой ваших душ! Потому что в значительное отличье от вас я жив и не чураюсь спиртного. Жив эрго вечен. Учтите. И мы пробеседуем с денщиком до зари, до ее цветов побежалости, мастерски отраженных в лужах, в реках, в очах караула и лошадей. И не встревайте, сударыни. И прощайте. За все уж давно заплачено. Слышите? Вплоть до самой зари! До зари включительно, когда на мостах и набережных фонарщики выключают газ!

В последующие недели заядлость, азартное чувство возмездия понемногу меня оставляли. Я остывал, постепенно остепенялся, взрослел. И приходит день, когда П. говорит себе: «Что ты делаешь? Разве так можно? Какая распущенность!» — говорит себе Палисандр. И набросал в дневнике: «Никакая Ш. не достойна того, чтобы ради нее ублажать ей подобных». И перестал это делать, отдав досуг философским прогулкам, гербарию, акварелям.

Как портретист П. не жаловал мелкие планы — хотелось монументального, броского. Он возлюбил ниспускаться обрывистыми берегами некоторых водоемов к полоскальным сооружениям и создавать групповые портреты прачек, работающих в самых непритязательных позах. Судьбы простонародья с его эстетикой неэстетичного, с грубоватыми шутками — волновали всемерно. А как пейзажист — разрабатывал темы осени: мотивы сентябрьских шквалов, октябрьской инделости и ноябрьского первоснежья, характеризующегося изысканной хрупкостью очертаний и черт *. Что же до философии, то — как и Плутарха, которого он ставил неизмеримо выше Спинозы, Декарта и Делакруа

* Смотри Палисандровы залы Пушкинской, Третьяковской, Габсбургской галерей.

вместе взятых — его будоражат вопросы морали и нравственности в их экзистенциально-эзотерическом ракурсе.

И все-таки мы бы ошиблись, сказав, будто П. за своими искусствами совершенно оставил мыслить о Ш. Нет, он мыслил о ней, но уже не в угаре отчаяния, а в каком-то почти отвлеченном ключе. То есть не на предмет воскрешенья былого, а в плане удовлетворенья почти инфантильного любопытства: дескать, вот бы узнать, отчего она столь охладела. И если причина ее охлажденья — другой, то вот бы и навести о нем справки: как звать, где живет да служит. И, не ограничиваясь полумерами, воздать по всей строгости. Застать их вдвоем, нанести оскорбление действием, словом, а то и смехом.

Кандидатура на должность частного детектива напрашивалась сама собой — Брикабраков. Мотивировка: пронырлив, вечно в карточных весь долгах, принципами не обременен. Отдавшись ходу безвременья, а точнее — току событий, неделями жду у себя в процедурной. Олé, как назло, не является. Подождав еще, снаряжаюсь, кутаюсь и через все завьюженное подворье гряду в направлении противоположной стены, в казематах которой гнездится семейное общежитие. Воздымаясь по лестнице, круто я воздымаюсь по ней. В коридорах — свидетельства неизжитого критического реализма: на примусах жарится какая-то дрянь, варится нечто рвотное, и, ковыряя в носу, канючат печальные результаты чьих-то зарегистрированных страстей.

Костяшками пальцев стучусь к Брикабраковым. Распахивает опылитель. На нем кашне. По-русски горяч, импульсивен, П. обнимает его. В комнатах пахнет нестираными чулками, подштанниками. Интерьер отвратителен.

Палисандр. Ба, да вы, погляжу я, устроились просто отменно!

Брикабраков (польщенно). Ах, бросьте, дражайший. Вы станете что-нибудь пить?

Палисандр. Что ж, плесните, пожалуй.

Брикабраков. Чего вам?
Палисандр. А что у вас есть?
Брикабраков. Только водка.
Палисандр. Ее и плесните.
Брикабраков. Располагайтесь.
Палисандр (располагаясь). Благодарю.
Брикабраков приносит стаканы, бутылку и наливает.
Палисандр. Ваше!
Брикабраков. Будем здоровы.
Сотрудники пьют и закусывают.
Палисандр. В последнее время читаю немало научных брошюр и журналов.
Брикабраков. Журналов? Похвально. Однако к чему это вам?
Палисандр. С интересом слежу за успехами в области истребления человеческих паразитов.
Брикабраков. Успехи? Возможно ль!
Палисандр. Я тоже не верил, но факты — упрямая вещь.
Брикабраков. Приведите.
Палисандр. В далеком Заире ученые установили, что кошка домашняя, если ее подвести под гипноз, легко начинает питаться — представьте себе — тараканами.
Брикабраков. Правда? Прекрасно. Но кошка домашняя никогда не послужит к уничтоженью клопов.
Палисандр. Согласен. Домашние кошки в отличие от большинства их владельцев весьма чистоплотны. Подробней об этом находим у мистера Брема в трудах.
Брикабраков. Что же делать?
Палисандр. Бороться, дерзать, не сдаваться. Приискивать неординарных путей.
Брикабраков. Слишком смело.
Палисандр. Но смелость сулит нам удачу. Вот: в упомянутом выше Заире другая группа ученых взяла и воздействовала на группу коричневых тараканов так, что последняя съела решительно всех ей предложенных лабораторных клопов подчистую.
Брикабраков. Простите, а чем же?
Палисандр. Что — чем же: воздействовала или съела?
Брикабраков. Воздействовала.

Палисандр. Иглоукалыванием.

Брикабраков. О-ля-ля!

Палисандр. Усовершенствования африканцев скоро позволят наладить своеобразный круговорот: первые будут уничтожаться вторыми, вторые — третьими. И придет — воссияет на численниках предначертанный день, когда ваших киншасских коллег наградят орденами Подвязки, вам же, друг мой, мизерный дадут пенсион.

Брикабраков (обиженно). Не понимаю, куда вы клоните. Объяснитесь.

Палисандр. Супруга дома?

Брикабраков. На службе.

Палисандр. Клянитесь, что все сказанное останется между нами.

Брикабраков. Слово курьера.

Достав, П. читает составленные им накануне визита тезисы. Если не вслушиваться специально, то в речи его различишь только те выражения и слова, что в читаемом тексте подчеркнуты чем-то красным. *Предмет щекотливого свойства. Смущенное чувство пристойности. Увядание нравов. Келейное наведение справок. Застать вдвоем, пристыдить. Так порок оказался б наказан, а я — чрезвычайно признателен.*

Закончив читать, Палисандр кладет перед графом какой-то пакет.

Брикабраков. Что это?

Палисандр. Здесь несколько незначительных ассигнаций. В счет погашения предстоящей задолженности. По мере сил. Кто знает, как в свете заирских исследований сложатся ваши меркантильные обстоятельства.

Брикабраков. Вздор. Как бы они ни сложились, я с вас не возьму ни заира. Во-первых, мы — люди чести. Затем, ваше дело мне представляется крайне плевым. А в-третьих, я не хочу, чтобы деньги хоть несколько омрачили нам отношения.

Палисандр. Слышу речь бессребреника.

Сказав так, мой рот исказился в припадке брезгливости, длань моя протянулась к каминным щипцам, и щипцами ловко пакет с ассигнациями схвачен и брошен в огонь.

Брикабраков. Вот славный поступок.

Палисандр. Пусть пепел несостоявшихся ассигнований послужит залогом нам предстоящих удач.

Брикабраков. Пусть!

Картинно обнявшись, мы потрясенно — так по последним инструкциям экскурсанты обязаны лицезреть разгорающийся над Эмском рассвет — смотрели, как пламя доглатывает купюры больших достоинств, и клялись в вечной дружбе. При этом я знал, а Оле́ ни на йоту не сомневался, что отвергнутые им деньги — насквозь фальшивы, подобно всему, что связывало и разъединяло нас всех в ту эпоху, давно отгалдевшую галками наших монастырей, крепостей, погостов. Не следует, впрочем, думать, будто я приобрел те кредитки путем махинаций и жульничества, ибо я напечатал их честным трудом.

Покуда всякие зарубежные экономы от Оуэна до Фурье ломали головы, как обеспечить рабочих и служащих по потребностям их, наше правительство, избегая красивых фраз, оборудовало на некоторых предприятиях небольшие фальшивомонетные дворики, где любой имеющий особое разрешение сотрудник мог отпечатать необходимый ему купюрный фонд *. Фальшивомонетный дворик действовал и у нас в Новодевичьем. Он ютился в полуподвале Смоленского собора, в одном помещении с типографией «Вестника», синодального органа. Пересиливая в себе зачарованность механизмами, я, бывало, орудовал их рычагами всю ночь. Напрасно поиздержавшись в попытке оплатить Брикабракову предстоящие хлопоты, я оказался не при деньгах и спустя известный период после описанной сцены предпринял шаги в направлении типографии.

Стояло так называемое тридцать первое декабря. Небо глядело астрально, да к счастью не пристально, и месяц едва народился. В типографии застаю кавардак,

* В ряде торговых организаций и банков такие банкноты не принимали, кокетничали. Да ведь мало ли где чего не берут. Не плакалась ли мне кремлевская гвардия, что в колониальной лавке напротив не принимается стеклотара.

типичный для мест секуляризации: всюду что-то валяется. Вижу, в частности, кипы уже сброшюрованных индульгенций — заказ Ватикана. Вижу пачки бразильских крузейрос, египетских фунтов, португальских эскудо и прочий экспорт.

Переведя стрелку тумблера с тугриков на рубли, я настроил печать достоинств на сотни, вложил бумаги получше и, как всегда, заработался.

В цех взошел Кербабаев. «Салям, с наступающим»,— поздравлял он мемуариста.

«Берды! Дружище! Вот радость! — говорил я ему, говоря.— Присаживайся, сейчас шампанского велю принести, тут и встретим».

«Магометанам не полагается»,— отвечал лукавый Берды, обожавший выпить не менее всякого православного сторожа, однако предпочитавший, чтобы его всякий раз уговаривали это сделать.

«Известно, что не положено,— уговаривал я.— Да ведь случай-то редкий, да за компанию. Не одному же мне пить. А с другими, поверишь ли, так уж скучно, что лучше и вовсе не праздновать. Один, один ты мне здесь, Кербабаич, отрада».

К одиннадцати стол в типографии был накрыт. Провожая год, мы пили за все хорошее. Наверху, в приделе, дежурный отшельник долдонил Псалтырь над некстати почившим отцом-привратником Никоном, которого мы не преминули, естественно, помянуть; а через полуотверстую фортку с уже замурованных мразом прудов конькобежная доносилась музыка. Нам было покойно, задумчиво, светлопечально, и тон беседы делался поминутно возвышенней и нездешней.

«Эх, Берды Кербабаич, голубчик,— проникновенно открылся я сторожу.— Знал бы ты, брат, как ценю я твою мамашу».

«Ну и цени себе на здоровье,— ответствовал капитан.— Разве кто не велит?»

«Да видишь, сама же, выходит, и не велит. Не дается, прячется. Третьего дня увидал ее возле трапезной — кинулся, добежал, а она как развеялась. Нет ее. Нет и нет. А до этого года два, полагаю, не виделись. И, бы-

вает, сижу себе в келье, и разные, знаешь, мысли одолевают. Может, думаю, что худое с ней — захворала, может, слегла. И брожу иногда в расстройстве — расспрашиваю: Шагане, мол, здорова ли. А монахи: не знаем, о ком говоришь, на тебе, говорят, на самом лица нет; ты ступай-ка теперь помолись да приляг, а заутра в соборе чтоб был, а то ни вечор, ни нынче на службу не заявлялся, смотри, как отец Ферапонт бы не осерчал, он и так уже сомневается: может, не стоит-де Палисандра Приблудного в иноки постригать — зело странный на вид, больно взбалмошный, юрод не юрод, а вроде бы не в себе — мудрит, басурманку какую-то кличет. А я им: пустое глаголете, братие, настоятель ваш, видно, сам не в себе — заговаривается, не его ума дело, кого окликаю да славлю: ему, Ферапонту, насчет меня высочайшее указание есть — я знаю, мне тут стрелец один сказывал: прискакал, говорит, из Кремля опричник на конике взмыленном, от Малюты Скуратова самого депешу привез: Палисандра, мол, как побочного отпрыска благородных кровей содержать в аккурате, в теле, к работам не принуждать и лелеять примерно, стричь — как сам пожелает, а купается пусть отдельно и вволю. Монахи же: эк тебя, говорят, сироту, дурь-то мает, знобит аж всего, малохольного, и что за время такое нам выпало: от царя до последнего нищего — все припадошные. Вишь ты — не верят, иноверкой корят да еще насмехаются. А я им: пред Богом, братие, все едины, и нет Ему ни своих, ни чужих, и никто никому не указ помимо Него, и кого возлюбил я — того и славлю, а не люблю — и не кличу. А? Берды Кербабаич, так ли?»

«Зачем не так,— отвечал он мне.— Взять, к примеру, того же коника. Разный он, коник. Тот породой берет, тот резвостью, а иной в масть пошел. Залюбуешься. А — издохли да полежали в бурьяне, растащили коников шакалики — одни только зубы валяются. И какой они все там породы, где масть да резвость — неясно. Всевышний всех уравнял».

«Плачевно, Берды, плачевно. Выходит, что Бог-то — Он смерть сама есть?»

«Смерти нет»,— сказал собеседник.

С надеждой я поглядел на него. Руки сторожа были смуглы, будто обуглены.

«Да полно, неужто нет?»

«Зря болтают. У нас на Востоке старые люди правильно говорят. Мало-мало пожил, мало-мало смотрел — много видел, а смерти не видел: якши *. А умер, как бы,— совсем не смотрел, совсем ничего не видел: совсем якши». Он говорил не мигая. Он говорил: «Ты ли, я ли, в Аллахе ли, во Христе — возгордились, проштрафились перед Господом, так что даже и смерти нам нет, милок,— не заслуживаем».

«Дивно, дивно вещаешь! — я возражал.— Вот это я понимаю, вот это по-нашему! Да знаешь ли, Кербабаич, какую ты веру в меня вселил!»

«Наливай»,— сказал он спокойно.

Я налил, сияя. Часы колокольни заколотили полночь.

«Да здравствует бытие!» — прозвучал мой тост.

«Вот именно»,— подтвердил Кербабаев и выпил, не унижаясь до жестов.

И я восхитился им.

«Едут, едут!» — с губами, обветренными, словно у маремана дальнего плаванья, вбежал Брикабраков.

Завсегдатаям Новодевичьего кладбища издавна примелькалось непримечательное, под черепичной кровлей, строение при южном въезде на Новый двор. Сторонне догадываться, чем служило это строение по преимуществу, было бы безуспешно. Сказать напрямик, то была отнюдь не сторожка, хоть сторож и грел там порою свой ревматический круп. То было и не здание администрации, пусть некоторые служащие элементы и копошились в его кулуарах. Вместе с тем то была и не лавочка мелочной похоронной коммерции, хоть для отвода глаз Вам сбывали там всякую прискорбную мишуру: искусственные растения, саваны, ленты, венки, лопатки для пепла, балетного типа тапочки и т. п. Правда, все это происходило в дневное время. После

* Хорошо *(тюрк.)*.

захода солнца на кладбище наступал комендантский час, лавочка закрывалась и дом начинал выполнять основную функцию — функцию входа на станцию «Новодевичья» нашей совершенно секретной орденоносной конки. А выход со станции находился на Старом дворе, под сводами реконструированной усыпальницы Александра Первого, чье загадочное исчезновение до сих пор не дает нам покою. Туда-то, в снаружи невзрачный и какой-то почти что призрачный, но изнутри изукрашенный изразцами киоск, мы втроем и направились.

Впереди, припархивая, семенил Брикабраков. За ним воплощением столбняка фигурировал Кербабаев. А — с развевающимися на ветру шнурками, шарфом и полами кимоно — я логически заключал процессию. Кимоно было новым и зимним, и зимний и новый с иголочки ниспадал на подворье год. Тропы, которыми мы пробирались, вились. И змеилась, обуживая их, поземка.

Войдя в павильон, мы спустились особой лестницей на платформу и сдержанно поздоровались с некоторыми доезжачими, что уже ожидали там поезда. Позументы их ментиков, козырьки киверов, рельсы конки и фонари излучали золото. Все нервничали и зевали. Шум, который сначала казался лишь разновидностью тишины,— нарастал.

С разухабистым «Хором Охотников» из бессмертного сочинения Шарля Гуно, с лаем псов, с бубенцами, с бренчаньем сбруй, со скрипом ржавых колес, скрипкой Ойстраха, с криками «с новым счастьем!» и с прочими атрибутами новогодней охоты из жерла тоннеля выдвинулись вагонетки. Из них, увешанные амуницией, выходили сенаторы Брежнев и Суслов, Пономарев и Косыгин, Шелепин и Мазуров, Подгорный и Георгадзе, гончие и борзые.

С горьковатой ухмылкой ссыльного я ловлю себя вдруг на том, что глазами ищу в толпе приехавших человека, которого явно в ней не хватает, но быть — не может. Пораженный в гражданских правах, он давно уж сюда не ездит, поскольку живет здесь безвыездно,

не считая негласных отлучек по банным и другим интимного свойства делам. «Узурпаторы,— думает он о приехавших.— Притеснители». И гонимый сознанием собственной ущемленности, поворачивается и лишает их своего приятного общества. И, опально лелея обиду, ревниво вслушиваясь в отголоски кладбищенской заячьей травли, бродит древней стеной и гремит ключевыми болванками. Колокольчатый лай собак отзывался девичьим смехом, дразнящим и вздорным.

В час, в начале второго от застав к торговым рядам потянулись нордические обозы с семгой, икрой, капустой и новыми Ломоносовыми. А в третьем, когда закатился Антекатин, рога возвестили отбой, и, делясь впечатлениями, охотники зашагали в трапезную.

Я возвратился в келью. Я тщательно вычистил зубы. Я причесался, прочел «Отче наш» и хотел было кликнуть кого-нибудь из прислуги, чтобы наполнили ванну, как — в который уж в рамках настоящих записок раз — в дверь мою постучали.

«Смелее!» — отозвался я Брикабракову, ибо это опять был он.

«Что поделываете?» — возник Оле́.

«Перехожу в Рубикон плескалища».

«Повремените».

«А что — разве я кому-нибудь еще нужен?»

«Не скромничайте, Палисандр. Вы — всеобщий любимчик. Вас нынче хватились и обыскались. Все правительство хором кричало ау».

«Оставьте, пожалуйста: я постоянно был в парке, но никакого ау не слышал. Вы вновь сочиняете. Я — отвержен, сослан, забыт. Лай собак — это все, что я слышал».

«Каких собак? Мы ведь охотились на летучек. И, кстати, опять недурно. Отменный сезон. Право, жаль, что вас не было с нами. Невероятно жирны. Да и в целом весна что требуется: ручьи, букашки. Впрочем, пора уже действовать. Ежели чувство пристойности в вас еще смущено, то имею открыться в прозрении. То, что вы называете увяданием нравов, нынче проявится в вящей мере, и буде угодно вам наказать порок, возможность к тому представится».

Я обулся. При этом впервые за годы и годы я не прибегнул к услугам сапожного моего рожка, висевшего на гвозде под притолокой. Минуя сарай, у которого зимами регулярно рубили дрова, мы с Олé зашли под навес, где они содержались. Брикабраков рассеял ближайший мрак серной спичкой, и я, покопавшись в груде какого-то барахла, извлек один из тех инструментов, на коих имели обыкновение разгораться иные утра. Решительно отрешен, я заткнул рукоять за пояс своего стихаря и подумал: не мир, но меч. Биограф! Доподлинно воссоздавая картину нашего с опылителем похождения, не сочтите за труд описать, как догоревшая спичка — как именно! — выпала из руки его и упала, шипя, на грунт. Срок горения был ничтожен, но тем драгоценнее были его мгновения. Берегите же пламя — свое и чужое: творите убористей. Пусть описание остальных событий той ночи можно будет прочесть при свете единственной, может статься последней, спички. В свете моей аскетической рекомендации разрешите запротоколировать похождение в форме скупого оперного либретто.

Акт первый. Зарницы. Подворье. Из трапезной, окна которой выходят на галерею, освещены и распахнуты, слышится гомон охотничьей тарантеллы. Ее сменяет песня восточного толка в исполнении разбитных народных певичек Зыкиной и Пугачевой. Затем начинается беззастенчивый танец чрева Улановой и Плисецкой, который плясуньи выделывают непосредственно на столе. Маскарад рукоплещет и площадно комментирует стати правительственных куртизанок. Граф Брикабракофф и Палисандр, незримо стоящие на галерее, внимательно наблюдают за костюмированной вакханалией, постепенно переходящей в типичную оргию. Некто, загримированный под Казанову, покидает трапезную. Многозначительным жестом граф побуждает будущего Свидетеля проследовать за ушедшим.

Акт второй. Коридор монастырской гостиницы, нищенски освещенный одною свечой. Оглядываясь, коридором идет «Казанова». Он исчезает за дверью какого-то номера. Из-за портьеры являются Палисандр и граф

Брикабракофф. Они останавливаются перед тою же дверью. Граф предлагает Дальбергу наклониться и посмотреть в замочную скважину. Воспитанный в лучших традициях ремесленного училища, Палисандр отказывается. Брикабраков цинично хохочет. «Если вы не посмотрите,— подстрекает граф,— порок никогда не будет наказан». Снедаем внутренними противоречиями, Палисандр наклоняется.

Акт третий. Номер монастырской гостиницы, видимый Палисандром через замочную скважину: главным образом — койка. На койке навзничь лежит обнаженный уже «Казанова». А некто в обличье римской волчицы Акки, подруги рогатого Фавстула, осуществляет массаж. Постепенно из затемнения пружинисто восстает зизи «Казановы», и лоно «волчицы» приемлет его в себя. Символизируя откровенный упадок нравственности, маска спадает с лица массажистки: юный П. узнает в ней неверную себе Ш. Не в силах будучи оторваться от разыгравшейся в номере сцены, П. ревниво нащупывает похищенный инструмент, желая выломать дверь и сломать лед взаимонепонимания. Но тут, пробившись сквозь тучи и тюль, луч все той же луны ложится на затененный прежде лик карнавального «Казановы»: то Местоблюститель Б.

Акт четвертый. Уронив топор, П. поет arioso finale.

«Брежнев, Брежнев!» — жужжа, громоздилось в моем мозгу имя Местоблюстителя, пока я бездарно бежал коридором злачной гостиницы, оставляя поле несостоявшейся брани. Так вот почему,— запоздало сопоставлял я факты,— вот почему,— не без некоторого мазохизма муссировал я свой вывод, израненно рея среди деревьев,— вот почему,— возвращался я к этой неконструктивной и ничуть не спасительной мысли, утрачивая себя в ином измерении,— вот почему Ш. зачитывалась его мемуарами,— говорил я себе, глядя, как наступает и все никак не наступит утро. А позже, походкою выхухоли мечась по келье, говорил опылителю:

«Преподайте урок. Низложите покровы. Увы, я готов согласиться, что все мы, включая власть предержа-

щих, суть лишь люди с их слабостями. И я вынужден допустить, хоть и делаю это весь как-то сжавшись,— я допускаю возможность известных увеселений — увеселительных встреч — вечеринок — нескромных настольных канканов. Я даже могу сквозь пальцы зреть беспардонности, творимые нашими служащими в бассейнах и ваннах. Но на которую полку сознания мне списать со счетов тот факт, что семейный деятель государственного аппарата, один из немногих поистине чтимых мною кремлян, позволяет себе подобное с официальным лицом, с передовой массажисткой Дома. И не где-нибудь, а в его пределах, выказывая тем самым элементарное неуважение к зданию пусть и расформированного, но все же монастыря, к его памяти, покушаясь на его новодевичью честь. Я знаю, знаю, формально мадам Хомейни считается личной знахаркой Леонида, и все-таки это мало что объясняет и ничего — ничего! — не оправдывает».

Я говорил еще долго. Когда моя речь иссякла, Олé сказал, что ему неловко, но он полагает своей профессиональной обязанностью поставить меня в известность, что дом, в котором нам с ним посчастливилось сослужить, есть Дом Массажа лишь в некотором, вспомогательном смысле. По сути же это не что иное, как дом свиданий, где руководство Кремля находит необходимым встречаться не только друг с другом и не только для обсуждения очередных неотложных мер по внедрению войск в неохваченные еще районы земшара, но встречаться также и с теми, кого мы зовем «прихожанками» и «послушницами» на предмет обладания ими и отдыха в их непринужденном кругу. «Неужели вы не догадывались об этом?» — спросил Олé.

«Не скрою,— сказал я ему.— Иногда мне казалось, что я начинаю догадываться. Но я никогда не решался поверить в свою догадку. Вместо этого я мгновенно впадал в какое-то помутнение, вставал в позу страуса и надевал моральные шоры. А если случайно видел иль слышал нечто дурное, то тотчас старался забыть. Характерно: когда по прибытии моем в монастырь З.— вы знаете метрдотеля З.? конечно, вы знаете всех — когда

он меня информировал о предосудительном прошлом Ш., я воспринял слова его как недоброкачественную ресторанную сплетню».

«Что не мешало использовать приобретенную информацию в ходе любовных игр,— заметил мне внутренний голос.— Не вы ли питали ею свое прожорливое половое воображение».

«Отстаньте!» — внутренне сказал я ему. И продолжал Брикабракову вслух: «Да-да, у меня невероятно консервативные взгляды на все эти вещи. Хотя, если судить по некоторым из моих экстравагантных поступков, такого не скажешь. Однако поступки со взглядами согласуются разве что у какого-нибудь неандертальского простака наподобье Громыко, нашего горе-министра. А я-то организован слегка сложней».

«Вы излишне витаете в облацех,— указал опылитель.— Вам нужно всмотреться в действительность обстоятельней, не чураясь замочных скважин. Подумайте, я ведь тоже не из простого сословия, а куда как приметлив. А вы со своей часовщической щепетильностью — просто олух Царя Небесного».

Я был до того удивлен и сконфужен брикабраковскими откровениями, что чувство обиды казалось мне неуместным; и я отложил его до следующих времен. В то же ненаступавшее утро, за кофеем, поданным коридорным расстригой в ливрее цвета коровьей жвачки, Оле́ поведал мне историю основания нашего Дома. Блюдя хронологию как зеницу ока, я изложил эту повесть прежде. А здесь остается добавить лишь следующее.

Будучи обходительно спрошен, не полагает ли он, что его Жижи при всей незапятнанности своей репутации втайне служит одним из секторов непринужденного круга, Оле́, изумленный моею наивностью, отвечал мне, что, дескать, не полагает, поскольку знает это наверное — знает о всех ее высокопоставленных покровителях, осведомлен об ее с ними сьянсах в мельчайших подробностях, ибо она ничего от него не скрывает, отчего ему и соглядатайствовать за ней нету нужды. Лишь изредка заглянет он мимоходом в массажное

ателье супруги — так, в порядке контроля. «Она сообщает мне абсолютно все,— подчеркнул Оле́, беззаботно кладя ногу на ногу.— Начиная от мужеспособности покровителей и кончая параметрами их органов. Кстати, в тот незапамятный вечер, когда вы пришли к нам домой и мы рассуждали о тараканах, Жижи обслуживала Фиделя».

«Какого Фиделя?»

«Что значит — какого? Из всех на свете Фиделей в сей Дом вхож единственный — вива Куба! — патрия о муэрте! — Сьерра Маэстра! — ну, вспомнили? Кастро же, Кастро».

«Впервые слышу,— ответил я холодно.— Фамилия, впрочем, скабрезнейшая».

«Пожалуй, только в постели он ее отнюдь не оправдывает. Такой, Жижи говорит, неуемный, что спасу нет».

«Возможно, возможно»,— сказал я как можно рассеянней и оттопырил губу.

«Э, да никак вы ревнуете! — расхохотался граф.— Перестаньте, братец, что это за пережитки еще, не годится, не та эпоха. Спешу вас, однако, утешить. Фидель по сравнению с вами — ниньо, дитя. Вам, батенька, попросту пары нет в данной сфере».

«По-моему, вы забываетесь, граф».

«Ах, нет же, я точно помню: Жижи исключительно высоко оценила ваши мужские благополучия. Да и сам я неплохо видел, как бурно все протекало тогда у вас в Рубиконе».

Я потупился. «К чему же вы столь облыжно винили меня в Онане?»*

* Теперь, вороша свои дневниковые и мемуарные записи, я сознаю, что граф все-таки забывался. Мой коитус с Жижи, на который Оле́ недвусмысленно намекает, состоялся вскоре после самоубийства Лаврентия: мы же беседуем явно до этого происшествия. Так что забывчивость Брикабракова, равно и мое соучастие в ней, можно смело определить как типичное воспоминанье о будущем. Подобные воспоминания посещают нас много чаще, чем принято думать. Точнее, настолько часто, что мы научились их забывать задолго до посещения, заблаговременно.

«О Господи, Палисандр, вы нимало не понимаете шуток. То был обыкновенный розыгрыш, фарс. Видите ли,— объяснял опылитель,— мы с супругой прочли некролог накануне вечером — в той самой газете, которую я вам оставил. И, прочтя, стали думать, как быть. Как бы так сделать, чтоб известить вас и сразу смягчить известие, подсластить, так сказать, пилюлю. И вот мы решили, что я пойду в процедурную и оставлю газету на канапе. А затем, подождав, покуда вы ознакомитесь с новостью и начнете переживать, к вам заглянет Жижи и попытается вас от переживаний отвлечь. И знаете, она оказалась в смешном положении бедного, званного на тезоименитство к богатому. Что подарить виновнику торжества, который ни в чем не нуждается, у которого есть практически все. Как — иными словами — развлечь огорченного вас, который и без того пребывает всегда в какой-то прострации? Ответ однозначен: отдаться. Затея, если вы обратили внимание, удалась хоть куда. А пока она удавалась, я действовал по своим каналам: стучался, уличал в онанизме, грозил пожаловаться. Тоже, в общем-то, развлекал. Посильно».

Я посмотрел на него. Брикабраковское лицо по-прежнему было не чем иным, как лицом Брикабракова: я узнал его без труда. С другой стороны, опылитель что-то определенно носил, и предметы одежды, надетые на него в определенном порядке, в определенной последовательности, так или иначе сочетаясь друг с другом, сидели на нем с той степенью плотности, аккуратности — или с другой. Выражаясь же более четко, ясно, общедоступно, говоря языком телеграфа,— граф был одет. Итого, в моем собеседнике — даже если бы мы дополнили его портрет чертами характера, описаньем привычек, ужимок, манер и сведениями, почерпнутыми из его ресторанных счетов,— не было ничего необычного, ничего такого, на чем бы особенно хотелось остановиться пером или взглядом; как не было и такого, на чем бы особенно не хотелось. И тем не менее мне сделалось странно: о каком таком некрологе он помянул? Но не желая услышать еще какое-нибудь малоприятное

откровение, я не стал ничего выяснять: мало ль кто в наши дни умирает *.

В бойницах забрезжило.

«Я,— сказал я тогда Оле́,— я посмел бы задать вопрос, который, быть может, покажется вам тоже наивным и праздным. Однако я должен его задать. Для очистки совести».

«Выкладывайте,— потягиваясь отвечал Брикабраков.— Какие еще там очистки».

«Скажите, значит, вы — не́ в претензии?»

Брови его удивились.

«Ну, все-таки, как-никак, а известным образом я имел необыкновенье — неловкость — и, разумеется, честь — прибегнуть к услугам вашей жены. И пускай сей сеанс был с ее стороны актом чистого милосердия, доброй воли или, как вы утверждаете, фарса, я тем не менее не могу не испытывать угрызений. А если даже могу, то случившееся все равно накладывает на меня определенные обязательства. Мне представляется, ни для кого не было бы ничего зазорного, если бы я получил возможность так или иначе компенсировать нанесенный ущерб, оказать пострадавшей семье посильное вспомоществование — как вы мыслите? Или, быть может, вы, граф, почтете за лучшее вызвать меня к барьеру? Тогда не стесняйтесь, зовите. Хорошие отношения не должны препятствовать их выяснению — пусть и методом от противного: способом пули или клинка. Дружба дружбой, дуэль — дуэлью. Прошу вас, я не обижусь».

«Милейший, вы меня умиляете,— захихикал граф.— Ваш вопрос исключительно празден. Поймите, я — западный, эмансипированный человек, человек посторонней формации. Я вырос и возмужал в Париже».

* А неделями позже, когда, сидя в ванне и безучастно владея графиней, я вчитывался в некролог по Лаврентию, просматривал прочие объявления и скандалил с Оле́, со мною сделалось дежавю. Возникло чувство, что все это некогда уж со мною случалось — в сей жизни или предшествующей. Или случится в последующей.

«О, Париж!» — завистливо задохнулся расстрига, зашедший плеснуть нам горячего кофе. Сказав так и сделав свое небольшое, но нужное дело, слуга удалился.

«Когда вам случится поехать в ту сторону,— продолжал Оле́,— вы увидите, что на Западе все обстоит поиному. Свобода, друг мой, свобода не только выкриков, но также — и прежде всего — любви».

«Стало быть, классовые потасовки прошумели там не вотще?»

«Конечно! — Граф встал. Ностальгически запорхал он по комнате.— Буржуазно-демократические завоевания велики. Укажу, например, на открытые браки. Браки втроем, вчетвером. Процветает любовь групповая. Любовь однополая. Покупная. Любовь к животным. И все это узаконено, вправлено в конституции. Все в порядке вещей. А уж вверить супругу иль даму сердца в руки здоровому молодому мосье — что ж в том худого, подумайте. О каких претензиях может быть речь! Что за варварство, честное слово. Нет, право, не умиляйте».

Увещевания Брикабракова возымели на автора строк то благое влияние, что несмотря на дюжину выпитых на двоих джезвеек крепчайшей турецкой бурды, он по уходе графа лег спать и залпом проспал до самого послезавтра.

Сон праведника освежил меня. Отдохнув, я решил начать совершенно новую жизнь — жить набело, без предрассудков, на западный коленкор. Только в невыгодное отличие от Оле́ я вырос и возмужал не в Париже, и — наверное лишь поэтому — мне недоставало нравственной закаленности. Пристальный взгляд какой-то — первой по коридору — замочной скважины свел решимость дерзающего лица к нулю. Сцена в гостиничном номере, виденная позавчера, предстала в ретроспективном ракурсе. И приступ ревности — застарелой — знобящей — вынудил прислониться к простенку и медленно несползти на пол. Мне сделалось дурно. Краски чела поблекли. И несколько человек отнесло меня на диван. Вызванный из Кремля Аркадий Маркелович прописал пиявки. Уязвленный ими,

я подал петицию в соответствующий департамент. Дело А. М. Припарко пришлось очень кстати: его подверстали к процессу врачей-вредителей. Выездные суды процесса гастролировали той весною по филармониям, колизеям и колонным залам с большим успехом. Всего к заключению определили около семисот человеко-лет. К чести Припарко замечу, что он во всем и сразу сознался, был осужден, но вскоре его, к сожалению, реабилитировали. По возвращении из мест изоляции эскулап принялся за старое. В том числе и за свои мемуары.

Тем временем приступы ревности продолжались. Прибегнув к самостоятельному психоанализу, я счел наиболее эффективным средством против нее — долгосрочные теплые ванны, которые, правда, я применял и прежде и применять намерен всегда как истинную и единственную панацею от всех напастей. В одной-то из этих ванн и обрел меня Юрий Владимирович Андропов. Обрел — и отвез в сандуновские термы. Было это лишь несколько сотен страниц нашей рукописи тому, а кажется — миновали столетья.

Вволю глотнув голубого вечернего воздуха, я захлопываю фрамугу окна и поворачиваюсь к Андропову. И долго мы всматриваемся друг в друга при свете кварцевых люстр.

Он сидит на краю водоема, я — стою на другом. Я в пижаме, а Юрий в шлафроке. На голове у меня — ничего, а полковник сдержал обещанье: надел чепец. Юрий видит во мне простого, искреннего, но далеко не глупого сироту и подспудно любуется абрисом торса его и отброшенной на стену тенью профиля, что — я верю — украсит фронтиспис данных набросков. «Как он взволнован,— думает обо мне Андропов,— как дерзновен». Враг бессмысленной лести, последовательно нелицеприятен и прям, я вынужден констатировать следующее. Глядя на Юрия, я во внешнем его обличии не любуюсь ничем.

«Ну, так как же? — Голос Андропова отдается в аркадах и портиках, изощренно украсивших сандуновскую цитадель чистоты.— Приступим?»

Хладнокровен, как бестия, думаю я о Юрии. Разве можно так выражаться: приступим! Экий цинизм. Впрочем, как по-иному? Сказать: обагрим наши руки кровью невинной жертвы? Вздор. Слишком высокопарно, помпезно. Заявить ли: давай-ка, брат, совершим преднамеренное убийство, убьем по первому, мол, разряду? Совсем чепуха. По разрядам ведь парятся, а не убивают. К тому же мы и не собираемся убивать. Хорошо ли убить человека почти ни за что. Точнее, за то лишь, что он кому-то мешает, не нравится или удерживает лакомый пост? Да и за что вообще — хорошо? Есть ли нечто такое, за что действительно следовало бы и было бы не прискорбно выдворить кого бы то ни было в никуда — в насовсем — где неясно что — неясно и тускло. И потом возникает вопрос о праве, о юрисдикции, юриспруденции. На каком, как выразился бы старик Плевако *, если бы удостоил нас консультации, на каком таком основании собрались вы убивать? Словно бы уголовное право рассматривает целый свод положений, на основании коих можно бы на худой конец и убить. Словно б наличествует такой документ в принципе — уголовное право, куда записаны все права и обязанности тех, кто, встав на тропу преступлений, поставил себя вне общества. Ладно, а казнь? — спросили бы мы у Плевако.— Имеет ли право на существование — казнь? А казнь, отозвался бы он, имеет. Поскольку она оформляется юридически, в присутствии адвоката, присяжных свидетелей, с приложением всех требующихся бумаг и печатей на них. А у вас ничего не оформлено. Вы не дали себе труда завести даже папки для дела, не говоря уж о делопроизводителе. И следовательно, вы намерены не казнить, а причинить незаконное умерщвление. Нет-нет, господин Плевако, мы ничего не намерены — никого. Мы зашли пошутить, покалякать. Всего замечательного. Вечная вам мемория. Невероятно — убить дядю Леню! Какая химера — бред! Не кого-нибудь, не какого-нибудь беспутного Карамазова или, как верно подмечено литературной

* Известный древнерусский юрист.

критикой, никому не нужную старуху-процентщицу, а как раз дядю Леню. Понятно, тот тоже немолод и в строгом смысле нисколько не Аполлон: костяком неказист, непородист, а в последние годы и вовсе сдал — обрюхател, облез. Только — что нужды! Дух-то в нем пребывает бодр. Да и разве не этот так называемый джентльменский набор добродетелей испокон снискал себе безграничное уважение и ревностное поклонение обыденного народа. Не они ли считаются признаками действительной умудренности, семейной уравновешенности, солидности общественного положения и являются непреложными качествами столпов, покровителей и отцов нашей нации, равно как и национальных героев Японии сумо — бойцов животами. Не на этих ли добродетелях и замешан тот базис, который со дней Гороха, царя и организатора государства российского, удерживает всю надстройку. Убить дядю Леню! Его, который, бывало, кричал еще издали — собирайся, мол, едем, а в конке шумел, рассказывал уморительные военные анекдоты, что позже легли в основание его эпохальных книг, а когда мелькал последний фонарь, тоннель кончался и мы въезжали на станцию, он, дядя же Леня, первый — еще на ходу — выскакивал из вагона и бежал навстречу Берды, восклицая: «Ну, что, прилетели твои летучки?» И начиналась охота. И не мастерски ли палил дядя Леня навскидку — в угон — дуплетом. Не быстро ли умел развести походный костер, зажарить на вертеле пару дюжин пролетных парных ушанов, кожанов, летучих собак покрупнее — раздать их голодным товарищам, и не сам ли при этом довольствовался какой-нибудь малой косточкой, крылышком, обсасывал худосочную лапку. Забыть ли наши привалы! Немыслимо. Чем темней становилась ночь, тем лучше она рифмовалась с дочерью, тем ярче рдели в ней головешки, тем истовее ворковали на Лужниковском болоте жабы и явственней копошились в травах кроты, поедая опавшую волчью ягоду. Изредка с низким минорным гимном скорбному своему труду пролетал над могилами крупный светляк, известный в энтомологии под именем Гробокопатель. О, как

уютно было лежать у костра под ватным, беззвездным небом и, покусывая соломинку, мыслить сонетами, главами будущих эпопей, ждать всемирной известности или потопа. А если на небе проступала звездная сыпь, недуг мой разыгрывался, и я подсаживался к дяде Лене — прижаться. Слушая взрослые разговоры о международной политике или старинные пионерские песни, что пелись нашим правительством на всяком бивуаке, я тихо задремывал у Брежнева на груди, под полою его боевой, заслуженной плащ-палатки. И после этого, после всего остального, чем нежно связала нас с ним непростая кремлевская дружба, мне в обмен на какие-то эфемерные зарубежные блага предложено — нет, я, наверное, недопонял, ослышался — о, конечно, само собой разумеется, Леонид, как ни жаль, должен быть сурово наказан. Пусть даже розгами, шомполами. Хотя — за что же? Я ведь не знаю состава его преступления. Мне говорят лишь — есть мнение: надо убрать. Чье? Кто судьи? Часовщики? Я сам часовщик, но у меня далеко не такое мнение. С другой стороны, просвещенный кремлянин обязан быть толерантен, терпим к чужому. И, абстрагируясь от соображений дружбы, я готов допустить, что Брежнев достоин самой жестокой участи, и решение нашей организации бесповоротно. Пусть так. Но пускай эта кара вершится другими руками. Своих я не обагрю. Увольте. Вы слышите? Без меня!

Терзания мои были столь велики, что я даже осунулся. И собрался уже воскричать дяде Юре свое наотрезное нет, как вошли с сообщением, что в парном департаменте пар опять достигает высоких кондиций, и если угодно еще раз попариться, то добро пожаловать. Сделать это имело смысл во всяком случае. Мы направились. Однако в каком-то из переходов мне ернически подмигнула замочная скважина запасного выхода. Горло сдавило. Я привалился к Андропову и медленно уронил свое тело на руки сопровождавших лиц.

«Немедленно в ванну»,— рекомендовал я, хрипя. И, тихо плавая в ней, словно в бухте — полупотопленный бриг, я слышал свои слова, обращенные к Юрию: «Вы, сидящий возле плескалища хворого ревностью П.,—

ревностью, что свела ему челюсти, перехватила дыхание и перекроила весь быт, ведайте: он родился на свет творить не преступные злодеяния, но справедливость истории. И не убийство он совершит, но — казнь! Вы же оформите все юридически и представите надлежащие справки». И, услышав, с каким выражением сказаны были мои слова, я поразился, насколько мне все-таки недоставало еще западноевропейского лоска, терпимости, уменья красиво и с честью вверить любимую даму другому мосье. Зато с избытком был наделен я зрительной памятью, и коитус в гостиничном номере повторялся в моем умозрении со всеми интимными вывертами его, во всех нюансах. Но ужаснее и больнее прочих в память врезалась такая деталь, как культяпки: они — мельтешили, мелькали! Они! которые я когда-то лобзал и лобзал. Я был безнадежен.

Часа через два, пожертвовав подобострастным пространщикам не менее чем на ящик столичной, мы выбыли в направлении монастыря. Город праздношатался — кишел происшествиями — суесловил — дышал миазмами. Возле Большого театра мы стали свидетелями очередной трагедии «маленького человека». Желая пройти без билета хотя бы «под занавес», на последние реверансы, несостоятельный посетитель, по виду — глубокий провинциал, столкнулся в дверях с вышибалой, и тот, раскрутив турнедверь, бессердечно вышиб беднягу обратно на холод. Стоял мороз. Не представив ни шанса на апелляцию, театральный разъезд поглотил героя подобно отливу.

«Кто сей? Что сей? — воскликнул я про себя.— До чего же он безымянен! Подумать: наверное, ни в игорных домах Вера-Круза, ни на журфиксах в Сохо, ни в борделях Бордо — никто никогда не видел и не увидит этого неособенного, с давно поредевшей копною волос гражданина. Да что там наверное — наверняка! Недалек и неловок, ненужен и невелик, он безвыездно и безнадежно жительствовал, где велела судьба — где положено: где-нибудь в Жмеринке, в Туле. Ах, Тула, Тула. Да что же мы знаем о ней? Что дорого нам

в данном звуке? Почти ничего. Какие-то самовары, пряники. В крайнем случае — втулки, Толстой. Но это — максимум. Фантастически скудны, обрывочны наши сведения о настоящем предмете, а гражданин в этой Туле всю жизнь до нитки спустил». Мне всплакнулось.

«Да, удел незавидный,— прочел мои мысли Андропов, сам смахивая слезу.— Только не надо. Не будем расстраиваться по пустякам. Ну их к черту».

«Вы думаете?»

«Уверен. Конечно, мир полон трагедий, но все они более или менее справедливы. Ведь даже истребление целых народов определено изобилующей правдой».

«Откуда вы знаете?»

«Так говорил Исайя. Глава десятая».

Эзотерические науки были коньком полковника.

И еще о театре. Как-то раз, проводя свой зимний досуг на брегах одного из фиордов той непривычно продолговатой страны, где местная публика на загляденье размашисто ходит по воду на лакированных длинных планках с загнутыми вверх концами и где отсутствие новомодных средств связи делает эту идиллическую картину совсем пасторальной, я свел знакомство с довольно известным французским подданным ирландского происхождения. Закоренелый авангардист, Беккет — так звали рассматриваемого господина — жил и творил в том же самом шале санаторного типа, где жил и творил автор строк, разве что этажом пониже да в номере поскромней.

«Зовите меня Самюэль»,— насупленно рекомендовался он, подойдя ко мне в лобби шале. И добавил: «А вы — такой-то?»

Не став отрицать, я не стал и гадать об источниках его осведомленности. К той зиме я сделался исключительно славен. Мои сочинения стояли на полках даже колбасных лавок, и только совсем уж не уважавший себя журнал не пестрел моими портретами. День же неумолимо клонился к ужину.

«Знаете что,— осмелел Самюэль,— отчего бы нам не отужинать вместе?»

Его предложение было принято.

Не питая особых надежд на то, что когда-нибудь эти записки признают учеными, не могу тем не менее не отметить: съестные способности гомо сапиенс разительно превосходят умственные. Пищеварительный тракт клинического идиота, беромого в интервале событий с пеленок до гробовой доски, приводит к единому знаменателю столько вкусной здоровой снеди, что осмыслить истинное величие катастрофы не в силах никакие ферми. Иными словами, помимо яиц от Амбарцумяна мне за годы послания привелось отведать такую прорву разнообразнейшей кулинарии, что вспомнить, что, где и когда было съедено, не всегда удается. Короче, я не берусь утверждать, чему — кроме скотча и крем-брюле — воздали мы с Беккетом должное «У Къеркегора» — так называлась ближайшая от нашего шале ресторация. Но, к счастью, могу процитировать все вечернее расписание ее блюд, случайно засушенное в одном альбоме с цветками норвежского коровяка, настои которого весьма хороши как отхаркивающее.

MENU

Forretter:

— Klar Suppe med Kød og Melboller . . . . . . 12.50 kr.
— Hønsesuppe med Aspares . . . . 13.75 kr.

Hovedretter:

— Medisterpølse med Kartofler, sovs og Rødbeder . . . . 18.50 kr.
— Frikadeller med sovs, Kartofler og Rødkal . . . . 20.50 kr.
— Boller i Karry med Ris . . . . 16.50 kr.
— Wienerschnitzel med sovs, Kartofler og Grøntsager . . . . 22.50 kr.
— Dansk Bøf med Kartofler, sovs, Bønner og Bløde Løg . . . . 25.00 kr.

Efterretter:

— Vanilieis med Chokoladecreme . . . . 8.50 kr.
— Fromage med Karamelsauce og Sukater . . 12.50 kr.
— 2 Pandekager med Hjemmelavet Syltetoj . 10.50 kr.

Внимательно изучив меню, мы уведомили официантов о принятых нами решениях. В залах было натоплено, но Самюэль оставался в пальто.

«Нездоровится?» — бросил я.

«Застарелая лихорадка, fièvre».

«Что же вас привело в Норвегию?»

«Ибсен. Гамсун. Отчасти Григ».

«Не спросить ли глинтвейну?»

«Я не любитель».

«А может, хотите грогу?»

«Мерси. Лучше виски».

«Сейчас принесут».

«Шире шаг, ленивый Джон Уокер,— сказал драматург.— Пошевеливайся».

«Я слышал, вы балуетесь переводами?» — полюбопытствовал я.

«Так, слегка».

«Почитайте из лучших».

Он закурил. Бармен принес литрового «Джонни Уокера», откупорил и ушел.

«Невежа»,— сказал ему вслед Самюэль. Он налил в оба стакана и выдавил в свой пол-лимона.

Мы выпили. Не спеша драматург прочитал три-четыре стиха в переводе с английского на французский, а после их же в обратном. В камине горели поленья.

«Недурственно»,— молвил я.

Он не ответил. Видно было, что его что-то мучает.

«Вам полегчало?» — спросил я Беккета.

«Вне сомнений».

«Однако я вижу, вас что-то мучает».

«Мучает?» — переспросил Самюэль, пораженный моей проницательностью. Выглядел он угловато, сурово, несимметрично, словно только что от Пикассо. Пальто, пошитое в первой четверти века у какого-то прикладного кубиста, усиливало иллюзию.

Подали первое.

«А пожалуй, вы правы,— сказал Самюэль.— Что-то мучает».

«Как-то?» — Я затолкал салфетку за воротник.

«Я, наверное, понял, что заблуждался. Вернее, не я, а Годо. Вы смотрели?»

«Многажды. Впервые — в Монтевидео. Потом в Барселоне, в Афинах, в Цюрихе, на Галапагоссах. Не перечесть».

«А в Рейкъявике?»

«О, Рейкъявик, еще бы! Там ведь прекрасный английский театр. Вас обносят напитками сами актеры, по ходу действия. Разумеется, можно и закусить. Чертовски комфортно».

«А как постановка?»

«Наслаждался каждой минутой».

«И декорации тоже понравились?»

«И декорации, и костюмы, а свет — сплошная феерия».

«Тем не менее,— сказал Самюэль,— мой Годо никуда не годится».

«С чего вы взяли? По-моему, вещица на ять».

«Он поступает бестактно».

«То бишь — не поступает никак?»

«Абсолютно».

«Что ж, в данном случае он, очевидно, не прав,— согласился я.— Некрасиво. Публика ждет, надеется, а ему хоть трава не расти».

«Шокинг,— кивнул Самюэль.— Моветон».

Принесли второе.

«Скажите,— сказал он мне,— разве кто-нибудь из заглавных героев того же Ибсена позволил себе хоть единожды не возникнуть, не выйти к рампе?»

«Импосибль,— отозвался я.— Такого героя просто неверно бы поняли. Вообще, удивляюсь, как вам еще верят. Вернее, не вам, а в него».

«А я что ли не удивляюсь!» — сказал Самюэль.

Мы пригубили.

«Я устал,— доверительно заговорил драматург.— Я устал удивляться. Устал от того, что Годо не приходит, а зритель и персонажи наивно верят, что он придет. Я устал ждать его вместе с ними. Я стар, одинок, бессонен. Я вдрызг устал от Ирландии, Греции, Франции, от Бенилюкса и Австро-Венгрии, от Канады и Кипра, от Африки и Латинской Америки. Вы понимаете, что я имею в виду? Это ж надо так изолгаться, извериться».

«Вы устали,— ответил я.— Вы изъездились».

«И тогда я приехал сюда, к Ледовитому океану, на край всего, чтобы придумать другой конец. А точней — дописать “Годо” до того момента, когда он все-таки соблаговоляет прийти. Вообразите-ка: быстро входит Годо, медленно доедая яблоко. Это ремарка. Авторская ремарка. Вам нравится? Каково?»

Беккет казался предельно взвихрен.

«Задумка сама по себе недурная.— Я выдержал паузу.— Только не лучше ль наоборот: входит медленно — ибо с чего бы ему торопиться,— а доедает стремглав, ибо голоден».

«Лучше,— сказал Самюэль.— Много лучше. Я переделаю. Обещаю».

И тут принесли десерт.

«Послушайте, а зачем тут яблоко? — был мой вопрос.— Не слишком ли оно лобово и глобально?»

«Да, но как же иначе,— ответил официант.— Крем-брюле-то ведь яблочное, с цукатами».

«Я — не вам»,— объяснил я официанту.

«Пардон»,— извинился тот.

«К дьяволу яблоко,— молвил Беккет.— Вы — умница, Палисандр».

«Если ж идти до конца,— тыкал я вилкой в его блокнот, куда он едва успевал записывать то, что я ему диктовал,— то Годо не дано возникать ни быстро, ни медленно, так как он может возникнуть одним-единственным образом. Набросайте-ка: снисходительно входит Годо».

«Снисходительно! — эвристически закричал Самюэль на всю ресторацию.— Снисходительно! Гений!»

На нас оборачивались.

«От гения слышу»,— сказал я ему тактично. И отчетливо проговорил на всю залу: «Э-э, будьте добры, будденброков с икрой, пожалуйста». И хотя в меню их не наблюдалось, были принесены.

Мы добили надменного «Уокера», расплатились визитными карточками и вышли в норвежскую ночь — ночь Ибсена, Гамсуна, Грига, ночь Олафа Пятого и Шестого. Мы были пьяны как художники — вдохновен-

но, и все мыслимое и немыслимое вне ее — перед лицом ее — на лице ее фона — на фоне ее лица — представало посредственным до удушья. А над ее оркестровым провалом, зайдясь в немом исступлении, махал опахалом нордического сияния невидимый дирижер-вседержитель. О, как распахнуто чаяла щупальцев какого-нибудь грандиозного головоногого виртуоза клавиатура фиордов, украшенная беспорядочным нагромождением скал! Причем веками, веками.

Затем мы расстались. С Беккетом — в лобби шале, с Андроповым — у проходной Новодевичьего.

«Значит — договорились?» — сказал полковник, протягивая мне руку из катафалка.

«Есть»,— кратко бросил я по-военному.

Ход событий заметно ускорился. Эпоха летела на перекладных. Несмотря на то что очередной передел мира опять закончился вничью, общество претерпевало все бóльшие изменения, а Юрий Владимирович все продвигался по службе. Он стал Кардинальным Хранителем.

Планы наши имели тенденцию осуществиться. Не прошло и целого ряда лет, как с известной Вам целью я уже подъезжал к Александровским палисадникам. В инструкции, что мне передал накануне андроповский порученец Цвигун, которого Суслов подвигнет впоследствии на самоубийство, указывалось:

«Местоблюститель проследует из осенней резиденции (Кунцево) в зимнюю (Большой Кремлевский Дворец) обычным путем. Встречайте у Боровицких». День и час сообщались.

Вместе с инструкцией мне вручили обмундирование, пропуск в крепость и вид на жительство на имя какого-то кавалерийского подхорунжего, ордер на казнь и другие необходимые документы. Все были нотариально заверены.

Затянув портупею, я сел в ожидавший меня дормез и покинул его у Собакиной башни. Держа равнение на Вечный Огонь, правую руку — у козырька, а левую — на эфесе сабли, парадно печатал я марш к пропускному

Кутафьему пункту. Огнепоклонники и другая чистосердечная публика, гулявшая во саду, испытала прилив совершенно законной гордости. Отставники вытягивались во фрунт. Влага военно-патриотического умиления остекленила им очи.

Расчет Андропова оправдался. В отличие от Якова Незабудки другой старослужащий часовой оказался типичным раззявой. Не осознав, сколько лет у меня пролетело в изгнаньи и как я в нем повзрослел, он решил, что я попросту предаюсь обычной своей забаве — играю в солдатики, и поэтому не спросил даже тех фальшивых бумаг, которыми я в избытке располагал.

Я прошел за Троицкие ворота и задворками направляюсь в гвардейскую биллиардную, что при всех режимах находилась в Свибловой башне. Чтобы убить остававшееся до акта время, сгонял, как выразился один офицер, с ним партéю. Звали этого морского кавалергарда Орест Модестович Стрюцкий.

Являя собой род мозглявого слизняка, он принадлежал к той довольно распространенной породе граждан, что изначально вступают на путь добра и общественного порядка. Во всем руководствуясь соображениями справедливости, чести, люди подобного склада чем-нибудь поминутно заняты. Где-то учатся, служат, куда-то долго спешат и пишут, на ком-то женятся, долго производят от них детей, о чем-то пекутся, заботятся, достигают и званий, и степеней, долго важничают, глубокомыслят. А после, когда настает этим людям пора оглянуться и вспомнить пройденное, оказывается, что вспомнить положительно нечего. Тогда-то и начинают они приискивать себе жизнесмысл и, сами того не заметив, становятся завсегдатаями притонов, рабами своих нездоровых эмоций. Они впадают в дремучий разврат, предаются вину, табаку, сальным шуткам. И это именно их, орестов модестовичей, то и знай зачисляют в пропавшие без вести, чтобы найти вдруг погибшими от припадка апоплексии в постели какой-нибудь полусветской мадам. Карьеру же их венчает итог еще менее славный. Изгнанные со всех прежних служб, граждане данного сорта кончают истопниками, курье-

рами шорных фабрик, смотрителями общественных санузлов, маяков или вовсе в пространство. И ежели им случается игрывать на биллиарде, то ассоциации, которые вызывают у них обыкновенный кий и пара оставшихся на сукне шаров, откровенно похабственны. Тем не менее ни в какую распутицу не застанешь орест модестовичей за чтением не то что там фрейдов, но и элементарных павловых. И что характерно? При всей их непросвещенности в вопросах известного круга, стрюцких отличает патологическая недоверчивость. Например.

Мысля по-своему монархически и любя побеседовать в ракурсе прошлого, они слегка лишь коснутся значенья земельных реформ Столыпина, но зато со всего кондачка перескажут Вам будуарные анекдоты о Екатерине Второй и со всею стрюцкою основательностью остановятся на параметрах Его Величества Петра Первого срама, длина которого, как известно, равнялась двенадцати спичкам. Правда, не наших, а шведских, поскольку измерения производились на Готланде, где молодой тогда человек вкушал европейских премудростей. Данные эти не вызывают у стрюцких ни капли сомнений. А стоит Вам намекнуть, что лично Ваше зизи достигает девятнадцати тех же спичек в длину, как стрюцкие заявляют, что не поверят полученному сообщению, пока не проверят его воочию или хотя бы на ощупь. Ну-с, а Вы, разумеется, не намерены — не намерены доставлять орестам модестовичам подобного удовольствия и суете им под нос обыкновенную дулю. Тут стрюцким делается обидно, они протестуют, шумят — и пререканиям вашим не видно конца. Слава Богу, что в нашем случае на лестнице раздались шаги и дыхание вестовых, бегущих уведомить о приближении брежневского кортежа, и мы прекратили этот нелепый скандал, едва не поставивший нас к барьеру.

Слух о подъезде Местоблюстителя распространился бикфордово. Тревожно запахло сапожной ваксой, пуговичной суспензией, замелькали бархотки. Компактными звеньями и вразнобой проносились военнослужащие. Суета нарастала. Я выступил на балкон.

По Дворцовой — дергано и откосо — маршировали отряды с примкнутыми штыками и нулевым выражением лиц. Левее, на Соборном плацу, стояло каре почетного караула. Проверку подворотничков на свежесть осуществлял маршал Захаров. Прошелестели штандарты. Пестрея тельняшками, прокатила куда-то фуры с провизией братва с тринадцатой батареи четырнадцатого отдельного дивизиона сто двадцать первой дальневосточной бригады. «Береговики»,— с теплотой отзывались об этих приморских артиллеристах. Церемониально, будто сквозь строй, провели обезумевшего от собственной бравости барабанщика. «Тик-так, тик-так»,— повествовал его полковой барабан.

Быстро и на правах офицера шагнул я за Оружейную башню. Все здесь, в сыром переулке между брандмауэром и Палатой Мер и Весов, было мне с детства знакомо. Лишь там да сям, по расселинам, сиротливо курчавилась новая, неведомая досель мурава и древесная поросль. Но ящерицы были по-прежнему юрки, и неторопливы улитки.

«Благоволите на эспланаду!» — крикнул мне кто-то, уже находившийся там.

«Что-с?»

«Отсюда виднее».

Степенно проследовал я под навес смотровой площадки.

Со стороны Манежа близился авангард эскорта. Из-за университета, построенного Казаковым по чертежам Жилярди, валила жирная туча.

«Оптику не желаете?» — протягивали мне спаренные бинокуляры.

«Цейс?»

«Тридцать диоптрий».

«Благодарю вас».

«А вы — из Генштаба?»

«Нет, прямо из действующей».

«Как проходит кампания?»

«Как ни в чем не бывало».

Катафалк Местоблюстителя сворачивал в Боровицкий проезд. Толпа обожателей и зевак, теснимая

шпалерами полицмейстеров, осенила себя зонтами и капюшонами.

Я приставил бинокль. Дождевая испарина, шедшая от разгоряченных людей и брусчатки, легла на лупы, слегка замутив их. Брежнев сидел на заднем сиденье грузно, пожившим кулем. Глаза наши встретились. Но если мои — бликовали, его — были тусклы. Он смотрелся избыто, потусторонне, словно уже переехал Стикс. Сопутствующие выглядели не многим бодрее.

«Готовьтесь! — воззвал я к нему умогласно.— С вас причитается жизнь».

Казалось, что он не внял мне.

Разряд зеленого небесного электричества блеснул так близко, что некто, стоявший рядом со мной на брандмауэре, присел и крякнул.

«Не дрейфить!» — презрительно приказал я военному, поправляя ему фуражку. И по-отечески мягко добавил: «Ведь смерти нету».

«Есть смерти нету!» — уверовал он.

Веселящий запах озона и мокрого города будил, расшевеливал вольномыслие. Я увидел, как стая студентов, начитавшихся всякого вздору, выбежала из читальни на площадь и, выкинув на шестах крамольный девиз, сбила с ног кентавра от жандармерии. «За вашу и нашу свободу!» — гласил транспарант. Учащихся повязали. Озноб неосознанного протеста заставил меня сжать в кармане шинели шершавую рукоять.

История того шестизарядного кольта весьма поучительна. В ней отразилась борьба философских течений, страстей, неурядиц века.

В незабываемом девятьсот девятнадцатом знаменитая революционерка Фаина Каплан произвела из него ряд выстрелов по Ульянову-Ленину Владимиру Ильичу, в музее которого он и хранился. В тридцать четвертом году револьвер из музея похитили и при посредстве его аннулировали Сергея Кирова, после чего кольт сослали в морозную Вятку, в музей последнего. В период же так называемого Реабилитанса Фаина вытребовала револьвер к себе в Эмск, поскольку то было ее именное

оружие и у нее имелась записка от Ленина, адресованная Дзержинскому: «Фаню Каплан из-под ареста освободить. Револьвер верните. Ульянов». Имелись у нее и другие записки от Ленина. В частности, к ней самой, многолетней интимной его соратнице, не пожелавшей делить любимого человека с претенциозной и недалекой Крупской, которую Фаина считала большой мелкобуржуазкой. Решив, что сначала убьет его, а потом и себя, Фаина отправилась на завод Михельсона, где выступал Владимир. Рабочие предприятия, к счастью, не допустили трагедии, и любовники отделались незначительными царапинами.

Заботами Крупской ленинские записки к Фаине мариновались в архивах десятилетиями, и опубликованы эти бесценные документы были только при мне. Смотрите собрание его сочинений, том семьдесят третий, смотрите, сколько мятущейся чувственности сквозит в буреломе упрямых строк, обращенных к подруге жизни и деятельности! Впервые случилось мне прочитать любовные те послания в тире Высшего Добровольного Общества по Спасению Утопающих. Готовясь к аннигиляции Местоблюстителя, я ходил туда упражняться в меткости, и моим приват-педагогом была Фаина Исаковна. Случайно ли? Разумеется, нет. Нанявший ее для меня Андропов знал: старейшая русская террористка и персональная пенсионерка, она как никто другой может поспособствовать моему совершенствованию. И она — способствовала.

«Чтобы стать метким,— не уставала твердить Фаина Исаковна, вновь и вновь подтягивая свои сползавшие шелковые чулки,— террорист должен кушать побольше сырой моркови, улиток, лангуст». Рекомендованная педагогом диета пошла мне впрок. Тонус резко повысился. Я перестал опаздывать на репетиции, сделался не по-зимнему деловит, энергичен, и безучастно свидетельствовать, как старуха подтягивает чулки, становилось невмочь. Поэтому как-то раз, когда мы остались в тире одни и расположились на матах, чтобы упражняться в стрельбе из положения лежа, я поступил по-мальчишески дерзко, но целесообразно. Задрав ей длин-

ное, покроя первой империалистической, платье с оборками, я убедился, что был в своих предположениях крайне прав: чулки эсэрки сползали единственно потому, что она не носила ни пояса, ни подвязок. Других предметов исподнего также не наблюдалось.

Когда я размежевал ей худосочные чресла и, как заметил бы Стрюцкий, атаковал ее шомполом неги с казенной части, Фаина Исаковна даже не обернулась. Уперев волевой подбородок в мешок с песком, она продолжала целиться в яблочко.

Я провожал ее за полночь. В парках капало, лопалось, зацветало. Стонали кошки. Судачили соловьи. И, сося ухажерские барбариски, жеманились малолетние женщинки. Пахло же — прямо-таки чем попало. Апрельский эфир ведь — микстура. В нем целая гамма запахов: от спертого духа порочных зачатий до вольного веяния свежевыкопанных могил.

«Послушайте, милочка, отчего вы не носите то-то и то-то?» — спросил я Фаину Исаковну, поборов застенчивость.

Лишь половина лица ее улыбнулась. Другая, немного парализованная, глядела нездешне и ни в чем не участвовала. Эффект отсутствия был налицо.

«Не терплю,— отвечала Каплан.— Мне кажется, вся эта галантерея до ужаса закрепощает. В ней масса старорежимного, пошло-дворянского. Не для того, согласитесь, не для того мы с Владимиром перекроили порядок вещей, чтобы по-прежнему путаться в нижнем, не правда ли?» Словно в память о милом друге, она грассировала.

Жила Фаина Исаковна с домочадцами, и мы не пошли к ней. В парадном я усадил террористку на излуку перил и опять вдохновился. Стрижена коротко, завита мелковато, приятельница моя страдала одышкой, без перерыву курила, и всякий раз как ее постигал оргазм, заходилась еще и в табачном кашле.

В ту ночь я юношествовал ее до тех пор, пока она не впала в такое безответственное забытье, что чулки с нее, в принципе, спали. Я оглянулся: один лежал на ступенях, и лишь другой, зацепившись петлею за желтый

и словно обкусанный ноготь большого синюшного пальца, все еще ниспадал. Светало. И с чувством глубокого удовлетворения, хоть не без некоторого озорства, подумалось: «Видел бы Ленин». И вновь содрогнулся. Но Фани уже не ответила мне. И вскоре я наблюдал, как щупальце моей прихоти медленно и смущенно исходит из умиротворенного лона, как бы раскаиваясь в содеянном и прощаясь до новых оказий.

А между тем приближалась пора выпускных экзаменов и зачетов. Занятия наши кончились. Расставаясь, Каплан подарила мне свой заслуженный револьвер.

«Не знаю, что вы задумали,— сказала она немного высокопарно,— но верю, что вы не уроните честь моего оружия».

Я потрепал педагога по бородавчатой искаженной энтузиазмом щеке: «Не поминайте лихом».

Единственная слеза террористки капнула мне на кисть. На ту, что сжимала теперь историко-революционную рукоять.

Гроза, как посетовал кто-то рядом, совсем разразилась. Эскорт, караул и прочие подразделения были хоть выжимай. Когда авангард эскорта копытил уже под сводами Боровицкой арки, в Набатной башне забалаболил набат. Подумав, ему отозвался Иван Великий. Вознесся малиновый звон Благовещенского, кисейный — Успенского и узорчатый звон Архангельского соборов.

«Куда вы?» — постиг меня внутренний голос.

«Спущусь»,— возражал я, спускаясь.

Лило; и лестница пузырилась.

«Осторожнее,— донеслось с бастиона,— не поскользнитесь!»

Я махнул свободной рукой: «Не волнуйтесь, мне ведом тут каждый камень, посколь», — поскользнувшись на чем-то скользком, впоследствии оказавшемся юркой ящерицей, дерзающее лицо тут почти что упало. Точнее, упало, но не вполне, практически не изгваздав мундира. И непечатно выразившись, перчаткою я отхлестал галифе по отвислым, словно у Леонида, щекам. И шагнул в направлении подвига.

Авангард проследовал. Ливень лизал дымившиеся на мостовой конские яблоки, преображая их в навозную жижу, вкрадчиво веявшую былым, невозвратным. Я встал за спинами караула. Команды послышались. Шашки вышли из ножен с шелестом шоколадной фольги. Очередная молния произвела тот эффект, что клинки, голенища, кокарды и остальные блестящие вещи как бы покрылись изморозью. На ощупь взведя курок, я двинулся далее. И когда катафалк моего соперника въехал под Боровицкую арку, я стоял уже в узком ампирном портике, вырезанном в основанье восточного свода, и сокрушенно молился. «Ма,— молился я на санскрите за всех ратоборцев и путешествующих,— ма!»

Торчавшие у противоположной стены привратники и городовые проглотили аршин: экипаж надвигался. Оконные рамы его были откинуты. Леонид сидел в прежней позе.

«Позвольте!» — воскликнул один из городовых, случайно обративший внимание, что, прищуря глаз, я целюсь непосредственно в Местоблюстителя.

«За вашу и нашу свободы!» — ответил я держиморде студенческим лозунгом. И с тянущим ощущением раскольниковской вседозволенности потянул за крючок. Звук удара бойка о капсуль был туп и растерян.

«Проклятая сырость!» — определил я причину осечки и сызнова взвел курок. Барабан провернулся.

«Не смейте! — кричали городовые из-за разделившего нас экипажа.— Вы слышите?»

«Попросил бы без комментариев»,— грубовато отрезал я, продолжая целиться Леониду в голову с расстояния четырех шагов.

Первым выстрелом я сбил с него шляпу. Вторым пробуранил функционеру висок и, дабы не видеть, как брызнет мозг, отвернулся. Конструкция стала. Вокруг засновало броуновское движение. Лошади арьергарда, едва ступившие под барочные своды арки, отпрянули, развернулись и понесли. Возле экзерцирхауза сделалось коловращенье, случилась давка. Там звали на помощь и, изъясняясь в кровосмесительном наклонении, дрались в зубодробительном падеже.

«Простите, но вы арестованы»,— подошед, уведомили меня с такой щегольской офицерскостью, с какой в гарнизонном балу приглашают к мазурке.

В ответном порыве армейской галантности я приосанился, сдал оружье и взял расписку. Пора было ехать. Мне выделили охрану и подали локомобиль. Мы откинулись и помчались. Подстрекаемая провокаторами толпа могла растерзать убийцу Местоблюстителя во мгновение ока, и во избежание беспорядков мы выбыли через Спасские. Я оглянулся; на дядином циферблате было без перемен: без шестнадцати девять.

Прояснилось. Сабли молний уж отблистали. По тротуарам шли куда-то какие-то люди.

Миновав окраинную вотчину Димитрия Самозванца, Тушино, мы оставили город и долго ехали незнакомой местностью. Вскоре кибитка остановилась перед ренессансной литою решеткой ворот, украшенной ложноклассическими фитюльками.

Подошел и — «Кого везете?» — промолвил тот, кого это, по-видимому, интересовало.

«Его Сиротство»,— ответил начальник моей охраны.

Ворота страноприимно распахиваются. Мы проезжаем, въезжаем, едем и подъезжаем. Затем выходим. Потом меня влекут этажами: мне предлагается осмотреть ряд меблированных номеров, или, как их тут называют, камер. Я останавливаю свой выбор на первой попавшейся — наспех ужинаю — молю поскорее наполнить ванну — и с сознанием не впустую прошедшего дня низвергаюсь в ее стремнину. И только тут я устало осматриваюсь.

Санузел, каких немало в столицах по-настоящему европейских держав. Кроме с трудом, но вместившей Вас все-таки ванны черного мрамора, имеются краны, душ, ниши для мыльниц, вешалки для полотенец, пижамные вешалки, механические опахала, шкап с предметами первой гигиенической необходимости, губки разные, набор всевозможных пемз и мочал, стульчак и журнальный столик. Одна из дверей санузла выводит в столовую, где на закусочной околесице остывает

недопитый Вами бульон. Другая — в опочивальню, где ждет Вас заслуженная перина, свеча в изголовье да неразрезанный Вашим предшественником Шопенгауэр. Свежо, по-новому смотрит из пробковой рамы над ложем давно примелькавшийся на свободе Рембрандт; подделка ли, копия, оригинал — работа во всяком случае недурна. Все просто, пристойно, чисто.

«Так вот ты какая, неволя! — я мыслил с почтеньем.— Навряд ли случайно воспели тебя в творениях именитые деятели искусств и ремесел, равно и безымянный народ. Еще многих и многих, лучших из лучших вдохновишь и наставишь ты, святая неволя, на истинный путь. А покуда — прими меня. Словно блудного сына прими меня, приюти, воспитай. Стоически перенес я изгнание — стоически перенесу и тебя. Словом, здравствуй же, здравствуй!»

И задремал. Гордо дремлется гражданину, исполнившему свой долг — гражданский ли, нравственный, трудовой или просто супружеский. Я очнулся в одиннадцатом часу.

Совершив обычные утренние отправления, нахожу в секретере чернила, перо, пачки писчей бумаги и начинаю тюремный альбом. На девяносто одном * языке всего мира опубликован он к настоящему времени. Любовно листают его пилоты Лапландии, учащиеся Гондураса, героические рыбаки Индонезии, чаеводы республики Чад. Полистаем и мы **.

* !

** Дневник публикуется с небольшими сокращениями, в частности, за счет дат.

КНИГА ОТМЩЕНИЯ

Эпиграф: *«Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается»*. Палисандр Дальберг.

Принял решение завести дневник. Взял бумаги. Веду. Входит некто. Здоровается. Желает приятного аппетита.

«Приятного аппетита»,— желает он.

«Приятного?» — переспросил я, и вправду закусывая чем Бог послал. Как-то: куском прохладной телятины, ломтиком буженины да плавником барракуды под винным соусом. В перспективе маячил и чай.

«Так точно,— настаивал незнакомец.— Приятного».

«Так-таки и приятного?» — сыронизировал я.

«О, если вы заподозрили меня в лицемерии,— горячо взлепетал вошедший,— то я могу поклясться вам честью, что пожеланье мое совершенно искренне. И я готов повторить еще раз, что желаю вам исключительно приятного аппетита. Слово кадрового офицера: приятнейшего».

«Никогда,— по-цезариански не отрывая пера от бумаги, а себя — от еды, произнес я раздельно,— отныне и присно и ни при каких обстоятельствах не желайте мне всех этих удивительных утр, отменных пищеварений, приятных кошмаров и прочих мещанских пошлостей: ненавижу». И посмотрел на него так, что мне стало его положительно жаль. А ему показалось, будто какая-то нечеловеческая энергия вдавливает его в паркет.

«Не повторится»,— отрекся он, задыхаясь.

«Я верю вам. А теперь повернитесь, выйдите из моей кунсткамеры вон и, войдя в нее вновь, доложитесь по всей подобающей форме».

Подкованно удалился. Возник опять.

«Разрешите представиться?»

«Представляйтесь».

«Подпоручик Орест Модестович Стрюцкий. Начальник вашей тюрьмы».

«Рад душевно. Имейте место,— предложил я ему, указывая на свободное кресло с фигурными подлокотниками а-ля арт нуво.— Ну-с, а я — Палисандр Александрович, узник совести. Так что будем знакомы. А не угодно ли подкрепиться?»

«М-м, да как вам сказать».

«Только без церемоний. Да или, как говорится, нет».

«Не откажусь»,— отвечает он, алчно расстегивая на своем вицмундире верхнюю пуговицу.

«Тогда позаботьтесь, чтоб привезли еще, поскольку мне тут и одному маловато».

Он вызвал шеф-повара и заказал нам ряд блюд, которые вскоре и прибыли. В тарелки было наложено с верхом.

«Вот это, я понимаю, порции,— молвил я.— А то создается какое-то остраненное впечатление, будто попал не в кремлевский орденоносный острог, а в заштатные ясли».

Мы трапезуем.

«Уж вы извиняйте, у нас здесь в последнее время немного без гобеленов,— оправдывается Орест.— Уж чем богаты».

«Да вижу уж, вижу. Ладно хоть канделябры наличествуют».

«Ну, этого-то барахла — в избытке,— исполнился офицер оптимизма.— Чего-чего,— говорил он мне,— а канделябров юсуповских нам тут по гроб жизни достанет».

«Не странно ли,— раздражился я,— канделябров достанет, а гобеленов недостает. Неувязка, по-моему, а?»

«Мы их в чистку,— сказал Орест,— в чисточку, знаете ли, свезли. Почистить. А вернутся — сейчас и развесим».

«За качество чистки,— рек я начальнику,— отвечаете головой».

Отфриштикав, беру зубочистку, откидываюсь и наконец имею возможность внимательно рассмотреть Ореста Модестовича.

Современный тюремный администратор обязан корреспондировать всем тем требованиям, которые предъявляет ему эпоха. Известная гибкость, такт, личное чувство ответственности за порученное тебе дело, умение быстро сходиться и расходиться с людьми, огромный, едва ли не диогеновского масштаба, педагогический дар — вот только несколько из большого количества качеств, необходимых сегодня тюремному администратору. Неладно скроен да крепко сшит, востроглазый и чем-то неуловимым напоминающий ветеринара средней руки, Стрюцкий ими, по-видимому, и обладает. Однако мне, художнику-минималисту, желающему дать Вам всего человека в двух-трех штрихах, эти первостепенной важности свойства Ореста Модестовича в сравненье с одним из второстепенных — одним, но более выразительным — представляются нагромождением хлама. Так на театре, где в дебрях сценического реквизита разыгрывается светопреставление с характерным зубовным скрежетом, воем и боем литавр, какой живительный свет проливает на все предприятие какая-нибудь рассеянная инженю, использующая занавес в качестве носового платка; ибо это лишь и волнительно. Параллель очевидна; весь вид Ореста Модестовича свидетельствует, что он принадлежит к категории модников, которые независимо от семейного положения, возраста, страны проживания, национальности — носили, носят и будут носить подколенные помочи, или особого рода резиновые мужские подвязки, а значит — и соответствующие носки к ним. И не говорите таким мужчинам, что если они и похожи в своих подвязках на гладиаторов, то весьма отдаленно: они проклянут Вас.

«А что это вы там пописываете?» — спрашивает Орест Модестович.

«У меня есть мечта,— возражал я ему словами Мартина Лютера Кинга.— Мне хочется, чтобы во имя нашей будущей дружбы в Вашей памяти никогда не меркла классическая, вошедшая во все хрестоматии притча о бедной Варваре, кому в наказание за любопытство оторван был на базаре нос. Ясно?»

«Ясно, Ваше Сиротство!»

«Так выполняйте».

Весь день жду вестей от Андропова.

Вестей от Андропова нет, но доставили кое-какие личные вещи, в частности, книги и маски.

Проявляю признаки беспокойства. Брожу.

В рассеянье раздвинул оконные шторы в спальне и впервые увидел тюремный двор. Двор как двор. Есть качели, песочница, небольшой фонтан. Есть беседка. Разбит arboretum, плавно переходящий в парк, окруженный забором. А далее — полный простор пасторального запустения: пажити, перелески, сады.

Странно — да факт: вплоть до Октябрьской пертурбации все здесь до окоема принадлежало одной фамилии, связанной с нашим родом незримыми, но роковыми узами. Юсуповы! Именитейшие татары России! Гремели.

В шестнадцатом, насколько мы понимаем, году кн. Феликс Юсупов заманил моего деда Григория в свой петроградский дворец и в соответствии с лучшими традициями княжеского гостеприимства * накормил цианистыми пирожными. Выдающийся интуит и прекрасный знаток истории, Григорий заранее принял противоядие: яд не подействовал. Увидев это, Феликс возьми да и застрели Григория.

* Достаточно вспомнить княгиню Ольгу, что зазвала варяжских послов попариться в бане, в самый разгар массажа коварно покинула их, заперла на засов и спалила свое заведение вместе с клиентами.

Миновали эпохи. Ведущий данный дневник потомок Григория убиенного стреляет в Местоблюстителя Б., женатого третьим браком на внебрачной дочери Феликса, и, арестован, обретает себя в Архангельском, бывшем именьи Юсуповых, преобразованном в привилегированный равелин. Неразбериха — дичайшая!

Однако вид из окна моей спальни будет ущербным, если не указать, что на первом плане в изысканной позе отчаяния произрастает нечто раскидистое, огромное и плакучее вроде того болконского дуба, о котором нам сыздетства прожужжали все уши.

Спросил подшивку газет за неделю. Вместо извещения об умерщвлении Б.— хотя бы и краткого — подписанное его именем соболезнование Южному Йемену по поводу якобы постигшего тот наводнения. «Все тонет в фарисействе!» — вспомнил я слова Пастернака.

Сижу и вдумчиво ужинаю. Заходит Орест Модестович, заходит беседа о математике, начинаем чертить на доске в кабинете непонятные непосвященному формулы, выкладки, эвклидовы чертежи, спорим, вздорим, в запальчивости бросаем друг в друга мелками, ластиками, хлебными катышками, но в конце концов решаем сойтись на том, что уравнение: икс в энной плюс игрек в энной равняется зед в энной степени, где эн — целое число больше двух, но не больше двух тысяч пятисот двадцати одного,— все-таки не имеет решений в целых положительных числах. И расстаемся приятелями.

Брезжущий день по-троянски загадочен и чреват неведомым содержанием, что, как правило, не замедливает предстать. Но отдельные дни обманывают даже самые скромные ожидания, ибо не таят в себе ничего. Вот и сегодняшний оказался пуст. Пуст до гулкости, сер, правда, весь в созревающих яблоках здешнего сада. День-конь.

В дождь вороны летают над дальними свалками, словно бы мокрые тряпки; в вёдро — словно сухие. Нынче, если не возражаете, льет. Говоря же вообще,

мир пернатых поражает разнообразием. Так, если на некоторых континентах отсутствует то, что мы зовем соловьями, то уже на острове Сахалин, о котором писал еще Чехов, не сыщешь ни воробья.

Скушно, скушно.

(За укулеле.)

Заявляется — на коне! * — Андропов.

«Доложите же,— говорю,— обстановку. Что слышно в крепости? К нам сюда доходят лишь самые неопределенные слухи, а в печать, как вы знаете, вовсе ничего не просачивается. С тех пор как не стало Владимира Ильича, в ней царит только фраза и фраза».

«Я вынужден огорчить тебя. Третьего дня Местоблюстителя видели на приеме».

«На что это вы себе намекаете, сударь?»

«На то, что он жив».

«Тем самым вы как бы даете понять мне, что я не убил его?»

«Даже не ранили».

«Бросьте, пожалуйста. Зачем разыгрывать. Вторая пуля буквально прошила мозг, я видел».

«Нас провели,— объявил Андропов.— Стреляли-то вы молодцом, только в куклу. А Брежнев как таковой проехал, по-видимому, подземкой. Так что секретчики тоже не дураки».

«Досадно. А телохранители? Я не ранил их часом?»

«Телохранители? — усмехнулся он.— Тот же воск. Манекены работы Вучетича».

«Хм, то-то они все выглядели столь помято,— заметил я.— Впрочем, что же нам делать?»

«Принять происшедшее к сведению и — действовать,— молвил Юрий, поигрывая каким-то брелоком. Одет генерал-генерал был с иголочки. И он продолжал: — Завтра к вам будут допущены иностранные корреспонденты. Надеюсь, вы покажете себя большим патриотом и гуманистом. На Западе это любят. И пункт второй. Пора уж встать в связь с княгиней».

* Описка. Следует читать: наконец!

«С Ольгой?»

«С какой еще Ольгой?»

«С Ольгой Олеговной».

«Что вы несете, проснитесь!»

«А, вы — об Анастасии. Прошу прощения, призадумался».

«Болванка готова?»

«Смотря по тому, что вы называете болванкой, милсдарь»,— ударился я вдруг в стрюцкое остроумие.

«Болванкой,— Юрий неодобрительно рассмеялся,— я называю проект письма, черновик такового, а вовсе не то, что вы думаете».

«Нет, Юрий Гладимирович, такою болванкой я еще не располагаю».

«Поторопитесь. На той неделе в Шманц отправится дипкурьер».

«В Шманц? Не стольный ли это град Бельведера?»

«Конечно».

Засим мы расшаркались и расстались.

Машина паблисити завертелась.

«Зачем вы стреляли в Брежнева?» — открыл мою пресс-конференцию хроникер американского «Ньюсуика» Эндрю Нагорски.

«Я намеревался убить его»,— был мой ответ.

«Для чего?» — поинтересовался Боб Кайзер из «Вашингтон Пост».

«Во имя прогресса и процветания всего человечества».

«Раскаиваетесь ли вы в содеянном?» — последовал вопрос канадской журналистки Викки Габоро.

«Ни за какие коврижки!»

«В какой стране вы желали бы получить политическое убежище?» — спросила итальянская репортерка Ориана Фаллачи.

«Ни в какой,— возражал я ей.— Я — русский и должен жить и умереть здесь, в Отчизне, даже если меня и сгноят в ней заживо».

Присутствовавшая тюремная администрация зааплодировала. Вопросы посыпались напропалую. Ответы

мои были нелицеприятны и хлестки. Взахлеб работали бормотографы *.

Ничего примечательного.

Весь день пролетел во плескалище. Пустота.

Экая все-таки сволочь этот Вучетич! В юности закончить школу ваянья и зодчества — быть подающим надежды скульптором — слыть бунтарем по разряду искусств, а на старости лет записаться в придворные чучельники — стать ретроградом — директором Всероссийского музея восковых фигур — и, проституируя оригинальный талант, не брезговать никакими заказами. Это ли не тотальная драма художника. С другой стороны, в провале нашего покушения виднеется и положительное зерно. Ведь если быть до конца гуманистом, нельзя не порадоваться: спасено еще одно мыслящее существо.

Но ежели быть просто-напросто человеком, человеком с так называемым человечьим лицом, то нельзя не бросаться на опорные прутья перил — не лезть на стены узилища — не сыпать на голову папиросный пепел — и не вопить: «О, прости меня, Шагане, прости, что унизивший высокую нашу приязнь временщик не возвращен стараниями моими во прах!» И нельзя не сгорать на декабрьском погребальном ветру — как свеча! — в трепетанье! — о нет!

«Милостивая Государыня, Анастасия Николаевна, голубушка!

Будучи сыном своих высокопорядочных, благородных, однако давно почивших родителей и ради общерусской идеи дерзнув покуситься на жизнь недостойного супостата, я брошен в застенок, томлюсь, стоически жду заведомо неправедного судилища и не только не

* Нотабена. Изобретение бормотографа оказало на общество тот дисциплинирующий эффект, что оно научилось держать язык за зубами. А болтливые отщепенцы сами оказались за решеткой темниц.

смею молить Провидение относительно некой возможности удостоиться некогда чести стать членом Вашей с Сигизмунд Спиридоновичем семьи, а не мыслю даже увидеть Вас в нынешней инкарнации — столь невзрачно мое настоящее и призрачно и неприветно грядущее». Эт сетера.

«Вас рвется видеть какой-то следователь»,— вошед, козыряет Орест Модестович.

«Насчет, извиняюсь, чего?»

«Говорит, что по делу».

«По делу? Да по какому?»

«По вашему».

«А — в чинах?»

«Три звездочки-с. Маленькие».

«Гоните в три шеи,— велел я Оресту Модестовичу. И добавил: — Совсем уже обезумели — лейтенантов шлют!»

Был Андропов. «Отлично, отлично»,— все констатировал он, читая мою болванку.

Перебелив, скрепляю пространной подписью и печаткой.

Забрав, обещал, что отправит заутра. Ушел, чтобы тут же вернуться.

«?» — удивился я.

«Добавьте относительно рекомендаций».

И я приписал постскриптум: «Рекомендации прилагаю».

Фланируя архангельскими бастионами, слушал шум корабельных рощ, стук дрозда и слегка пополнял гербарий. Как дивно смотрятся на куртинах России россыпи белых галантусов, желтых примул, фисташковых хризантем; как чинно свидетельствуют они благосклонному Вам свое безоговорочное почтенье.

Помимо меня в настоящем узилище содержится группа бывших советников уровня тайных: буфетчики, кладовщики, кучера, приживалы и проч. Мздоимцы, мздодавцы и казнокрады, они проштрафились, глав-

ным счетом, на ниве Кремля. Не желая ронять себя ни в своих же, ни в их глазах, я, разумеется, не намерен сходиться с сим уголовным мирком и на прогулках держусь в несомненном обособлении. Вместе с тем полагаю полезным исподволь наблюдать за нравами этой братии, тем более что в суматохе ареста я так и не возвратил владельцу спаренные бинокуляры. Наследники заповеданных нам беллетристами натуральной школы традиций, разве не призваны мы выявлять свищевые нарывы общества, дабы в последующих трудах врачевать их, бичуя.

В субботу и воскресенье, дни посещений и передач, к нашим вельможным пройдохам наезжают обычно их жены и, уединясь с ними в камерах, повергают своих благоверных в вопиющие ласки. Сегодня суббота. Однако нынче она совпала с днем закрытых дверей, и несмотря на протесты узников, жен не впустили. Взойдя ввечеру на пустующую и замшелую сторожевую вышку полюбоваться родимыми далями, замечаю, что несколько взяточников собралось в отдаленном секторе сада вблизи забора и через узкую щель в нем по очереди сношаются со своими супругами, находящимися по ту его сторону. Поспешаю за оптикой.

Вообразите ж мое неприятное потрясение, когда в объективе бинокуляров возникла картина, достойная кисти Гойи или резца Родена: там сношались не в первом значении слова, как мне по наивности померещилось, а во втором — сладострастном.

«А-а, вот ты какая, неволя»,— подробно рассматривая потуги и корчи сторон, догадался я. И впервые мне было жаль и самих проходимцев, и их развращенных разлукою половин.

На втором этаже, где подсобки, набрел на божественно темперированный клавир. Сел — открыл — тронул чуткие клавиши — взял десяток-другой аккордов и несколько музицировал, изумив капитан-каптенармуса и прапорщика от бухгалтерии непредвзятостью пианизма. Звучали Сальери и Моцарт, Сен-Санс и Лист.

Рыдал, сотрясаясь всем существом. Выслушав, развели валерьяновых капель и препроводили в комнаты.

По доброй традиции в понедельник всегда выдают комплекты свежих пижам. Вот и нынче.

Прилег полистать новомодного романиста Максимова, выступающего с острой критикой строя, но вчитаться не довелось: мухи, мухи — окошки-то все нараспах, беда, а закрыть — задохнешься. И чтоб не лежать без пользы, пытался представить в уме единицу с шестьюдесятью нулями, да тоже не преуспел. А ведь именно столько по данным последней переписи обитает на нашей планете мух. Миллион в восемнадцатой степени! Квадриллионы! Секстиллионы! Если это не высшая математика, то где же она?

То в спальне, то в кабинете качнется чуть-чуть абажур, зазвенит мельхиоровый подстаканник, подобие сквозняка шевельнет пожелтевший тюль, и чувство не то что бы смутной — а как бы неопределенной тревоги — тревоги и жалости — жалости и томленья — томленья и неги — то есть, в сущности, целая гамма чувств посетит Вас и здесь, в неволе. Гамма эта, а лучше сказать — просто чувство — чувство это такого рода, что лучше не бередить его, ибо разбередив, обречешься ему целиком. Покажется, будто что-то кому-то должен, да позабыл — и кому, и что; будто надо куда-то пойти ли, уехать, но тоже — куда? Сладко, томно. Сравнимо ли данное чувство с тем, которое Вы испытываете, посещая лавку кожевника, переживая мелодии прежних, более очаровательных лет, а также впервые за много месяцев отведывая некоторых специфических кушаний: сельдерей, голубику со сливками иль латук? Лишь черствый сухарь в человеческом образе не заметит сходства двух перечисленных чувств, хотя первое и пронзительней, и напрасней.

Уполномочен вручить иностранных газет и похожий на собственную фамилию, как близнец, прибывает андроповский нарочный Федорчук.

«Покушение на русского президента».

«Вместо Местоблюстителя — кукла».

«Стрелявший — внучатый племянник сталинского министра».

Эти и им подобные шапки горят со страниц таиландской, бельгийской, тайваньской, чилийской, британской и прочей прессы. Публикуются отчеты с места события и моментальные фото различной давности.

Вот — правительственный пикник в Нескучном; я сплю в коляске; Абакумов, сидя на корточках, раздувает угли для шашлыка; Ягода играет с Ежовым в шашки; Фрунзе с Якиром склонились над картой местности; Орджоникидзе откупоривает гурджаани. Я люблю это старое фото не только за то, что оно навевает мне детские грезы, но и за то, что кроны запечатленных на нем деревьев отбрасывают на траву пятнистую тень, и если забыться, то можно подумать, что действие происходит на леопардовых шкурах.

А тут я довольно уже солидным подростком стою на трибуне ленинской усыпальницы, приветствуя демонстрантов. По левую руку — Лаврентий, по правую — дядя Иосиф и его капризная дщерь Светлана, будущая посланка.

А вот я почти совсем повзрослел и с револьвером в руке шагнул навстречу брежневскому экипажу. На третьем плане видны гротескно перекошенные протестом физиономии держиморд, а если толком вглядеться, заметишь и вылетающую из отверстия пулю. При всей своей динамичности снимок как бы вечерен — он тускл и нечеток. К тому же неправильно выбрана точка съемки, банально кадрирование. Но в принципе расторопности западных корреспондентов не устаешь поражаться. Однажды на светском рауте в Белом Доме министр нашей культуры Екатерина Фурцева позволила себе лишнюю рюмку и стала куражиться. Взобравшись на стул и стоя на этой импровизированной эстраде спиной к собравшимся, она наклонилась и вызывающе заголила круп. Назавтра во всех зарубежных изданиях — пикантные фото. А наши молодчики, аккредитованные в Колумбийской округе, остановить

мгновение не успели и порадовать своего читателя им, как водится, было нечем. «Раззявы!» — гремел Громыко, поведавший мне когда-то сей случай.

В доставленной Федорчуком иностранной прессе публикуется и мое тюремное интервью. Стоимость одного экземпляра газеты варьируется от нескольких экуэлей до нескольких бирр.

Спросил пластилину и гипсу и где-то вблизи казармы предавался лепке, пленяя болезненное воображенье матросских масс не столько многофигурностью композиций, сколько здоровой эротикой фабул и форм. По окончаньи — все роздал. Нет высшей награды художнику, нежели зреть, как трепетно вожделеют к его искусству заскорузлые руки ратного простолюдина.

Любая болезнь чревата тремя продолжениями.
1. Больной умирает.
2. Больной выздоравливает.
3. Больной продолжает болеть.
Четвертого не дано.
(За лютней.)

Пришли и сказали: в приемной находится следователь первого ранга, направленный Кардинальным Хранителем; просит принять: утверждает, зашел просто так, покалякать.

Принял. Сначала калякали о состоянии моего дела. Обговорили его детали и выяснили, что ежели не отыщется смягчающих обстоятельств, то последствия могут обрести крутой оборот — до высшей меры включительно. Позже коснулись природы некоторых отвлеченных сущностей. Оказалось, мы оба завихрены в приблизительно том же самом круге проблем и вопросов. И это закономерно. Интеллектуальные прогрессисты в хорошем аспекте понятия, мы варимся в едином соку современности, в буче ее важнейших событий, в котле, где вываривается будущее планеты.

«Курите»,— угощал меня следователь.

«С моим удовольствием»,— возражал я ему, насвистывая дуэт Адольфа и Евы из оперы «Нюрнбергский процесс».

«Вот, кстати, и спичка». Он чиркнул ею о коробок.

«Премного,— сказал я, прикуривая,— благодарен».

«Пустое,— ответил следователь.— Не стоит,— заверил он,— благодарности».

Воскурив, говорили о разном.

«А как вы мыслите,— спросил меня собеседник,— где, все-таки, более курят — в провинциях или столицах?»

Пожав плечами, я отвечал пространно. Отметил, в частности, что курение вызывает гипертонию, и методом свободных ассоциаций перешел к рассуждению о гипертрофии отдельных органов у различных народов, которая определяет специфику их природных склонностей. У австрийцев, положим, этих бурно вальсирующих ипохондриков, подаривших миру не только выдающихся военачальников вроде Гитлера, но и замечательных меломанов типа Радецкого, крупные уши. У признанных ходоков датчан — большие лодыжки, ступни.

«А у Петра Первого, у Петра»,— химерически — даже не захихикал, а — как-то весь тихо и мелко затрясся мой следователь.

Холодно я поглядел на него: «Дружище, возьмите себя, ради Бога, в руки. Подумайте, что подумает юная гвардия, свежая поросль: на плацу-то ведь все слыхать».

Гость осекся, нахохлился.

«Нельзя же так, право,— наставничал я.— На нас, понимаете ли, равняются, а мы тут себе скабрезничаем. Не годится. Давайте уж как-нибудь посерьезней». Желая добавить горячей воды, ногою я отвернул соответственный вентиль. Хлынуло. И, лаская подошвами нежно-упрямую, словно утреннее зизи, струю, задумчиво ухмыльнулся: «Вы не представляете, как щекотно».

«Гневлив,— отметил гость про себя,— но отходчив».

Беседа струилась. Говоря о национальной гипертрофии органов, заговорили о национальности наших млекопитающих. Как быть: полагать ли, что кот,

с рожденья живущий в якутском квартале Гонконга,— якут, а живущий в чукотском — чукот? Или оба они англичане? Иными словами, имеют ли право на самоопределение и животные? Или они полнокровная плоть от плоти того народа, который их кормит и ест? Нужна ли им автономия? Кто станет искать им корни? И кто оплатит такие искания? Возникнут некие меценаты, иль бремя и этих исследований ляжет на хрупкие плечи налогоплательщиков?

Национальный вопрос постоянно был связан с вопросом о перенаселении суши, а тот, в свою очередь, также требовал своего решения. Теория Томаса Мальтуса о насильственном переселении душ в лучший мир на практике оказалась неэффективной. Пошли другими путями. В Индии, например, где нередко беременеют даже мужчины, проводятся массовые кастрации, однако и это не помогает. Аборты? О нет, мы не могли обойти молчанием судьбы их жертв. Правда, более нас волновало, как быть с еще незачатыми, что — наперекор их будущей воле — будут зачаты и рождены — и весь век свой прозябнут — пробедствуют — проскрипят протезом всего организма в лифтерах — механиках — в многоюродных тетках — промечутся в мышеловках собственных тел. «Кто, скажите на милость, кто защищает сегодня права сих жертв — жертв слепой, неуемной похоти их эгоистичных родителей?» — кипятился я.

Пообещав, что завтра заглянет по данному поводу в свод законов, а после — опять ко мне, следователь откланялся.

И поступил по обещанному *.

* Позднейшая сноска. С одной стороны, здесь следует, вероятно, сказать хоть пригоршню слов о его внешнем облике, а с другой стороны — зачем? Детей-то нам с Вами с ним не крестить. И потом — велика ли птица. Мне лично он был до того ни к чему, что, не расслышав имени, каким он, впервые войдя, назвался, я и переспрашивать не пожелал. Ну что нам нужды, каков он был, этот следователь — проследовал ведь. Ан нет, так и хочется выхватить из кишащего воспоминаниями мозга парочку броских метафор на благо словесности. Выхватим. У следователя были великолепно ухоженные когти мерзавца, костистые, испитые виски негодяя, а надменно-выбритое, бритвенно-острое лицо подлеца дополняло картину.

«Вот видите, дорогой мой,— подвел я итоговую черту, когда он признался, что в своде законов нет ни статей, ни параграфов, касающихся гражданских прав жертв родительской похоти.— Филькины суть они грамоты, своды ваши».

Он согласился, принес извинения, а потом вдруг признался, что грешным делом кропает вирши. Зная каким-то образом о моей причастности к сферам Парнаса, просил прослушать одно из произведений. Я откинулся поудобней в плескалище и принял благостепенную позу Державина, экзаменующего стихоплетов лицея: «Валяйте». Смотрите же, что зачитал мне мой «Пушкин».

На некотором вокзале
Спросил: «Где два нуля?»
Мне молча указали
На дверь из хрусталя.

Войдя в нее, я ахнул,
Поверьте, неспроста:
Там «Лунную сонату»
Квартет играл с листа.

Росли там розы в вазах,
В вазонах розан рос,
Сиденья ж унитазов
Покрыл гагачий ворс.

И я вскричал недаром:
«Да здравствует клозет!
Журчанье писсуаров,
Шуршание газет!»

«Нечто чудовищное в своем цинизме,— открылся я следователю.— Мало того что вы осквернили память величайшего из глухих и глушайшего из великих, поместив его исполнителей в общественную клоаку. Мало! Вы — и это еще удручительней — воспели ее самое. Воспели в лучших традициях силлабо-тоники. Вы довольно-таки талантливый беспардонник, любезнейший. Вашими, сударь, устами фекалии б кушать, позвольте

уж доложить». И, разбранив его таким образом, призвал немедленно удалиться *.

Он щелкнул о туалетный столик тугою визитной карточкой и ушел. От нечего делать я пробежал ее содержание. Казенной египетской клинописью: «Следователь по особо важным проступкам». А ниже — изящной вязью — «Орест Модестович Стрюцкий».

Опершись мужающим подбородком на подлокотник плескалища, долго мыслил. Зачем так случилось, что следователь мой, начальник моей тюрьмы и конногвардеец, с которым сгонял я в Свибловой башне партéю на биллиарде, имеют между собой столько общего? Что это — совпадение или коварная подтасовка? Кто все эти Оресты Модестовичи? Просто однофамильцы и тезки? Или просто одно и то же лицо, триединством своим символизирующее три измеренья моей неволи? А может быть, все это — подобно всему остальному — просто непознаваемо, агностично? А впрочем, чего там мудр-

* Позднейшее примечание. Стоит Лето Господне две тысячи тридцать шестое. На кремлевском дворе — жара. Но в бассейне Сената, где я держу корректуру читаемого Вами альбома, мне хорошо, прохладно. Оглядываясь на нашу беседу с позиций своего зарубежного опыта, я сожалею, что так огульно охаял, отбрил молодое еще дарование, каковым, разумеется, был мой следователь. Ибо там, за кордоном, где грани между изящным и неприличным давно размыты или разобраны на баррикады, взгляды Вашего корреспондента на поэзию претерпели необратимую трансформацию. Во многом тому способствовал Колин Лукас, мой друг и британский историософ, автор фундаментальной «Истории ватерклозетов». В ней, написанной великолепным верлибром, скрупулезно, но популярно прослеживается вся родословная канализаций — от допотопных, пещерных, и — через римские акведуки — до совершеннейших очистительных агрегатов последних эр. Невероятно трудно, если вообще возможно, определить жанр колиного произведения, т. к. на фоне увлекательных описаний различных узлов и конструкций выстраиваются хитросплетения эпохальных дворцовых интриг, в коих судьбы изобретателей, зодчих, золотарей так или иначе переплетаются с судьбами императоров и сановников, куртизанок и королев, и по мере усовершенствования сливных бачков, унитазов, отстойников и других систем сброса, постельные сцены тоже становятся все изысканней, изощренней. Да и не только постельные. Ведь соития зачастую имеют место в тех же клозетах, где в силу реальности — о нет, лите-

ствовать, сказал я себе, приступая ужинать. Как есть — так и будет.

Жизнедеятельность всякого Микеланджело, любого Миклухо-Маклая, Пржевальского или Кобылина-Сухово́ обязана протекать на фоне свершений его эпохи.

(Орудуя мухобойкой, истребованной у каптенармуса.)

Утром залюбовался хлопотами отряда, работавшего по выносу и проветриванию наших матрацев, подушек и одеял, а полдень застал меня в здешней библиотеке, где взял «Виндзорских проказниц». Уважаю я этого Вильяма, говоря не чинясь. Страшно творческ!

Вернулся с пьесою в камеру, освежаю забытые образы. В дверь просовывается голова моего тюремщика Стрюцкого: «Извините, к вам там Виктория».

«Виктория Регия? Королева? Как кстати! — И хлопнул в ладоши, заботливо и обильно увешанные гроздьями сочных перстов: — Просите!»

ратурные мечтания следователя были слишком уж утопичны! — сиденья не покрыты даже свиной щетиной. А в некоторых общественных санузлах они просто оторваны, так что не засидишься. И героев встречают не розами, не оркестром, а более будничными, более характерными для уборных звуками и амбрэ. Например. «В туалете томительно пахло продукцией чужого метаболизма»,— стоически информирует Лукас, описывая взаимоотношения королевы Марго и золотаря Гортензио. И автору безоглядно веришь. Так что же это — поэма? исследование? эпос? Критик влиятельной хиросимской газеты «Цусима» назвал творение Лукаса учебником страсти и чистоты; литературный обозреватель дублинского еженедельника «Финнеган'з Уик» — очередной «Илиадой»; а я, написавший рецензию для «Морнинг Стар», озаглавил ее «Веяние времени» и вынес в подзаголовок «История ноздрями ассенизаторов». Успех произведения можно было сравнить лишь с успехом таких монументов духа, как мемуары Киссинджера и записки Иди Амина. Вместе с тем встречаются еще люди, готовые утверждать, будто подобная литература не очень-де хороша, потому что громоздка. Не требует доказательств тот факт, что все они подкуплены международной реакцией. И напрасно какой-нибудь не в меру прыткий эколог, ярясь, недвусмысленно намекает, что надо урезать печатанье толстых томов, т. к. культурный мир задыхается якобы без туалетной бумаги. Напрасно! Здоровые силы общественности отчетливо сознают, что истинная культура обойдется и придорожным камнем.

«Вы, кажется, поняли не совсем адекватно,— сказал Орест.— Там Виктория Пиотровна».

«Ах, только-то. Что ж, пусть заходит, коль уж приехала». Я сделался раздосадован.

Легковесно сбегая на первый этаж, Стрюцкий стеком сыграл на опорных струнах перил привычный диез и то же мажорное до-ре-ми отщелкал отполированными ногтями на ксилофоне зубов. Настроение у подпоручика было приподнятое: в скором времени он на двадцать четверо суток убывал в инспекторскую поездку по лагерям и тюрьмам Абхазии, а меж тем застарелый его садизм по-прежнему протекал в скрытой форме, и доктора ни о чем не догадывались. Знай они, что в художественных галереях Орест подолгу простаивает перед вариациями академиков на тему «Избиение вифлеемских младенцев»; что во всей всемирной хореографии ставит на первое место хачатуряновский «Танец с саблями»; а из поэтического наследия наиболее возлюбил четыре некрасовские строки — «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную; там били женщину кнутом, крестьянку удалую»*,— они бы переполошились, забегали. Да вот — не знали.

С казенной учтивостью близясь к Виктории Пиотровне, сидевшей на старосветской софе в Голубом вестибюле, Орест фантазировал в соответственном духе. Эх, будь его воля, с каким упоением, извращенно, он взял бы ее сейчас, расфуфыренную пухлую куклу — тут, прямо тут, на помпезных пуфах, без долгих слов. О Господи, было бы так хорошо! А после, пресытясь, отдал бы на поруганье сверхсрочной матросской черни.

С улыбкой кикиморы Виктория поднялась навстречу Оресту Модестовичу. Была она из той большеротой породы дурнушек, кому улыбка не то чтобы не идет, но кого она поистине безобразит. «Тошнит смотреть!» — пронеслось у Стрюцкого с непривычки. Дебелая и напомаженная, Виктория внешне напоминала Оресту типич-

* Нравилось и: «Штукатурка валится и бьет тротуаром идущий народ» — того же автора. Но гораздо меньше. Гораздо.

ную продавщицу разбавленного бочкового квасу, которой она и служила когда-то; однако теперь планы ее были довольно государственного устремления.

По разным причинам — то бурная юность, то тревожная молодость, то беспокойная старость — она не получила столь модного в наши дни классического образования. Два лишь года любительских курсов по вышиванию гладью имелось у ней в активе. «Ученья немного судьба ей дала — два года, как два за плечами крыла»,— говаривал Леонид стихами, подтрунивая над женой. Но глупа она не была нисколько, даже если казалась. Незаконнорожденная дочка князя и уличной девки, она унаследовала от родителей лучшие качества русских низов и верхов, как в реторте переварив в себе эти свойства. Поэтому если отец ее отличался умом благородным, а мать — житейским, то мысли дочери их носили уже оттенок житейского благородства, благородного практицизма *. Идея, владевшая существом Виктории Пиотровны нынче, не составила исключения и была — избежать назревавшего политического скандала любой ценой.

В связи с покушением на Леонида кремлевские деятели разделились на «ястребов» и «голубей». «Голуби» — их возглавлял сизоносый Тихонов — хотели признать стрелявшего недееспособным, освободить без суда и следствия и снова взять на поруки. «Ястребы» наоборот требовали судить террориста со всевозможной строгостью. И сам Леонид — ее либеральный, добрый и вечно чем-то довольный Лео, душа компаний, песенник и балагур — оказался не просто в лагере «ястребов», а едва ли не предводителем их. И это виделось Виктории несправедливым и гадким. Попытки убедить мужа в том, что репрессировать родовитого сироту значило бы поступить негуманно и сесть одновременно в историческую калошу, приводили только к семейным драмам.

* А что до влияния на нее отчима, архангельского дьячка Пиотра Фалалеева, то дать своей падчерице что-то, помимо отчества и девичьей фамилии, он ничего не сумел: не одобряя замужества матери, Виктория никогда не жила в фалалеевском доме; из принципа. А к тому же отцовский ей импонировал больше.

«Прости его, дорогой,— говаривала Виктория за ужином.— Палис — он такой миляга, ведь он же тебе ничего не сделал».

«Да, но если бы верные люди не приняли меры предосторожности, твой миляга изрешетил бы меня как миленького»,— ворчал Леонид.

«Так не изрешетил же, не изрешетил!» — экзальтированно шептала она супругу, меж тем как тянулась и льнула к нему.

Тот властно, хоть вежливо, отстранял ее. А ночами, замкнувшись в своем кабинете мореного граба, трагично — а-ля Шаляпин в «Ла Скала» — рыдал над гранками мемуаров. Ему представлялось горьким осознавать, что за все то полезное, что сделал он на своем пути и что подробно было описано в них, его, незлобивого, мягкого функционера, выбившегося в люди из обыкновенных швейцаров,— рубаху, в сущности, парня — застрельщика многих поблажек, амнистий и льгот,— его б самого застрелили, как мелкую куропатку,— и он бы уже никогда ничего не чувствовал, не желал, не участвовал в общем процессе — невероятно, сплошные не — прободение личности, тьма. Хотя с той поры, как в день ангела подчиненные вручили ему ордер на лучший участок возле кремлевской стены, с души у него и спал какой-то неясный камень, неизбежное в голове по-прежнему не укладывалось. Жизнефил, оптимист, дед тринадцати внуков, он недолюбливал смерть; она виделась ему унизительной. Бытие после смерти? В такое почти не верилось. Такое было бы слишком волшебно. А впрочем, наука движется. Вот, имеют же место в Африке некоторые племена и народы, что смазывают своих мертвецов особым составом, и те худо-бедно, а действуют, остаются в строю, голосуют. Про это ему сообщил господин Каунда. В прошлом по роду занятий шаман, а ныне — премьер-министр Замбии, он вызван был в Эмск для доклада о состоянии африканской народной мудрости. Доклад назывался «Черная магия Черного континента», имел успех, и Каунду представили к «Знаку Почета». Получая награду, расстрогался, бил себя в грудь, клялся в преданности. Белки его глаз голубели.

Негр как негр, каких миллионы, но лично ему Каунда чем-то понравился, и после официальной части Леонид посетовал, что с годами недомогает все больше, и выразил опасение, что настанет момент, когда недомогание переможет. «Масса добрый,— сказал тогда этот Каунда.— Замбия — помогать: масса жить вечно». И дал Шагане, что присутствовала при разговоре, склянку с каким-то снадобьем, объяснив: в случае, если «масса» занеможет совсем, втереть ему повсеместно. На радостях Леонид принял лишнего, и прием прошел в теплой, дружественной атмосфере. Когда же его на Святки хватил Кондратий, то будучи совершенно уверен, что Каунда — германский шпион и мазь его — сплошная отрава, от втирания уклонился. Исповедаться также не пожелал. А на Пасху ему стало так худо, что всем — в том числе и ему самому — показалось: он умер. Врачи разводили руками. Тогда, не спрашивая ни у кого разрешения, втихомолку, Шагане применила каундову мазь. Леонид словно ожил. Он посвежел, разрумянился, члены его окрепли, и через два дня на третий Припарко разрешил ему медленный моцион. Хотя какой же еще, ведь прежней резвости как не бывало. Заметил в себе Леонид и другие странные изменения. Сделалось, например, безразлично, что есть и пить, есть или пить, есть и пить ли вообще, спать иль бодрствовать. Он утратил чувствительность к боли, но — что, правда, не очень и радовало — не утратил мужского первичного признака: мог. Да и вообще его мало теперь что радовало; хоть и огорчало немногое. И если он предавался на публике тем иль этим эмоциям, то больше из вежливости. Так хороший швейцар, отворяя дверь перед хорошими господами, широко улыбается, пусть для радости у него нет никаких оснований.

Когда, гуляя кремлевскими переулками, выбредал он к какому-нибудь собору, юродивые, кучками гревшие на апрельских припеках свои гнойники, начинали хихикать, шушукаться и визжать, будто сборище недотыкомок иль енотов. Неуважительное отношенье юродивых, которым Леонид никогда не отказывал в трудовой копейке, виделось ему нелогичным.

«Чего смеетесь?» — спросил он, остановившись как-то возле одной из таких живописных групп, сидевших на папертях.

«Как же, батюшка, не смеяться! — по-петушиному закричал ему бойкий, лет тридцати, старик, по причине волчьей болезни владевший только огрызком физиономии.— Как же, мил-человек, не смеяться: мертвяк-мертвяком, а разгуливает!»

«Кто — мертвяк?» — взглянул Леонид окрест.

«Ты, ты мертвяк!» — прокукарекал старик.

И когорта убогих, брызжа заразной слюной, покатилась вся со смеху вниз по лестнице прямо к его ногам. Не желая портить компании, засмеялся и Леонид. И, побалагурив с лохмотниками еще с полчаса, дал им рубль и откланялся.

«Боже милостивый,— мычал он по тем кабинетным ночам, размазывая слезы желтеющим в сумраке кулаком.— Ленин умер, Иосиф умер, Никита Сергеевич тоже. Ужель недостаточно? Неужели и я? Да что ж это делается! И — за что?»

Но и слезы его были неискренни. Они были словно бы не его. И он даже не понимал, зачем плачет.

Не спалось и Виктории. А когда и спалось, то на редкость кошмарно. Главными действующими лицами кошмаров являлись: я, которого возводили на эшафот, и палач. Моля оказать протекцию, я всеми моими руками ветвился по направлению к ней, Виктории, а палач методически обрубал мне ветви коротким самурайским мечом. Я снова ветвился, а палач опять обрубал. И по желобкам на мече его струилась моя прозрачная кровь.

За утренним кофе Виктория, мысля разжалобить мужа, поверяла ему свои сновиденья, однако моя судьба более не волновала Местоблюстителя: эгоистически он поглощен был самокопанием, размышлениями о своей вероятной кончине.

«Спаси его,— настаивала Виктория.— Вспомни, чей он племянник, чей внук, правнук, сын. Вспомни всю его родословную. Подобной генеалогии днем с огнем

не сыскать. И не забывай, что сказал Ивану Васильевичу * тот француз, Нострадамский»**.

«Что?»

«Будто не знаешь»***.

«Ерунда,— угрюмо хорохорился Леонид.— Бабушкины побасенки». А у самого на сердце скребли кошки страха, сомнений, и думалось: «А вдруг — правда?»

В надежде, что снищет поддержку в медицинских кругах, она пожаловалась на черствость супруга светиле Припарко, но тот лишь откашлялся: дескать, а что вы хотите, Виктория Пиотровна, старость — не младость, природа свое берет, периодикус климактерикус. И как-то так гаденько погладил ей ягодицу: Виктория проходила поликлиническую профилактику и в тот момент была без всего, потому что Припарко взвешивал ее на весах. Она отшатнулась — попятилась — и дала эскулапу неловкую оплеуху.

«Стойте прямо,— сказал он ей.— Весы очень чуткие». А когда осмотр завершился: «Недурно, совсем недурно. Полпудика, считайте, за лето долой. Так, маточка, и держать,— напутствовал он Викторию.— Не забывайте дружить с физкультурой, да и в иных отношениях не робейте. Дама вы, извините за откровенность, в соку, импозантная, так что вот так вот».

Посещение лекаря оставило на душе досадный осадок, и, выйдя из Пыточной башни, Виктории мучительно захотелось под душ — смыть невольный позор пытливых припарковских прикосновений, нескромных взглядов. И комплименты его, все эти «маточка», «дама в соку», «полпудика», тоже были ей гадки, однако каким-то загадочным образом и волновали, и вкрадчиво нежили, и т. д. И — странно, зачем он сказал — «не робейте»? В каком, то есть, смысле? И что это за *иные* еще отношения? Минутами ей казалось, что она понимает,

* Здесь — Грозный.

** Правильнее — Нострадамус.

*** Виктория имела в виду документально подтвержденное откровение Нострадамуса Грозному о том, что если последний из рода Дальбергов (Дальбергия) будет казнен, убит или сильно обижен, то Кремлю не стоять.

и что это за отношения, и на что намекал ей Аркадий Маркелович, но как только ей начинало это казаться, она инстинктивно отшатывалась от своего понимания и убеждала себя, что Аркадий Маркелович не мог намекать на подобные пошлости, что это она сама так испорчена, что понимает его слова в столь необычном ракурсе, что о нем и речи не может быть. Куда там! Весна ее беззаботных интрижек с кремлевскими сослуживцами мужа давно отзнобила. Они — опустились, заделались типичными ремоли, а сама она — подурнела, вылиняла, и заглядываться на нее практически перестали. Порою — с годами, впрочем, все реже — она пыталась вообразить, как ловко — как именно ловко — устроено все в этом ракурсе где-то в арабских странах, где можно за скромную плату прибегнуть к услугам каких-то растленных типов, причем совершенно инкогнито, не снимая чадры. Об этом ей сообщали посольские жены, поднаторевшие там во всех ракурсах. Но в Эмске, где она проживала безвыездно, отчего он казался ей страшно провинциальным, о всяких таких арабесках оставалось лишь грезить. Затевать же преступную связь с каким-нибудь телохранителем ей совершенно не улыбалось. Она презирала и челядь, и офицерство. Люди данных сортов мнились ей плебейски нечистоплотными. И в то же время казалось, что если она сойдется хотя бы с одним, то потом не удержится и захочет сойтись и с другим, и с третьим, и после покатится вниз — все куда-то вниз, по наклонной плоскости, по очереди вверяя себя всем из них. И уже не она будет их презирать, но — они, кобели и мужланы, запрезирают ее всей холуйской их сутью и, топча ее женскую гордость, как половую тряпицу, окажутся по-своему правы, ибо она станет им — как раба, как гетера. И грязь их войдет в ее плоть неотмывно, и она захлебнется в тине всеобщего порицания. Все это, разумеется — говоря фигурально. А говоря вообще, Виктория опасалась, что ей не очень-то и нужны означенные отношения — с кем бы то ни было — что она теперь никуда не годится — что если ей подвернется все же вступить в них, то более двух-трех содроганий кряду она, вероятно, не выдержит —

скиснет и оконфузится, и будет посрамлена. Нет-нет, Виктория Пиотровна решительно не понимала, на что намекали ей Аркадий Маркелович и ему подобные; точнее, отказывалась понимать *.

А жизнь выдвигала на авансцену все новые задники. На стороне моих «голубей»-хранителей выступили кремлевские феминистки, чьи передовые фаланги вобрали в себя наиболее преданных мне служительниц Аполлона, эмансипированных от бессмысленной верности импотентствующим мужьям лично мною. Воображаю, сколь яр и праведен бывал гнев феминисток, как накипало у них на сердце, когда они составляли очередную петицию в адрес моих ястребиных хулителей или воззвание к мировой общественности. Круги общественности откликались — апеллировали к главам своих многочисленных государств — а главы телеграфировали обратно в Кремль. Цепь замыкалась, спираль раскручивалась. Движение за освобождение автора строк приобретало необходимый масштаб, глубину дыхания. Последнюю ощущал я сам, получая сочувственные бандероли со всех концов поднебесной. Случалось, звучал флажолет, и на архангельский двор въезжала почтовая колымага, груженная отправлениями исключительно на мое имя. Я делался международной фигурой. Огорчало единственное обстоятельство: на бандеролях, которые я в своих сочинениях не раз рифмовал с бандерильями (дань эпохе разухабистого ассонанса), не было марок. Воспользовавшись бесправием адресата, их, верно, срезывали в одной из инстанций. Как бы там ни было, град критических реплик, несущихся с разных сторон, заставил моих притеснителей дрогнуть, смягчиться, и не далее как вчера, возвратясь ввечеру из Сената, Леонид, подавляя в себе припадок мертвящей косности,— даже и с некоторой, я бы сказал, моложавой лукавиной в голосе — объявил ей с порога: «Виктория! Ваша взяла!» И вынул соответствующее постановление. В нем, в частности, предлагалось: «По подписании

* И напрасно. Ближайшее будущее покажет, что опасения Виктории Пиотровны были безосновательны.

упомянутым выше узником заявления о лояльности следствие за нехваткой улик похерить».

Словно бы взбалмошная курсистка сорвалась Виктория ко мне в равелин, беременная благою вестью. И, летя в открытом кабриолете, ритмично вонзая вознице-телохранителю острие зонта меж плебейских его лопаток, она радостно узнавала знакомые с детства версты отцовских угодий и деревень с несколько покосившимися теперь плетнями. И, нетерпеливо вертясь на пружинистом заднем сиденье своем,— острием ли проросшей пружины, шершавой ли шляпкой обивочного гвоздя, ее заусенцем — нечаянно В. продырявила на себе нейлоновые панталоны. И не заметила. Наоборот, Орест Модестович, ведший Викторию Пиотровну вверх по лестнице так, как предписывали правила хорошего тюремного тона, а именно — слегка отставая, чтобы, если ей станет дурно и она станет падать назад, предупредительно ее поддержать,— Орест, говорим мы, Модестович Стрюцкий наоборот — заметил. Ведь, к сожалению, женская мода сегодня — а моде Виктория Пиотровна неукоснительно следует — не отличается максимализмом. Сказать напрямик, наотмашь, юбка местоблюстительши — к сердцебиению всякого полноценного сердцееда — распахивала на удивленье широкие перспективы. Вдобавок в руке у Ореста Модестовича имелось заранее припасенное зеркальце, и, походя манипулируя им известным во всех равелинах образом, он легко уточнял неявственные детали викторианского туалета. И прореха ли на панталонах Виктории Пиотровны, особое ли устройство застежек ее чулочного пояса, своеобычный фасон ли разреза в шагу тех же самых узорчатых панталон, или все это вкупе — во всяком случае что-то подействовало на воображение Стрюцкого столь, что ему самому чуть не сделалось дурно. Брезглив, он обычно не обращался к услугам перил, и правильно делал; но тут — тут его повело, покачнуло, и он обратился.

«Скрутить бы,— лелеял он невозможное, сглатывая слюну,— швырнуть бы ее, студенистую телку, на лестничный марш — вытряхнуть к чертовой матери из

дорогого тряпья и, откинув через перила на сетку лестничного пролета, словно лапшу на дуршлаг, довести до овечьего блеянья, до поросячего визга включительно». Не чужд скотоложества, Стрюцкий для внутреннего пользования выражений не выбирал.

Ко мне постучали.

«Войдите!»

Вошла дебелая, расфуфыренная, напоминающая продавщицу разбавленного бочкового квасу. Раздались взаимные здравицы. Я сидел по-турецки на андалузском ковре и строил ацтекскую пирамиду. Лик мой украшала карнавальная полумаска гигаку из Токио.

«Что за пречудные кубики! — умилилась вошедшая.— Вам подарили?»

«Ах, если бы подарили, Виктория Пиотровна, если бы подарили! Дождешься ль подарков, когда кругом — себялюбие, эгоизм. Благодарение Богу, здесь сносная игротека. Только знали бы вы, до чего унизительно пользоваться казенным, чужим — чьим-то».

«Как мило он куксится,— мысленно залюбовалась гостья.— Смотрите-ка, у него совсем по-детски дрожит подбородок. О, сладкий! Такой весь крупный, а нюнится по пустякам. Да который же ему теперь годик?» — подумала эта пучеглазая дама с крупным, слегка отвисающим крупом на мощных ногах. Нет, она не могла припомнить. Верней, сосчитать. По одним из ее представлений я был вполне мальчуган; по другим — не вполне. Ей казалось, будто впервые она услышала обо мне чрезвычайно давно, приблизительно в детстве. Может быть, от отца, Феликса Феликсовича. А быть может, отец рассказывал не обо мне, а о Григории Александровиче, моем деде? Или о ком-то еще из легендарного рода Новых? Чтоб не запутаться в выкладках, она решила считать, что слышала обо мне еще в прежней жизни. И поразилась: «Вечный прямо какой-то. Извечный наш сирота».

«Я презентую,— сказала Виктория,— презентую вам кубики. Не грустите».

«Не тратьтесь-ка вы понапрасну,— сказал я ей, отворачиваясь к окну, за которым — в разрывах туч —

голубело.— Не вводитесь в изъян. Я верю, вы — чуткая, славная, только кубики — не решенье вопроса. Подумайте — только кубики, кубики да и только. То есть, конечно, какой-нибудь ординарной личности достало бы и одних кубиков. Даже и за глаза. Но я — вы, верно, наслышаны о моем нездоровье — ведь я в придачу ко всем недугам страдаю не только комплексами превосходства и неприкаянности, а и синдромом максимализма. Я, понимаете ли, клинический максималист. И если у меня за душой ни гроша, если я гол как сокол и в долгах как в шелках, то единственно потому, что живу под девизами — не мелочиться! все или ничего! А иначе и смысла нет. Жить-то».

«Я понимаю,— заметила гостья.— Я, кажется, понимаю».

«Нет, Виктория Пиотровна. Вы, кажется, не понимаете.— И отрицательно я помотал головой.— Вот вы собираетесь подарить мне кубиков. Что ж, похвальное рвенье. И я всемерно приветствую ваш порыв. Приветствую и поздравляю. Но кто, извините меня, кто подарит мне все остальное — все те развлеченья и игры, которыми обречен я скрашивать свой досуг в сем узилище. Ведь не можете вы одна откупить все те сотни наименований, что выдаются в здешнем игралище. Ибо у вас есть супруг, который — как я дерзаю догадываться — имеет известные основания меня недолюбливать. И он, к сожалению, не допустит подобной прорехи в семейном бюджете. Я прав?»

«Увы,— вздохнула она потерянно.— Не допустит».

«Вот видите,— лишний раз подчеркнул я безвыходность ситуации.— Так что и впредь придется мне пользоваться казенным имуществом и делить развлечения и утехи с уголовными элементами — с презренным жульем. Правда, когда я стрелял в вашего мужа, то был готов и к значительно худшим терзаньям, значительно».

«А — во имя чего,— сказала она и сделала какое-то неопределенное телодвижение,— во имя чего вы решились так осложнить себе — осложнить все на свете?»

«Не спрашивайте, голубушка. История — круговерть роковая. И лица, которых она выбирает себе в исполнители, и творцы, как правило, не отдают отчета в своих поступках — ни себе, ни другим». Я помолчал, давая ей время обдумать мной сказанное, и продолжал: «Любя Леонида почти как отца или брата, я, тем не менее, не раскаиваюсь в содеянном. Ни о чем не жалеть! — вот другой из моих несменяемых лозунгов — а? Восприсядьте, к чему стоять».

«Значит,— Виктория обнажила в оскале два ряда отличных зубов на присосках и села напротив меня в глубокое кресло, вульгарно расставив ноги,— так значит...»

«Прикройтесь, пожалуйста,— указал я гостье на нечто вроде шотландского плэда, складчато нисползавшее с подлокотника на пол.— А то все видно».

«Простите,— изобразила она фигуру смущенья.— Я думала, вам безразлично».

«Мне было бы безразлично, если бы вы не годились мне в бабушки. Ибо вы вряд ли себе представляете, как тревожит меня возрастная пропасть, которая пролегла между нами».

«Значит, вы — фаталист?» — закончила она наконец повисшую мысль, зло сдвигая колени и набрасывая на них плэд.

«Я — безотчетный солдат истории, дорогая Виктория Пиотровна. Не рассуждать! — вот мой четвертый девиз. И хотя мне, по-видимому, предстоят танталовы муки Сибири, копи да рудники, а может, и худшее, вы напрасно рассчитываете, что я раскаюсь и подмахну вам свое заявление о лояльности, или — что то же самое — прошение о помиловании. Не правда ли, вы приехали с этим?»

«Невероятно! Откуда вы знаете?»

«Элементарное ясновидение. Разве вы не слыхали, я был тем самым учеником Вольфа Мессинга, которого он воспитал себе в педагоги».

Виктория ахнула. Тогда я добавил, что знаю также, что ежели не подпишу заготовленное заявление, то меня еще долго, а то и совсем никогда, не выпустят,

что, конечно, печально, однако идти против собственной совести — удручительней втрое. «Никаких уступок такому правительству, которое занимается вымогательством у своих заключенных!» — я выкрикнул, будто из зала.

Просительница огорчилась. Отказ мой сотрудничать значил, что международный скандал остается в повестке дней, и феминисткам Кремля, которым она сочувствовала, предстоят дальнейшие хлопоты. Мне стало:

а) По-человечески жаль эту добрую многодетную мать.

б) Очевидно, что не принять в ней участия было бы с моей стороны нелюбезно.

С другой стороны (в данном случае — двери), причисляя Стрюцкого к любопытствующему человечеству, я представил бы на отсечение все что угодно, что тот подслушивает, а то и подсматривает за нами. Не знаю, что сделал бы на моем месте грядущий Биограф, но я предпринял довольно-таки далеко идущий маневр.

«Мне кто-то сказывал, вы с Леонидом коллекционируете канделябры»,— небрежно бросил я Брежневой.

«Да,— сказала Виктория.— И гобелены».

«Да гобелены-то что, гобелены — дело такое, одиннадцатое. Вот канделябры — это я понимаю. У нас тут, кстати,— точнее, не тут, а там,— и я указал вторым безымянным пальцем в сторону опочивальни,— наличествует экземпляр византийной работы. Трофеец,повидимому. С басурманской еще кампании. Вашего, полагаю, пращура приобретение. С виду вроде бы так — обыкновенная жирандоль, а поставишь ее вот эдак-то, на попа — канделябр канделябром. И музыка слышится. Как из шкатулки. Миньон, главным образом. М-м, да пара мазурок. И — пары — пары, знаете ли, турнюры — интернациональные авантюристы — князья — виконты — и свечи — свечи — и тюль — рюшь — розетки — и мармелад в бонбоньерках — и блестки тебе — и маски — и вензеля на ложках — а дамы все в мягкой рухляди — в перьях — в духах — шарман — прелестно — и будто бы пожалует императрица — а слухи о паровой машине роятся все пуще — разносятся

выражения *революция, инфлюэнция, солитер* — а из кареты вышагивает глашатай — вышагивает, донося, что в Тамбове фрустрируют суфражистки — все в ужасе — губернатору дурно — отверженная любовница выплеснула в лицо своему улану бокал царской водки — переполох — но подают уж суфле — потроха — жаркое — звенят хрустали — полетели на кухню за уксусом — кто-то крикнул вдогонку: "лакрицы!" — а гнусный — гнусавый — едва ли не педерастический голос Победоносцева передразнил: "а мокрицы не хочешь, каналья?" — а тот ему дурака — дурака в ответ — дурак вы, говорит, Ваше Сиятельство, круглый — и душно — душно — годы реакции — декаданс — акмеисты — вся социял-оппозиция по каторгам кашляет — а лакеи лакают ликеры и лепечут друг другу стихи о Прекрасной Даме — и все это галопирует, кружится, даже несется — несется в тартарары, подбоченясь: прогуливают — пропивают бабушку-Русь на фу-фу — эх, шантрапа, понимаешь,— и в слезы — в слезы — пуль, говорит, на них жалко. И прочие сантименты, и прочие. А? Так что же, Виктория Пиотровна,— полюбопытствуем? Изящнейшая, смею уверить, вещица, истинный раритет».

Мы поднялись. Галантно, как кастаньетами, хрустнул запястьями и пропустил коллекционерку вперед. Сам двинулся следом. Сейчас, рассматривая Викторию сзади, я думал, что Стрюцкий был по-своему прав; юбка Брежневой, задравшаяся, будто балетная пачка, и будто та же, почти ничего не скрывавшая, выглядела верхом и образцом неприличия. Но странно: хотелось не столько одернуть ее, сколько сдернуть совсем — хищно, резко, как лобный официант сдернул некогда скатерть с обеденной плахи. И только восхитительное самообладание удерживало меня от соблазна. А ноги, обутые в туфли на «шпильках» и облаченные в розовый фильдекос с черным швом, Виктория ставила эдак циркулем, тупо, носками внутрь, что тоже выводило из равновесия. И, вступив за нею в опочивальню, я щелкнул английским замком. Западня захлопнулась.

«Ну-с, Виктория Пиотровна, вот мы и у цели. Теперь предадимся безумству. Пора!»

«Ха-ха-ха-ха-ха!» — развеселилась она нервически и попудрила себе нос.

«Напрасно вы так реагируете»,— строго глянул я на нее из-под надбровных дуг и расстегнул на себе ряд пуговиц.

«Но послушайте,— проговорила Виктория неуверенно,— есть же, по-видимому, какие-то нормы, рамки».

«Есть экзистенс, Виктория Пиотровна. И хотим мы этого или не желаем, он предъявляет нам с вами достаточно жесткие требования. Выполнить их — наша задача».

«Да, но видите ли»,— упрямствовала она, чувствуя, как остатки ее старушечьей чести гибнут в приливе желания.

«Никаких, свет мой, но. И, пожалуйста, поторопитесь. В нашем распоряжении,— я вскрыл брегет,— только два, от силы — два с половиной часа до полдника».

«Вы обещали продемонстрировать канделябр»,— пустила она в ход по-девичьи вздорную отговорку, сама, вероятно, не понимая, зачем тянет время.

Тогда я поглядел на Викторию так, что меж ног у нее стало вдруг горячо и влажно, как в юности, и вся она подернулась зябкой гусиной кожей. И, осознав, что я все равно раздел ее этим взглядом, она со словами «Ах, дайте очки-то хоть снять!» — принялась раздеваться.

«Очки не снимать. Туфли с чулками — тоже. А панталоны — долой. И это. И то». Я был отрывист и лапидарен, словно на линии фронта, огня.

«Господи, сплошная морока с этими сиротами»,— смущенно брюзжала Виктория, выполняя мои приказы. Но интонации выдавали довольство: мое внимание к ее туалетам ей безусловно льстило.

«Что-что? Бюстгальтер? Э-э, приспустите». И мысленно сформулировал пятый девиз: «Обнажать, но со вкусом». И рек ей: «Довольно. Все остальное оставьте. Мы ведь накоротке, по-тюремному».

Виктория стояла у изножья кровати, трепеща всею сутью отлично разношенного семидесятилетнего тулова.

«Прилягте»,— кивнул я на ложе, откупоривая флакон с l'eau de rose.

«Постойте, мне страшно. Мне кажется, мы преступаем какую-то грань,— опять заколебалась Виктория.— Давайте пересилим в себе животное, низменное, останемся просто друзьями».

«Просто друзьями, Виктория Пиотровна, мы останемся несколько позже, post factum. А покуда считайте, что мы и друзья, и враги, поелику коитус есть не только единство, а и борение противоположностей».

«Так молод,— мелькнула в ней бесполезная мысль,— а уже философ».

Откинув ее через низкую спинку на сетку кровати, словно лапшу на дуршлаг, я умело и долго лелеял и нежил желе ее благодатных прелестей, и руки мои утопали в них по запястья. Коллекционерка изнемогала. Полуда желания заволокла ей очи, однако держалась она еще скованно. Ей, видите ли, было неловко, что я, которого она помнила совершенным ребенком, обхожусь с ней столь своевольно, хотя если б кто-нибудь в ту минуту спросил, а как должно с нею теперь обходиться, она, не сумев солгать, ответила бы, что так лишь и должно.

«Расслабьтесь, вы ведь не у Припарко»,— подбодрил я ее шуткой. Виктория улыбнулась. Оскал ее был лошадин. Сравнение это виделось тем паче удачным, что тупоносые туфли из кожи единорога, плотно сидевшие на ступнях ее, отзывались копытами.

«Вы случайно не будете возражать, если я привяжу вас?»

«Я, право, не знаю,— одышливо проговорила старуха.— Стоит ли? Да и зачем?»

«А чтоб не брыкалась»,— вмешался в наш разговор хамский вкрадчивый голос, который я принял за внутренний, ибо мой внешний так ни за что бы не выразился.

«Так вам будет удобнее»,— вежливо отвечал я Виктории, заглушая непрошеный комментарий. И шнурками, выдернутыми из первой попавшейся пары щиблет, в обилье валявшихся под кроватью, пришнуровал ее

локти к раме. Очередь была за лодыжками. Их следовало пришнуровать к набалдашникам изголовья. «Раздвиньте же ноги! — воскликнул пишущий настоящие строки.— И воздымите. Шире, друг мой. И выше. Не ограничивайтесь полумерами». Я был раздражен. Сцена соблазнения определенно затягивалась.

Медленно, будто бы нехотя, гостья вздымала и разводила бедра, и вот — представали во всей своей полноте. Говоря куртуазно, меж ними, украшенное сединой кудрей, влажно, смугло и молча гласило ее междометие: О.

И шнурками, выдернутыми из второй попавшейся пары щиблет, пришнуровал лодыжки. Конструкция моей невольничьей койки, поза и месторасположение пленницы позволяли исполнить задуманное в состоянии стоя и не прикладая рук. Рассупонив на ней корсет, я счел все приготовления законченными и расстегнул на себе последний ряд пуговиц — !

Виктория вострепетала. Однажды, тайком от мужа просматривая в крепостном театре заграничное женское синема из тех, на которые ее затаскивала распущенная Галина, их общая дочь, Виктория обратила внимание на зизи одного негритянского юноши, вероятно, героя картины. Ни до ни после не видела она ничего подобного — ни у кого. Впечатление усугублялось тем, что юноша ехал верхом на белом слоне и кушал банан. Вид его наготы был одновременно ей омерзителен и приятен. Он волновал, носился в уме, погружая в роскошь греховных иллюзий, существенными моментами коих являлись так называемые ею бананы любви, или хоботы неги; являлись — и были огромны. Но то, что Виктории посчастливилось лицезреть теперь, наяву действительного бытия, превзошло даже самые смелые грезы. Ближайшее будущее предстало ужасным. «О,— панически заканючила эта бесконечно славная женщина,— О». Опыт интимной жизни и дамский инстинкт подсказывали, что через считанные мгновения восклицательный знак моего отличия, первичный признак мужественного сострадания, обильно орошаемый сейчас l'eau de rose, беспощадно пронижет — проймет — про-

сквозит междометие ее женственности — заполнит и переполнит его зияние до отказа и, перевернув все прежние представленья ее о предметах подобного толка, безмерно расширит ей кругозор.

«Не дрейфь, маманя,— сказал ей *тот* голос, который она приняла за мой, а я, как обычно, за внутренний.— Старый конь борозды не испортит».

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . Чувство неловкости отлетело, и ощущение небывалой раскованности захлестнуло Викторию волшебным цунами. «А, вот, по-видимому, на что намекал Аркадий Маркелович»,— слаботускло подумалось ей, погибая в стремнине чувственного ненастья. Только зачем же он не сказал ей прямо? К чему выражаться двусмысленностями, вечно недоговаривать, как бы стесняясь. «Нет-нет,— декларировала она,— это вовсе не стыдно, не пошло, это — пленительно? Нет, хотя отчасти и да. Эфемерно? Да, но вместе и нет. Экстатично? Безумно? О да, разумеется, только не это главное. Главное это то, что это — естественно. О, как предельно естественно это, Аркадий Маркелович, как запредельно, как — О!» — идеализировала она ситуацию — «О!» — осознавала она исступленно — «О!» — говорила — шептала — выкрикивала — трубила Виктория Пиотровна — «О!» — изнывала — «О!» — мыслила и осязала она всеми фибрами своего междометия — «О!» — сокращалось оно конвульсивно — «О!» — бурны — «О!» — пенны — «О!» — бурнопенны были его извержения — «О!» И сапфировые — и подчеркивая прихотливый ритм блудодейства,— раскачивались у ней в ушах и позванивали своими серебряными колокольчиками музейные черного жемчуга серьги, знакомые мне со времен Очакова, покорения Крыма и пресловутого ménage a trois в непревзойденном пока составе: Императрица Екатерина, князь Григорий Потемкин

и Ваш покорный *. Но не они занимали ныне мой ум и воображенье.

Покуда мальстрем сладострастия все носил Викторию по своим кругам, я неспешно осматривал ее достопримечательности. В целом Виктория почти соответствовала моему идеалу. Ведь была эта ныне светская львица, а некогда — записная кокотка, по-своему и хороша, и опрятна, и тихо цвела тем неброским, припудренным цветом солидной и обеспеченной старости, который неопытные юнцы принимают обычно за предлетальное тление, а эстеты, ценители, истые бонвиваны почитают единственно стоящим. Так настоящий гурман никогда не закажет себе в трактире свежего судака или карпа, а всегда предпочтет ему рыбу «духовного

* Позднейшее примечание. Как-нибудь, устранившись от бразд правления, я напрягу остатки своей позапрошлой памяти и составлю для Вас мемуары орловского скакуна Е. В. Императрицы Российской, в шкуре которого мне довелось побывать в одном из предшествующих преображений. Задуманная эпопея охватит последнюю четверть печально известного восемнадцатого столетия. Ретроспективно переосмысленная и наполненная событиями большого социально-политического звучания всклянь, четверть эта предстанет пред моим благодарным читателем в резком, трагическом свете личных переживаний любящего жеребца. «"Воровать — так миллион, а любить — так королеву",— говаривал князь Григорий, торжественно ведя меня под уздцы в манеж, где в специально обставленных яслях — вся пыл — ждала нас наша возлюбленная». Такою мне видится первая фраза будущих воспоминаний. А далее воспоследует остальная книга. Порывисто, ярко, но без каких бы то ни было стрюцкостей, я изложу в ней, как все это было в действительности, как нам нравилось то, что мы делали, как все трое мы дорожили друг другом. Так дорожили, что спальники и конюшие, подсматривавшие за нами в замочные скважины — за что и не сносили голов — только диву давались. А после гибели князя Григория в Бессарабии октября не установленного точно числа семьсот девяносто первого года мы стали с Катрин Алексевной совсем неразлучны и утешали друг друга, чем только могли — как умели. И разлучила нас лишь безвременная ее кончина. Спалив себя самое в очередном неуемном посыле на алтаре нашей необузданной страсти, царица оставила меня безутешным. К тому же сделалась судебная волокита: скакуна обвинили в смерти хозяйки. Когда бы он был не тайный любовник, а тайный советник или подобно князю — фельдмаршал, то просто вывели бы в отставку да лишили б наград. Но поелику он не служил и особых заслуг пред Отечеством не имел, а за все бескорыстные хлопоты не снискал от Катрин Алексевны ни пенсиона, ни деревеньки,

звания», т. е. с душком. И если что-то коробило меня в облике Брежневой, то это был по старинке, небрежно завязанный архангельской повитухой пупок, что глядел довольно аляповато и походил на вышедшую из моды пуговицу. И еще: каблуки ее туфель, которые оказались ей очень к лицу, оказались и очень стоптаны. «Вы что же подковки не ставите вовремя,— пожурил я ее по-сыновьи.— Неправильно это, обувь надо блюсти в аккурате».

В ответ В. прошамкала что-то невразумительное. Свидетельствуя, как из крупной зыби ее регулярно бросает в мелкую дрожь и обратно, я не посмел настаивать на четкости артикуляции: там, где царит бесшабашная близость, где хлынула неподдельная искренность,

то лишить его, кроме как живота его, было нечего. Судьба моя была решена. Чистокровного рысака, сына своих мировой знаменитости матери и отца — Лисы и Патлатого — за буквально пригоршню кислых, если лизнуть, медяков отвели меня в немецкую слободу, на живодерный завод. Было больно. Судя по отысканиям архиварясов нашего хронархиата, участь останков моих сложилась по-русски плачевно. Из чалой в яблоках шкуры выделали пару сапог. На Покров сапоги обновили: отправились в них на радостях в храм, а оттуда, покаявшись и не переобуваясь,— в кабак. Где и пропили. Скелет же свезли на главный санкт-петербургский скотомогильник, прозванный почему-то Литераторскими Мостками. Зарыли по всем предписаниям, на должную глубину, однако вешние воды восемьсот девяносто седьмого года размыли захоронение. И вот уже в конском черепе, что беспризорно валяется где-то в полях, в предвкушении следующего Олега свивает себе гнездо молодой василиск. Нет покою и надкопытным суставам. До первых звезд заигрывается ими бездумная пригородная холостежь в свои немудрящие бабки (род уличного развлечения, нечто среднее между городками и свайками). «Что, однако же, сталось с мясом и потрохами?» — допросит нас кровожадный Биограф. Чутье не обмануло его: их отправили черемису-колбаснику. Колбасы, говорят, из меня получились дешевые, постные, но отменных статей, и вдовы, монашенки и солдатки, соблюдавшие брачный обет, расхватали товар в два счета. Правда, это совершенно отдельная тема, хотя и она ожидает своих кропотливых исследователей и менестрелей, тем паче что мемуарами тех колбас мы, к несчастью, не располагаем.
Словом, серьги, которые раскачивались сейчас в ушах Виктории Пиотровны, раскачивались когда-то в ушах у другой первой дамы государства российского, хотя и в довольно аналогичных случаях. И несмотря на то что миновало два века и несколько воплощений, я не мог не узнать те очаровательные побрякушки.

места ложным красивостям нет. «Мямля вы этакая»,— только и вымолвил я.

И вдруг — совершенно случайно — взгляд ее падает на потолок. В зеркалах его она видит свое отражение. Сокращаясь, и прядая, и виясь, В. напомнила себе неосторожную жирную гусеницу, что однажды сорвалась с высокого вяза в Тайницком Саду и, упав в муравейник, оказалась изъязвлена муравьями донельзя. «О, как я пала, должно быть, в его глазах,— засокрушалась старуха.— Он, верно, думает теперь обо мне ужасные гадости. Думает, что я какая-нибудь шлюха, дрянь. Он, по-видимому, совсем не уважает меня, и, быть может, я напоминаю ту гусеницу и ему. О Господи, неужели и он помнит то утро, сыроватое после грозы — после бури. Случилось так, что мы почему-то гуляли. Наверное, захворала Агриппа, и Леонид попросил меня покатать Палисандра в коляске. Я согласилась, и мы гуляли по внутреннему периметру — вдоль стены, и считали башни. Считать он уже умел. Включив Кутафью, мы насчитали ровно двадцать одну. И возле Второй Безымянной увидели длинное и мохнатое существо — в сыром — после страшной ночной грозы — муравейнике. Неужели он помнит?»

Я помнил. Я навсегда запомнил то утро, и количество башен, и янтарную гусеницу в муравейнике: она извивалась. Мне было прекрасно видно ее из моей колесницы. И именно там, возле Второй Безымянной, глядя на корчи несчастного насекомого, я дал себе слово, что когда-нибудь, когда подрасту и представится случай, я поступлю с тетей Викой так, чтобы она сокращалась и мучилась наподобие этой гусеницы, ибо я испытывал к ней, тете Вике, некую безотчетную тягу. Случай представился, и я сдержал свое слово.

«Я пала,— все сокрушалась Виктория, сокращаясь.— Я сорвана бурей страсти, совращена. А после разрыва, когда мы останемся просто друзьями, он будет рассказывать грубым тюремным приятелям, как он взял меня тут, на голой кроватной сетке, распяв, и как я почти не владела собою, вела себя бесхребетно, безвольно, ползла, извивалась. О, я преступница, я со-

шлась с малолетним, ну разве так можно. Хотя я же ведь ничего не могла поделать с собою — мне так хотелось — хотелось его успокоить, развлечь — о, ничего ровным счетом. Я только медленно млела — парила — реяла. Я реяла по течению ветра — о! — не лучше ли умереть. В сыром — после страшной грозы — саду».

И, словно бы прочитав ее мысли, точнее, не словно бы, а именно прочитав, возражал: «Я знаю, Виктория Пиотровна, смертельное манит. Но вы — вы не смеете предаваться минутным позывам. Вы — мать семейства. У вас на руках и внуки, и муж. Вы не смеете. Нет! А помимо того, как могли вы меня заподозрить в неуважении человека, который десятками лет меня старше? Разве я оставляю у вас впечатление худовоспитанного? Уж вы не расстраивайтесь понапрасну. Крепитесь, право. Ведь я уважаю вас — глубоко уважаю»*.

«Глубже некуда»,— съерничал *голос*. И, подумав, добавил: «Мадам положительно в мыле». Голос опять показался мне внутренним, так что я снова не обратил на него внимания несмотря на неслыханную вульгарность высказывания. Верней, обратил, но я не располагал ни собою, ни временем: срок очередной разрядки моей напряженности подкатил — и меня передернуло.

Когда-то, в каком-то из прежних детств, когда я заигрывал на царской конюшне с хорошенькой пони, она, строптивая, как министерша, лягнула меня в анфас,

* Позднейшее. Случалось ли Вам, между прочим, иметь возвышенные отношения с престарелыми, которых после не стало? Не правда ли, как остраненно смотрятся они на смертном одре или в анатомическом театре, где у Вас абонирована персональная ложа: вольноопределяющийся студент, Вы и там проходите свою погребальную практику. Неужели,— мыслите вы, поглаживая знакомые, но слегка задубелые ткани,— неужели это и есть та самая Нина Петровна или Полина Семеновна, что — не вечор ли! — тайком от прислуги питала к Вам, по ее уверениям, чисто материнские чувства и, отдаваясь, кряхтела прочувствованно и сердобольно: «Сиротка — малютка — дитятко — благодарю вас!» «Оставьте, чего там жантильничать»,— холодно Вы бросали покойной. И странно, припомнив все это и рассеянно глядя на полки, где в банках дрезденского стекла заспиртованы жертвы абортов и разные экзотические полипы и опухоли, сказать засучающему рукава прозектору: «А ведь славная ушла от нас старушенция».

навсегда оставив на нем эмоцию нескрываемого удивления. Контузия послужила также причиною челюстного тика *, что проявляется лишь в минуты сладостного содроганья. Поэтому выраженье «меня передернуло» здесь и далее следует понимать не только как эвфемизм для обозначения этих минут, но и как упоминание о моем застарелом недуге. Симптомы его таковы, что я как-то весь вскидываюсь, трепещу, мотаю, знаете ли, головой и наподобье собаки, пытающейся поймать близжужжащую муху, клацаю челюстями.

Кульминация развивалась лавинообразно и в принципе оставляла благоприятное впечатление. Я получал удовольствие. Блажен дерзновенный узник, что несмотря ни на что принял посильное участие в славной женщине, благосклонно познав ее. Но дважды блажен дерзновенный узник, который посильно отмстил познавшему предмет его восхищения функционеру, познав в лице упомянутый женщины супругу последнего. И, наконец, трижды блажен тот же самый узник, посильно отмстивший убийце своего деда Г. А. Распутина — князю Ф. Ф. Юсупову, познав в лице В. П. Брежневой дочь убийцы; пусть даже и незаконную. Нечто необычайно гроссмейстерское виделось мне в моей разветвленной вендетте.

Яростно сопереживая происткавшее, Виктория предавалась мне без остатка. Рыхлая рухлядь ее телес кипела и сотрясалась под действием моих безустанных чресел, как сотрясается и кипит августовская яблоня под ударами деревянных кувалд, широко применяемых сборщиками плодов в некоторых районах Андорры **. А вот, если угодно, более возвышенное сопоставление. Будто рыба об лед, билась она в волнах безутешного счастья.

«Рохля рохлей, а дело-то знает туго»,— уловил я внутренний голос знакомого, но на сей раз определенно не моего тембра.

* Не путать с тик-таком.

** В ряде случаев такие кувалды используют и при сборе гусениц, приносящих садам исключительный вред.

Я оглянулся. Окно за моею спиною зияло врасплох. Там, снаружи, на небесах, творился рафаэлевский полдень, а на ветвях болконского дуба, упомянутого здесь в позапрошлый четверг, качалось до эскадрона морской кавалерии Стрюцкого. Худошеяя, со щетинистыми кадыками, с морским коньком на кокардах пилоток, охрана оккупировала все стратегические развилки и, в упор соглядатайствуя за нашею процедурой, завистливо онанировала. Удобнее прочих устроился сам Орест. Он сидел на ближайшей по отношенью к окну развилке и, чтоб не терять равновесия, опирался на подоконник локтем.

«Что, на медок потянуло? — воскликнул я, кривя себе рот.— На клубничку? А ну — не похабничать у меня!»

Натужные физиономии зрителей желудями сорвались вниз.

«Пошляки, понимаешь! — неслись им вдогонку мои укоры.— Хулиганье!»

Я хотел уже было дать занавес, то есть задернуть оконные шторы, когда опять заметил Ореста, из чего сумел заключить, что он не последовал за подчиненными, а лишь изобразил фигуру отсутствия и продолжает удерживать наблюдательный пункт.

«А вы отчего не прыгаете? — неприязненно покосился я на него.— Разве я сделал для вас исключение?»

«Умоляю, сделайте — сделайте милость, не прогоняйте!» — Орест говорил еле слышно, с несвойственной ему прежде жандармскою хрипотцой.

«Говорите отчетливей».

«Не могу,— отозвался Стрюцкий.— Я выпил вчера холодного пива на теплом ветру и схватил воспаление глотки. Я беспощадно простужен. Так что — позвольте, позвольте уж досмотреть. В порядке интеллигентного снисхожденья к больному. Мне дьявольски любопытно. Вы знаете, я ведь тоже большой поклонник Виктории Пиотровны. Я уважаю ее, уважаю. И я даю вам слово русского офицера, что все, имеющее происходить в данных стенах, останется исключительно между нами. Договорились?» Рука его конвульсировала в кармане его галифе. Он был изумительно жалок.

«Черт с вами,— сказал я Оресту Модестовичу, бравируя собственным великодушием.— Досматривайте, вуайер несчастный». И обратился к прерванным хлопотам.

«С кем это вы сейчас говорили?» — из дебрей плотского бреда спросила В.

«Не обращайте внимания,— я возражал, снова рея на грани прекрасного.— Это просто ошиблись окошком». И сызнова меня передернуло. Виктория отвечала всемерно.

«Феерия!» — внутренне заорал Орест. Если ранее подпоручик использовал подоконник лишь как подлокотник, то ныне он уже восседал на нем, и я мог видеть Ореста прямо перед собой в качестве отраженья в псише. «Феерия!» — заорал Орест, и судорога оргазма покоробила его, будто осень — дубовый лист.

Свершив последние содроганья, я спрятал щупальце мести в гульфик и, высвободив старуху из пут, дал тем самым понять, что аудиенция завершена. Дал и занавес. Намеченный план был выполнен. За два с половиной часа я успел разрядиться количество раз, соответствующее числу кремлевских башен, включая Кутафью: двадцать один. В память о нашей давней прогулке. В память о съеденной муравьями гусенице.

Нехотя, ибо ей хотелось еще, Виктория принялась одеваться. Оттиски кроватных пружин на спине ее запечатлелись, точно стигматы — навеки. Впрочем, так только казалось. Я знал: не успеет она добраться до Боровицких врат, как на теле ее не останется никаких улик, кроме потертостей паха.

«А знаете,— Брежнева перестала вдруг одеваться,— знаете что?»

«Что, сударыня?»

«Мне, разумеется, неудобно просить вас об этом, и я ни за что не желала бы нарушать ваших планов, но если вы нынче не слишком заняты, то отчего бы нам не продолжить».

«Ишь разохотилась!» — послышался внутренний комментарий Ореста.

А я замечал ей: «Теперь невозможно, Виктория Пиотровна. Уж как-нибудь в другой раз. У меня на сего-

дня куча посудохозяйственных дел. Да и полдничать время. Тюрьма, как говорится, тюрьмой, а перекусить-то не грех, даром что кухня у нас тут премерзкая. Острое все, да мясное, да под вином, а у вас-то, я чай, диета, так что даже и не приглашаю, не обессудьте. Вообще, я на вашем месте давно бы на зелень подножную перешел — легкость необыкновенная. Да и слизи не выделяешь. Вы, кстати, не видели мою запонку? — отскочила, каналья».

«Бездушный,— сказала Виктория. И, подумав, добавила: — Пунктуал». Ложесна ее зудели.

«Возможно, возможно, не отрицаю. Правил я действительно строгих, и даже весьма. Однако ж на пунктуалах, поверите ли, свет стоит. Пунктуалами, матушка, земля держится. Потому оскорбление ваше — мне как бы и не оскорбление вовсе, а вовсе наоборот, будто вы меня похвалили за что-то. Дескать, сердечное вам, Палисандр Александрыч, спасибо за все то хорошее, что вы мне сделали, не постояв за своим драгоценным временем. Только разве от вас дождешься подобного. Вы — эгоцентристка, любовь моя, эгоцентристка до мозга костей, и заботитесь только о получении удовольствий. Эх вы, а еще жена государственного чиновника. И — какого, какого, Виктория Пиотровна, чиновника! Да вам ведь, наверное, все равно. Боюсь, вы и не подозреваете, сколь безупречен, светел и по-хорошему прост человек, с которым вы числитесь в браке».

«Прост, как мычанье»,— выдернул Стрюцкий из Маяковского.

«Увы, Леонида понять вам, по-видимому, не дано,— укорял я гостью.— Ибо вы не живете его интересами, милочка. Вы живете своими, до неприличия узкими интересами, не гнушаясь при том ни флиртом и ни адюльтерами. Что отнюдь не делает вам, сударыня, чести, пусть эти флирт и адюльтеры имеют по преимуществу место лишь в вашем воображении».

«Подайте мне ридикюль,— сказала Виктория.— Там платок».

«Нате,— сказал я ей, подавая.— А главное — главное, вы дико неблагодарны, мой друг. Просто дико.

И если бы я наперед знал об этом, то ни за что не стал бы оказывать вам сегодня такого изысканного уничижения. Т. к. вы попросту не заслужили его. И пусть,— ветвисто жестикулируя и, целиком отражаясь в псише, закруглял я филиппику,— пусть с вашей, голубушка, стороны все происшедшее было лишь фарсом, игрой, лично я никогда не пожалею о нашей близости. Одним словом — желаю здравствовать».

Она пустилась рыдать — объясняться — клялась мне в искренности. Я не поверил. «Оденьтесь же наконец»,— сухо бросил я ей комбинацию. И, выпроводив из камеры, препоручил коридорному: «Свиданье окончено. Препроводите». Ведомая им по направленью вовне, она обернулась: «Минуту, а канделябр? Вы обещали продемонстрировать канделябр!»

И вновь поразился ума я ее благородному практицизму. «Не лукавьте,— сказал я коллекционерке.— Ту жирандоль вы уже видели. И даже приобрели. Правда, то было, скорее всего, не нынче, не здесь и не обязательно с вами, но, как выражается наша замечательная молодежь, сие суть колеса, детали. Так ли уж важно, с кем именно это было, если это случилось в принципе. Что вы там, понимаете ли, уткнулись в два-три измерения, будто в стойло. Встряхнитесь, взгляните на вещи свежо».

И мы дружно расхохотались. Я — весело, философски. Виктория — исступленно. Засмеялся и коридорный.

«А вы что смеетесь?» — полюбопытствовал я.

«За компанию»,— молвил он.

«Тогда продолжайте».

И меж тем, как он поступал так, лицо его было типичным лицом архаического недоумка, энтузиаста двадцатых-тридцатых годов. В коридоре было тюремно, сумрачно, и утверждать, что этот дежурный субъект в полуботинках со шпорами — не есть успевший преобразиться Стрюцкий, я бы не взялся.

Тогда я взглянул на Викторию: растрепанная, воспаленная и одутловатая, та всем своим обликом питала к себе у меня высокое и мучительное безразличие.

И смятенной походкой использованной Бовари удаляется к лестнице.

Всенепременно печальны бываем мы — звери, растения, насекомые — после коитуса. Даже природа в обличье плакучей болко́нской рухляди, соболезнуя мне и кручинясь, в безветрии уронила руки ветвей.

(За штопкой.)

Что в имени мне есть моем?
Что имя? Просто звук?
Кимвал бряцающий иль некий символ смутный?
Мне имя — Палисандр. С ним свыкся я давно.
И всюду я ношу его с собою.
Браню подчас, но более хвалю:
Любезно мне сие буквотворенье.
Я — Палисандр, и с именем таким
Я чувствую себя благоприятно.
Мы двуедины и созвучны с ним.
Но дерево ли я? Навряд ли.
Так персонаж, по глупости своих
Родителей, что Львом зачем-то назван,
Отнюдь не лев. И Петр — не камень ведь.
И масса суть таких несоответствий.
И все-таки в те дни, когда один
В безветрии стоишь ты в поле хлебном
И, руки уронив, глядишь окрест,
Случаются событья, что колеблют
Твою уверенность. То бурундук
Тобою скачет вдруг до ночи.
То ворон вьется вкруг —
Очи ли выклевать,
Гнездо ли свить все хочет.
И мыслишь озадаченно: «Кто знает,
И может, ты — и дерево: бывает».

(Размышляя об имени.)

Безоружных, ворона нас подпускает столь близко, что кажется, можно пересчитать ей все перья. Но только Вы наклонились за камнем — уходит в паренье. Не то же ль и муха? Достаточно Вам потянуться за мухобойкой — летунью словно сдувает. Взвившись, она приземляется в полной недосягаемости и начинает сучить передними лапками, предвкушая скорое возвращение

к Вашей трапезе. Кто внушает этим животным хитроумность Улисса? Зачем они вообще существуют? Ответ однозначен: дух дышит где хочет. А там, где те же самые мухи, оседлывая друг друга, теряют всякую голову, так что их с легкостью ловит полный младенец, там дышит обыкновенная похоть — одышливо, хрипло, словно загнанная борзая.

(За скромной вечерей.)

Сижу, размышляю. Вбегает Андропов.

«Пляшите, Палисандр Александрович, вам — бандероль: бельведерская бонбоньерка!»

Я покосился: «Послушайте, Юрий Гладимирович, а вы не находите, что на пакете чего-то недостает?»

Андропов замялся. «М-м, да видите ли, я ведь филателист».

«Филателист, генерал,— молвил П., укоризненно глядя поверх пенсне, завещанного ему дедоватым дядей,— филателист есть прежде всего человек со щипчиками, с пинцетом, то бишь личность отчаянной щепетильности, чести. Это, если хотите, герой эпохи. Согласны? Вот я, например; тоже, в общем-то, филателист. Однако я не соскабливаю марок с чужих бандеролей, я — чист».

Молчание Юрия было смущенным.

П. продолжал: «Конечно, я понимаю, вы — офицер увлекающийся, фанатичный, даже, может быть, маниакальный. И слава Аллаху, Бог помощь! Но должно ли доходить в своем увлеченьи до анекдотизмов. И ладно бы два-три раза. Так нет, вы — теперь я уверен, что это вы — соскабливаете марки со всех бандеролей, что мне сюда поступают. А — под каким, хотелось бы осознать, предлогом-то — а? Нравственная цензура? Согласен, имеете право. Имеете все права и обязанности, вменяемые вам службой. И я при случае готов написать в Опекунский Совет рапортичку, что так, мол, и так — с обязанностями справляется удовлетворительно. Хотя, к чертям, разумеется, рапортичку. Принесите мне книгу жалоб и предложений, и я прямо при вас занесу в нее благодарность и вам, и руководимому вами Совету за то,

что вы оба так четко и плотно опекаете меня от растлевающего влияния Закордонья. Но, милый мой дядя Юра! где взять мне столько святой наивности и надежды на лучшее, чтобы уверовать, что буквально все поступающие из сторонних держав почтовые знаки содержат порнографический или иной унижающий отроческое достоинство подтекст». И еще я сказал ему сильно и нежно: «Вы,— сказал я ему,— должны обещать, что подобное не повторится. Я тоже более или менее человек, и человеческое, извиняюсь, мне тоже не чуждо. Мне, может быть, тоже охота полюбоваться на козочек».

«На которых?» — спросил Андропов.

«Ну как это на которых, Юрий Гладимирович, как это на которых! Да на тех, что на марках печатают: козочки там, овечки, пони. Животный мир, он ведь такая отрада!»

«Я больше не буду»,— поклялся, употребив часовщический пасс, дядя Ю. Он был понимающ.

Письмо, извлеченное мною из бонбоньерки сусального серебра, в частности сообщало: «О незнакомый, о возлюбленный внук мой!»

«Не бубните, читайте отчетливей»,— попросил Андропов.

«Вы разве не ознакомились?»

«Исключительно мельком».

«О возлюбленный внук мой!» — повторил я понравившееся.

«Не томите,— сказал дядя Ю.— Время каплет».

Заметив ему, что, имея контакт со мной, следовало бы воздерживаться от императивного наклонения и не пытаться меня понукать, я высказал предположение, что Юрий Гладимирович, по-видимому, забывает, кому из нас прислан текст, и позволил себе напомнить, что текст прислан мне, которому предстоит годами — буквально годами — селиться с его составительницей под единой кровлей, деля хлеб да соль, что дает мне известное право вчитаться в полученное всесторонне, используя все доступные методы, не исключая графологических. Не преминул я высказаться и относительно

времени. Я указал, что время, о котором он, генерал-генерал, столь печется, что оно ему вылепило другое лицо и всего абсолютно высушило и издергало, меня совершенно не лимитирует, ибо я давно уже обретаюсь в Вечном Сейчас, чего и ему, дяде Юре, желаю.

На это тот возражал, что, конечно, он тоже переберется в вечное, но не сейчас, т. к. сейчас его заедает текучка, и просто некогда, из чего я вынужден был заключить, что рожденный ползать — пусть даже и наделенный словно бы к «Яру» летящим почерком — никогда не взовьется.

«О возлюбленный внук мой!» — перечел я, рассматривая отдельные буквы в лупу, которая — если Вы серьезный филателист, архивариус иль графолог,— служит Вам не предметом роскоши, но инструментом труда. В равной мере нуждается в лупе ботаник, следователь, часовщик. Если же по каким-то причинам Вы не относитесь к людям скрупулезных профессий, то лупа послужит Вам к выжиганью по дереву, к разведенью костра, поможет рассмотреть насекомое, каплю росы, поры рук, структуру снежинки и скрасит тем самым и столичный досуг, и пикник в захолустье. Изящная, терпеливо шлифованного стекла, лупа отлично впишется в интерьер горной хижины, капитанской каюты, украсит конторку в банке, письменный стол в департаменте, ванную в апартаменте. Имейте лупу! Лелейте ее!

«О возлюбленный внук мой!» — перечитал я в волнении.

«Знаете, если вы намерены продолжать в том же темпе, то я лучше спущусь там куда-нибудь, поброжу».

«А? Конечно, конечно, спуститесь, любезнейший, сгоняйте там с кем-нибудь пару партéй».

Юрий вышел. Шаги его удалились. Тогда я добавил немного прохладной воды и весь обратился в чтение. Предмет его создан был как бы в конке — изысканной, старческой, взбрыкивающей на стыках прописью. Отчетливость соединительных линий говорит нам за то, что бабуля привержена крепким семейным узам, традициям. Верность нажиму указывает на лояльность режи-

му, а левый наклон — на идеализацию прошлого. Боязнь быть неправильно понятой, а также гостеприимство писавшей узнаются по тщательности, с какой она выводит шипящие, непременно подчеркивая *ш* и *щ* и надстраивая необязательную крышу над *г* прописным. Заскорузлое плотское одиночество сквозит в закорючливости запятых, в крючкотворстве. А о том, что моя предстоящая бабушка невероятно одухотворена, не чужда искусствам и, может быть, поощряет их, я сужу по восклицательно вытянутой форме ее многочисленных *о*. В контексте письма, изложенном меж обращением «О возлюбленный внук мой!» и заверением «О, вечно твоя, баба Настя!» последнее повествует примерно о том же. То есть о том, что только что рассказал нам ее старосветский почерк. Кроме того, она извещает о самочувствии Сигизмунд Спиридоныча, здоровье которого за последние двадцать лет пошатнулось и оставляет желать много лучшего, и о погоде, которая в таких пожеланиях не нуждается. Тон письма деликатно возвышен, приветлив, и — если верить изложенному — препятствий нашему соединению не предвидится; мне остается только приехать и влиться в лоно семьи. Правда, меж строк постскриптума прочитывалось известное «но». «Единственное, что меня беспокоит,— писала Княгиня,— это Ваше отношенье к Былому».

По истечении срока, в ходе которого я набросал ответную весть, дверь распахивается: на возвратившемся откуда-то снизу Андропове нет лица.

«Вы знаете, Палисандр Александрович, знаете что?»

«Не имею чести».

«Буквально минуту тому — прямо только что — прямо сейчас заглянул я по вашей рекомендации в биллиардную. Именно заглянул. Мимоходом. Не более чем. То бишь лишь приоткинул портьеру. Приотвел, говоря романтически, кружева». Ю. умолк. Младенческая улыбка, затеплившись в подслеповатых очах генерал-генерала, задела ему щеку и губы и сразу погасла.

«Смелее»,— сказал я ему.

«Я только — только хотел посмотреть, кто играет. Кто с кем. Кто да кто. Если вообще играют. И знаете

что?» — Андропов казался смятен и, испытывая колебания, зримо обнаруживал их: икота его колотила.

В принципе, различают три вида икоты. Одиночная, или спорадическая, происходит от невоспитанности и присуща грубым сословиям — мужикам, рабочим, купечеству. Более благородной, серийной икотой страдают телеграфисты, актеры, искусствоведы. Следствие их впечатлительности, она может мучать часами, но в конце концов отпускает. Имеется, наконец, икота хроническая, что является прерогативой персон ответственных и высокопоставленных. Длясь буквально годами, она обрывается только вместе с дыханием, после чего исходит из плотного тела в иные, более тонкие сферы наших последующих инкарнаций. Обычно течение данной икоты подспудно, и внешне она проявляется лишь в решающие часы сомнений и катаклизмов. Она-то и колотила теперь моего патрона.

«Решайтесь»,— сказал я ему.

«Вы полагаете, стоит? А если мне показалось? Хотя навряд ли, навряд, как это — показалось? Хотя кто знает. Случается, что блазнится, мерещится».

«Мужайтесь»,— ему я сказал.

«Поверите ли,— сказал мне тогда Андропов,— я приотвел кружева,— а кавалергардии подпоручик Стрюцкий Орест Модестович — вы, должно быть, представлены — он непосредственно на бильярдном столе откровенно пользуется услугами Виктории Пиотровны Брежневой. А Виктория Пиотровна, по-видимому, столь тронута его обходительными манерами, что прямо-таки урчит, если только не ржет. Короче, так все это загадочно, странно, что и рассказать не берусь».

«Да вы ведь уж рассказали».

«Да? Ну и как? Мистическая история, правда?»

«То есть, а что ж в ней такого мистического, Юрий Гладимирович. Конечно, поступок Виктории Пиотровны известное недоумение вызывает — кто спорит. Леонид, так сказать, не в форме, прихварывает, и она просто из чувства товарищества могла бы пособолезновать, воздержаться пока от эксцессов ветрености — могла бы: ан нет. Удивительно? Да, а с другой стороны

нисколько: скорее — логично. Экзистенс-то ведь продолжается. Хочешь не хочешь, а надо как-то крутиться, выкручиваться. Я знаю, вы скажете, что Орест Модестович ей не пара, Виктория, дескать, достойна поклонника поимпозантней, того же, положим, вас. Допустим. Да только кто разберет их, всех этих фифочек расфранченных, чего им там требуется. Бывает, душа-то, Юрий Гладимирович, душа-то им в нас, бывает, милей импозантности нашей. Куда им с ней, а? В бал только разве, в галоп. А с душой — хоть куда. Подумайте». Я налил в ванну еще немного целебной грязи, поправил бабочку и продолжал: «И — заметьте. Дама Виктория Пиотровна свойств, очевидно, приятственных, симпомпушечка, все при ней, но ведь тоже красавица не ахти какая, признаться. Так что неравенства или там мезальянцу какого-нибудь усматривать тут не берусь. Слетелись, воркуют себе голубки — и слава тетереву. Любовь да совет. Словом, даже не соображу я, дружище, что, собственно, вас остранило. Может — бильярд? Что они на бильярде, что ли, воркуют?»

На что Хранитель заметил, что это-то пусть, что ханжой никогда он не числился и не будет, и что лично ему глубоко наплевать, на бильярде иль под бильярдом — мол, мало ли где приспичит, и что странно ему далеко не то, чему сторонним свидетелем он явился невольно, а вот что. Насколько он, Юрий Владимирович, осведомлен, Виктория Пиотровна третьего дня, покидая Кремль, сказывала супругу, будто бы отъезжает на дачу, а сама отправилась прямо сюда и до сих пор, если верить своим глазам, здесь присутствует, что, естественно, выставляет Викторию Пиотровну в чрезвычайно невыгодном свете и вынуждает его, Хранителя, усомниться не столько в ее супружеской верности — человек практически холостой, он в ней просто некомпетентен,— сколько в элементарной честности. Ибо если уж говоришь, что едешь на дачу, то и езжай на дачу, а не в тюрьму. «Как это можно, чтобы слова расходились с делом настолько разительно! — ворчал генерал.— Вот где мистика!»

«А я,— заявил я Андропову, чувствуя, что доброе имя Виктории — на краю стремнины и как никогда до сих пор нуждается в сильной протекции,— а я так напротив, Юрий Гладимирович, не усматриваю тут никакого противоречия». И объявил, что как ружья конструкции «парадокс» стреляют не хуже сермяжных берданок, точно так же парадоксальные вроде бы утверждения оказываются правдой не в меньшей степени, чем трюизмы.

Неважный охотник, Юрий, по-видимому, не вкусил всей прелести параллелизма и посмотрел на меня. Я весь был в партикулярном.

«Я говорю только то, генерал,— пояснил я ему, теребя себе мнимую эспаньолку,— что для некоторых людей в некоторых довольно индивидуальных случаях вояж на дачу равносилен поездке в тюрьму, а поездка в тюрьму оборачивается вояжем на дачу. И нынче мы как раз и столкнулись с одним из таких феноменов. Потому что в сознании юсуповской дочери, милостивый государь, Архангельское никогда не переставало и не перестанет быть отцовским загородным поместьем, дачей, даже дворцом, как бы мы с вами его ни экспроприировали и ни переименовывали в равелин. И сказав: “Я еду на дачу”,— Виктория Пиотровна ни на йоту не погрешила противу истины».

Объяснение показалось Юрию убедительным, и икота его затаилась. Он прочитал письмо бабы Насти, а после спросил, что еще содержала полученная бандероль.

«Совершеннейшие пустяки»,— сказал я и открыл бонбоньерку. Он бросил взор. Целый набор совершеннейших пустяков, дразняще веявший мятным утренним чаепитием с медовыми пряниками и шоколадом в начале июня в слегка покачивающемся гамаке,— лежал там.

«До встреч,— молвил Юрий, вчетверо складывая мою ответную весть.— Днями буду».

Почти у всех выходной. В равелине остались только дежурные, нарочные да мы, заключенные. И в который

раз убеждаешься: тюрьма без прислуги — тюрьма вдвойне. Только диву даешься, к каким ухищрениям вынужден прибегать, компенсируя это лишение. Характерный случай.

Сегодня в связи с юбилеем Джордано Бруно, спаленного маловерами от инквизиции, заказываю в буфете италианского брюта феррари как раз шестисотого года. Приносят, пробку — в потолок, и уходят. Оставшись один на один с трехлитровой бутылью шампанского, пусть и сухого, воленс-ноленс впадаешь в какой-то восторженный, шпрехшталмейстерский артистизм.

«Не желаете ль воспригубить?» — сказал я себе, воспривстав. И, несколько вosприсев, отвечал: «Восплесните». И, несколько воспривстав, восплеснул и рек: «Воспригубьте». Затем восприсел, воспригубил и, воспривстав: «Ну, что скажете?» И, сызнова восприсев: «Превосходно!» Тогда, воспривстав, восполнил и возгласил: «Ваше!» И возражал: «Взаимно!»

Сам себе подавальщик, не смея хмелеть в присутствии посетителя, пью не пьянея и мыслю: «Все — суета сует, все — томление духа. Особенно без прислуги». И тот же я размышляет: «Хм, вот ты какая, неволя».

Так будьте вы прокляты, говоря напрямик,— вы, швырнувшие меня в сей прокисший застенок! А заодно и вы, не спросясь позволения перлюстрирующие мой тюремный альбом,— вы, ищущие насмеяться над истории рядовым в его роковую годину,— вы, лорнирующие меня в замочную скважину. Что вы смотрите так сквозь прищуренный глаз? Что вы лепечете там чрез бредни грядущих времен, я вас спрашиваю. Что вам, любезнейшие, угодно? Да как вы смеете! Я вам — не девка Пиа Задора, которая стрикулирует в исподних прозрачностях и без оных. Ах так! Вам угодно потешиться над моей избалованностью, упиться моими воскресными неурядицами, моим сам-себе-гувернерством. Прекрасно. Тогда с поспешностью бури я срываю с себя всякие полномочия и обрушиваюсь. Я обрушиваюсь в единственное мое спасилище от грядущего в вашем мурле. В мурле многоумного австралопитека, поросшего чешуей птеродактиля. И в холодном бешенстве листопада,

в его пылу, я на свитке подтирочного папируса начертаю прошение об отставке: «Служить бы рад — прислуживаться тошно!» И — отшаркаюсь росписью. И не да здравствуют ли:

а) грошовый уют моего плескалища!

б) игра отражений и светотени в глубинах и на поверхности грязей и вод!

в) пемзы, свободно дрейфующие по воле волн бесхозными экскрементами!

А вы, читающие настоящие строки,— вы будьте прокляты.

Какой из напитков коварнее брюта!
Ночами, подобно учтивому брату,
Он нас превозносит. Однако наутро
Карает мигренью с жестокостью Брута.

(Полеживая.)

Спокон веков в ряду остальных дней недели вторник справедливо почитался вторым.

(Посиживая.)

Как всегда между прочим заходит Стрюцкий. Шутили. Проказничали. Исповедался мне, что в прошлую среду, а также в четверг и пятницу не упустил своего.

«Слышал, слышал, суконная ваша душа,— будировал я, косясь на тюремщика одичалым узником, каковым и являлся.— Не могли уж пристойнее места сыскать. Первая леди все-таки, из князей. Таких, понимаете, в “Гранд-Отель” водить принято, а вы ее, ровно бы ложкомойку, в подвал потащили. Неловко-то как».

«Бес попутал,— оправдывался Орест.— Только, значит, вы от себя ее выпроводили, так я сразу ее вниз и увлек. Уж больно мне не терпелось кий кому-нибудь показать. Вы вот про канделябр ей какой-то твердили, а я все про кий да про кий. Кий, говорю, не желали бы осмотреть? Новый, мол, скользкий, буквально на днях из Бильбао выписали. Как же, как же, я, говорит, бильбоке большая поклонница. И только мы, стало быть, с ней спустились, тут мне и приспичило. Не удержал-

ся, поизнурил ее, матушку, поизнежил. А после три дня она у меня в служебке постоем стояла. Поверите ли, ни за что уезжать не хочет. Жительствует себе, как на даче. И такая ее эротика одолевает, что хоть караул кричи. Опомнитесь, говорю, Виктория Батьковна, не пора ли вам честь-то знать, не время ли и вправду на дачу отъехать, а то заждались, поди, телохранители ваши в сторожке на наших харчах. Ничего, говорит, подождут, дармоеды чертовы, куда им спешить. Так что я ее в конечном итоге к ребяткам своим спровадил, в каптерку перебазировал, где клавир. То-то, знаете ли, разговелись матросики с голодухи. Да и ей, как видно, на пользу. Словом, толково, толково все обустроилось».

Рассказывая эту развязную кавалергардскую быль, взор Ореста горел хорошим казарменным юмором.

«А — уехала ли?»

«Убыла, убыла. Нынче утром. Довольная вся укатила. Братишкам каждому на полштофа пожаловала».

«Вот и чудно, и скатертью ей дорога»,— ответил я.

«Значит, вы — не в претензии?» — заискивающе осведомился он.

«Господь с вами, Орест Модестович. Я — человек классического образования, полиглот, индивид почти посторонней формации. Я, может быть, толерантнее самого Талейрана, а вы меня проверяете на предмет русской ревности. Скушно, право».

«Ой, виноват,— отвечал Орест.— Утонченности мне еще не хватает в ухватках. Мужиковат-с».

«Ничего, обретете с годами». Сказав так, я умозрительно хлопнул его по плечу рукою и обессмыслил себе часть лица саблезубой улыбкой.

«А ведь немало, я чай, немало вы, Палисандр Александрович, бабушек кремлевских перелохматили»,— доброжелательно думал Орест Модестович, улыбаясь тоже.

«Никак нет,— раздумывал я ему в тон.— Немало. Да и вы, я гляжу, малый вовсе не промах».

«Отнюдь,— мыслил Стрюцкий.— Отнюдь».

И, отдавшись порыву взаимной приязни, мысленно мы протянули друг другу длани, ударились в интимные

воспоминания и с той минуты сделались большими приятелями. Крепка ты, острожная дружба!

Всякий день береди себе душу вопросами: «Если умру, сделается ли в свете в такой же степени пусто и одиноко, в какой это делалось по кончине Ганди и Бисмарка, Фарадея и Дизеля, Сэндрюса и Махно? Или так себе — пустовато? Всплакнут ли? И если всплакнут, то как: от души или просто для виду?»

(За пяльцами.)

«Все вышиваешь?» — спрашивает Андропов, придя.

«Крестиком, Юрий Гладимирович, все крестиком».

«Да кто тебя научил?»

«А — бабки тайницкие, Парки кремлевские. Нянчили-нянчили, холили-холили — ну и пристрастили, лукавицы, сироту. Шить ли, вязать ли, подштопать ли что — все умею. Несите, ежели что проходится. А посмотрите-ка, что за козочка тут у нас с вами выходит. А тут вот коника чалого ей пристроим под бок. Вот и будут они у нас жить-поживать, козлятушек наживать — бе да ме в теремке невысоком. А козлятушки — скок-поскок, жеребятушки — прыг да брык, одно копытце мамино, иное папино, и бородка у каждого клинышком, будто у Николай Александровича»*.

«А чего это вы притчами изъясняетесь,— заметил Андропов.— Что ли в юроды записались?»

«Глупею себе потихоньку, Юрий Гладимирович, глупею в тряпочку. Неволя, наверное, сказывается».

«Потерпите. Уж скоро все разрешится. В связи с обновлением конституции назревает амнистия. Судя по сведениям, вы под нее целиком подпадаете».

«Надеюсь, надеюсь. А если — нет? Что там, кстати, либералы поделывают? Предпринимают что-либо или все так, либеральничают?»

«Либералы оказывают на наших “ястребов” экстренное давление. И не только они. Ваш арест всколыхнул все лобби, все кулуары,— сказал Андропов. И мол-

* Здесь — Булганина.

вил: — Но есть и худые новости. Вчера после долгого следствия трибунал вынес дяде Лаврентию смертельный вердикт».

«Не глумитесь. Мой бедный дядя давно не внемлет вердиктам».

«Конечно. Я просто оговорился. Приговорили его двойника. Тот сидел за него под следствием. Между прочим, во всем сознался».

«Какая подлость! — охарактеризовал я деятельность провокатора.— И вы — не вмешались? Не обличили ложь его показаний?»

Тогда генерал-генерал объяснил, что действовал по предписаниям определенных сил, что в их директивах подчеркивалось — «Чистосердечному раскаянию не препятствовать, по признании — расстрелять» и что ослушаться — значило бы сгнить на рудниках как минимум.

Я удивился и рек: «Да какого, собственно, лешего затеян был сей позорный процесс, суд над тенью почтенного висельника!»

И Юрий ответил: «Определенным силам российские диссиденты ужасны, а твой дедоватый, лидер государственной эволюции, считался из них виднейшим. Так что душители наши стремились унизить его перед общественностью страны — пусть и мертвого. И они приказали нам инсценировать этот фарс. Тихий ужас, но мы ничтожны протестовать,— бормотал Хранитель.— Ведь без народа, от коего мы коварно удалены, мы суть нихиль».

Министр — потому что в каком-то там смысле Андропов служит министром — прошелся по ванной комнате. Остановился. Золотошвейный узор монограмм на юсуповских шлепанцах, ожидавших конца моей процедуры, министр рассмотрел. Знал: минует она, и, душистая, мягкая, кожа их вновь невольника чести собою ступни облечет.

Со двора доносились удары чего-то о что-то. «Это сколачивают трибуны для зрителей,— пояснил Ю. В.— Завтра в третьем часу состоится образцово-показательная экзекуция».

«Не моя, уповаю».

«Нет-нет,— ледяно улыбнулся Юрий.— Вас бы предупредили заблаговременно. Казнить будут символического Лаврентия».

«А почему в Архангельском?»

«А почему бы и нет? Чем не место?»

«Да место-то ничего, живописное. Только разве не проще по месту его заточения, в гарнизонных казармах? Иль где он себе там посиживает?»

«Проще. Но я полагал, Вам будет небезынтересно взглянуть, и распорядился организовать все здесь. Контрамарку получите у контролера, по списку».

В два двадцать мы с Юрием в сопровожденьи его и моей охраны заняли верхнюю ложу. В нижней расположилась администрация, гости. Поодаль, рядами сбегая к кирпичной стене, наспех выложенной архангельскими печниками, высилось полукружье амфитеатра. Сидевшие в нем обитатели равелина приветствовали нас звоном парадных кандал. Присутствующих обносили мороженым, прохладительными напитками. В зените роились перистые облака. Слышалась «Santa Lucia».

«Позвольте программку!» — окликнул я билетера.

«Извольте,— учтиво он протянул экземпляр.— А бинокль не берете?»

«Мерси, у меня имеется».

«Цейс?»

«Тридцать диоптрий. Трофейный».

В программе перечислялись действующие лица и исполнители, коротко излагались их анкетные данные, политические пристрастия, любимые блюда, цвета, изречения, произведенья искусства, заслуги и провинности перед Отечеством. В роли Лаврентия Берии занят был майор театральных войск Арчибальд Гекуба. Не зная действительной ситуации, трудно было бы усомниться в достоверности приговоренного: на арену, посыпанную опилками, вывели человека, похожего на моего давно покойного родственника до абсурда.

Оркестр заиграл увертюру. Расстрел начался.

Казнимого привалили к стене, нахлобучили на глаза ему заячий арестантский треух, вторично зачитали вердикт и лишь затем дали залп.

«Позор крестословам Высокого Альдебарана!» — успел вскричать Лжелаврентий. После чего он нелепо взмахнул руками и вскоре не шевелился, упав. Все было кончено. Представление определенно не удалось. Отточенное и лаконическое по форме, но выхолощенное по идейному содержанию, оно отзывалось упадническим буффо, отдавало обыденщиной и казенщиной.

«Что ж, Юрий Гладимирович, большая сценическая удача всего коллектива. Творили свежо, талантливо, с огоньком»,— делился я впечатлениями записного критика, когда, оставив место события, мы шли приусадебным парком, гуляя его обрывистыми аллеями.

Андропов не отвечал. Он выглядел огорченным.

«А вы, я смотрю, не в духе? Что так? Неудовлетворенность требовательного к себе художника? Или просто взгрустнулось? А может, вас обескуражил натурализм финала? Может, гибель героя была излишне бесповоротной?»

«Отчасти,— сказал генерал.— Отчасти».

«Позвольте, но разве игра дублера не стоит свеч? Непыльная в принципе деятельность, а оплачивается неплохо. Сидишь себе за кулисами, вживаешься потихоньку в образ, а тебе надбавка за вредность идет, за верность, за выслугу лет. Плюс всякие льготы, пайки, исключительное уважение. Ну, когда-никогда, а приходится выходить на публику — фигурировать — лоб подставлять. Да ведь сцена — место такое, жертвенное. Так что я даже не понимаю, что именно вам Гекуба».

«Сам майор тут почти ни при чем,— возражал Хранитель.— Сотрудник он был неприятный, заносчивый, и жалости у меня к нему нет. Здесь другое. Пару недель назад, будучи далеко не в ударе, заехал я к Арчибальду Матвеичу в Алешинский равелин на предмет подкидного и эдак продулся, что денег таких с собой у меня не случилось. Естественно, обещал на днях завезти — да запамятовал. И — вы видели? — Андропов остановился.— Вы видели, как он смотрел с арены? Он прямо

выедал меня взглядом. Тут-то и подойти бы да и отдать ему причитающееся, а мне, дураку, невдомек. И только когда уже унесли его, и пятно на опилках открылось, будто червовый туз,— дескать, козыри — вини,— тогда только я и вспомнил про долг. А у Лаврентия — верней, у Гекубы у этого,— на беду ни жены, ни детей, так что даже посмертно не через кого возвратить».

«А много ли?»

«Чепуха, девятьсот целковых с копейками. Впрочем, сколько бы ни было, тут же не в сумме суть. Тут порядочность моя на кону стояла. Человек, понимаешь, поверил, а я — обманул. Вот накладка!»

«Послушайте, Юрий Гладимирович, а вы не желали бы возвратить их через меня? Я же ему родственник некоторым образом. Он — как бы Лаврентий, я — как бы я. Играть так играть, согласитесь. Играть на театре и в карты, на бильярде и в жизнь. Неистово! С полной самоотдачей! На полный нерв! Играть, как играл Гекуба. А? Сумма, действительно, не ахти-бахти, но я бы не возражал. Мне скоро ведь ехать, а в дороге-то, знаете, как поиздержишься иной раз. Да и у вас на совести полегчает».

«В масть!» — обрадовался Андропов. Порывисто достал он свое портмоне и, заправски тасуя купюры, отсчитал мне свой долг моему казненному «дяде». Так в образе Юрия обнаружил я исключительную принципиальность, порядочность — грань дотоле дискретную.

Тесьма на гамаше у генерала давно развязалась, и он наклонился, чтоб завязать.

Тревожно. Ветра выворачивают листы на серебряную изнанку.

О папуасы! Не к ним ли, на Гальмагеру, мы постоянно стремимся уехать из наших прохладных держав. Уехать — чтобы лет тридцать спустя возвратиться домой посвежевшими, загорелыми, бодрыми. Большинству не дано. Забываясь в заботах высоких широт, мы выходим на пенсию бледнолицыми, вымороченными стариками.

(Листая «Нэшнел Джиографик».)

«Вопрос о вашем освобожденьи решен, но еще рассматривается»,— объявил Андропов, придя с картою двух полушарий Земли, которые из-за обилия континентов, архипелагов и островов смотрелись раздробленными черепными коробками на рентгеновском снимке.

Весь день провели мы в беседе, уславливаясь о шифрах, кодах, секретных каналах связи, уточняя дни явок и встреч с эмиссарами и «кротами» — в ресторанах, кафе и на частных квартирах Запада. Обсуждались также: последовательность моих действий по отношению к Сигизмунд Спиридонычу, к бабе Насте и стиль моего последнего к ней письма. «Люблю калоши» и прочую лирику пришлось опустить и перебелить все наново.

Инструктаж завершился плотной тайной вечерей.

Инспектируя состояние человечества в его настоящем виде — человечества с его беспримерной стрюцкостью и мелочизмом по пустякам,— мы по случаю собственной к нему принадлежности испытываем столький стыд, что невольно желается ринуться по стопам Лаврентия Павловича: взвинтить себя винтовой внутрибашенной лестницей — с маху толкнуть броней одетую дверь — и т. д. Но, бывает, зайдешь в воскресенье в церковь, поисповедуешься, а батюшка, намекнув про геенну, где мучаются руконаложники, непременно отговорит от затеи. Последнее это, скажет, дело, грех смертный. Потерпите, скажет, голубчик, покуда Господь уже сам приберет. Ну — и терпишь. А то бывает, что и священник не нужен, ибо со всей остротой осознаешь, что путь Лаврентия Павловича — тоже не выход. Затянутые в порочную круговерть инкарнаций, мы всякий раз по уходе обречены на возврат, словно бы на места своих преступлений или на вешалку за калошами. Так что самоубийством мы только портим себе всю карму. То есть вместо того, чтобы опять родиться в стенах Кремля и вести относительно сносное существование, родимся где-нибудь под забором, в нестиранном захолустье. Обретаясь в подобной мизерности выбора, видишь, как упованья на вечную и счастливую жизнь

за гробом рассыпаются в прах. И, смирясь, плетешься хоть как-то устраиваться в данной юдоли.

Минуют годы. Мы делаемся взрослей, безобразней. И крепнет наша душа, одеваясь броней коросты. И нам уже больше не совестно — ни за себя, ни за стрюцкое человечество. Мы становимся приспособленцами жизни, проводниками ее идей, ее клакерами. И даже неволю — тюрьмы и сумы, неволю обязанностей и прав предпочитаем петле, потому что смерть — фикция, нонсенс, самообман, не решенье вопроса. И, содрогаясь на дорогих подругах и милых приятельницах, с гордостью продолжаем мы род наш и, имея в виду: «Да здравствует homo sapiens!» — выдавливаем из себя сладострастный мык. И как паре калош, без конца марширующих в мировой грязи, но сработанных не за страх, а за совесть, нам нет ни цены, ни сносу.

(Инспектируя состояние человечества.)

День освобождения пришел в обличье андроповского глашатая в чесуче. Застав меня за клавиром, заслушался, загрустил. Я играл «Розенкрейцерову сонату». Закончив, взял из размякшей руки его справку об освобожденьи, скрепленную подписью Местоблюстителя, и, предъявив у ворот, вышел с ней за ограды — в луга. Там со всей очевидностью наличествовала относительная свобода. Грачи прилетели, а вечером прибудет Андропов, переночует, и о заре мы убудем с ним в Эмск. И Кремль распахнет нам свои чертоги.

Как найденный невзначай в кармане чьего-нибудь балахона засохший окурок расскажет порой о своем владельце куда убедительней, нежели тот поведал бы о себе самолично, так и возвращенное Вам вместе с мундиром удостоверение личности на имя какого-то мифического подхорунжего О. М. Стрюцкого заставит о чем-то надолго задуматься.

(Едучи.)

КНИГА ПОСЛАНИЯ

Знал ли я, едучи, что когда-нибудь публикация моего «Тюремного дневника», по страницам которого мы только что бережно пробежались, снищет мне репутацию одного из блистательных узников эры и вызовет эпидемию подражаний и отзывов.

«Экий волнительный человеческий документ!» — потрясенно напишет пекинская «Женьминьжебао».

«Очередные "Записки из Мертвого Дома"? Пускай, но какие!» — будет запальчиво вторить ей барселонская «Ой».

«Возьмите воздушную легкость Барышникова, добавьте немного дисгармоничности Шостаковича, помножьте на проникновенную исступленность Кремера — и вы получите хоть какое-то, пусть и самое отдаленное, представление о стиле этого еще одного русского»,— будет эстетствовать «Нью-Йорк Таймс».

Нет, ничего подобного я, конечно, не знал, не предвидел и не желал. Я просто ехал и ехал.

Страна просыпáлась. Просы́пался где-то в казармах горох барабанной побудки. Промчались куда-то атлеты. И с озабоченным видом прошествовали за катафалком какие-то люди. Жизнь продолжалась. И вот уж кленовые рощи предместий в припадке норд-оста бросают нам под копыта диковинной формы стручки — силуэты ушанов в паренье. Но — мимо, мимо.

Когда на Садовой мы отпустили извозчика и зашагали пешком, в мрачноватых дворах строений матери призывали детей к обеду. Свежело, и хотя в поле зрения мельтешил многочисленный сброд, дышалось великолепно, и трость все никак не могла приспособиться

к моему широкому шагу. Она спотыкалась, падала, отставала, и вдруг — совершенно непредсказуем! — я швырнул ее в холм золотого хлама. Ах, палые листья! В бытность мою без ума от Шопена, Шумана, Шишкина, я возлюбил вас всецело, словно сынов.

«Значит, едете?» — повторил Андропов излюбленный свой вопрос.

Решимость моя была неуклонна. «Не до седых же волос мне в кремлевских сиротах прозябать,— молвил я, на секунду забыв, что в силу наследственной алопеции на теле моем никогда не росло и не вырастет ни единого волоса.— Разумеется, еду, Юрий Гладимирович, лечу!»

«А — на чем?»

«Что — на чем?» — недопонял я.

«Едете»,— пояснил он.

Мысля глобально и никогда не задумываясь о частностях преодоленья пространств, ум мой, признаться, осекся. Действительно: плыть по морю или трястись чугункой? Задача не из простых, тем паче что авион за ненадежностью отпадает.

Из читанного я усвоил, что в поезде — даже в трансъевропейском экспрессе — Вас нет-нет да заденут в узком проходе локтем, подвергнут невыгодному сравнению, эпиграмме, частушке, ошпарят крутым кипятком из титана, во что-нибудь обыграют, ограбят и проч. А море — оно сулит испытания и похлеще. Достаточно вспомнить «Морскую болезнь» Куприна или «Гибель Титаника» Гауптмана. Зато путешествие пироскафом представило бы немало экзотики. В каком-нибудь Зонгульдаке, на пристани, старец в феске и шароварах продал бы вам кулек сушеной макрели. Словоохотлив, беззуб, этот некогда удалой человек поведал бы, как он сражался за Севастополь, и долго бы Вам казалось, что Вы — на родине. И только взглянув на сдачу, тускло мерцающую на ладони, Вы вдруг осознали бы: «Турция!» Точно такую ж макрель и в почти таком же кульке продал бы Вам старикос в Афинах, старчелло в Неаполе, стармен в Ливерпуле, старье в Лярошели, старинько в Парамарибо. А Ла-Манш несказанно порадовал бы

размахом чаячьих крыл: шутка ли — до полутора метров. С другой стороны, поездка трансъевропейским экспрессом сокращала время в пути, и, таким образом, дилемма казалась неразрешимой.

«Смотрите, шарманщик!» — прервал мои буридановы размышления Юрий.

На самом углу, возле рюмочной, лицом к расстилавшейся перед ним неширокой, однако вполне уважаемой площади, подвизался в своем цикличном искусстве маэстро от механизированной музыки. Вид последнего был мизерабль. Костюм его требовал штопки, если не кройки, а сам артист напоминал продавца макрели. Поскольку кепи шарманщика лежало у ног инструмента, постольку сквозняк шевелил седовласые кудри, накрученные на судьбоносные свитки. Звучала песня окраин и подворотен. Шарманщик пел. Певчий дрозд, что сидел на плече у хозяина, подпевал. Мне сделалось пусто, и, подойдя, я бросил в кепи значительных ассигнаций. Покопавшись в кудрях музыканта, дрозд вытянул и протянул мне один из свитков. Я развернул его и прочел зловещее в своей неопределенности указанье: «Поди туда — не знаю куда, сделай то — не знаю чего».

Прохожие миновались. Помедлив, проследовали и мы. Но покуда не удалились вполне, тягучая, малоприличная, но не лишенная обаянья баллада касалась наших ушей.

Пошел козел в кооператив,
Купил козе презерватив, —

пел шарманщик.

«Батюшки, сколько ж еще печали в российских напевах!» — вздохнул Андропов.

Я согласился.

«Вы, кстати, узнали его?» — продолжал дядя Ю.

«Шарманщика? Нет. А кто сей?»

«Владимир Высоцкий».

«Переменился, однако».

«Еще бы. Опала не красит».

«Опала? А мне кто-то сказывал, будто он испытал роковое, даже якобы умер».

«Не знаю, такого не слышал».

«Ах, Вольдемар, Вольдемар,— молвил я ему умогласно.— Вольно тебе было ссориться с власть предержащими. Видишь, к чему это привело: нужда, шарманство. А помнишь, как лихо гоняли мы с тобой почтарей по кремлевским крышам? Ведь то обстоятельство, что ты был сыном довольно мелкого крепостного служащего, не помешало мне протянуть тебе руку дружбы и покровительства. Младше тебя годами, я стал твоим чутким наставником, педагогом. Недурно перебирая на струнных в диапазоне от арфы до балалайки, я показал тебе ряд аккордов, придал твоей внешности артистический лоск, оказал протекцию и выдвинул на театр, на эстраду».

Мелодия не замирала. Шарманка пела о тех забавах нашего общего детства, что связаны были с чудесными каучуковыми колпачками, которые через знакомых старух доставал я в кремлевской аптеке:

Пошел козел на скотный двор
И показал козе прибор.
Коза сказала: «Не хочу».
Козел сказал: «Я заплачу».

Милое босоногое детство! Надув колпачки каким-то лабораторным газом *, мы отправляли их с Вольдемаром в пастельные эмские выси и с голубятни, что находилась в Смотрильной башне, следили их непорочный полет. Словно мыльные пузыри младенческих грез воспаряли они и лопались — там, в поднебесье. Мы — ликовали.

Сейчас, расталкивая локтями прохожую шваль, я опять размечтался. Закупить бы таких колпачков побольше, да лучшего качества, дабы не лопались — связать себя с ними единым вервием и, инсценировав незаконное пересечение рубежей, взмыть в послание!

«Вообразите, какое паблисити! — поделился я соображениями с Андроповым.— Масс-медиа положительно оборзеет. Мол, бла-бла-бла, бу-бу-бу! Неприличнейшее

* Газ брали у кремлевских алхимиков.

бегство века! Гениальный русский Икарус! Наследник мосье Монгольфье!»

Юрий бешено расхохотался и объявил, что больше того паблисити, которое у меня уже есть, мне не требуется, что меня уж и без того заждалась вся Европа и что кремлевское руководство, издерганное зарубежными «молниями» по моему вопросу, не чает выпроводить меня поскорее в послание, как в свое время Николай Александровича *.

«Вы, между прочим, не забудьте посетить старика,— наказал Хранитель.— Как-то они на Майорке там с Александрой Феодоровной устроились, не обижает ли кто».

Судьба Романовых, долгие годы живших в Кремле под вымышленной фамилией Булганины, а после — по настоянью извне — отпущенных с Богом на перманентный отдых к детям, на Запад, беспокоила и меня. В странноприимном доме раскоронованной пары, что стоял в живописной кедровой пуще возле Теремного Дворца, я всегда был не только частым, но и желанным гостем. И я обещал генералу, что уж кого-кого, а Романовых, будущих моих прародителей, навещу непременно. И не один, а совместно с бабулей, которая, верно, тоже давно их не видела.

Возвратились к проблеме транспорта. Отфутболивая лежавший на пути его баклажан, Юрий молвил: «А как насчет дирижабля?»

«Звучит идеально,— заметил я.— Особенно если учесть, что по правилам классицизма прекрасное, в данном случае мой вояж, обязано быть величаво». Но сразу оговорился, что слышал, будто пожары на дирижаблях давно охладили пыл их любителей, и к вящему самодовольству мещан, замечательно выведенных у Горького в образе жирных гагар, воздухоплаванье цеппелинами официально похерено.

Юрий крякнул и рек: «В богоспасаемой нашей отчизне, дражайший мой Палисандр, законы, препоны и прочая дребедень существует только для смертных.

* Здесь — Романова.

А к ним относиться мы не имеем участи». И, желчный, переступил Боровицкий порог.

Переступил и я.

Предотлетные дни мои в крепости были считаны. Я посвятил их сборам, пространным прогулкам по дальним кремлевским чащам, лугам, оврагам, купанью в прохладных ручьях и гейзерах. Затянутый в новый дорожный шлафрок, брожу элегичный, хожу элегантный и то составляю сонеты на случай, то пополняю запас париков, то с помощью челяди упаковываю багаж. А то — распаковываю. Или запрусь в Грановитых покоях — и знай освежаю себе эсперанто: «Глиссе, плиссе, эссе...»

Местоблюститель с супругой со мной не здороваются, якобы не узнавая, но я не в претензии и при встрече непременно им чем-нибудь помашу.

Наконец наступает утро, когда, вдохновенный, весь словно бы не от мира сего, Андропов вручает мне какие-то документы, деньги, литературный проездной билет, пакеты с инструкциями. По доброй освященной веками традиции мы на прощанье присаживаемся — встаем — охорашиваясь, вертимся перед псише — к парадному крыльцу подают экипаж — мы садимся и катим на летное поле, где, живо напоминая циклопический баклажан, виднеется цеппелин. Возле — сонм провожающих. Чуть ли не все крепостные и новодевичьи прибыли проводить сироту в путь-дорогу.

«Привет вам, привет, дорогие, но более — оревуар!»

Уже из гондолы заметил в толпе Берды Кербабаева и, перевесившись через поручень: «Здравствуй, братец! Ну что, прилетели твои летучки?»

«Нет, барин, теперь не сезон. Улетели».

«А матушка, матушка-то жива ли?»

«Какое жива, уж и кости, наверное, сгнили». Прекрасно зная, что кости в принципе не гниют, он явно бравировал скептицизмом, хотя по-прежнему презирал как эмоции, так и способы их выражения. Сдержанность его была заразительна. Беседуя с ним, Вы тоже практически не мигали и не употребляли рук.

А рядом — рядом с Берды — в берете и пелерине — стоял — кто бы Вы думали? — Брикабраков.

«Оле́, голубчик! Я буду ждать вас в Париже, на мосту Мирабо. Пусть чисто условно, но — вечно. Это ли не идеал отношений, подумайте. А может быть, лучше на пляс Пигаль, в бистро “Абажур”?»

«Д'акор!» Мотыльковый, букашливый, граф послал мне воздушное целованье.

«А где Жижи?»

«Дежурит»,— ответил курьер.

«Передайте ей мой поклон. Пожелайте удач по служебной линии и семейного счастья. До новых оказий!»*

Вежливо кашляя, на борту дирижабля возникли чины таможенной инспектуры с проверкою моих тюфяков и личности. В смысле предметов национального достояния я декларировал семь матрешек для бабушки и посмертную маску деда Григория для личного пользования. Себя как бесценную реликвию государства я не объявил и немного гордился своею контрабандистскою смелостью. Трюк удался. Чины оказались олухами, взяли под козырек и напутствовали: «Счастливого внукованья!»

Пилоты залили горючего и закурили по папиросе. Устройство задействовало. Качаясь, мы поднялись в стратосферу, и Кремль вместе с прилепившимся к нему Эмском предстал наглядным пособием по архитектуре веков. К дерзающему подходили стюарды в смокингах, о чем-то спрашивали — отвечали — приносили напитков и яств — старались понравиться — угодить — заискивающе извивались телами — были приторны — неумны — было душно — скушно — банально — и все

* Сноска в будущее. Мы не встретимся с Брикабраковым ни в Париже, ни в Хельсинки, ни в Севилье. Не встретимся никогда и нигде. Беспринципный проныра, авантюрист и — подобно мне — полиглот, он вскоре добавит к своей коллекции среднеарабский, бросит семью, изменит имя и внешность и затеряется где-то в Ливии. Начав там простым разносчиком верблюжьего молока и кумыса, граф кончит совсем неважно. Как-то на ужине у Банисадра, в Ницце, я невзначай присмотрюсь к фотографии международной марионетки в Триполи Моаммра Каддафи и узнаю в нем нашего Брикабракова.

это я почему-то должен описывать. Надоело. Добавлю только, что между тем как пушистая, хвостатая и игривая, в рощах урочищ и на приволье равнин опочила себе зима,— отобедав, мне тоже вздремнулось.

Очнулся я от чьего-то взора. Пористая и овальная, будто фиброма души,— через иллюминатор — на меня загляделась Луна.

«Где мы?» — схватил я за хлястик мятущегося проходом стюарда.

«Перелетаем границу, сэр».

Я оглянулся. Слезливо подмигивая кому-то Всевышнему бельмами ночников, творила свою хронографию варварская страна чайковских и чичиковых, сидоровых и петровых, гениев и злодеев. И я сказал ей:

«О ты, оставляемая мною из лучших побуждений и до лучших времен! Не гляди сиротливо из-за острожных решеток, из-под соломенных крыш и чиновничьих козырьков, из замочных скважин и крепостных бойниц. Не пой грустных песен — не пей из копытца — поди туда не знаю куда — сотвори то не знаю чего — только бы не преглупо — только бы не предико. Да не укради — да не убий — не лжесвидетельствуй себе же во зло пред ужасным судом истории. Стань честнее. Будь доброй и славной. Благопристойной и чистой. Юродивой и святой. Будь, если можешь, счастливой. Будь!»

Ответьте, Биограф, в чем фокус? За что мы столь возлюбили Россию, что, и оставив ее пределы — оставив надолго, если не навсегда,— все никак не можем о ней не терзаться, не маяться — ну за что? За уменье пожить на широкий трен? За кротость и незлобивость ее монархов? За лихость ее лихачей, палачей и разбойников? За расхристанность братьев ее Карамазовых и хулиганов Раскольниковых? А может, за расстегаи, за шанежки, за блины с икрою? Что ж, в частности и за это. Но более мы ее возлюбили за то, что в ней протекло большинство воплощений наших; что почти всякий раз утонченная наша Психея, покинув избытую оболочку на усмотрение академиков, ретируется в плотное русское тело. В тело русского созерцателя и работника, в живые мощи бессонного борзописца и пса борзого,

в тушу лавочника и в тумбу молочницы, в белошвейку и в скакуна. Странно, дивно. Ведь там-то, в зыбких мирах, на досугах, чего бы, казалось, не выбрать Отчизну теплее, уютнее, плоть постройнее, поглаже, приятней наружностью. Нет, даже и там, в непочатом краю свобод, сызнова мы выбираем русские судьбы, сызнова возвращаемся на родные круги: кто на каторгу, кто в присутствие, кто на паперть, а кому положено править — в Сенат. Ибо русскость есть онтологическое качество наших душ, которое неиссякаемо *.

Сколько раз, совершая деловые прогулки по кладбищам многих стран, доводилось выслушивать сетования упокоенных там соотечественников, точнее, незримых тел их желаний, на жестокую эмигрантскую грусть. Не ведая в слепоте душевной, как вернуться в пенаты, они десятилетиями ожидали достойных оказий, а не дождавшись, вселялись в новорожденных летучих мышей и с весною — неслись. А если не было и таких вакансий, то принимали обличие сороконожек, цикад и гадов, чтобы усеменить, упрыгать или хоть уползти восвояси.

Журнал «Хай Сосаэти»** в канун Рождества присылает мне традиционную анкету. На вопрос «Ваше представление о несчастье?» я всегда отвечаю: «Живя на чужбине, внезапно обнаружить себя прохладным и гибким существом, пресмыкающимся о родине: тихий, шипящий ужас». «А — образ счастья?» — допытывается журнал. Мой ответ: «Пребывая в здравом уме и твердой памяти, в тепле и достатке, а главное — в своей собственной плоти, селиться в Отчизне, следить порханье ее снегов, вкушать голубики ее со сливками — да дрочён, да оладьев — внимать ее благовестам — слушать узорчатых беспрестанных птах — и по мере сил и возможностей содействовать ее величавости».

Родина! Мы ли не прикипели к твоим щедротам всем тщедушием наших астралов. И не наши ли судьбы сплетаются, о Россия, в твою.

* Подробней об этом см. в моих «Кармических сочинениях» в девяти томах, издательство «Славянский Базар».

** «Высшее общество» *(англ.)*.

Встав из кресел, иду на прогулочную площадку гондолы. Земля пробуждается нехотя. Исподволь светает ее изможденный лик.

«Эуропа?» — спросил я у первого штурмана и кивнул на бледнеющие внизу огни.

«Си, си, эсто эс Эуропа»,— ответил он. В петлицах его буржуазной тужурки бликовал перламутр.

«Утр,— нашел я к нему хорошую рифму.— Одно из утр».

Тусклея геральдикой муниципалитетов, ржавея рельсами конок, спицами вело, клинками штыков, эспадронов и шпицами кирх, под нами лежала изящная безделушка Европы.

На поле, где мы приземлились в одиннадцать с четвертью, нас — то есть меня с тюфяками — никто не встречал. Это входило в противоречье с инструкцией, ибо в ней утверждалось, что «коренастый, смуглый, лет тридцати пяти, с лоснящимися и переразвитыми, как у зайца, щеками и вывернутыми почти наизнанку губами носильщик за номером шестьсот шестьдесят шесть погрузит Ваше имущество на пролетку и отвезет Вас в имение Анастасии, где»,— но дальше начинался другой параграф инструкции.

Свив по пути венок из анютиных глазок и кошачьего котовяка, я украсил им темя и бодро прошествовал в здание аэростанции — аляповатое и запущенное строение позднего рококо с неряшливо расписанными под Миро плафонами. И пускай носильщика под искомым номером здесь не было тоже — как не было никаких носильщиков вовсе — известная административно-хозяйственная жизнь в помещении теплилась. Несмотря на отсутствие паспортного контроля, видимость последнего, пусть и простым отданием чести, осуществлялась. А в мезонине, куда я поднялся из праздного любопытства, правили бритву, сучили ножницами, прыскали смехом пульверизатора, нафабривали усы. Так создавалась видимость парикмахерской. Производилось и впечатление вещехранилища. Личность, торчавшая в его оцинкованном жерле, в обмен на пятнадцать штук багажа протянула жетон сандуновского типа.

«Один?»

«Берите, это последний».

Поскольку большего никто не сулит, беру не торгуясь.

«А длинное не сдаете?»

«Баул? Исключается». И, споткнувшись о чистильщика щиблет (погода, по его мнению, стояла блестящая), я вышел на площадь. Впрочем, и тут, где публики было гораздо больше, нежели в здании станции, П. никто не встречал. Хотя по тому, с каким интересом его все рассматривали, он мог заключить, что инкогнито не состоялось — он узнан, и официальная цель приезда его — ни для кого не секрет.

«На резвых, Ваше Степенство!» — гортанно зазывали извозчики, прохлаждавшиеся у сельтерского киоска.

Усевшись, мы покатили.

Местность, ниспосланная мне Провидением в качестве придорожного антуража, ласкала глаз путешественника завидным разнообразием. Произрастали оршады, слюдянисто отсвечивали потоки, пруды, в пущах водились фазаны и вепрь. А в чертогах, аркады которых увил честолюбец плющ, благоденствовала местная аристократия. Виднелись также фаллоидные водонапорные башни, старинные акведуки и храмы. В них — губными гармониками архангелов — светозарно и архаично — гремели органы.

«А далеко ли путь держите, осмелюсь спросить»,— сказал мой возница, дохнув на автора строк сыроватым грибным захолустьем полипов и альвеол да осеннею скукой пищеварительного тракта, заштатного и разъезженного.

«Не знаешь будто»,— ответил я сему простонародному человеку в холщовой рубахе навыпуск и в мешковатых, заправленных прямо в боты штанах.

«Откуда мне знать,— обернулся он.— Чай, на вас не написано».

«А — в печати?»

«Не чтец я, сударь, все недосуг: то пятое, то десятое».

«Ай да лукавец!» — воскликнул я мысленно и коротко приказал: «К бабуле!»

«Бабуля — дело хорошее,— отозвался возница.— Только вот адрес бы раздобыть».

«Милки-уэй,— сказал я вознице, побежденный его притворством.— Шато Мулен де Сен Лу».

«Доставим»,— с деланной невозмутимостью молвил он.

«Погоняй же!» — воскликнул я в нетерпенье. Затем я достал из кармана своего кимоно инструкции и перечел. Ни в них, ни в моем намерении им прилежно последовать не произошло никаких изменений. И это порадовало. План действий, который мы с Юрием разрабатывали в Архангельском равелине, был дерзок и вкратце таков.

Вот я прибываю, вхожу. Вот вскоре после взаимных приветствий и светской, т. е. ни к чему не обязывающей болтовни предлагаю в кратчайший срок узаконить наши назревшие отношения и приступить к ним. Вот требую заблаговременного оповещения об увнучении через бельведерскую и прочую прессу. Затем предстояло всячески позаботиться о туалетах и пригласить наиболее видных деятелей послания, не говоря о сиятельствующих иноплеменниках. Прием имелось в виду обставить незаурядно. Следовало создать атмосферу избранности, для чего стол в гостиной накрыть на персон девяносто, не более; остальные закусывают а-ля фуршет, на кухне и в дворницкой. Хорошо пригласить тапера. Пускай анфилады залов закружатся в вихре гавота! Пусть все смеются и шутят! А собственное поведение по преимуществу сдержанное. Улыбку производить в основном уголками рта. С лицами относительно невысокого происхождения соблюдать дистанцию. Чокаться выборочно. На брудершафт пить только с прямыми наследниками престолов. По завершении церемонии, м. б. в тот же вечер, начать сбор сведений о крестословских связях семьи. Полученную информацию передавать Андропову в Эмск дипломатическими каналами. Методы вызнавания не оговаривались, но разумелись сами собой. О внучатые ласки! перебирая любимые снимки

бабули, переданные мне Юрием накануне отлета, я уже предвкушал вас.

План дальнейших поступков долженствовал воспоследовать.

Тени укоротились. Парит.

«Что, братец, никак гроза собирается?» — толкаю я в бок мечтательно погоняющего возницу.

«Как угодно-с»,— роняет он мрачно.

Замок, или, если угодно, шато, к которому мы наконец подъезжаем извилистым и кремнистым изволоком, стоит на взлобье горы и построено в вычурном раннеготическом стиле. Сердце, изболевшееся по семейным узам и обязательствам, скачет и дает антраша.

«Мир тебе, тихая заграничная гавань, пристанище моего исковерканного сиротства!»

Шато молчало.

Возлюбя наезжать куда бы то ни было приятным сюрпризом, распоряжаюсь остановиться не доезжая, даю вознице банкноту в одиннадцать кло, что по тем временам почиталось немалой суммой, и далее отправляюсь бесшумным пешком. Кабриолет разворачивается и пропадает.

Неспешно, стараясь не причинить резонанс, следую я подъемным мостом, переброшенным через ущелье какой-то гремучей реки, и вступаю на тот ее берег. И тут случается любопытнейший казус.

Поодаль, у полноводного озера, на софе картинно раскинулась дама того несказанного возраста, в котором — как полагает наша всезнающая молодежь — все в прошлом. Этюдник, мольберт — не раскрыты. Их, может быть, и не видно. Зато на плетенной из марокканской ветлы козетке расставлен уже недоеденный пока натюрморт: пол-арбуза, огрызок яблока, остатки кроличьих лапок, куриных крыльев, поросячих мозгов и похожая на вырезанный аппендикс колбаска венская.

Оценивая этот концептуальный шедевр, я не мог не поразиться своей графологической прозорливости: бабуля была-таки не чужда искусствам! Причем не только этюд, а и облик самой художницы будили в ее без пяти

минут внуке какие-то встречные артистические флюиды. Да и поза лежавшей внушала самые неподдельные чувства. Тем паче что новомодный купальник, пошитый под пеньюар, почти что не скрадывал ее старофламандских форм.

«Анастасий Николаевна, бабуля! — кричу я, весь впечатленье.— Я прибыл!»

И знаете, что примечательно? Та не слышит. Забылась ли? Впала ли в каталепсию? В летаргический сон? Говорят, на пленэре последний особенно освежающ. Или с ней нечто вполне летальное? Коли так, то во избежание кривотолков мне следовало бы немедленно удалиться. Ибо законы чужой страны, при всем нашем к ним уважении, зачастую грубы и абсурдны. Есть, например, державы, где термин «презумпция невиновности» почитается надругательством над памятью жертвы. А может быть, бабушка попросту тугоуха? И вот — ничего не известно. Как вдруг художница восстает из мертвых и сладко потягивается.

«Погодите, я сделаю вам потягуси!» — заботливо устремляется к ней дерзающее лицо.

Вы смотрите сверху: просторное озеро, дюны, кусты и луг. Лугом, стремясь оказать внучатые ласки бабушке, стремится солидный молодой человек в калошах, перчатках и канотье. Стоя к нему спиной, та не видит бегущего. Несомый им на плече баул стесняет его движенья. Отброшенный на бегу в изумрудную зелень трав, причудливо он в них пестреет. Участливо простирает бегущий к стоящей руки свои и, достигнув, ладонью ей прикрывает глаза.

«Угадайте-ка, угадайте-ка, кто приехал»,— интриговал он старую женщину, подталкивая ее обратно к софе.

Та — вырывается. Игриво она запрокидывает чело и, кокетливо ковыляя, уходит в бега. Вызов принят. Неловкий, скинув пыльник, а заодно обрушив в травы и натюрморт, приезжий припускается следом. Посохом служит ему в пути огромный, небрежно сложенный зонт, по случаю приобретенный на крепостной барахолке, а шнурок унаследованного от дяди пенсне так

и вьется. И в этом горячечном беге по дюнам, в этой полушутливой, полуребячливой, но по-своему бескомпромиссной погоне по свежему следу определенно есть что-то от символистской эстетики. А полдневное солнце (Вы смотрите снизу) лоснится, и ластится, и ликует.

Нагнав беглянку, молодой человек опрокидывает и ее. Только уже не в зелень, не в изумруд, а в оранжевый жар песка. Обрушивается и сам. Случайно раскрывшийся при падении зонт целомудренно осеняет собой все дальнейшие действия пары, лишая Вас элементарного зрительского удовольствия. Вы смотрите, но ничего не видите . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

В процессе мероприятия я заглянул ей в ушные раковины. Ларчик, конечно же, открывался просто: входы в их лабиринты, поросшие чуть ли не кукушкиным льном, закупорены были ватой. Достав из карманного несессера лупу и филателистический мой пинцет, я скупыми, но точными жестами Гиппократа вернул пациентку в мир звуков. И тут, при виде изъятых шариков, скатившихся на песок, словно с холста эпатирующего супернатуралиста, меня передернуло. Беглянка в ответ забилась, заерзала и вскоре обмякла. Обмяк и я.

Пахло водорослями.

Потом, когда, оживленно болтая о том да о сем, мы шли, направляясь вдоль берега в сторону средневеково мрачневшего за кипарисами замка, я вдруг обратил внимание, что болтаю-то, в сущности, только я, а спутница — просто жует губами. И отстранился.

«Бабуля, а что это вы не в духах? Поделитесь».

Не размыкая уст, та глядела несколько волком. Резонно было подумать, что бабушка не желает со мною беседовать из чисто светских условностей: мы ведь были еще не представлены. И тогда, опередив незнакомку на

расстояние, показавшееся мне почтительным, я встал к ней анфас, сделал книксен и скромно назвался. Жертва своей художнической рассеянности и дальнорукости, я лишь тут рассмотрел ее подобающим образом.

Всей своей худородной и, я бы сказал, непотребной внешностью составляла она прямую противоположность образу, что сложился в моем сознании в качестве идеала бабушки. Я ведь грезил о бабушке крепких моральных устоев, о бабушке высоконравственной, строгой и необыденной; эта же виделась бабушкой, вообще говоря,— общепринятой, общедоступной, с порочными желваками на не имеющем никакого значенья лице. Вдобавок она только что разделила лоно своей природы с практически ей незнакомым странником, и, будучи им, я знал о ее падении прямо из первых рук и возможности усомниться в нем — не усматривал. Естественно, это было очень любезно с ее стороны, хотя это же делало ее в моих глазах бабушкой вовсе публичной, бабушкой, с позволения выразиться, полусвета.

«Я обознался,— сказал я себе в ту минуту.— Такая не может быть моей бабушкой». И оказался прав. Не возвратив реверанса, старуха сухо представилась именем, которое и не намекало на наше будущее родство.

«Трухильда Абрего»,— сказала она прокуренным, как у Фон Стаде, меццо-сопрано и безо всякого перехода потребовала у меня денег за якобы оказанные ею услуги.

Меркантилизм Трухильды показался мне отвратителен.

«Не вымогайте! — бросил я ей.— Неизвестно еще, кто кому их оказывал».

«Сибелий!» — плаксиво воззвала она к тому, кого нигде покуда не наблюдалось.

«К вашим услугам»,— густо протрубил человек, вышагивая из беседки. Он был дремуч, монструозен. Рот его был утыкан тупыми, на совесть сработанными зубами. И он не спеша пережевывал ими какую-то сыпучую снедь, черпая ее большими горстями из кармана своего дворницкого передника. Судя по запаху, да и по виду, то был сушеный горох. Тяжелые складки на лбу едока

свидетельствовали о трудном детстве, о сложных духовных исканиях юности, а бритый череп макроцефала не предвещал ничего хорошего. И еще меньше хорошего предвещала дубина, что держал он в одной из рук.

Я смешался.

«Сибелий, меня обманули,— притворно всхлипывала Трухильда.— Скажите им, пусть заплатят».

«Платите»,— буднично предложил мне Сибелий. Очи его были круглы и печальны, словно часы без стрелок.

Я заплатил.

«А, то-то же»,— назидательно сказала она. Обильно слюнявя пальцы, Трухильда считала данные мною кло. Сочтя, она сунула их в чулок. Впрочем, не все; две или три кредитки старуха дала Сибелию. Тот опустил их в карман, где и смешал с горохом.

«Послушайте,— осведомился я корректно,— а вы тут, собственно, кто?»

«Кто надо»,— проинформировал он.

«Не грубите,— сказала ему Трухильда.— Господин уже расплатился».

Сибелий хмыкнул.

«Сибелий — наш управляющий»,— объяснила Трухильда.

«А вы?» — молвил я.

«Я — кухарка».

«Боже милостивый! — подумалось мне с какою-то сардонической жутью.— Связаться с продажной женщиной, да еще и с кухаркой!»

«Откуда такая разборчивость»,— съязвил мне внутренний голос, намекая на шуры-муры с Жижи и Ш.

«Оставьте! — приказал я ему.— Жижи — не в счет. То была абсолютно абстрактная страсть, опрокинутая куда-то вовне. Моментальная вспышка. А Ш.— я имел к ней *чувство*. А *чувство*, м. г., оно, как проворовавшийся Громовержец: спалит все дотла — и спишет *. А главное, главное, мы никогда не вступали

* Гроза, несмотря на индифферентное отношение к ней фаэтонщика, действительно собиралась.

в товаро-денежные отношения, и никогда дух наживы не витал в наших кельях!»

«Так,— сказал я Трухильде.— А где хозяева?»

«На галерее,— сказала она.— Пойдемте».

Накрапывало. На западе озоровали зарницы. Тень Сибелия с палицей на плече следовала за нами.

«А отчего это меня не встречали нынче?» — чтоб не молчать, обратился я к моим чичероне.

«Знать, птица невелика»,— рек Сибелий.

Тогда, указывая на него большим пальцем, Трухильда сказала: «Не обращайте внимания, мы у нас не в себе, потому что, когда наша матушка была на сносях, случился потоп, и ее потоптали гиппопотамы».

«Ложь! — с прогорклой обидой в горле крикнул Сибелий.— Страусы!»

«Гиппопотамы»,— спокойно возразила кухарка.

«Страусы!» — заорал Сибелий. Пароксизм настойчивости исказил его вдавленный лик.

«Гиппопотамы, братец, гиппопотамы»,— ехидно твердила Трухильда и пародировала их разбитную походку: шла, лукаво дразня ягодицами, лакомо косолапя.

«Страусы! Страусы!» Управляющий отбросил дубину и в намерении произвести надлежащий эффект запрыгал и замахал руками. Как страус он был воплощенье гротеска. Сыпавшийся из его кармана горох мешался с пошедшим градом.

«Не верьте ему,— говорила Трухильда.— Он все перепутал. В детстве мы жили в Австралии, но родились в Месопотамии — сразу после потопа. Так что это могли быть только гиппопотамы. Только».

«Вы — близнецы?»

«Разумеется,— возражала старуха.— Разве не видно?»

Действительно, не было бы на свете двух более схожих между собою людей, если бы не их поразительное различие. Не усматривая, однако, принципиальной разницы, там или тут, равно как те или эти твари атаковали мать нашего управляющего и кухарки, я дал себе слово, что нынче же похлопочу об немедленном

их увольнении. И, оставив спорящих, зашагал круто к ветру.

Вскоре я оказался на галерее замка. Каменная лестница вела куда-то на верх, вероятно, на самый. Лакей, кативший вдоль балюстрады легкий холодный ужин с клико, молвил, что вследствие непогоды господа перешли в каминную, и спросил меня, как доложить.

«Доложи: Аноним из России,— ответил я.— Знатный странник».

Слуга хотел уже уходить, когда я подумал, что следовало бы явиться в сей дом на правах своего человека, но только не как-нибудь, а как-нибудь так, чтобы сделать явление знаменательным. И, не желая впутывать в это узкосемейное дело лакея, я дал последнему денег и приказал ничего не докладывать.

«Воля ваша»,— ответил взяточник, удаляясь.

«Мир стяжательства и коррупции,— мыслил я по поводу мира, в котором приходится жить.— Мир, где царит расчет, аккуратность, точность и процветает посредственность. Мир филистеров и человеков в футлярах. Мир, где толпы по-прежнему взыскуют лишь хлеба и зрелищ, а глас поэта презрительно незамечаем». Так, слушая, как, постукивая на стыках замшелых плит, отъезжает закусочная околесица, мыслил я в наступающем одиночестве. Щеголеватые, но бесплотные рыцари, украшавшие перспективу аркад, лишь усугубляли его. Правда, я все-таки не отказал себе в удовольствии осмотреть их ратную утварь. Их латы, копья, мечи относились к эпохе развитого кузнечного производства, когда металлические отношения определили весь ход поступательного процесса, когда деревянные сохи сменились железными, а маски и колпаки арлекинов — забралами и киверами кихотов. Однако и та эпоха пришла в упадок. Она обветшала и рухнула. И вот уже я, обитатель очередного столетья, любуюсь, как на сих смехотворных сейчас доспехах бликуют зарницы нового дня, каждая из которых способна придать энергию тысячам электрических стульев. Теперь я знал: сын эры высокого

напряженья, я должен войти в каминную нашего замка не иначе как с первым ударом грома, подчеркивая тем самым огромность явления, указывая на его созвучие времени.

Облокотившись на балюстраду, я ждал. Пейзаж — расстилался. Цвета грозового фронта были сурик и ртуть. В зияньях — закатная медь и цинк. Ветер — сыр и порывист.

И дальний колокол.

Непогода и быстро наступавшая темнота обострили мне все инстинкты и чувства, и в какое-то из мгновений я понял, что далеко не впервые стою на галерее данного замка, обозревая его окрестности. Я опознал их детально. То был эффект умозрения, доказывающий регулярную обращаемость нашу на круговых путях бытия: воспоминанье о будущем, провиденье прошлого. На Западе сей феномен зовут дежавю, у нас — ужебыло.

Теснимый армадой туч, я медленно отступал в направленьи каминной и наконец оказался в ее преддверье. Типичный образчик барочных сеней с в меру выспренним рококо пилястров и каннелюр, преддверье было украшено фресками Боттичелли, Мессины, Вальполичелло, Ламбруско, Кампари, Перно и других искусников Кватроченто. Смоленой гикори дверь содержала мозаичные вкрапления на сюжеты древних шахматных композиторов и геральдистов. Была приоткрыта.

Разговор в каминной, невольным слушателем которого я стал, перекликался с моими недавними размышлениями.

«Мой умовывод пока что тот,— говорил кто-то голосом, лишенным каких бы то ни было нот упования,— что суть нашего жизнесмысла непознаваема».

«Типичная ницшеанская бесовщина,— заметил голос благовоспитанного клаксона.— Мы живем в восхитительные века,— витийствовал он.— Непрестанно ведутся поиски утраченного времени, ищутся и находятся новые манускрипты, скрижали, бесценные факты отшумевших эпох!»

«Мне бы ваши заботы,— насмешливо мямлил ему в ответ собеседник.— А впрочем, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Гром раздался. И со словами «Мир дому сему!» возник я в проеме дверей.

В просторной комнате, за столом, покрытым бязевой скатертью, и в крахмальных сорочках ужинали два господина различных статей и лет. Перед ними за занавесом из старых кольчуг разыгрывалась феерическая инферналия домашнего очага. Вещавший голосом благовоспитанного клаксона был румяная круглая сдоба недавней, явно университетской, выпечки. Прочий, с голосом, лишенным нот упования, был раскисший в бульоне ржаной гренок пенсионного возраста. В значительное отличие от первого, сидевшего на рыцарском кресле, второй господин восседал на высокой конструкции для расслабленных, что будила в Вашем воображении образ турус на колесах. Кроме колес у нее различались страховочные перильца по трем сторонам, спинка и полка для ночного горшка под сиденьем с овальным провалом. Живость, правда, оставила восседавшего не вполне: он, казалось, не только переживал, но также и пережевывал ужин всем сердцем.

«Вы — ретроград! — упрекнул я его с порога.— В эпоху, когда целым нациям отшибает коллективную память, нам, этрускам, следует особенно дорожить всякой справкой о прошлом. Ибо кто же мы станем без нашей архивной документации, куда погрядем. История! Светоч гуманитарных наук, подумайте. Да народ без нее все равно что беспаспортный беглый каторжник: никаких перспектив, бродяга».

«С кем честь имею?» — вяло, хоть не без некоторой иронии, поинтересовался гренок.

«Палисандр Дальберг»,— ответил П., резко вскидывая подбородок.

Он был в центре внимания и, стоя на фоне вешалки, несколько рисовался.

«А вы, я догадываюсь, Сигизмунд Спиридонович?»

«Боюсь, я скорее Адам Милорадович,— ответил гренок и обернулся к своему сотрапезнику за поддержкой: — Ведь так?»

«Вне сомнений. Вы Адам Милорадович Навзнич. А я — Модерати Петр Федорович, ваш зять, опекун и, если угодно, нотариально заверенное лицо, адвокат»,— косвенно отрекомендовался тот.

«Я прибыл сюда по делам деликатного свойства и желал бы видеть хозяев именья»,— сказал Палисандр.

«Хозяин имения я,— сказал Адам Милорадович.— Но насколько мне представляется, я такими делами не занимаюсь. Да и у дел ли я в целом? Навряд ли, навряд». Он вздохнул.

«Вы теперь не у дел,— мягко молвил ему Модерати.— Вы отдыхаете».

«Вот видите,— сказал Палисандру Адам Милорадович,— я оказался прав. Я теперь на заслуженном отдыхе, не у дел, и мой нотариальный свидетель обеспечивает мне алиби. Поэтому не доверять мне у вас нет никаких оснований». И он удовлетворенно высморкался.

«А вы не ошиблись случайно замком?» — спросил Модерати.

«Не думаю,— отвечал Палисандр.— Это ведь Мулен де Сен Лу?»

«Как будто»,— сказал адвокат.

«Быть может,— сказал тогда Палисандр,— может быть, вы смогли бы мне указать, где в таком случае жительствуют барон Чавчавадзе-Оглы и супруга его Anastasia».

«Жительствуют? Мне кажется, это слово не очень точно определяет их нынешнюю ситуацию. Вы, верно, оговорились. Я думаю, вы хотите спросить, где они упокоены».

«Нет»,— сказал Палисандр. «Non,— сказал он.— Nolo».

«Они упокоены здесь, в Бельведере»,— сказал адвокат.

«О горе!» — вскричал ему Палисандр.

Известие было действительно не из приятных, т. к. в случае его подтверждения рушились все заграничные

планы. Казалось, будь его воля, П. кликнул бы стражников с алебардами, и они укоротили б зловестника на целую голову.

«Клянитесь!» — сказал приезжий.

«Слово душеприказчика. И если желаете, я покажу вам свидетельства об их смерти, нотариально заверенные лично мною. Точнее — копии, потому что оригиналы свидетельств хранятся в мэрии. Но копии довольно хорошие, четкие».

«Ах,— вздохнул Адам Милорадович, кушая бланманже.— Я тоже, признаться, долго не мог поверить в эти кончины. Вы помните?»

«Да-да,— подтвердил Модерати,— достаточно долго».

«Чудесные были люди,— делился воспоминаниями Адам Милорадович.— Благодетельные, работящие. Не их ли собственными руками разбита клумба у нашего дома призрения. Вообразите: огромная клумба с кактусами. Просто прелестно. Ничто так не украшает позднюю старость, как кактусы, говаривали покойники. А как они огорчались, как сетовали на смерть, когда уходил кто-нибудь даже не слишком близкий. И ни одна панихида у нас в долине не обходилась без их живейшего участия». Навзнич был неподдельно эпитафичен, и бланманже капало ему на слюнявчик. «Однажды я спрашиваю: баронесса, ну что же вы с Сигизмунд Спиридонычем так расстраиваетесь всякий раз. Неужто все они стоят ваших терзаний? И знаете, что она отвечала? Дурные, говорит, батюшка, люди не умирают. И вот вам пожалуйста: сами же и скончались. Не правда ли?»

«Но как же это могло случиться!» — сказал Палисандр, мысленно заламывая себе руки.

«По-разному,— возражал Модерати.— Барон хворал-хворал да и отошел понемногу. А баронесса — та в одночасье отмучилась. Дело житейское, знаете. А имение Адаму Милорадовичу перешло. Я как раз ему и оформил все в соответствии с завещанием».

«А вы кто им будете?» — обратился я к Навзничу.

«Адам Милорадович приходился им внуком,— объяснил адвокат.— Приемным внуком».

«Не хотите ли вы сказать, что его увнучили?»

«Абсолютно».

«Да почему — его? На каком основании?» Я расстегнул себе верхний крюк.

«На основании результатов конкурса»,— рек Модерати.

«А разве был конкурс?»

«Негласный. И сколько помнится, первой кандидатурой шел какой-то высокородный отпрыск из Эмска. Шел-шел, да задерживался, все что-то не ехал, а позже мелькнуло, кажется, сообщение, что он плохо кончил. Так что его и ждать перестали».

Чудовищная гипотеза просияла в моем удрученном мозгу, слушая адвоката: «Албанское Танго», в котором я прочитал объявленье покойных ныне супругов, было не первой свежести. Подтвержденье догадке сыскалось мигом. Я вспомнил опубликованное в нем пророчество футуролога, что белье для дам зашагает в ногу с прогрессом. Теперь, находясь в каминной шато Мулен де Сен Лу, я умозрительно переворошил туалеты своих симпатий — воспитательниц, нянь и тетушек разных пор — и понял, что время, предсказанное пророком, давно наступило. Ибо белье переставало быть актуальным уже во дни моих благородных ремесленных классов, что, увы, и содействовало падению нравов.

Меня передернуло.

«Что это с вами? — обеспокоился Модерати.— Вам дурно?»

«Мне странно»,— сказал Палисандр.

Ему предложили раздеться, стул и кружку козьего молока.

Он сбросил безвольно пыльник, однако ни пить, ни садиться не стал.

С другой стороны, связал я прерванную нить размышлений, в «Албанском Танго» было помещено сообщение о самоубийстве Лаврентия, каковое событие пришлось уже на мои монастырские дни, то есть случилось почти недавно.

Дабы преодолеть открывшиеся вдруг временные «ножницы», я довольно легко убедил себя в том, что

русская мода несколько опережает этрусскую: то, что пока еще носят в консервативной Европе, в России уже перестали. Куда труднее было избавиться от непривычного ощущения, что опоздал — не поспел — прибыл к шапошному разбору.

«А что вам странно? — сказал Модерати.— Развейте мысль».

«Мне странно, что господин, кушающий себе бланманже и не дующий в ус, занимает место под солнцем, по праву принадлежащее совершенно другому».

«Кому это?» — Навзнич язвительно повертел головой, делая вид, будто ищет кого-то взглядом.

«Мне, Адам Милорадович, мне. Ибо высокородный отпрыск из Эмска, который якобы плохо кончил — он перед вами».

Все помолчали. Зарницы вспыхивали беспрестанно.

«Зачем же вы столь припозднились?» — спросил адвокат.

«Я был сослан, гоним. Я замешкался по монастырям и острогам. Я сиротливо мытарствовал и страдал».

«Вот и страдали, и мытарствовали бы далее,— развязно заметил Навзнич.— Чего ж благородней! И нечего было ехать».

«Побойтесь Бога! Разве я мог забыть о своих внучатых обетах, пускай и заочных. Я никогда не простил бы себе ничего подобного. И потому — лишь случилась оказия — во исполнение их кинул я все, вплоть до самой Отчизны включительно. Но — следите — следите с пристрастием! — но, приехав по данному адресу, выхожу персона нон грата. Меня не только не встретили, а и не ждали. А господину, жующему бланманже, все сие — трын-трава. Ему нисколько не совестно, что он каким-то обманным манером занял вакансию, уготованную иному».

«Отчего непременно обманным,— сказал Модерати.— Адам Милорадович поступал по всем принципам, сообразуясь с уложениями о положениях. И кроме того, он тоже и сирота, и отпрыск: светлейший князь Черногории, если угодно».

«Пусть хоть Месопотамии! — возражал я тогда адвокату.— Трудно и вообразить, насколько надо было втереть очки почтенным супругам, чтоб те, не дождавшись прекрасного юного соотечественника, увнучили некоего иноплеменного ремоли со слюнявчиком, ничтожество на этажерке с горшком!»

Светлейший затрясся. «Вы оскорбили меня в присутствии нотариально заверенного,— разжиженно завизжал он.— Вы — хам, и я попросил бы у вас сатисфакции!»

«Фехтовать! — бросил я умозрительную перчатку.— Я проколю вас, как коллекционную куколку».

«Шпаги в ножны»,— твердо приказал Модерати. И тут я почувствовал, что не сумел бы ослушаться этого визуально мягкотелого интеллигента. В нем было нечто от моего учителя черно-белой магии Вольфа Мессинга — какой-то неумолимый стержень. Когда маэстро был еще в силе, а я — лишь копил ее, он единственный изо всех педагогов мог заставить меня, ребенка, выполнить свои указания. Методы Мессинга общеизвестны: гипноз и внушение через влияние.

«Шпаги в ножны»,— повторил адвокат. Исходившая от него энергия подчинения была почти осязаемой. И не без некоторого удивления я подчинился. Затих и Навзнич.

Поднявшись из кресла, Петр Федорович щелкнул подтяжками и оборотился к огню. Озаренные им щеки его, наводившие на раздумья о двустороннем флюсе, о Грибоедове, о партитурах его недописанных вальсов, разодранных фанатиками ислама заодно с композитором и дипломатом,— были переразвиты, как у зайца. Они лоснились. Однако губы нотариально заверенного казались более втянуты, нежели вывернуты. Иными словами, на роль шестьсот шестьдесят шестого носильщика он не годился.

«Мне представляется, мы беседуем в обстановке какого-то опереточного недоразумения,— рек адвокат.— Позвольте,— он посмотрел на меня,— позвольте задать вам, сударь, нескромный, но вместе с тем совершенно анкетный вопрос относительно вашего возраста».

«Я готов,— отозвался П., становясь в основную позицию.— Задавайте».

«Сколько вам лет?» — наотмашь хватил Модерати.

«А сколько б вы думали?» — парировал я, закручивая пируэт вероники. Дыхание мое участилось, будто в предвиденье незабываемой встречи.

«Пожалуйста, не кокетничайте,— сделал он выпад.— Я волен думать о вашем возрасте все, что заблагорассудится. Но я сейчас ни при чем. Это — ваш возраст, и поэтому важно, что вы сами о нем полагаете. Ну, так сколько?» — уколол адвокат.

«М-м, да лет что-то такое шестнадцать, что ли, семнадцать».

«А если точнее?»

«От силы осьмнадцать, Петр Федорович. От силы. Конечно, я могу заблуждаться, с кем не бывает. Тем паче что я ведь себе не нянька, ходить за собой не приставлен. Да и что щепетильничать, чего там нам с вами бухгалтерствовать на предмет ловли блох, подумайте. Все одно не упомнишь, не уследишь. Годы-то, сами знаете, как стремят. Как воды. Здесь плюс, тут минус. И все сквозь пальцы да сквозь пески. А вы в метрику, в метрику, если угодно, извольте взглянуть, там указано. Только где она — метрика? Только она у меня в багаже, Петр Федорович, в багажике, вместе с прочими документами. А багаж, как известно, в камере. Так что одно из двух: ждать утра, зари и с первыми птахами и лучами мчаться на станцию относительно метрики — иль поверить мне на слово. Либо — либо, решайтесь».

Модерати не отвечал. Тогда я вывел взор из прострации и осмотрелся.

Князь Навзнич, углубившись в свежеподанные улитки, в беседе более не участвовал. Неторопливость моллюсков, казалось, была заразительна, ибо по мере их поглощенья он кушал, мыслил и восседал все медленнее.

А Петр Федорович — тот просто стоял у камина и в упор свидетельствовал поступки мои и речи. Во взгляде его мешались два компонента: насмешка и жалость. Никто еще, надо сказать, не смотрел на меня таким

скверным образом. Потому что я никогда не заслуживал подобного на себя воззрения. Воззрения, граничащего с презрением. Да прежде я бы и не потерпел его, я бы пресек. Отчего же не пресекаю нынче?

«Что вы задумали, Петр Федорович? Зачем это отчуждение, холод? Разве я их достоин?» Мой глас был шепот.

«А разве — нет?»

«Не знаю, право, не знаю. Откуда мне знать. Хотя я могу поручиться, что в основном стараюсь быть всячески на высоте. На высоте положения. Ибо оно обязывает, возвышает. А потом еще воспитание. Верите ли, я довольно незаурядно воспитан. Но, может, все это уже далеко не так — кто ведает. Может, мой опыт, вкус и манеры здесь не найдут ни малейшего применения. Или уже не находят. И получается чистый вздор — абсурдистика — ничто о ничем. В общем, смотрите, вам, верно, виднее. Смотрите, но будьте тактичны, вежливы, соблюдайте меру. К чему столько воли к власти. Смотрите, но не насквозь!» Смятение мое нарастало. Я шепелявил и бормотал.

«А сами,— сказал Модерати,— неужели вы сами не пробовали понаблюдать за собою со стороны, сравнить, так сказать, точки зрения на свой собственный счет — ту и эту?»

«О, вот вы о чем, понимаю. Нет, Петр Федорович, не довелось. При всей моей отрешенности от всего примитивного, низменного, я до сих пор не решился. Предательское малодушие — неожиданные движения душевного поршня вспять — соображения чисто практического порядка — дескать, а вдруг не вернусь, что тогда? — кто продолжит вместо меня мой земной, телесный мой путь? — все сие повисало пудовыми гирями, и выход в астрал всякий раз откладывался и откладывался. А в принципе спору нет — седуктивная штука».

«Оставьте, какой там астрал. Я говорю об элементарном зеркале. Вы когда-нибудь обращали,— сказал нотариус,— обращали ли вы,— он сказал,— вы внимание,— выговаривал адвокат,— на собственное,— подчеркивал

он,— отражение в зеркале? Или еж елакрез в еинежарто еоннevтсбос ан еинаминв илащарбо ен адгокин ыв?»

«Ну что вы, стоит ли обращать внимание на подобные пустяки»,— легкомысленно молвил я, покрываясь атавистической конской испариной.

«Э-э, приблизьтесь»,— потребовал он.

«Не губите!» — одними губами воззвал я к его милосердию. Тем не менее встал и шагнул, не владея ничем в рассуждении органов передвижения и баланса. Идя — был предказненно беспредметен. И одинок. Сердцем — гулок. И — шел. И, приблизясь, приблизился. Он же, который приказывал, посторонился. Тогда — открылось. Тогда — зазияло овально. Тогда — засквозило глубокой голубизною осеннего омута — провалом винтового лестничного пролета — о, о — тогда.

Я отпрянул.

«Чего вы страшитесь? Пугает ли вас зазеркалье? Считаете ли, что это епархия дьявола? Верите ли, что разбитое зеркало — весть о смерти?» Меня забросали вопросами.

«Я не думаю о таких материях, Петр Федорович,— П. сказал сокрушенно.— Все вами названное — не моего ума пища. Но я не хочу, не хочу лицезреть себя. Не имеет значения, где: в зеркалах ли, в витринах, в очах мимохода иль где там — да мало ль. Вообще поразительно, сколькие вещи, явления или события отражают — или способны — при минимальном воображении нашем — нас отразить».

«Как вы дошли до этого? Что с вами случилось? Когда?»

«Вы, может быть, не поверите,— начал я,— но когда-то я был относительно маленьким. И покуда не вырос, все полагал, что все люди за исключеньем меня — безобразны. Имея в ту пору ясный — впоследствии замутненный бельмом — взгляд на вещи и на подобных себе, я понимал их подобность в узком, софистическом смысле. В том смысле, что все они или равны меж собою или подобны себе самим. И, не усматривая в том никакого противоречия, отчетливо различал их внешние, да и внутренние недостатки: от грязных носков

до защемления грыжи. А сам я был чист и здоров и думал, что ни к чему не причастен. Причина моих заблуждений? Она тривиальна. В той крепости, где протекло, или лучше сказать прошествовало, величавое, словно равелевское болеро, мое детство, зеркала почитались роскошью. Их хранили по сундукам и запасникам, а зеркальные стены покоев были задрапированы бархатом и панбархатом приблизительно на три аршина от плинтуса: там стояла эпоха тотальной скромности, Беззеркалье. Так что если я и страдал нарциссизмом, то он был довольно абстрактен. Случилось, однако, так, что я вырос. Я вытянулся за черту драпировки, увидел свое отражение и пережил типичную драму смертного человека. Мне стало вдруг ясно, что я не лишен присущих всем остальным недостатков, то бишь — нелеп и гадок, как все остальные. То есть — подобен им, эрго — причастен к их порочному круту. И потрясение едва не погубило начинающего артиста».

«Вы что — рисовальщик?» — перебил адвокат.

«Я — хроникер текущего времени, Петр Федорович. Хронограф. И дабы запротоколировать его, не пренебрегаю никакими условностями. Вернее — искусствами. Сочиняю, рисую, слегка музицирую. Не чужд и хореографии. Словом — артист, Петр Федорович, артист. Ничего не попишешь».

«Продолжайте»,— сказал Модерати.

«А где мы остановились?»

«Потрясение едва не погубило его».

«Совершенно верно. Едва. Т. к., несмотря на внушительные размеры, он был невероятно раним, утончен, обладал элитарным сознаньем. И вот у него горячка — судороги — виденья — и мысль поминутно рвется, словно гнилая тесемка. А выздоровев, решил сколь возможно забыть о своем типичном уродстве, что в первую очередь означало — бежать своих отражений. И он бежал. Поначалу с весьма переменным успехом, ибо они не дремали тоже. Тем более что Беззеркалие кончилось. Скромность вышла из моды, ушла в резерв. Зеркала извлекли из запасников, а драпировку содрали. Отражения стали подсматривать, подкарауливать в самых

внезапных местах. Они постигали, как озарения свыше. Они ослепляли, глумились, мучали страхом. Кроме стекла и полированного металла и дерева коварствовала водная гладь. Опасны были озера, реки, болота, пруды и лужи — их зеркала. Особенно ясной ночью. Но вряд ли было что во Вселенной ужасней, губительней и месмеричней ночного, полного дальних солнц, колодца. Ведь, отразившись в нем вместе с ними, вы словно бы начинали падать в его пролет, будто в космос. Падать и пропадать из виду, утрачивая себя, свою бесценную индивидуальность и бессмертную душу. Падать и становиться одной из миллионов падающих в беспредельность звезд. Кремлевский колодец! Ему безусловно не было дна, и он еженощно манил артиста своею волшебной кромешностью. Но молодой человек не сдавался. Жестоким усилием воли он заставил себя забыть о колодце. Борясь с отражениями, он придумал различные трюки. Так, пошивая у крепостного меховщика доху, он мог часами стоять перед зеркалом, не открывая глаз. А когда уставал, надевал очки с фиолетовой оптикой — для слепых, называемые им гомерическими. То же и у цирюльника. Позже возникла идея маски. Я стал почти постоянно носить всевозможные маски — палаческие, карнавальные, марлевые и т. д. Тогда справедливость восторжествовала, ибо мои отражения больше не узнавали меня, а я не узнавал в них себя. И следовательно, мы не узнавали друг друга. О душевное равновесие, я обрел тебя вновь. Вы же, Петр Федорович, желаете, чтобы я опять его потерял. Ради чего? К чему эта иезуитская казуистика?»

«Ради вашего будущего благополучия,— сказал Модерати.— Хотя благополучия относительного, конечно, поскольку абсолютного не бывает, да и не требуется: оно аморально».

Я силился возразить, но мои аргументы мешались в мозгу, как карты. Влияние Петра Федоровича было огромно. Теперь я почти усматривал шедшие от него токи, а нейтрализовать их собственными не смел. Его излучение обезволивало, превращало дерзающего в трусливое и тупое жвачное, жующее собственные

слова. И когда указующий перст нотариуса повелел мне вернуться к зеркалу, я сомнамбулически повиновался.

«Смотрите»,— приказал Модерати.

Сонная гнусавость гипнотизера исключала всякие возражения. Ваш покорный слуга поднял веки и покосился.

Из-за прошедших накануне дождей в овале осеннего омута было мутно, и опознать дрейфующего в глубинах утопленника не представлялось возможным. Мешали его рассмотреть и листья — бордовые, ветром оборванные с обрамляющего терновника листья, гонимые им по всей поверхности водоема, как пьяные джонки.

«Извольте надеть пенсне,— настоятельно рекомендовал индуктор, будто откуда-то издалека.— А вуалетку — откиньте».

Поступив по им сказанному, лицо, претендующее быть мне подобным, обрело четкость черт. Не лишено моих примет и костюма, оно тем не менее представало чужим, и по-прежнему я не умел, а точней — не желал — я отказывался опознать неизвестного — а? Вы слышите, господин адвокат? — не могло быть и речи о том, чтобы я согласился когда-нибудь опознать претенциозного самозванца. Ведь он — он ведь был каких-то решительно неприемлемых — неуместных — неподобающих, а главное — каких-то решительно непоправимых лет. Даже весьма приблизительная их сумма не укладывалась в сознании Вашего корреспондента.

Что делать? Вот воистину верный вопрос, долженствующий быть предложен себе самому, не способному опознать в возникшем живом мертвеце самого же себя, но знающему, что это никто иной. Вопрос тем более правомерен, что в силу самодостаточности своей ответа не требует и не предполагает. Которое тысячелетье висит он над каждодневным из нас, рефлексирующих русских интеллигентов.

А — муть овала? — быть может, спросите Вы.— А — листья?

А муть овала осела, омут словно прозрел, и листья, казавшиеся бордовыми джонками, оказались бордовыми языками каминного пламени, отраженными

в омуте. Озабоченно, по-кошачьи, вылизывали они отражение новоявленного старика, сплетаясь над мрачным его челом в огнелистый терновый венец. И я горел не сгорая, будто неопалимая купина.

Стояла вопиющая тишь. Только чавкал мой неудавшийся Чавчавадзе, князь Навзнич, тявкали где-то собаки да катафалком по дряхлому мосту катилась над Бельведером гроза.

«Какой катаклизм!» — застонал я, точно спросонок, и, пав на колени, стал нищенски шарить ладонями по полу, по его хладным, могильного вида плитам. Не ведая, что творю, я приискивал то не знаю чего — подсознательно, подслеповато и тщетно. Не обретя ничего, кроме нескольких шариков бисера, я осознал, что искомое мною был растранжиренный жемчуг лет, и, спонтанно и не вставая с колен, принялся излагать ламентации на быстротечность всего земного и заодно уж — с присущей мне щедростью выразительных средств — исповедался в своих обстоятельствах.

Местами я впадал в несусветности, вдохновенно бредил, и голос мой диаметрально менялся. Я глаголил в обратном порядке, на вдохе, не — из, но — вовнутрь, отчего теснившиеся в плотном теле переживания не находили исхода и буйствовали — и душили. По той же причине революционно менялся порядок слов в моих фразах и букв — в словах: первые становились последними, последние — первыми, а средние так и оставались посредственными. Услышав меня в тот час, Вы, верно, подумали бы, что мной овладели бесы или что я овладел новой группой мертвых наречий и мучусь их оживить. И в чем-то — были бы правы, ибо словообразование «Чернильный мешок каракатицы», употребленное мною наоборотно, звучало довольно по-арамейски. Тем не менее Модерати легко понимал меня. Оказывается, он тоже был полиглот и подобно всем полиглотам знал, как целительно всякое говорение, особенно искреннее. С течением моей речи она становилась плавнее, осмысленней, и душевное равновесие обреталось мной сызнова. Я возрождался из пепла.

«А знаете, Петр Федорович,— сказал я ему, подымаясь с колен,— знаете, дорогой мой, что я вам должен заметить?»

«Я слушаю вас внимательно»,— отозвался он, наблюдая, как гувернер с галунами разворачивает княжеские турусы и увозит на них опочившего Навзнича в опочивальню.

«А ведь это,— сказал я тогда,— это ведь я, пожалуй, с дороги так сдал. Дорога, подумайте. Она же не красит. Бывает, припудрит тебя в пути путевою пылью, припорошит, и все думаешь, думаешь — эк тебя, думаешь, сироту, возмужало да посуровело: не успел оглянуться, а уж и в деды себе записался».

«Сходите,— сказал адвокат,— и умойтесь».

«Куда прикажете?»

«Прямо по коридору».

«Слушаюсь. Впрочем, я с вашего разрешения принял бы душ, если только не ванну».

Он посмотрел на меня. «Законы гостеприимства не позволяют мне отказать вам».

«Вот и чудесно, вот и договорились,— говорил я ему, борясь с брикабраковской суетливостью собственных жестов.— А полотенце найдется лишнее? Да? А кремы? Халаты? Смена белья?»

«Все там, в ванной комнате».

«У-у, совсем замечательно. А то мое-то все в камере, знаете ли, хранения. А быть может, я там и переночую?»

«Где? В ванной? Но там, вероятно, сыро, сороконожки».

«О, это-то пусть, это штука привычная. Главное, чтобы вам беспокойства не оказать. Да, кстати, чуть не забыл. А не мог бы я, коль уж события приняли такой оборот, провести в вашем замке ряд дней — как вы мыслите?»

«Хамству вашему нет предела»,— сухо уведомил адвокат.

«Ах, Господи, зачем эта черствость! Я же ведь не настаиваю. Я просто подумал, вам все равно. Да и в самом-то деле, что страшного, если один этруск

по-свойски погостит у другого недели, положим, с две — а? Устроились вы не пыльно, хозяйство обширное, озеро вон, гуси-лебеди плещутся, а гостей чураетесь. Странно, право. А может быть, вы желали бы выручить за услуги определенную мзду? Извольте, от выплаты не уклонюсь. Только счета — непосредственно в казначейство, Морозову. Адрес тот же, что у меня. Зафиксируйте. Кремль, Эмск, Россия. Просто во избежание путаницы. Договорились? Уж будьте любезны. А то скрупулистики не оберешься: расход-приход, нетто-брутто. Подумайте».

Он подумал и отвечал, что во мзде не нуждается и что, учитывая мою очевидную недееспособность, разрешает пробыть мне в замке пять дней.

«Пять? Негусто, милейший, негусто. Надбавили б от щедрот».

«Пять»,— сказал Модерати.

«А после?»

«После вам лучше уехать. У нас вам не будет удобно».

«Помилуйте, да куда из такой благодати уедешь! Здесь так живительно, так живительно. Уж ежели здесь не будет удобно, то где же будет?»

«На родине,— отвечал адвокат.— На родине».

«Экий вы, право, скушный, идейный. Вы, Петр Федорович, пунктуал, вот вы кто!» — крикнул я, удаляясь прямо по коридору, по стенам которого висели портреты российских и европейских монархов текущих столетий.

Санузел был оборудован в оранжерее, и крыша его была настоящий хрусталь. Цветы всевозможных растений повили, повапили ванну, как саркофаг. Окутаны теплой влагой, Вы созерцали ее же стихийные струи, вдребезги бившиеся о твердыню кристалла. Ночь почти перешла, но дремучий дракон грозы отсверкал далеко не всеми чешуями.

Есть лица, на пожизненное знакомство с которыми мы буквально обречены,— философствовал я на следующее утро, исподтишка изучая одно из них в туалетном зерцале ванной и параллельно вдевая стопы свои,

освеженные ванным сном, в ботфорты, полные неизвестности *.

Бельведерская ночь не внесла, однако, существенных коррективов в мое отражение. А используя мыло, мочалку и даже пемзу, дерзающему удалось смыть не более двух-трех лет. Тут бы, казалось, и впасть в отчаяние, возроптать на судьбу, да таково уже свойство нашего человека и гражданина, что все ему нипочем. Прирожденный стоик, он свыкается с самыми плачевными обстоятельствами существования, терпит лишения до последней возможности и только затем, основательно взвесив все за и против, накладывает на себя руки.

Я оглянулся: «О молодость! Молодость! А?» Никакого эффекта. Искры жалостливости были бенгальскими, и фитиль патетики не возгорался. Окончательно осознав себя стариком, я чувствовал, мыслил и поступал типично по-стариковски: мерно, трезво, расчетливо.

Да, молодость отлетела,— я мыслил. Но велика ли печаль? То есть, разве не этого — потихоньку от самого себя — ты ждал вожделенно все истекшие годы. Не так ли благовоспитанный джентльмен ждет пристойного повода для разрыва с капризной и требовательной содержанкой. О молодость, сколько с тобою мороки! Сколько энергии, времени, сил уходит впустую на удовлетворение твоих вздорных прихотей, на чаяния твои и мечтания. Совсем иное — добротная — габардиновая и байковая — на ватной подкладке и меховом ходу — старость. Все мелкое, суетное, в том числе нездоровые страсти,— пó боку. Плоть ненавязчива. И чинно, солидно, с сознанием честно исполненного пути впадаешь в заслуженное и счастливое детство. Да, жизнь оказалась короче, нежели принято полагать. Не страшно. Подумаешь невидаль — жизнь. Да, заря потухает. В проеме временнóго провала сквозит другой. То провал моей

* Ибо мы никогда не знаем, что ждет наши конечности там, в потемках, в потайных лабиринтах обуви, а заглянуть, поинтересоваться все ленимся. Недалеко, знать, ушли мы по части любознательности от прислуги своей.

уникальной миссии. Милки-уэй, петлей захлестнувший Мулен де Сен Лу, за убытием прежних хозяев шато в лучший мир, наверное, никуда не ведет. Вот и ладно. Осталось купить обратный билет — проститься — вернуться в Эмск — снять с себя шпионские полномочия — выйти в отставку — отречься от всякой самости и поселиться в каком-нибудь отдаленном, заштатном углу Кремля, в нетопленной деревенской хижине с земляными полами, соломенной крышей и с бычьими пузырями в окнах. И там, молясь и влача безупречное одиночество, составляя определитель кремлевских целебных трав и прядя кудель, все пытаться припомнить: в какие провалы кануло отпущенное тебе безвременье и когда преуспел ты столь необратимо потратиться, пообноситься собой. В остроге? В монастыре ли? Пересекая ли рубежи?

В предвкушении этой задумчивой перспективы я вынул блокнот и занес в него вариант эпиграфа для будущих «Воспоминаний о старости», озаглавленных в некоторых редакциях как «Свеча на ветру»*.

Гложет старость постепенно
Тело бренное мое,
А душа таки нетленна,
Хоть не видно нам ее.

Вы, Биограф, конечно и неоднократно штудировали упомянутый труд и, надеюсь, усвоили, что там к чему, не хуже меня. Позвольте же в общих чертах освежить в Вашей памяти основные его положения и постулаты, пройтись бархоткой по сюжетной канве, дать выдержки.

«Мысль о новаторстве — первая, что приходит на ум, перечитывая настоящие воспоминания,— писал я в анонимном предисловии.— Все дышит в них дерзостным обновлением. Взять композицию. Пусть, выстраивая ее, Палисандр Александрович опирается на опыт предшественников — неистовых модернистов древности: пусть!

* Не путать с одноименным произведением Максвелла Андерсона (1888—1959).

Зато, опершись, отправляется дальше своим путем. Так, если у Джойса в "Уллисе" все действие укладывается в двадцать четыре часа, то в нашем случае речь идет о минутах, в течение коих длится инцестуальный коитус. Им книга начинается, вместе с ним и заканчивается. Совершая его, автор успевает не только утешить соблазнившую его престарелую родственницу, но и проанализировать причинно-следственную цепочку приведших к нему событий историко-политического и бытового характера. По сути этот ярчайший во всей словесности — шире — во всей мировой культуре — акт человеческой близости представляет собою не что иное, как грубую свежевытканную основу — холстину для изображенья на ней многокрасочной панорамы той грандиозной эпохи, что так чутко совпала со старостью Командора,— эпохи сплошных страстей и коллизий. Террор и войны. Митинги и совещания. Похищения и совращения. Все сколько-нибудь забавное и замечательное имеет здесь свое место. Искусный словесный ткач, П. Прелестный всегда сочетает общественное и личное таким образом, что первое выгодно дополняет и оттеняет второе. И vice versa. События, люди, предметы всегда находят себе у П. параллель или пару и так или иначе переплетаются и вплетаются в ткань панно, образуя узоры симметрии, аналогии и метафоры. Рождение образа проще всего проследить на конкретном примере.

Снискав себе — после некоторых препирательств — расположенье одряхлой королевы цыган Чавелы Четвертой, жуирующей свои каникулы в Пизе (Италия), Палисандр, удовлетворенно покрякивая в накладные усы, спускается поутру в вестибюль отеля за почтой. О том, что именно происходило минувшей ночью в их сдвоенном номере, или, по выраженью портье, "тандеме", тактично умалчивается, и читатель волен догадываться об этом в меру своей испорченности. До тех, во всяком случае, пор, пока Палисандр не увидит на фото в местной газете обломки упавшей в конце концов башни и не отметит с азартом завзятого кегельмана: "Ага, тоже пала!"» (Конец цитаты.)

Затем возникает вопрос о жанре. Ведь вопреки названию «Воспоминанья о старости» — не мемуары. Вернее, не совсем мемуары. Т. е. и мемуары, и нет. Они — мемуары лишь в той только мере, в какой мемуарами можно назвать знаменитые пушкинские «Воспоминания в Царском Селе». Размышляя в авторских комментариях к первой главе, имеет ли право мемуарист на вымысел, а читатель — на фабулу и сюжет, Палисандр обнаруживает, что и тот и другой — имеют. И признается, что книга его — документальный роман в отлично пригнанной форме воспоминаний, а также просит во всех последующих изданиях сохранять специально подобранный им муаровый переплет, приличествующий, по его мнению, всем мемуарам.

Приятно добавить, что многотомье «Воспоминаний» не столько роман, сколько целый не то чтобы цикл, а каскад романов, плавно переходящих друг в друга естественными уступами: не успевает один закончиться, а следующий уж начался. Произведение выстроено по принципу пресловутой матрешки: роман в романе, роман в романе, and so on.

«Расписная матрешка,— набрасывает Командор в дневнике,— воплотила в себе убежденность нашего мужика в неистребимости рода людского». И ниже: «Матрешка — это оптимистическая трагедия об инкарнации, карме, детотворении. Это, наконец, очаровательная человеческая комедия, выполненная из обыкновенной российской липы».

Если закрыть глаза на пролог, где предельно выпукло — с тщательными описаниями обстоятельств места, времени и образа преступного действа — рисуется картина кровосмешения, то книга открывается ретроспективным анализом завтрака, съеденного главным героем на следующий по приезде в Мулен де Сен Лу полдень. Кроме козьего молока, мне в ванную комнату привезли изумительные цуккини, броттоли, рататуи. Прекрасны были и длинные зеленые феттучини, и буйобес; а требуха молодого кукагви — неподражаема. Наоборот, выйдя после на галерею в одном из довольно безвкусных хозяйских халатов, я сталкиваюсь прямо в дверях

с курьером нашего консула, и курьер передает мне пакет, таящий в себе пренеприятнейшее известие.

Преломляю сургуч — распечатываю — читаю — пытаюсь вчитаться — перечитать — бесполезно: рука занемела, дрожит, мысли — врозь, и ясно только одно: совершилось чудовищное недоразумение века. И — дата. И какая-то неразборчивая, но буйная подпись.

Во гневе я принял вестника за цыпленка, начал его когтить и, наверное, придушил бы, однако на визг ничтожества сбежалась презренная челядь и с боем вырвала у меня добычу. Курьера свели к тарантасу, и вопли несчастного унеслись вместе с ним в направлении Шманца. Мигом я отправляюсь следом. Со мною в виде нотариально заверенного — Модерати.

Мы въехали на возвышенность.

Герцогство, обозреваемое с нее целиком, казалось довольно провинциальным. Хотя праздный разврат, которому предавались туземцы, был чисто столичный. Сладострастные крики, восхищенные стоны раздавались в купальнях и в термах, на лаун-теннисных кортах и на холмистых лугах, где, клацая стотысячными челюстями, лупили по разноцветным шарикам прожигатели состояний и пенсий. А в колизеях, точнее — на стадионах, творился гвалт как бы массовых оргий. Там бегуны отстаивали цвета человечества в заочных ристаниях среди обитателей суши. Преследуемое слоновством, человечество держалось вплотную за домашним кошачеством, т. е. почти настигало его, претендуя занять почетное двадцать четвертое место. А несколько впереди этой тройки стремилась сильная группа шакалов, жирафов, кроликов, дышавшая прямо в затылок гончим, койотам, гиенам, монгольским ослам и лисицам серым. Основную лидирующую когорту составили львы, газели, олени, алжирские антилопы и иже с ними. Однако гепарды с их ежечасной поспешностью в сто коломенских верст опережали всех. А замыкали забег домашние свиньи, индейки, ящерицы, пауки, тараканы, лягушки, гусеницы и признанный аутсайдер улитка садовая liguus fasciatus, ночующая под застре-

хой почтовой станции, где можно сменить лошадей, разузнать, нет ли писем, спросить самовар, посудачить с всклокоченным телеграфистом и тоже заночевать в отведенной Вам комнате. Ваш денщик Одеялов затеплит свечу, и тень, отбрасываемая кроватью под балдахином куда-нибудь на стену, напомнит философического Тянитолкая, не участвующего ни в каких состязаниях. Доброй ночи. А утром — утром Вам предстоит проснуться. Проснуться со всей основательностью. Во всех отношениях. Проснуться, как верно подметил поэт, каждой веткой и птицей. Проснуться, чтоб осознать: я проснулся! Вы поняли меня, молодой сейчас человек? Я! То есть не чорт его знает кто, не какой-нибудь незадачливый некто, а именно я. Я — в своем собственном богоподобном обличье, уме и пижаме. О, как это неувядаемо. Благодатное утро! Оно разбудит Вас колокольчиком пролетайки — подаст Вам завтрак в постель — умоет — оденет — причешет — вселит упругую крепость в члены — пристально брызнет солнцем. И — вот Вы уже поскакали, смотрите!

«Мерзавцы! — кричал я, ворвавшись в русскую миссию.— Персов на вас не хватает, жулье проклятое! Меня, меня, которого уважает и любит весь Кремль,— отлучить от присущего государства! Позор узурпаторам!»

На что восседавшие за прилавком плешивые господа, которых я постеснялся б назвать соотечественниками, заявляли, что, дескать, они ни при чем, поскольку полученный мною указ издан не ими, а метрополией и подписан самим Андроповым, что на днях приступил к обязанностям Местоблюстителя.

«А дядя Леня? Его отстранили?»

«Преставился».

«О!» — сердце защемило, как дверью. Несчастная Виктория Пиотровна! Верно, не выдержала, дуреха, похвасталась мужу оказанным мною вниманьем — а он и расстроился, не перенес. Милый друг мой, товарищ и покровитель моих охотничьих похождений, прощай и прости. Быть может, в твоей кончине отчасти повинен и я. Потому что мы все виноваты, что не уберегли

тебя, хрупкого и дорогого. И знай: мы никогда не нашли бы себе покою и навсегда истерзались, если бы всякий из нас не учел завета, данного доблестным новодевичьим стражем Берды: «Смерти нет!»

«Разрешите бумаги,— сказал Модерати.— Мы нынче же отправим обжалование».

«Обжалованию,— издевательски осклабились из-за прилавка,— не подлежит».

Ограбленно, опустошенно, не зная, что предпринять, и сразу как-то ссутулившись и осев, я вышел.

Вышел и адвокат.

Мы вышли.

За нами захлопнулось.

А перед нами лежала неотвратимая данность мира, конкретизированная в ощущениях улицы.

«На вашем месте,— посоветовал Модерати,— я бы немедленно позвонил в Кремль Андропову и попытался бы выяснить отношения».

«Я не умею звонить»,— молвил я, облачая в перчатки свои виноградные гроздья.

«Так я и думал,— сочувственно кивнул адвокат.— А писать, надеюсь, умеете?»

«Да,— отвечал я скромно.— Только письма теперь не доходят».

Шманц оказался унылой канцелярской дырой с всюду, где только не лень, понатыканными колокольнями, то и знай вызванивающими клинг-кланг, что в переводе означает не более чем дин-дон. Изо всех обойденных нами купеческих лавок запомнилась лишь одна: «Мареографы, дождемеры, курвиметры». Там состоялась покупка комнатного термометра. По словам нотариуса, супруга его любила повышенную температуру спален, и Петр Федорович замыслил презентовать ей прибор на День Независимости.

Из заведений же злачных достаточно будет назвать пивную «Тринадцать Апостолов». Сей глубокий и глубокоуважаемый подвал, где некогда и нещадно пытали еретиков, а ныне — судя по вывеске — еретики заправляли сами, поглотил нас на несколько утешительных

пинт бочкового напитка Молсона, о котором я не премину упомянуть своеместно.

Платил Модерати. Полуразрушенный граммофон бредил Штраусами, и под них за двенадцатью столиками утоляли свои печали какие-то деклассированные элементы. Наш был тринадцатым.

«Обратите внимание! — вскричал я заверенному через какой-нибудь час *. — Вселенная по Эйнштейну загибается, будто труба у этого граммофона. Или как шейка матки. Спирально. И если довериться Фрейду, то следует кануть в нее обратно — концептуально завихриться в ней — затеряться в загибах ее относительности — и тогда — тогда».

«Не надо,— сказал Модерати.— Не доверяйтесь».

«Вы — настоящий товарищ»,— промолвил я, целуя ему запястье. В сердцевине Европы при догорающих и никак не могущих догореть огарках и фитилях я осознавал себя пронзительно одиноким, отверженным странником. Хотелось прижаться к кому бы то ни было всем собою, хотелось забыться в исповеди, хотелось тепла. А меж тем — сквозило. И с неподдельною горечью открылся ему, вчера еще незнакомому: «Я — свеча на ветру, дорогой Петр Федорович, свеча на ветру».

«А детей,— отвечал он,— детей у вас нет?»

«Какие там дети, дружище. Мне кажется, я еще сам ребенок. Или уже. Иль — двояко. Не знаю. Нет, дети — не выход. Скорее наоборот. Родишь, не дай Бог, какого-нибудь прохвоста, поставишь его, негодяя, на ноги, всю душу в него, недоумка, вложишь, а он тебе и стакана чаю на смертный одр не подаст. Стакана чаю, Петр Федорович, стакана».

«А вот вы сказали — выход,— спросил Модерати.— А — из чего?»

«Из чего бы то ни было. Из того, из чего его все почему-то ищут. Изначально и без конца. Разве вы не заметили? Из трубы, Петр Федорович, из тотальной, всемирной трубы». И, растроган его участливостью и тряской обратной дорогой, я поведал попутчику

* Эль, приправленный шнапсом, действует без задержки.

о своем безвозвратном кремлевском прошлом — о счастье, которое видится таковым лишь после, по исчерпновенье своем. И еще говорил я заверенному о превратностях первых буйств, о трудностях монастырского и тюремного быта — ну и вообще: обо всем, что было значительно, значимо и имело цену в *той* жизни. Поддавшись модератовскому магнетизму, не смог умолчать и о теневых сторонах биографии.

«Увы, я приехал сюда не только в качестве потенциального внука, но и как матерый шпион,— признается Дальберг.— Однако теперь моя карта бита, с былым покончено, я раскаиваюсь и прошу у вас политического убежища».

Тут по ходу повествования и поездки, используя в качестве фона подернутые первым снегом нивы, крупным планом дается портрет моего попутчика. Сдержанность — мать выразительности. И хотя мне не жаль ни штрихов, ни деталей, я отпускаю их дозами гомеопата. К примеру, описывая края манжет, высовывающиеся у Модерати из-под обшлагов пальто, я ни разу не употребляю слова *манишка*: ведь мне оно глубоко отвратительно. И все-таки, несмотря на такое обходительное умалчивание, манишка заверенного очевидна слепому. С аналогичной скупостью рисуется и судьба нотариуса.

Сын бесправных российских посланников итальйского происхождения с нансеновскими паспортами, Петр Федорович с детства тянулся к своду законов. Рос — мыслил — мечтал — учился — и вот женат *. Полнокровный образ его в дальнейшем послужит мне прототипом Папье Шерше, героя правдивой повести о лионских ткачах и брюссельских суфлерах. Он шагнет на ее страницы из самой толщи мелкобуржуазной толпы — из прокуренности юридических заседален — прокрустовости следственных кабинетов — из залов судов. Шагнет, не успев ни стяжать себе славы, ни стянуть канцелярские нарукавники, из-под которых — и дальше опять про манжеты. Мне нравится эта книга. А Вам?

* И на ком! О, несчастный. Впрочем, это его личное дело.

Что же далее? По возвращении в замок садимся мы с адвокатом к столу, приступаем, и я говорю: «Ну-с, а где сегодня у нас Адам Милорадович?»

«У себя»,— говорит Модерати.

«Отчего же его не привозят? Он, верно, тоже не возражал бы перекусить».

«А светлейшего почти никогда не привозят. Он кушает у себя».

И действительно: до самого моего убытия из Мулен де Сен Лу я так его и не видел. Да и после убытия тоже. Иначе сказать, я не видел его более никогда. Не странно ль: сойтись с человеком лишь для того, чтобы уже никогда не встретиться. Хотя подумаешь — важность. Не встретились и не встретились. Разминулись. Обычная вещь. Но бывает, вдумаешься на досуге — и задохнешься. Дышать станет нечем. Нет, вовсе даже не странно. Страшно — вот точное слово. Ибо вообразите, какая кромешность, какой дичайший эдгаровский невермор — без просветов, будто в чернильном мешке каракатицы. Она-то в сопровождении трюфелей и сморчков и следовала третьим блюдом. Считаю своим приятным бытописательским долгом уведомить вас, что в повестке дня наблюдалась также индейка жареная.

«Голубчик,— сказал Модерати, проваливаясь после десерта в трясину дивана.— Позвольте мне разуметь вас в том смысле, что ваш Андропов — порядочный интриган, пусть вы этого прямо и не высказывали». И он изложил мне свою гипотезу, основанную на моей исповеди.

Получалось, что Юрий Владимирович, якобы обуреваемый ницшеанскою волей к власти, годами стремился к ней. Не брезгуя методами политической эквилибристики, планомерно он устранял, мол, других претендентов на место Местоблюстителя. Из них наиболее вероятным был я, внучатый племянник своего дедоватого дяди, всеобщий любимец и баловень, популярнейший гражданин Кремля. Мое влияние на умы и сердца было неограниченным. Несмотря на свои необщительность, отчужденность или благодаря им, для многих я был своего рода гуру, духовным вождем и наставником.

Сам того не осознавая, я подвизался негласным правительственным советником по общим вопросам, и если бы захотел, сделал бы самую головокружительную карьеру. Андропов знал: по известным мистическим соображениям меня нельзя устранить привычным ему манером, а именно — умертвить. Ведь откровение Нострадамуса Грозному могло оказаться отнюдь не легендой. А если так — если за аннигиляцией последнего из рода Дальбергия последует разрушение Кремля в прямом, да, видимо, и в переносном смысле, то настанет безвластие и бороться окажется не за что. Тогда смысл всей его, андроповской, жизни будет утрачен. Он, Юрий Владимирович, будет никем, даже не генерал-генералом.

Подвигнув меня покуситься на Брежнева, Юрий намеревался убить двух зайцев: один устранит другого, а оставшегося устранит правосудие. Казнить не казнит, но изолировать — изолирует. К тому же церковь предаст террориста анафеме, а общественное мнение поставит на нем крест. На случай провала покушения заготавливается запасной вариант — удаление меня из страны под видом переселения в Бельведер к покойной и тем самым фиктивной бабушке. Чтобы это переселение выглядело еще благовидней в глазах соратников, сочиняется миф о порученной мне секретной миссии. Покушение провалилось. Я арестован. Однако под давлением либеральных лобби меня освобождают, и Юрий использует заготовленный вариант. Я уезжаю. Тогда, оставшись единственным кандидатом на высший пост, Андропов приходит к власти, так или иначе устраняет моих сторонников и собственноручно — росчерком все того же пера — отлучает меня от России и государства.

«И еще не известно,— сказал адвокат,— своею ли смертью умер его предшественник господин Брежнев. Историкам предстоит разобраться».

«Уж больно у вас все гладко выходит,— ответил я.— Слишком плавно. Я, видите ли, знаю Юрия Гладимировича как человека кристально честного, преданного всяческим идеалам. По-моему, уж кто-кто, а Андропов никак не способен на подлые фортели. Я скорее готов допустить, что он сам стал игрушкой в чьих-то нечис-

топлотных, недобрых руках и его принудили подмахнуть документ об моем отлучении — а? Может быть, подпись эта как раз и была той ценою, которую ему пришлось заплатить за новое место службы — кто знает, Петр Федорович, кто знает, в Кремле как в Кремле — все сплетничают, грызутся. По правде сказать, я никогда не вмешивался во все их дворцовые свары, никогда не интересовался, что там у них и к чему. Я, понимаете ли, фаталист. По мне, как есть — так и будет. И власть меня — ну ни капельки не соблазняет. Ну, если предложат вакансию подходящую, может, и соглашусь, послужу немного. А так, чтоб бороться там, хлопотать, по трибунам паясничать — то от подобного унижения попросил бы уволить. Низко все это, на мой взгляд, и христианина ничуть не достойно. И потом, посмотрите: похож ли я на политика? Упаси Господь. Я — простите за прямоту — художник, то есть идеалист и эстет. Я склоняюсь более идеализировать, нежели очернять, и мне как-то даже обидно, что вы господина Андропова в хмуром свете себе рисуете. Вы уж, пожалуйста, не мизантропствуйте в его адрес. Фигура он, может, и сложная, противоречивая, на журавля отчасти похож, да в основе-то личность радужная. Просвещен, не без юмора, где-то и компанейск. А потом — он мне чуть ли не родственник в некотором отношении, председатель Совета Опекунов».

«Был»,— сказал Модерати. Обычная послеобеденная облатка, что он положил себе под язык, приятно горчила.

«Как знать, Петр Федорович. Весьма вероятно, что все скоро выяснится, и окажется, что никакого отлучения не произошло. Недоразумение, скажут, ошибка. Так что давайте-ка носа на квинту не вешать, давайте-ка уповать».

«Отлично, давайте. Только как вы себе или, положим, мне объясните фокус с "Албанским Танго"?»

«А вот как,— нашелся я.— Очень просто. Служил у нас в крепости некий Олѐ Брикабраков. Курьер. Редкий, следует доложить, путаник и шутник. Он-то и перепутал все, надо думать. А может, и пошутил,

напроказил. Достал, вообразите себе, разворот с объявлениями из старого выпуска — где достал, не играет роли — достал и все — вероятно, в Румянцевских фондах — там, знаете ли, занимается ученая профессура, мозг нации, накурено — не продохнешь — это сразу же за Манежем — сразу же — ну, достал, Петр Федорович, заполучил — и вложил его, стало быть, в свежий номер. А после приносит, подметывает. Прежде — Юрию, после — мне».

«Ловко,— рек Модерати,— ловко».

«Не говорите, такой, ей-богу, шутник был — до слез иногда расхохочет, до колик. Беда с ним прямо. Ах, порхал все, порхал. Одно слово — бельгиец, латинская его кость. Думал, видите, нас потешить, а вышло недоразумение: и Андропова понапрасну обеспокоил, и меня в послание укатал».

Модерати не возражал мне. Он достал откуда-то ладный, с притертою пробкой флакон с будоражащим нюхательным порошком, откупорил и понюхал.

«Такие, в принципе, пироги, Петр Федорович,— объявил я ему.— А ежели вас что-то еще волнует, особенно в рассуждении переговоров,— дескать, как это так случилось, что Юрий имел переговоры насчет увнучения с лицами, которых, можно сказать, не случилось в живых, то спешу вас предположительно убедить, что переговоры велись не им, а какими-то неблагонадежными его офицерами, заинтересованными в удалении меня из державы. Вернее, переговоров и не было. Была их чистейшая видимость. Были инсинуации, фикции, махинации. На протяжении лет нас снабжали поддельными письмами, ложными сведениями и т. п., и т. д., т. е. не только я, но и сам Юрий стал жертвой какой-то Нечисти, каких-то туманных сил, свивших себе гнездо в сердце Родины. Вот ведь тоже бедняга».

Понюхав, Модерати закупорил и убрал. «Блажен, кто верует, Палисандр Александрович. Правда, я обязан заметить, что теперешняя ситуация ваша напоминает мне сотни аналогичных, запечатленных в летописях всех времен и народов». И Петр Федорович отрекомендовал меня к некоторым томам.

Нахохлясь, проследовал в библиотеку и, взгромоздясь на насест стремянки, листаю рекомендованное. И что же? В такие-то и такие-то веки такие-то и такие-то сироты знатного происхождения, служившие там и сям при дворах в разных качествах и количествах, были направлены за рубеж на предмет увнучения или усыновления и по отъезде из милых отчизн отлучены от них навсегда. В изгнанье влачили элегантную бедность.

Тихий, вкрадчивый ужас исторического параллелизма покрыл мою кожу мурашками. Боже сил! Неужели я более никогда не увижу родную твердыню, не поприсутствую на заседаниях ее дум, комитетов, советов, не полюбуюсь со стен ее и из башен на достославный Эмск, не услышу дыханья ее камней, тикания ее восхитительных ходиков, боя курантов.

Тем временем посланный за моим багажом Сибелий вернулся буквально ни с чем. Оказалось, что разыгравшаяся минувшей ночью гроза не прошла напрасно. Одна из многочисленных молний угодила в здание станции и целиком испепелила багажное отделение вместе со всеми его чемоданами.

«А парикмахерская как поживает?» — спросил я Сибелия.

«Парикмахерская открыта,— мрачно сказал управляющий.— Я побрился».

«Вот и чудесно,— порадовался я чужому успеху.— Не зря, знать, пропутешествовали, оправдали, как говорится, поездку».

С. удалился, а П.— разрыдался.

Стоя в фонарного типа алькове с меланхолическим видом на вянущий сад, я видел, как управляющий направляется по аллее к озеру, намереваясь кормить лебедей. Я видел, как черные птицы торжественно плыли ему навстречу, окуная свои розоватые клювы в черное зеркало вод, по которому ветер рассеивал пьяные джонки листьев. Я видел все это и мыслил сквозь слезы о том, что предчувствие не обмануло меня: бритый череп макроцефала действительно не сулил ничего хорошего.

Очередной раздел «Свечи на ветру», которая, если Вы обратили внимание, состоит из тысячи двухсот тридцати четырех разделов, передает содержание эпистолярного диалога, имевшего место в замке Мулен де Сен Лу вечером следующего дня.

П. Д.— П. М.

«Сумерки. Библиотека. Число.

Милостивый государь Петр Федорович, у меня предложение. Нечего нам с Вами буками по углам сидеть — давайте-ка переписываться. Давеча по дороге из города я просил у Вас политического убежища. Нынче в свете случившегося на воздушном вокзале пожара, пожравшего все мои вещи и документы за вычетом, разве, походной ванны, посмертной маски Распутина и квитанции об уплате таможенной на нее пошлины, нужда моя в таковом убежище представляется крайней, и я призываю Вас мне его немедленно предоставить. Ваш акт доброй воли будет расценен как проявление истинного человеколюбия с большой буквы. Кроме того, укажите, пожалуйста, старенькой горничной, которая передаст Вам записку, что у ней развязалась подвязка и сполз чулок. Я указал бы ей сам, да боюсь, что слова мои истолкованы будут превратно.

Прощайте. Пишите почаще. Ваш П».

П. М.— П. Д.

Без обращения и помет.

«Если помните, я сказывал третьего дня, что в доме у нас Вам удобно не будет. Сейчас говорю то же самое. В пятницу мы ожидаем большой заезд постояльцев, и присутствие здесь посторонних было бы нежелательно».

Без подписи.

П. Д.— П. М.

«Вечер. Гостиная. При свечах.

Милый Петр Федорович, мое почтение! С каких таких пор я причислен к лику посторонних? Я, который мог стать родителем Вашей супруги и лишь в силу временнóго провала уступил эту должность какому-то

чуженину, величающему себя светлейшим князем. Вашему корреспонденту прискорбно. Судьба сыграла с ним не по правилам. В поисках семейного очага он оставил Родину и потерял ее, не обретя взамен ничего адекватного. И думается, Вы не смеете класть в его руку, протянутую за кусочком тепла, хладный камень. Порядочно ли отвергать старика лишь на том сомнительном основании, что прибывают какие-то постояльцы. В традициях ли сие готического гостеприимства, по-рыцарски ли, по-адвокатски ль? Никоим образом. Взойдите на галерею — озритесь. В окрестностях замка Мулен де Сен Лу ветер, используя выражение Лю-Да-Бая, настойчиво сводит листья с ума. Не сегодня-завтра приступит к своим обязанностям жестокий сезон. Обретаясь в преддверии нового оледенения, не пора ли нам так или иначе навести мосты и поладить. Ведь есть же, наверное, в данной стране специальные уложения, позволяющие официально выяснить отношения нашего с Вами типа, с тем чтобы клятвенно в них расписаться. И Вы, живущий от буквы закона, те уложения знаете. О, мы не говорим сейчас об увнучении! Кто об этом вообще сейчас говорит; это нынче не в моде. Да и Бог весть, кому бы я мог быть сегодня полезен в качестве внука. Мне, верно, и в сыновья поздновато — а? Я догадываюсь, догадываюсь. Я сознаю, пусть и не слишком отчетливо. Так что никто не вправе заподозрить меня в состоянии великовозрастного маразма. Я чую грань невозможного, как непрозревший щенок интуит, что положен на край обрыва и все ползет, Петр Федорович, ползет прочь от края. Прочь! — к тесным патриархальным узам любого наименования. Прочь! — молча, но бодро, подобно брейгелевским слепцам. Прочь! — в надежде, что кто-нибудь, повстречав тебя на бесславном пути, приютит, даст еды и собачью подстилку, чтоб, лежа на ней у огня, ты был бы весьма и весьма признателен. Не теряя, впрочем, достоинства, не теряя — зачем? И перефразируя назаретского плотника, разрешите вскричать: “Не молчу Вам — увнучьте, но: просто — учеловечьте — учеловечьте, молчу я Вам!”

Нотабена. Будьте построже с прислугой. Тип, что доставит Вам это письмо,— дворецкий? — тайком попивает ликеры из бара в столовой.

За сим остаюсь. Благодарный заранее Палисандр».

П. М.— П. Д.

Без числа, без привета.

«Настоящим решаюсь поставить Вас перед рядом немаловажных фактов.

Первое. Шато Мулен де Сен Лу, в коем я вынужден Вас принимать, представляет собою частный приют для наших соотечественников преклонного возраста и умственной отклоненности.

Второе. Лица, которых Вы полагаете нашей прислугой, в том числе идиот Сибелий, возомнивший себя управляющим замком и братом Трухильды, и сама Трухильда, считающая себя его сестрою и нашей кухаркой,— суть не прислуга, а насельники дома.

Третье. Большая часть насельников в данный момент пребывает на отдыхе в Лонжюмо (Швейцария) и на днях возвращается.

Четвертое. В тех же числах из Эпсома (Великобритания) возвращается моя жена Мажорет. Она — попечительница заведения и держатель его основных акций.

Пятое. Никаких законов о родственном “учеловечивании” в Бельведере не существует. Правда, Вы можете написать прошение на имя моей жены с просьбой “учеловечить” Вас в качестве богадела.

Шестое. Денег на проживание в нашем доме у Вас, вероятно, нет. Но я мог бы похлопотать, испросить для Вас государственный пенсион по недееспособности, хотя по возрасту Вы еще не вполне подходите.

Седьмое. Однако, зная Вас несколько лучше, чем Вы, быть может, подозреваете, и зная весьма своеобычные нравы, царящие среди здешней публики, я еще раз подчеркиваю: удобно у нас Вам не будет.

Восьмое. По возвращении Мажорет я снимаю с себя обязанности исполняющего обязанности попечителя и всяческую ответственность за Ваше благополучие.

Петр».

П. Д.— П. М.

«Милый Петр, любезный друг, buona sera. Стать насельником богадельни, руководимой супругой достойнейшего джентльмена, каким Вы с таким совершенством являетесь,— о подобной чести дерзаю только мечтать. Тем не менее заявление прилагаю. Also спешу заверить, что бритый череп управляющего макроцефала еще не достаточно худая примета, чтобы из-за нее лишать себя упомянутой выше чести и удовольствия влиться в вашу старческую семью, к некоторым членам которой я успел уже искренне привязаться.

Вечно Ваш, Палисандр.

Дано в поздних сумерках ванной комнаты третьего этажа».

В следующем разделе «Воспоминаний о старости», или «Свечи на ветру», непредвзято описаны первые и — как выяснится вскоре — последние радости П. в Мулен де Сен Лу.

На фоне буколики бабьего лета он предается прогулкам по гулкому бору, знакомствам с постепенно съезжающимися после каникул обитателями поместья, играет с ними в серсо и в булль и переживает два-три увлечения. В том числе миловидной старушкой Л., певшей в местном церковном хоре. Как видим, и за границей П. остался верен своему интересу к духовной музыке.

«У ней был самый дивный колоратурный фальцет из всех, что мне доводилось слышать. За исключением, может быть, моего собственного,— вздыхает автор.— Л. пела так, что внутри у меня все обрывалось. Мы сблизились. У нас начались вечерние спевки. Дуэт, казалось, вот-вот состоится, и, вдохновлен, я то нежно пожму ей руку, то выстрою планы на общее будущее, как вдруг выясняется, что она обручена с другим из насельников и в субботу у них церемония».

Палисандр не верит в истинность ее чувств к избраннику и считает, что этот брак меркантилен, о чем открыто высказывается в ей посвященном романсе *.

* На мотив Белы Бартока.

Твой голос, упругий, как мячик,
Тот мячик, который упруг,
Звучал совершенно иначе,
Чем голос твоих же подруг.

Когда ты на клиросе пела,
На клиросе пела когда,
Мне, в сущности, не было дела
До целого мира тогда.

Листва оголтелая, сыпься!
Я жить и без листьев могу.
Но как об расчет я расшибся
Всем буйством моим — на бегу!

А голос, упругий, как мячик,
Тот мячик, который упруг,
Который пружинит и скачет,—
Пружинит и скачет вокруг!

«Я не пошел на венчание. К дьяволу! Келейно изъяв из бара в столовой бутыль мартеля, величественно удаляюсь на водоем. Челн был мал, утл. Но, героически, я выгреб на середину, позволил себе ряд бодрящих глотков и по мере того, как джонка теряла всякое управление, делался все бодрее. Так что когда в соборе Нотр-Дам-де-ля-Неж грянули колокола Гименея, не пуститься в чечетку было бы непростительным упущением. И я поступил так. Судно весело накренилось, и пляшущий навигатор с плеском вывалился в зазеркалье. О равновесие, он потерял тебя!»

В рассужденье, принять ли с расстройства каких-нибудь порошков, дать ли обет безбрачия, Палисандр поделился сомнениями с поместным массовиком-затейником; тот сразу все понял и хитроумно отвлек его от терзаний.

«Мы стояли с ним на веранде флигеля. “Взойдем на террасу”,— сказал он мне. Мы проследовали. Вид — распахнулся. “Попробуем игротерапию,— говорил затейник.— Минут через десять солнце начнет садиться, и кто первый воскликнет, когда оно краем коснется воды, получит за ужином обе порции сладкого: свою и партнера”. Направив луч мыслительного прожектора

в нужном ракурсе, я сообразил, что игра стоит свеч. Мы сели. Гулявшие неподалеку насельницы, возбужденные тем, что мы сделались неподвижны и смотрим куда-то вдаль, тоже поднялись на террасу. Затейник вкратце изложил им правила развлечения. Новички разбились на пары, придвинули стулья к перилам, расселись. После высокогорных вакаций дамы выглядели посвежевшими; на их загорелые и оттененные белыми форменными панамами лица было не наглядеться. Однако я твердо решил, что не хочу отвлекаться, чего бы мне это ни стоило. Остальные тоже сосредоточились. Было ясно, что желающих остаться без тирольского штрудля нету, а получить лишний ломтик хотел бы каждый. Азарт электризовал атмосферу. Психологизм медитации усугублялся тем, что все мы забыли спросить у затейника, что именно нужно воскликнуть, а сейчас, в разгаре игры, вдаваться в расспросы казалось почти святотатственно. И каждый в немом одиночестве приискивал тот единственно верный звук, что адекватно выразил бы восторг Психеи перед великим таинством — иллюзией сочетания вод и огня. До касания оставалось совсем немного, когда новобрачная Л., оказавшаяся среди участниц, не выдержала.

"Что кричать? — закричала она.— Что кричать? Отвечайте! Довольно козней и тайн, шантажа и интриг! Mesdames, товарищи! Нами манипулируют! Нас используют в интересах определенных сил! На баррикады!"

С ней случилась истерика, и сестра милосердия отвела ее в процедурную. В пути она пела "Интернационал" и держала над головою составленное из пальцев обеих рук удлиненное О, символ фетишиствующих феминисток.

"Несчастная женщина",— проронил вполголоса массовик.

И снова сделалось тихо. А когда светило коснулось — коснулось! — поверхности водоема, мы все и почти одновременно закричали одно и то же: "Ом! Ом! Ом!" — закричали мы все, хотя у одних это древнее заклинание вырвалось клекотом, у других — ревом, у третьих — мыком иль блеянием. Так под действием

медитации высвободились дремавшие в нас таланты, спонтанно проявились инкарнационные склонности, называемые нередко атавистическими. Я лично заржал. Заржала и В., бывшая депутат бельведерской Думы от консерваторов, вся из себя чрезвычайно поджарая, чопорная и неприступная. Но природа взяла свое. После ужина (он увенчался гала-распределением сладких блюд среди победителей, из которых я выглядел самым невозмутимым, ибо все прочие откровенно растрогались) мы с В., не сговариваясь, обрели друг друга в глуши конюшни в объятьях друг друга же.

Наши нервные ноздри не находили покою: дурман помещения возбуждал безмерно, и целомудренность уступила в нас место разнузданности в каком-то невероятно сквозном — пожарном — порядке. Взаимозаменяемость этих вроде бы непохожих абстракций оказалась полной. И тут выяснилось, что обладание нелюбимой особой бывает особенно благотворно в том отношении, что помогает забыть о любимой. Лишь поначалу, когда мы с экс-депутаткой скрипично замирали в нюансах или давали сбой, образ Л. учинял в составителе строк душевную смуту, и снова я словно бы слышал ее упругий, опоэтизированный мною, голос. Но затем рутина соития увлекла меня целиком. Сантименты себя совершенно изжили, и после часов и часов интенсивного полового контакта наступила целительная пустота сознания»,— удовлетворенно констатирует Палисандр. И продолжает: «На рассвете ко мне постучали. Я резво переоделся в сухое и вышел из ванной комнаты в коридор, где меня приветствовал массовик. Сей уведомил, что восток нынче чист, воздух свеж и прозрачен, и что если мне будет угодно, то на восходе солнца он мог бы взять у меня реванш за поражение на закате. "Ну, что ж,— отвечал я ему,— ну что ж". И, заспан, но в добром расположении духа, заторопился с ним вместе туда, где маячили очертания флигеля.

В безобразно нагих платанах ныл ветер. Пал иней. Поверхность земной коры заскорузла и напоминала черствую корку хлеба, посыпанную крупной солью — лакомство незваных гостей и нищих. И все-таки верилось в новый успех.

На веранде уже толпились. У многих в пальцах блестели спицы, другие менялись выкройками, третьи были филателисты, четвертые сочиняли считалки, пятые коллекционировали курьезные происшествия.

“Подымемся на террасу”,— сказал массовик.

Поднялись и расселись. И когда восходящее из зазеркалья светило кривым своим лезвием взрезало амальгаму и лебединую гладь стекла и пролилась ее кровь,— крик мой снова опередил вопль затейника на целую долю секунды, и первым, кто поздравил меня с победой в утреннем туре, был он. Он искренне радовался моему успеху, а мне искренне нравилось его спортивное благородство, уменье красиво проигрывать. Мы подружились.

“Де Сидорофф”,— протянул он мне кисть, расплющенную каким-то нелегким трудом.

“Откуда у вас сей прелестный партикул?”

“Не правда ль, забавен?”

“Скорее очарователен”.

“Мне уступили по случаю в Гамбурге”.

“Мелочная торговля?”

“Ja-ja, Люмпен-гассе, толкучка за ратушей”.

“Верх изящества”.

“Вы находите?”

“Чудный, чудный брелок. Не теряйте”.

“Вы льстите мне, право. Да, кстати, тут вот, на обороте, что-то начертано. Вы не прочли бы? А то я что-то не разбираю. Какие-то иероглифы, филигрань. Безобразный почерк”.

“А, староваллийский. Здесь, видимо, выгравировано имя оригинала. Что? Брикабракофф? Какая встреча! Позвольте рекомендовать: вы приобрели себе *де* старинного моего приятеля, проданное некогда за долги на Птичьем рынке. Подумать только — достойнейший дворянин, а титул пошел с молотка за типичный бесценок”. И я поведал затейнику о нелегкой эмигрантской доле семьи Брикабракофф; на что де Сидорофф рассказал о своей».

Мастер расформированных в период военных действий механических мастерских, де Сидорофф, а в ту

пору обыкновенный Сидоров Дмитрий Евграфович, командирован в Бангкок за наждачной бумагой. Погода благоприятствует. Тем не менее уже в Рангуне ему становится ясно, что все коммуникации прерваны. Сведя знакомство с антисоциальными элементами, Сидоров покупает в Калькутте турецкий паспорт, чтобы отплыть с ним в Бразилию, где встречается с молодым Одеяловым, дед которого, Одеялов-дед, обучал в свое время Сидорова начаткам механики. В тот период у них в цеху сотрудничал и отец Одеялова, Одеялов-отец. Работал также Петров, трудились другие рабочие. Все они довольно неплохо знали друг друга и часто, особенно летом, ухаживали за гулявшими мимо работницами. Де Сидорофф живописал те приятные годы сочными и скупыми мазками глаголов и междометий. Рассказанное запечатлелось. И когда денщик Одеялов поведает мне впоследствии историю своего рождения, она не застанет меня врасплох, но прозвучит повторением пройденного. И, сидя в застиранном хитатаре с блокнотом в руках на фоне бредущих на запад пейзажей, в сотый раз осознаю, что вся эта публика — эти сидоровы, одеяловы и петровы,— они-то и составляют тот самый народ, о счастье которого мы все так мучительно и неумело печемся, который жалеем за неприспособленность к жизни, к судьбе, за который боремся и скорбим на каторгах и в стихах, в повестях и в застенках. А между тем этот самый народ никогда не просил и не уполномочивал нас заниматься его делами, ибо дела его обстояли не так уж и худо. И на примере одной механической мастерской мы легко убеждаемся: жили да были, работали да ухаживали, рождались да умирали. А что еще нужно? Какого рожна? Счастья? Счастье слишком непрочно. Благополучья? Оно безнравственно. И поэтому лучшее, что возможно сделать для своего народа,— это оставить его в покое, не тормошить и не дергать, словно того прикорнувшего у Вас на плече усталого спутника — дескать, очнитесь, а то проедете остановку. Не надо, не будите народ Ваш — пусть выспится. И вообще — что мы тут все мудрствуем, дерзаем. Мир сей сотворен не нами, не нам его и менять.

«А вы как рассчитываете, Дмитрий Евграфович?» — спросил я затейника, изложив ему свои охранительные умозрения.

Тот был солидарен. Неладно скроен, да крепко сшит, он держался вызывающе прямо, носил жокейское кепи, имел ароматное кожаное портмоне, малахитовый портсигар и курил «Дым Отечества». Дым названных по роману Тургенева отечественных папирос был сладок, да зол и ел ему носоглотку и серые с поволокой глаза. Но даже и под таким благовидным предлогом де Сидорофф никогда б не заплакал по прошлому. «Черта-с-два»,— говаривал он своей ностальгии. Родился же Дмитрий Евграфович под созвездием Девы, и сим сказано то остальное, что следовало бы добавить о нашем затейнике.

Мы фланировали лугами.

«Родной мой,— я взял его под руку.— Могу я вас вызвать на откровенность?»

«Что за вопрос, разумеется».

«М-м, признайтесь, вы любите первоснежье?»

«А чего его не любить,— возражал де Сидорофф,— мероприятие дельное».

«Дмитрий Евграфович, а вы обратили внимание, какая в них бездна вкуса, в снежинках?»

«Порхают,— отметил он.— Попархивают».

«Вы могли бы их с чем-нибудь сопоставить, сравнить?»

«С чем, к примеру?»

«С чем-нибудь отвлеченным, эфирным».

«Пух, пух,— сопоставил затейник, попыхивая папиросой.— Порою перо».

«Ах, как хорошо вы сейчас сказали, граф, как точно. Особенно про перо. Мол — порою! У вас талант. Вам бы в Венецию куда-нибудь, на этюды».

«Куда мне»,— смутился затейник. Он сделался горд похвалою.

«Скажите, Ваше Сиятельство, а на что это намекала давеча истеричка Л.? Я имею в виду ее ламентацию на определенные силы. Неужто и вправду какие-то низкие люди терроризируют тут стариков?»

«Не верьте. Здесь давно уже нет ничего определенного. А тем более — сил. Запад весь обессилен удобствами, роскошью. Запад сгнил».

«А вы что-нибудь слышали о крестословах?» — спросил я на всякий случай.

«Их уничтожила инквизиция».

«Даже Высокого Альдебарана?»

«Тех — в первую голову».

Ответы графа показались мне убедительными. Я успокоился, впал в безмятежность и жду прибытия Мажорет. Рассеяния мои тех дней незатейливы. Вылепливание снежных баб, выпиливание лобзиком по фанере, рассуждения на заданные себе самому темы, солнечная игротерапия.

Наконец попечительница прибывает.

Сначала она прибывает в Шманц, совершает там кое-какие покупки, заказывает билеты в неприличное синема, заходит к модистке и только затем направляется в Мулен де Сен Лу. Попутно изображается духовный мир героини — растленной, распущенной и погрязшей в пороках и наслаждениях богатой латифундистки. Мир этот нищ и убог, и автор не поступается никакими доступными средствами выразительности, дабы обрисовать его с максимальной правдивостью.

Единственная дочь бельведерской помещицы и черногорского князя, Мажорет едва ли не девочкой отбивается от безвольных родительских рук и ко дню своего первого причастия успевает сменить не только пар тридцать розовых с черной пяткой чулок, но и столько же, если не более, кавалеров. Отец Моришаль Кантелло, священник-иезуит православного толка, причащающий неофитов, в смятении: всю церемонию напролет девочка Навзнич снедает его таким плотоядным взором и строит такие явные куры, что вот — он в смятении. А через неделю на исповеди Мажорет назначает ему рандеву в городском отеле «Тре Кроче», и он не умеет — он просто не в состоянии молвить проказнице «нет».

Накануне свидания отец Моришаль колеблется — может быть, не идти? Нет, все-таки он отправится.

Впрочем, затем лишь, чтоб убедить заплутавшую душу оставить дурную стезю. Там, в номере, куда никто не взойдет без стука, сделать это будет гораздо удобнее, чем в любом общественном месте. Чем даже и в храме, где вечно кто-нибудь околачивается, глазея на витражи, изваяния и бренча осточертевшими четками. Да, он поедет. Однако священник отчетливо осознает, как сложно будет ему, нестарому, еще хоть куда монаху, выстоять против дьявольского соблазна, когда он останется с нею наедине в меблирашке, где все — отец Моришаль помнил это от семинарских пор — все пропитано липким духом греха — когда она топнет своей кривоватой и оттого вдвойне соблазнительной ножкой, требуя, чтобы он запер дверь — и он сделает так — не посмеет не сделать — и, обернувшись,— увидит вдруг — он вдруг увидит, что крестная дочь его, дочь его аккуратнейшей в бытность ее в живых прихожанки — Навзнич — совсем еще девочка — а уже неодета. Тогда — о, тогда, когда уже никто не взойдет к ним — со стуком ли или без — при мысли, что совершится тогда, его колотило. Итак, одному ему не выстоять. И отец Моришаль решает отправиться на свидание с кем-нибудь из наиболее добропорядочных прихожан. Решение иезуита тем более твердо, что девочка Навзнич отнюдь не настаивала, чтоб он явился непременно один. Напротив, она недвусмысленно давала понять, что не имела бы ничего против, если бы он приехал с приятелем. Странно: ему никак не удавалось припомнить, как — какими словами выразила она эту идею. Он помнил только, что в продолжение исповеди Мажорет по-детски дерзила, капризничала и показывала ему язык. «Шалунья, он у нее такой длинный-длинный, у глупенькой, узкий-узкий»,— думал священник, ловя себя на блаженной улыбке.

Итак — отправились. Он — и кто-то из паствы. Скорее всего, директор той частной гимназии, которую посещает девочка. Едут, скачут. По-видимому, в ландо. Ну-с, вот и приехали.

Превосходно, воистину превосходно описано у меня свидание в номере. На столе и вино, и закуски,

и что-то еще, а на стенах — образчики гостиничного искусства. И поскольку драпри интимно задернуты и в комнате — полумрак, сюжеты картин не прослеживаются. Идейное содержание также неразличимо. Видно лишь, что работы выполнены непосредственно на обоях. Техника — спонтанные брызги масла. Неясно, правда, какого — растительного или животного. Да это и не существенно. Существенно то, как неисследимо наставление девочки Навзнич на истинный путь переходит в соблазнение ею и этой пары мужчин, в обладание ими.

«В Вашей прозе нет ничего конкретного. В ней все размыто и запредельно. Она похожа на цепь облаков, баловливо смазанных бризом, и уследить, где кончается то и начинается се, особенно в эротических сценах, почти немыслимо»,— хвалил меня в приветственном адресе по случаю какого-то многолетия В. Аксенов. «Вы — истинный чародей пера»,— настаивал он, сам тоже порядочный иллюзионист. Что ж, пусть! И сцена в «Тре Кроче» решена именно в этом неопределенном ключе. Хотя при известном старанье здесь можно заметить чисто условную грань, за которой события развиваются необратимей, чем перед. Грань проходит на уровне фразы: «Разденьте меня, мне душно!» Ее произносит девочка Навзнич, раскрасневшаяся от бутыли «Альб де Мюссе».

Примечательно, что ни тот ни другой из наставников не способен противостоять магнетизму маленькой нимфоманки. Воля благочестивых мужей подавлена, смята, и положение их заслуживает всяческого сочувствия. Взгляните, они еще проповедуют, наставляют, но уже не могут не раздевать. Эпизодов, сходных с бегло здесь пересказанным, в «Свече на ветру» немало. И если в них участвует Мажорет, то партнеры ее, как правило, люди не первой молодости, годящиеся ей то в отцы, то в деды. Иными словами, девочка Навзнич хорошо разбирается в нас, мужчинах, и юному простофиле и губошлепу всегда предпочтет двух, четырех, а то и полдюжины старожилов покрепче.

Прекрасно, но куда же смотрят родители? Э, что с них взять, с теперешних либералов. Хотя старикам

Мажорет мягкотелость отчасти простительна: единственная наследница, дитя любви — как не побаловать. К тому же — она довольно рано осиротела. Мамаша-то у нее умерла не иначе как родами. Поэтому девочка ее навряд ли и помнит. А Адам Милорадович после смерти жены загрустил, опустился и воспитание дочери поручил своему побочному отпрыску, мать которого неоднократно требовала, чтобы князь документально признал его таковым и дал ему свое имя. Но князь был разборчив, и некоторое уродство сына не позволяло светлейшему поступить по всей совести. Он ограничился компромиссом с ней. Преоблачив своего ублюдка из конюхов в гувернеры *, князь т. о. приблизил его к себе. То был, как вы, наверное, догадались, Сибелий, сын нашей кухарки Трухильды **.

Добрейший малый, он научил подрастающую княжну всему, что знал и умел делать сам. Вычитать и складывать. Стрелять и косить. Браниться и драться. Курить и ездить на лошади. Первое катание Мажорет оказалось неординарным. Ей едва исполнилось лет, что ли, девять и едва рассвело, когда единственным в своем роде июльским утром Сибелий, не седлая чалого Хобби, сел на него, посадил впереди себя воспитанницу и умчался с нею в луга. Царила такая рань, что чибисы еще не проснулись, а на княжне была лишь короткая ночная сорочка. Перед тем, как им въехать в чащу, Сибелий попридержал коня и попросил Мажорет пригнуться, сказав, будто ветви висят над тропой слишком низко, а конь высок. В те годы княжна была довольно послушной девочкой, и она сначала пригнулась, а после даже и прилегла ничком, ухватившись за гриву лошади. Сибелий тронул. Отцовская пуща осенила их своими ветвями, и брат, воспользовавшись прилежной позой сестры, на скаку лишает ее невинности.

Девочка восторженно привязалась к бывшему конюху, и верховые прогулки внедряются в ее образовательную программу столь планомерно, что Адам Милорадович,

* По другим источникам — в управляющие.

** По другим источникам — брат.

сам старый кавалерист с кривыми ногами на дагеротипии сараевского портретиста, не нарадуется успехам дочери. К сожалению, рамки настоящей рецензии не позволяют нам привести в ней те, может быть, излишне натуралистические подробности, коими иногда грешат такого рода прогулки. Отмечу только, что когда я набрасывал главу о первом катании Мажорет, то сопереживал всемерно. А перечтя воссозданное, поистине исстрадался. Отчасти из-за того, что уж больно правдиво все оказалось воссоздано, психологично, и стиль исключительно выдержан. А потом — что же мне не страдать, если я сам пережил нечто аналогичное в том же и даже более нежном и ознобливом возрасте. Произошло это так.

В детстве за мною ухаживала моя бедная няня. Не в том отношении бедная, что жалованья ей не хватало — подобное в крепости не допускалось ни при каких правительствах,— а в том достойном жалости отношении, что казалась она уж очень какой-то убогонькой да богобоязненной. Ветхая была дама, старорежимная, у Романовых еще нянчила. А за нею наездами из монастыря ухаживал небезызвестный Вам Берды Кербабаев. Но хоть мужчина он был, как Вы знаете, видный и не без царя в голове, Агриппина моя капитану долго отказывала под тем предлогом, что, мол, брильянтовые те колье да колечки, которыми он ее то и знай одаривал,— суть вещи усопших.

«Живых обирать — это еще туда-сюда,— ворчала она, примеряя новое украшение.— А вот покойников обездоливать — совсем не годится». И, зашивая подарок в подкладку цигейковой кацавейки или в подушку, предупреждала: «Смотрите, подвергнетесь Вечной Погибели, узнаете тогда, почем фунт изюму».

«Предрассудочная вы женщина,— беспечно возражал ей Берды.— А еще христианка».

Несмотря на такие существенные разногласия по вопросам этики и морали, природа в конце концов возымела на Агриппину свое воздействие, и пожилые люди стали любовниками. То было в лучших традици-

ях городского романса — весною, в тени берез. И, взирая на происходящее из песочницы, я не мог не порадоваться чужому порыву. Но счастье их оказалось минутным. Хотя ни жестов, ни мимики за капитаном не числилось уже в те сроки, он пользовался у женщин успехом и был повеса и ветреник. Не прошло и недели, как Берды благородно и честно поставил Агриппину перед фактом неверности.

Они расстались.

Она смотрела из-под руки, как он уходит, пересекая Манежную площадь. Он пересек ее и, любуясь останками допотопных тварей в окнах палеонтологического музея, направился по Моховой. Он дошел до скрещенья ее с бульваром, свернул налево, к Арбату, и затерялся в одном из тех переулков, где в ожиданье племянника жительствовали мои многоюродные.

Агриппина расстроилась и (это ли не характерно для русской женщины той эпохи — эпохи быстрых фокстротов, по-островски мелких мещанских страстей и ложно понимаемой гордости) вспыхнула отомстить Кербабаеву. Я жалел Агриппу, старался не огорчать ее непослушанием, как-то развлечь, быть полезным. Вот почему, когда ранним субботним утром она спросила меня из ванной комнаты, не могу ли я потереть ей спину, я — хоть ушел с головой в вышивание — с готовностью отозвался: «Иду, дорогая, иду! Можно?»

«Входите, дружочек».

«Какой у тебя тут пар, Агриппа. Как в бане. Я ничего не вижу».

«Сюда, Палисандр Александрович, няня здесь».

«А мочало?»

«Тут оно, тут. Нате-ка. А сами-то не желали бы поплескаться? Ботинки только снимите, а то намокнут».

«Тебе?»

«Себе, дружочек, себе, я без всего купаюсь: привыкла. Шагайте. Не горячо? Ах, дитя мое, как вы правильно трете! Так, так. И чуточку ниже. О, ласковый. Да вы придвиньтесь немного, а то не с руки вам. И не серчайте уж, что подсказываю на первых порах. Ну, не томите, прошу вас. Ы! Вот как ловко у вас получается.

Ах, за что вы так балуете свою бедную няню. Она ведь не заслужила. Ей совестно. Няня — бяка. Нет, нет, не слушайте, продолжайте, пожалуйста, трите».

Я продолжал.

«Ну и баловник же вы, батюшка»,— говорила она, расслабленно покидая ванную после трех дней сплошного катарсиса. Месть не подозревавшему о ней Берды была сладка, но преступна, и с той поры Агриппина стала моей совершенной рабою.

В сходственных отношениях состояли юная Мажорет и старик Сибелий. Забавно: и ей, и мне любовники наши вскоре набили порядочную оскомину, и точно так же, как Агриппина по моему требованию сводила меня с товарками, Сибелий, не смея перечить воспитаннице, стал обеспечивать ее своими дружками. Как видите, идея о родственности наших с ней душ и вкусов напрашивается сама собой. Переиначивая господина Флобера, я мог бы в сокрушенности сердца признаться, что Мажорет — это я, однако мне хочется, чтобы Вы сами пришли к этому заключению, и потому промолчу.

Флобер! Вот фигура, вызывающая наше историко-литературное алас! Его изречения затаскали подобно фетровым шлепанцам, надеваемым поверх обуви при входе в музей. У них еще такие тесемки на задниках, чтобы завязывать. К сожалению, далеко не все посетители наших лувров дают себе труд внимательно прочитать инструкцию министерства культуры, и поэтому многие завязывают их неряшливо, нехаляво. А некоторые не завязывают совсем, в результате чего тесемки влачатся и увиваются за такими любителями изящного, словно шлейфы. А если бы все посетители следовали инструкции и завязывали себе тесемки как следует быть, вперехлест, в подражание древним, то вид экскурсий был бы куда приглядней, и шлепанцы служили бы нам и верней, и дольше. На основании сказанного вовсе, однако, не следует, что девочка Навзнич знакома с «Мадам Бовари», с «Лолитой» или «Манон». Нет-нет, положительные героини, девочки, так сказать, бонтонных манер, Мажорет не интересуют. Случись госпоже Бовари познакомиться с госпожою Навзнич, и поделись

француженка с бельведеркой своими любовными неурядицами, последняя дико расхохоталась бы гордой Эмме в лицо и, всю раздев, исхлестала б ее своим жокейским хлыстом, шепелявя: «Не сметь, не сметь обманывать мужа!» Ибо она шепелявила. А после она позвала бы с улицы каких-нибудь отвратительных, покрытых хрестоматийными струпьями нищих бродяг и приказала бы им взять несчастную. Те приступили бы с живостию, а та, сознавая, что наказание это целительно и что она заслужила его, та возблагодарила бы небо за то, что оно ей послало в приятельницы такую чуткую и справедливую женщину, и по ходу сеанса просила бы только: «Еще, еще!» Госпожа же Навзнич смотрела бы на экзекуцию как бы со стороны и тихо светилась бы, радуясь.

Дело в том, что небольшая склонность к жестокости, замеченная у ней в детстве, постепенно переросла в неуемную страсть к чужому страданию, причем страданию определенного типа. Причиной тому явилось известного сорта чтиво. «Воспоминанья» маркиза де Сада издавна стали настольными и постельными книгами девочки Навзнич, что было почти неизбежно, поскольку произведения эти принадлежали перу ее отдаленного предка по материнской линии. Служа семейной реликвией, переиздания и переводы трудов сиятельствующего мерзопакостника занимали в библиотеке ее отца много полок и насчитывали более восьмисот томов. Изучение девочкой параллельных текстов сказалось. В шестнадцать она защебетала на языках похлеще маленького Одеялова. И в том же возрасте вышла замуж. Причем исключительно из светских соображений.

Руки Мажорет добивались многие, но изо всех претендентов княжна умышленно выбирает себе небогатое, незнатное и сравнительно с нею — лишь с нею! — безвольное существо. «Вы ничего не умеете»,— брезгливо цедит ему Мажорет в их первую и единственную брачную ночь, не испытывая к молодому адвокатскому телу практически ничего, кроме понятной нам с Вами гадливости. С тех пор — равно как и до них — Петр Федорович Модерати нужен был ей лишь в одном супружеском качестве — номинальном, и в спальню ее оказался

невхож. А поскольку Бог не послал им детей, Петр полностью сублимировался в юридическое обслуживание коммерческих заведений, в оформление купли-продажи недвижимости, в решение вопросов налогового законодательства, в составление завещаний и соглашений по найму, в регистрацию актов гражданского состояния, а также в ведение бракоразводных и прочих удручительных тяжб.

Во все тяжкие припускается и княжна. Став супругой весьма уважаемого господина, мадам Мажорет Модерати преисполняется внешнего благочестия. На словах она — глубоко религиозная, высоко порядочная светская женщина. А — на деле? На деле едва ли не дьяволица. Ее стихией делаются маскерады, балы, балы-маскерады, рауты, пикники, бенефисы — словом, сплошные адюльтеры. Далее. Не ограничена в средствах родителя, эта ханжа по вступлении в брак осуществляет жгучую отроческую фантазию: в замке Мулен де Сен Лу на базе частного старческого приюта, организованного еще Чавчавадзе-Оглы, задействовал тайный гарем. О, с каким упоеньем, запойно, при попустительстве мужа и с помощью слуг, насиловала она насельников и насельниц — сама или же опосредованно, вынуждая их к массовым совокуплениям. Давшие при поступленьи в приют подписку о собственной недееспособности, богаделы были по сути бесправны. Их жалобы на измывательства попечительницы принимали в инстанциях за маразматический вздор и выбрасывали не читая. К тому же эротические мероприятия проводились в замке под видом торжественных утренников, добротворительных и юбилейных концертов, обедов и вернисажей. Обустраивалось все это с такою помпой и было исполнено столькой елейности и столького всеприличия, что, слушая или глядя со стороны, Вам было бы решительно не понять — чествуют там кого-то или бесчестят. Не понимал и Закон. Тем паче что князь, полагавший затеи дочери детскими шалостями, оплачивал любого рода услуги властей предержащих авансом и с поистине черногорской щедростью. Словно ржа железную чешую кольчуг, разъедает коррупция герцогство.

Будучи не в курсе вышеизложенного, Палисандру ничуть невдомек, отчего по мере истечения дней, остающихся до приезда княжны, лица насельников делаются все тревожней. А граф де Сидорофф? Зачем бы ему не уведомить вновь обретенного друга о происходящих бесчинствах? Зачем в ответ на попытку подозревавшего о чем-то (пусть и о чем-то совсем другом) П. поговорить откровенно Дмитрий Евграфович лишь рассеял его подозрения? Да затем, что при поступлении на работу в замок граф давал мадам Модерати клятву о неразглашеньи служебных тайн; и клятве был верен.

Портрет блудницы не будет полным, если не подчеркнуть, что она проводила каникулы в Эпсоме, городе скаковых испытаний кобыл, каковых испытаний она завсегдатай. И вот она прибывает.

Ее открытый — с несообразно всему ее образу жизни суровым форейтором — кабриолет, влекомый нецелесообразным количеством довольно-таки неплохих лошадей, въезжает в ворота Мулен де Сен Лу ровно в сумерки. И когда, сминая бегонии луга, бегу я, взволнованно помолодевший, ему навстречу, со мною случается ужебыло — очередной его приступ.

Писатель использует здесь прием аппликации. Он берет картину моего моментального озарения и накладывает ее на перспективу пространств и времен. И тогда на сумрачном фоне их, словно на смуглом челе ирокеза, обрамленном перьями перламутровых облаков, картина обретает сугубую ясность и оживляется звуками, овевается ароматами, одевается светотенью. И я узнаю и сидящую в кабриолете особу в черном дорожном жакете с высоким жабо, и форейтора в желтых крагах, и профиль дальних отрогов, и запах альпийского ветра, и себя самого — в панаме и бриджах на лямках крест-накрест — бегущего, сминая бегонии луга. «Постойте,— молча говорю я себе и в удивлении приостанавливаюсь,— но ведь это же Вы, любезнейший, бежите навстречу кабриолету,— Вы, только невинным ребенком,— только в одном из предшествующих воплощений. А что касается той особы в дорожном, то это она, та самая родственница — единоутробная сестра

Вашей прежней матери, Ваша прежняя тетка. Она приехала в ваш фамильный замок стать наложницей Вашего дряхлого, но богатого батюшки и — по его словам — заменить Вам недавно умершую мать». И сейчас, вспоминая, что будет дальше, я содрогаюсь. Да, это она, безобразно смазливая «дама из Амстердама», развратила меня, совратив. А когда в бытность мою почти нецелованным крепостным сиротой я впервые отчетливо вспомнил, как именно все сие ужебыло — было (Вы помните? как будто не с нами, а с жабами), тогда-то моей добродетели, скромности и был положен предел. То первое полноценное воспоминание разбудила во мне Агриппина. Разбудила, мстя Кербабаеву. Там, в ванной комнате. И я сам под влиянием ее простосердечной пылкости — тоже проснулся. Проснулся сознанием. Проснулся, не понимая еще, что к чему и зачем,— лишь предчувствуя, что после всего пережитого не смогу оставаться прежним, что начинается — уже началось — нечто смутное, суетное и тлетворное для души и тела, чему воспротивиться не дано мне — чему я не ведал и имени. Позже, копаясь в допотопных энциклопедиях, где то и знай попадались высохшие клопы, но не было ни намека на Палисандра Дальберга (что привело его в конвульсивное бешенство и подвигло швырнуть в камин ряд многотомных изданий), я выясню, что смутное нечто зовется казенно и скушно, а именно — половая жизнь. И вот я проснулся к ней. Каждой веткой. И птицей.

Половые эмоции меланхолика, в частности половая память, подчинены законам обратной перспективы. Если текущий момент с его мнимозначительностью похож в ней на периферийный театр, в котором всегда заурядно и перебор декораций, то истекший — с уже отсеченным лишним — насущно животрепещет. Краски его разгораются, он оголен и целиком поглощает воображение. Поэтому я не гневаюсь на мою бедную няню. Она ведь сиюминутна. Она соблазнила меня недавно — вот — только что. Даже пар в ванной комнате еще не успел рассеяться, так что по-прежнему я ничего не вижу и как бы кричу ей туда, на другой, затуманенный

берег Леты: «Агриппа, ты где? Не прячься! Я на тебя не гневаюсь. Мне не за что гневаться. Ты просто разбудила меня. Откликнись!» И она откликается: «Сюда, Палисандр Александрович, няня здесь!» И руки ее проступают сквозь душные испарения и сквозь хмурую кутерьму вьюжной тюри — тянутся ко мне из-за теплых летейских струй в летаргическом декабре, истомленно маня. О, велик мой соблазн. Но — отшатываюсь, но — отстраняюсь, но — прочь. Ибо мне — не пора, не время. Я должен дописать Вам, Биограф, это сказание, эти инструкции, эти последние, м. б., мемуары. А там будь что будет. За предназначенной гранью, за предначертанною чертой я уже не уклонюсь от ее объятий. Шагну ей навстречу. И, перейдя реку вброд, обрету свою няню снова — на том берегу. «Здравствуй, няня,— скажу я ей впопыхах.— Я — соскучился». Смерти нет, господин Биограф; но существует отдохновенье в тиши залетейских рощ, есть соитие с Вечностью, с Забытьем в образе бедной няни. И я отойду туда, чтобы слиться. И я отдохну там. Забудусь. Уж там-то — наверняка. Я поступлю так, чтоб с новыми силами взяться потом за преобразование государства российского, милостивый государь. Т. к. творцам и летописцам Истории свойственно возвращаться. Верьте в это. И уходите как можно скорей, чтоб скорей отдохнуть и вернуться.

Итак, Агриппину простил я. Но ту растлительницу из *отдаленного*, что согрешила со мною когда-то и где-то (как позже выяснится — в Мулен де Сен Лу) и которую я дразнил про себя «дамой из Амстердама»,— ее подсознательно возненавидел. И, возжелав возмездия, стал его воздавать ей в лице ее сластолюбивого пола как такового, предпочитая особ пожилого возраста *. За весь причиненный мне ею стыд и бесчестие я воздавал стыдом и бесчестием же и — не кривя душой — утверждаю, что проделывал это неистово, жадно и смачно. Амабиле!

* Кстати, чтоб не забыть. Я надеюсь, что Вы скорее одобрите, чем осудите мое предпочтение: ведь интерес историка к разного рода антиквариату довольно естествен.

Признайтесь-ка вы, мои разноплеменные и мимолетные пассии, кого я напоминал вам в те буйственные часы? Неужто и вправду лямура? Только не обеляйте меня, будьте искренни. Нет, не лямура, но склизкую рвотную жабу с пупырышками и бородавками напоминал я вам в те часы. Как, впрочем, и вы мне. Я предавался возмездию пучеглазо, величественно, всячески изощряясь и аппетитно покваживая, а вы мне вторили, подпевали своими лягушьими дискантами. Явленные во всем природном великолепии, мы были достойны друг друга. Мы были равно отвратны. Но тот, кто намерен швырнуть в нас камень, пусть бросит его вначале в себя. Ибо нет человека, в котором издревле не дремала бы жаба. И беда — нет-нет, не вина — наших бедных нянь состояла в том, что они будили не только нас, но и в нас — ту жабу, т. к. сами делались ее первыми жертвами. Ах, слышали б Вы, каково им квакалось! Снисхождение? Я лично не ведал его. Да и кто его ведал в те годы *.

Ну вот, а форейтор — он был и будет просто форейтор — во все времена: неотесанный бельведерский мужик в зеленой ливрее и крагах на босу ногу. Придурковат, но, умело прикидываясь полной дубиной, он состоял негласным любовником «дамы из Амстердама», чье имя — поскольку я не могу его сразу припомнить, а скоропись хронографии не терпит никаких проволочек — пусть будет теперешним: Мажорет. А — мое? Я был сыном своего престарелого батюшки герцога фон Бельведер, и не исключена возможность, что он из любви к искусству назвал меня Аполлоном. Я был Аполлон Бельведерский, вообразите! К несчастью, сейчас, в эпоху победоносного плебса, мало кто понимает, что значит носить подобное имя.

Итак, сминая бегонии луга, я все бегу навстречу ее экипажу: теперь — и тогда — и завтра — и всякий раз,

* Подробней об этом читайте в моем труде «Этическая логика гуманизма», особенно в главе «О детской и отроческой жестокости». Последняя, по моему глубокому убеждению, есть оборотная сторона такой медали, как сердобольность.

как в том возникает необходимость — в любом из человеческих воплощений моих — неукоснительно, всенепременно — я все бегу. И с каждым разом предшествующая «Мажорет» все менее отличается от последующей, а форейтор — все менее от форейтора, бег — от бега, и луг — от луга, и я — от я. И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло. И я не смогу себе дать отчета, в каком из бытий моих я бегу вот сейчас, вот сию минуту, и что такое сия минута, и к чему здесь эти бегонии, и при чем тут — а если при чем, то кто — кто этот некто, обозначаемый с Вашего позволения буквой я. Хотя, если честно, я не способен в том отчитаться уже и нынче, и тем не менее все бегу и бегу.

Обдав Палисандра дорожной грязью, кабриолет проносится мимо, и наш герой остается один в кругу нерешенных вопросов. Циническая манера мемуариста все подвергать сомнению, куриная слепота его сексуальной памяти приводят к эффекту сомнительной ценности. Текст постепенно утрачивает присущую ему изначально четкость и обретает расплывчатость. И хотя субъективно автор по-прежнему не поступается никакими средствами, чтобы как можно полнее раскрыть внутренний мир персонажей, читатель претерпевает лишения путника, застигнутого наступающей ночью. В смятеньи свидетельствует он ускользновенье деталей. Сначала из поля зрения ускользает третьестепенное, после — второстепенное, и т. д. Так, на странице семьсот четырнадцать, где почему-то еще раз рисуется внешность встречающего жену Модерати, отсутствует привычное упоминание о его манжетах. Следующие четыре страницы посвящены рассказу о том, как выглядела приехавшая. Но и тут Вам остается лишь восхититься умением автора описать все так, чтобы не описать ничего. Доходит и до курьезов. Положим, когда господин Модерати тянется за расческой, чтоб причесаться, рука его навсегда повисает в Вашем сознании, символизируя типическую незавершенность акта, ибо ни сам адвокат, ни предметы его обихода в тексте более не фигурируют,

точно их совсем уже описали и опечатали. Исчезает и такая деталь, как время. Причем регулярно. Проблема его систематического отсутствия мучит мемуариста всечасно. В этой связи вспоминается эпизод из вставного романа «Там, в ванной комнате». Вернее, два эпизода.

Носимый по всем континентам различными веяниями и судьбами, П. оказывается в стране кленового листа девятьсот девяностых годов второго тысячелетия.

«Дела привели меня в мятежный Квебек,— пишет автор.— Локальнее — в Монреаль, ставший своего рода канадским Бейрутом. Часы на вокзальной башне показывали полшестого, на моих было девять, а по Молсону * дело близилось к полночи. Вдали постреливали.

"Эй, приятель! — по-свойски окликнул я какого-то мимохода в бойких усах.— Сколько времени, малограмотно говоря?"

"Виноват, но этого больше нету".

"Pourquoi?" — чуть ли не удивился я.

"Разве сами не знаете?" — тихо сказал субъект.

"Понятия не имею. Я, видите ли, приезж, прямо с поезда".

"То, о чем вы спросили, упразднено".

"Кем?"

Он оглянулся и молвил: "Бунтовщиками".

"Безумцы!" — всплеснул я руками.

"Презумпция? — извратил мимоход, уносимый сквозняком мятежа в некую подворотню.— Презумпцию отменили тоже".

"Зато,— заочно полемизирует с ним Палисандр,— в провинцию была возвращена из-за океана традиционная галльская гильотина. Лонгвийский гравер вывел вдоль лезвия девиз злопамятных кебекуазов — "Je me souviens" — и адрес: "Великому народу Квебека от металлургов Лорейна"».

* Молсон — канадский пивной король. Его гигантский завод в Монреале построен на вершине горы Монтроял. Часы, вмонтированные в трубу предприятия, видны почти с любой точки города.

Отделение провинции от остальной Канады, состоявшееся в те же дни, сопровождалось повальным саморазоблачением ренегатов и отчленением их туловищ от голов. Первым по недоразумению казнили Рене Левека, вдохновителя победившего беспорядка.

На эшафоте бывший премьер-министр выглядел осунувшимся, но счастливым. Знак v не давал покою кистям его рук, и Клио дышала ему в лицо, словно преданная Химера. Расстроганно-благодарный народ ликовал и плакал. Закон — молчал. Лишь в последний момент возникает революционный герольд и кричит, что постановлением свыше лишение головы заменяется господину Левеку гражданским умалишением. Раздосадован неуместной гуманностью, он в сердцах эмигрирует из республики в тот же вечер.

Безвременье вредно, губительно. Оно разъедает структуру повествования до мутной неузнаваемости. И вместе с самим Палисандром мы перестаем понимать, в какой из его инкарнаций все это случается. Кто он — осиротевший мальчик Средневековья, юноша Железного века или старик Переходной эпохи, взыскующий приюта в том замке, где он по меньшей мере однажды родился и вырос? А может быть, он двулик — многолик, и происходящее с ним есть двудейство — иль многодейство? Неясно. Тем более что привычная логика бытия достаточно опрокинута. Ясно только, что при знакомстве с прибывшей Палисандр испытывает неизъяснимый трепет и что после знакомства она ведет его за руку анфиладами комнат в зал актов, а может быть, в процедурную; словом, куда-то туда, где уж все приготовлено: фрукты, вино, писчебумажные принадлежности. Расстелена и постель. Там совершится непоправимое. Хоть и не сразу. Сначала он распишется в собственной недееспособности, и некто, чья личность не будет установлена никогда, скрепит его подпись личной печаткой. Затем Мажорет, влекомая прелестями Аполлона, начнет домогаться его внимания.

«О, разденьте меня, разденьте»,— задышит она благовониями своего похотливого рта и тела.

«Ах, тетушка, разве можно, ведь мы не одни, у нас возрастная пропасть, подумайте, я — ваш пасынок, мы только что оформили соответствующие документы, я же почти что ребенок, а вы — — — вы так страшно юны, что с лихвою годитесь мне в дочери, вообразите, что скажет высшее общество, Бельведер, ежели вдруг узнается — нам не дадут проходу — а муж? Посмотрите, разве это не Петр сидит за клавиром, наигрывая краковяк? Ему, наверное, было бы неприятно, ревностно. Он, видимо, выбежал бы с расстройства прочь. О Петр Федорович, милый вы мой человек,— вольно же вам было брать в жены такую молоденькую да ветреницу. Не приведи Господь, захвораете, сляжете,— так такая вам и стакана чаю на одр не подаст, Петр Федорович, стакана. Или это не Петр? — — — А, это герцог, мой одинокий papá. Вы знаете, как он ждал вас, ma tante. Все выбегал, все спрашивал, нет ли писем из Нидерландов. Он, знаете ли, отчаянный филателист, а голландские марки теперь так ценятся. Да не в них, разумеется, счастье. Что марки! Он вовсе не меркантилен. Он любит вас просветленно, искренно, без посторонней мысли. Его любовь есть какой-то незамутненный источник вечной привязанности. И если б papá узнал, что вы мне тут предлагаете, он бы просто не вынес и, увядая, твердил бы одно и то ж: “Ах-ах-ах, зачем я ее только выписал из этого Амстердама, зачем я ее только выписал!”»

Мажорет раздражилась. «Так значит, вы не хотите раздеть меня?»

«Я не смею, дружочек, я, право, не смею. Мне совестно».

«Что ж, тогда раздевайтесь сами».

«Позвольте, а мне-то к чему?»

«Вас осмотрят».

«Я совершенно здоров, уверяю вас».

«Карл Густавович, осмотрите»,— сказала она.

Сидевший за инструментом восстал, стукнул крышкой. Свет ранних лампад и звезд лег ему на чело, подбородок, выявил щеки и нос. И я понял, что обознался. То был не Петр и не отец мой герцог.

«Но разве вы — Карл Густавович? — сомневался я, отступая, меж тем как он без сомнения надвигался — и плотью, и тенью.— Вы — управляющий наш Сибелий, не правда ли? Только не отпирайтесь. Ваш бритый череп выдал вас с головой».

«Ошибаетесь,— рек он грустно.— Я — Карл Густав Юнг, здешний доктор, и должен завести на вас медицинскую карту, историю ваших болезней. Без этого вы не сможете стать насельником».

«Вы — самозванец, почтеннейший,— сказал я ему.— Юнг был моложе. Я прекрасно помню его по лекциям в Дерптском университете».

«Некогда все мы были моложе,— звучал ответ.— Раздевайтесь».

«Нет-нет, вы не смеете, я прошу вас нижайше».

«Экий вы у нас, батенька, интроверт»,— говорил элегично некто, буравя меня пустым и томительным взором покойного моего учителя Вольфа Мессинга.

«Боже мой, я стал гипнабелен, как ребенок»,— думалось мне, проваливаясь куда-то вниз, в подсознание. Но прежде чем окончательно кануть, успел, повинуясь немому приказу гипнотизера, сбросить шлафрок и расстегнуть себе лифчик.

Когда я очнулся, то понял, что тело мое лежит на постели предельно обнажено и кто-то умело и жадно пальпирует его в четыре руки. Присматриваюсь: то были некто и Мажорет. И он говорит ей: «Пощупайте здесь, сударыня. Оригинальный анатомический случай — истинный гермафродит».

«Тем лучше»,— сказала она, пощупав.

И я сказал им: «О ком это вы сейчас говорили? Кто — истинный?»

И он сказал мне: «Вы-с, батенько, вы, сладенькое мое». Физиономия бритоголового остраняла выражением деловитости, граничащей с непричастностью к происходящему действу, а лицо Мажорет отталкивало выражением слюноточивой похоти.

Взвиться — кинуться анфиладами и галереями, кровезавораживающе вереща — удариться в гневный

античный бег бога гнева, запечатленный в массе мозаик. Это следовало проделать немедля — тотчас, не откладывая в долгий ящик. Но — стыд! Густопсовый и муторный, он сковал мне и волю, и члены. И только уничижительный лепет: «Простите, я совершенно запамятовало»,— был ответом моим незнакомцу.

Постепенно пальцы пальпирующих делались все настоятельнее и вкрадчивей, и неловкость моя уступала место телесной радости, плотской неге и, наконец, уступила его бесстыдству. Я млело и блеяло, реяло и пресмыкалось. Я бредило. Мне было утробно, приятственно. Мне было либидо. И все мои незавидные обстоятельства больше не обстояли — их цепь распалась. Я стало раскованно, свободно от всяких предубеждений, и даже тот факт, что моя двуединость открылась, не ужасал меня.

До сих пор лишь четверо, кроме меня самого,— мать, отец, дядя Лаврентий и дядя Иосиф — знали о теневой стороне моей исключительности. Врач, принимавший роды у мамы,— не в счет. Поняв, что знает излишне много, он в ту же ночь выпил снотворного. «Он был воплощенное благоразумие»,— сказал о нем Лаврентий на панихиде. А кормилицам, боннам и прочему персоналу раздевать меня категорически возбранялось. Так что после смерти Лаврентия я оказываюсь единственным хранителем тайны, возведенной в ранг государственной. Я храню ее беззаветно. Дабы не проговориться во сне, стараюсь забыть о ней, для чего не гляжу на себя нагое, а также не думаю и не пишу о себе в среднем роде. Выражение «дерзающее лицо» — единственное исключение.

Сын грядущего райского века с его безоговорочным равенством всех полов, а то и с гермоархатом, Вы, может быть, изумитесь: к чему мне подобная скрытность? Я объясню.

В нашу эру общественное мнение рассматривало гермафродита как сексуального отщепенца, а быть таковым полагалось порочно, безнравственно, а подчас и преступно. Поэтому миллионы моих соотечественников-гермафродитов — ложных и истинных — воспи-

тывались в том сознании, что они суть мальчики или девочки. Они носили соответствующие имена, прически, одежду и, не распознаны, не разоблачены, пользовались правами и привилегиями единополых граждан: активно участвовали в жизни своих трудовых коллективов, посещали спектакли, концерты, синематографические и другие увеселительные учреждения за исключением общественных бань *.

Изначально я было сопричислено к мальчикам и неплохо справлялось с порученной ролью. Ни в крепости, ни в монастыре, ни в остроге никто, насколько я знаю, не заподозрил подлога. Но, как видите, на старости лет тайное стало явным, разоблачение мое состоялось. Обидно. А с другой стороны, наступило известное облегчение — с плеч гора, камень с сердца. Ведь хорошо, когда не нужно что-либо скрывать, таиться. Тогда можно мыслить и чувствовать нараспашку, без комплексов и парадоксов, существовать полноценно, светло. Славно значиться личностью как таковой, но во сто крат славнее значиться личностью соприродного пола. (Афоризм мой.— *П. Д.*)

И вот, эйфорически изнывая под ласкою настоятельных рук, я бормотало себе: «Свершилось — бита и эта карта. Отныне пусть ведают все: я — Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием».

Коллега Биограф! Мой истинный почитатель и друг! Разрешите мне на пороге дальнейших перипетий обратиться к Вам с отступлением. Позвольте нынче же, здесь, взяв в свидетели эти витые кремлевские свечи, связать Вас научной клятвой.

Общеизвестно, что в жизненной практике высокородных и высокопоставленных лиц происходят порою настолько щекотливые инциденты, что экспонировать их ко всеобщему обозрению полагается нежелательным,

* Те, кто подобно Вашему корреспонденту догадались мыться в пижамах, посещали и бани.

ибо интимные сведения о великих мира сего профанируют-де и снижают их образы. Здесь описывается как раз такой эпизод. Однако я никогда не страшилось и не страшусь профанации, т. к. образ по-настоящему честного человека настолько высок, что снизить его никому не удастся. И я говорю Вам, Биограф, со всей настоятельностью: «Человечество должно знать суровую правду: я было гермафродитом!» Нет, я не эксгибиционисто, любезнейший, как меня, вероятно, трактуют иные ваши хронографы от порнографии; я, скорее, действительно интроверто. Но я хочу — претендую — дерзаю быть тем единственным, кажется, лидером нашей злосчастной эпохи, который всегда и во всех обстоятельствах оставался предан исторической истине — душою и телом. И я хочу быть уверен, что осознание Вами моей двуполости и изучение связанных с нею особенностей моего правления и личного экзистенса не пройдут под грифом «секретно», что Вы не погребете определенные факты моей биографии где-нибудь в ниве памяти, втуне, в ограде академической посвященности, а, наоборот, предадите их публикации и огласке. Чрез разделяющие нас прорвы столетий — однажды и навсегда — клянитесь мне в том. Клянитесь, а я со своей стороны обязуюсь быть сколь возможно признательно и не остаться в долгу. Давайте-ка вот что — давайте я посвящу Вам одно из своих произведений. Неважно какое — ноктюрн, акварель или что-либо из элоквенции. Только клянитесь — и я одним посвящением обессмерчу Вам имя. Идет? Где-нибудь в уголке произведения, чтобы особенно не бросалось в глаза посторонним, я начертаю слова: «Посвящается моему будущему биографу». И распишусь. А Вы потом аккуратно припишете свои инициалы и посвящение обнародуете. Не думаю, чтобы кто-нибудь усомнился в его подлинности на зыбком основании того, что я не могло угадать Ваших инициалов. Что значит — не могло! Ясновидение решает еще и не такие задачи. Договорились? Тогда клянитесь. Вы слышите? Не упускайте шанс!

Благодарю Вас. Я всегда полагало, что кудель гробовой тишины спрядена из шопотов будущего, и вот

теперь отчетливо различаю меж ними Ваш клятвенный, страстный отзыв. Читайте ж, читайте меня, Биограф. И, не коря за корявость руки и слога, простите за натурализм описаний.

«Карл, вы будете первым,— сказала ему Мажорет.— Приступайте». Мнимый доктор достал из кармана баночку с вазелином, смазал себе зизи и разверз мне межножье.

Я закричало, словно животное. Да, в целом было приятно, однако складывалось впечатление нереальности происходящего, и потрясенное Ваше тело казалось убогим, худым и хрупким. Или Вы вдруг ощущали себя в том смысле, что Вы есть тлен и грязца, результат случайного стечения обстоятельств. Или Вы были тот челн, что был мал, утл, и Вас беспощадно раскачивали, стараясь перевернуть, чтобы вкусить извращения. И от поры до поры это делали: переворачивали и вкушали.

Женщина, наблюдавшая за процедурой из глубокого кресла, постанывала, часто дышала и шумно сглатывала: зуд похоти одолевал ее: она рукоблудила. И когда, насладившись, бритоголовый поднялся, она принялась раздеваться. Отблески каминного пламени бликовали на ее колье и браслетах, а ее самое била дрожь. Подстегиваемая жестоким желанием, она торопилась и сбрасывала белье прямо на пол.

«Фуй, как вы чувственная, Мажорет Адамовна»,— замечало я, не испытывая никакого влечения к ней как к девочке Навзнич, однако без всяких видимых оснований пленяясь чарами немолодой амстердамки.

«Молчите,— одышливо возражала женщина, упиваясь моими пропорциями и формами.— Не ваше дело».

Я замолчало; но запретить мне думать она не посмела, и, глядя на ее выкрутасы, я заключило: «Фрейд прав. Зизи есть та самая ось, на которой вертится вся Вселенная».

Когда выпуклая луна в окне стала вогнутой и забрезжило, меня забили в колодки, и мы перешли в скульптурную галерею, где поколениями замковладельцев собрана была недурная коллекция мировых шедевров.

То были по преимуществу изваяния императоров, королей, богов и богинь. Среди них терпеливо ждала поклоненья и жертв изуродованная катаклизмами Богиня любви из Мелоса — безрукая и безногая. И вот — дождалась. Мажорет привязала меня к Богине лицом к лицу и безжалостно застегала жокейским хлыстом.

«Ах, мачеха,— плакало я, прижимаясь к прекрасной калеке, чей образ вдруг пробудил в моей памяти будущие монастырские страсти по Ш.,— зачем он вас только выписал!»

«Вот тебе! — злорадствовала дама из Амстердама.— Вот тебе, чтобы не путался с этой эллинской шлюхой! А это,— продолжала княжна, полосуя мне ягодицы,— это за то, что вы изнасиловали кухарку Трухильду!»

«Помилуйте, я только хотело сделать ей потягуси».

«Вот вам за потягуси, вот вам, вот, вот!»

Бич бичевал, свистая.

«Простите, простите, ведь я заплатило ей!»

«Ласки Трухильды бесценны»,— сквозь зубы возражала княжна, продолжая терзать несчастное существо.

От удара к удару ее возбужденье росло и частично перерастало в меня. Я делалось исступленно неистово. Взвинтив до отказа, моя полутетка и мачеха отвязала меня от Венеры и предалась сладострастной мести приемыша с той отрешенностью, на какую способны лишь наиболее испорченные голландки. При этом она позволяла себе такие кунштюки, что похититель моей невинности, делавший вид, будто ведет протокол осмотра, только покрякивал. Локоны ее развевались, как на скаку: она неистовствовала appassionato.

Спустя какое-то время в галерею наведался наш форейтор. Он сообщил, что отец беспокоится, отчего мы не вышли к завтраку и обеду, и спрашивает, выйдем ли к ужину. Мачеха велела сказать, что вряд ли, и, не смущаясь присутствия малолетнего пасынка, совершила с лакеем акт близости. Меня покоробило.

Потянулись будни. Обыкновенно княжна заполняла их воплощением своих садо-мазохистских кошмаров в жизнь — мою и других насельников дома. Причем

с каждым днем затеи хозяйки делались все изощреннее, обретая характер китайских пыток.

Вы, верно, заметили, что я никогда не кичилось своей образованностью, однако и не таило ее понапрасну. По едва проговоренным, вскользь кинутым разноязычным цитатам, ремаркам моим и пометам на книжных полях Мажорет сумела понять, что судьба свела ее с крупным филологом и лингвистом. Тщеславие знатной профанки было уязвлено интеллектом неименитого, вроде бы, богадела. Тогда решает унизить его как ученое.

«Mon cher,— говорит она ему как-то за кофеем томным голосом великосветской львицы,— в нашем герцогстве уже семьдесят лет процветает салон ревнителей этрусской словесности».

Я встрепенулось.

«В четверг,— продолжала она,— у нас в приюте состоится юбилейное заседание. Не желали бы вы открыть его приветственной речью?»

«Разумеется — непременно — почту за честь».

«Вот и отлично. Так значит, в четверг, не забудьте».

«В четверг, дорогая, в четверг».

И в свободные от экзекуций минуты, любовно пользуясь первоисточниками, П. набрасывает доклад на тему — «О некоторых особенностях этрусского языка» и в назначенный день и час возникает перед собравшимися.

Ученое Божией милостью, П. наивно и близоруко. Ему и в голову не приходит, что и заседание общества, и общество как таковое — блеф, и что сидящие в зале насельники готовы по указанию Мажорет разыграть омерзительную комедию.

«Дамы и господа,— обращаюсь я к ним по-латыни и щелкаю каблуками шлепанцев *. — Господа и дамы,— повторяю я обращение по-монегаскски и древнегречески.—

* Единственная моя пара сапог за систематическое непослушание и ряд самовольных отлучек получила выговор с занесением в послужную скрижаль и находилась под домашним арестом, приказ о котором подписан был лично мною.

Дамы и господа! В сей сверкающий, припорошенный кристаллами изморози денек разрешите мне в вашем лице благодарно поздравить наш величавый этрусский язык со всеми его удивительными склонениями и спряжениями, суффиксами и префиксами, падежами и препинаниями».

Продолжить не довелось.

«Эй, старухо! — развязно крикнул кто-то из аудитории.— Кончай баланду травить!»

Провокатора поддержали. Слова его послужили как бы сигналом к обструкции. Воцарился чудовищный гвалт. Лектора забросали тухлыми авокадо, потом низвели, опрокинули в приготовленную заранее купель со смолой и, вынув, вываляли в лебяжьем пуху, благо Сибелий не постоял за излишками оного. Затем, улюлюкая, хохоча, гримасничая и портя воздух в лучших традициях средневекового рыцарства, меня возвели обратно на подиум и заставили читать речь в обратном порядке — справа налево. И по мере того как я выступало, обструкция быстро перерастала в безотносительное веселье, а то — в повальную вакханалию с употреблением бранных слов, гашиша и спиртного.

Я оглянулось окрест. Залы, ниши и комнаты — коридоры и лестницы — балконы и галереи кишели разнообразнейшей публикой. Тут было, казалось, все наше послание — от дворянской интеллигенции до конной, с плюмажами, артиллерии. «Сливки общества,— думало я,— и такой пассаж». И внутренне все сотрясалось.

А — Мажорет? Сидя в ложе верхнего яруса, та наслаждалась и зрелищем оргии, и страданиями докладчика и распивала шартрезы. Эриния! Форменная Эриния! Ниже я осмелюсь живописать Вам некоторые другие ее развлечения из типичных.

В архитектурной системе замка имелась изолированная сторожевая башня. Пред нею усилиями моих несостоявшихся внукоприемников была разбита та самая клумба с кактусами, о которой рассказывал Адам Милорадович. Нужды нет говорить, что я почтительно обожало эти растения, мемориально благоговело пред

ними. Бывало, часами просиживало я на табурете у клумбы, грустя о несбывшемся. Как-то я поделилось переживаниями со знакомым насельником, а тот — по доброй этрусской традиции — доложил о них попечительнице. На следующий вечер я не доело за ужином порцию штрудля и решило припрятать остатки про черный день под матрацем, но было изобличено соглядатаем. В наказание за сей ничтожный проступок Мажорет заперла меня в упомянутой башне и приказала кормить исключительно гороховым супом. Трухильда варила, а Сибелий носил его мне в судках и насильно кормил с оловянной ложки. И если я Вам скажу, что в башне — как и в большинстве средневековых сооружений спартанского типа — удобства отсутствовали, а ночного сосуда было попросту не дано, то Вы не осудите сироту за проявленную им слабость.

За полночь, когда мои внутренности переполнились громокипящей бурдой и рассудок уже не справлялся с позывами, я не вытерпело и стало справлять нужду через единственную бойницу, которая, по моим рассеянным представлениям, выходила в ров. И когда поступало описанным образом, я услышало торжествующий глас Мажорет.

«Осквернитель! — вопила она откуда-то снизу.— Вы какаете на кактусы бабы Насти!» И хохотала глумливо.

На шум шли уже с фонарями.

Заподозрив неладное, дерзающее лицо попыталось унять извержение: тщетно: стул оказался упрям и неистов. Он был проливной. А те, кто шли с фонарями, сошлись. Световые лучи их приборов разом выхватили из мрака высоких сфер мой нависший над клумбой зад и двуснастье и осветили событие в целом. Увиденное повергло явившихся в дьявольскую свистопляску. Казалось, ночь обратилась в Вальпургиеву, и, алчная до скабрезностей, в замок продолжает сбегаться — сползаться — слетаться бесчисленная чернь и нечисть не только из близлежащих поместий, а и со всей Европы.

К несчастью, бойница, куда я протиснуло круп в состоянии аффектации, оказалась настолько узка, что

теперь, облегчившись, вызволить его не представлялось реальным. Обретаясь в таких поистине стесненных обстоятельствах, я почти не могло оглянуться. Краем ока я видело только угол черного неба и о частностях происходившего во дворе могло лишь догадываться. Но общий смысл событий вырисовывался довольно отчетливо. Мадам Модерати спровоцировала святотатство, я совершило его, и, лицезрея драму художника, богадельня сардонически возликовала: бьет в тулумбасы, орет оратории и марширует в факельном шествии. А такие яркие представители этой сатанинской общественности, как бельведерские близнецы Абрего, снова затеяли свой ритуальный диспут. «Страусы!» — «Гиппопотамы!» — «Австралия!» — «Месопотамия!»

Утром, смазав оливковым маслом, сатрапы княжны извлекли меня из бойницы, препроводили на двор и усадили на табурет перед клумбой. Я долго сидело там, ужасаясь открыть глаза.

«Открой их!» — гласила толпа жестоких.

Открыв, я лишилось чувств.

Описанный случай распалил воображение Мажорет еще пуще. Теперь наши сеансы творились по преимуществу в ванной, где, будучи дальней, но прямолинейной родственницей адмирала Роджерса, она вынуждала меня играться с нею в кораблики и особое удовольствие получала в пылу морского сражения. Если же мы встречались в алькове, то там она изощрялась иначе. Устройством инженера А. С. Попова княжна вылавливала из эфира концерты тропической музыки и требовала, чтобы я утешало ее в соответственном ритме. И сие тоже было мучительно и докучно, ибо на мой абсолютный слух те лихорадочные мелодии суть ритмы собачьей свадьбы, и подлаживание под них в процессе чего бы то ни было порочит звание гражданина. Но ежели гражданин беззащитен, бесправен и слаб, его не жалеют и пользуются им по своему усмотрению. И тогда — тогда он должен подлаживаться. Меня — не жалели. Хищнически транжиря мое природное дарование, Мажорет оставляла мне лишь четыре наполеоновские часа

на сон, который осуществлялся на исключительно жесткой койке и едва освежал изможденное тело. Не отдыхала и голова, ибо подушкой служила пустая, в сущности, наволочка.

М. будила невольника плоти разбойничьим свистом хлыста и гнала в туалет. Наблюденье за процедурами П. впечатляло ее неизменно, и еще до завтрака она успевала с лихвой наверстать упущенное за ночь. А после завтрака дело, как правило, принимало групповой оборот: привлекались насельники и свободные от предрассудков гости. Рабочий день разгорался, вступал в пору зрелости, креп, мужал, наливался соками и увядал к обеду, чтоб к ужину обрести второе дыхание. Грехотворение шло под лозунгом — «Все дозволено!» Как фигурально выразился бы О. М. Стрюцкий, резвились напропалую. И мудрено ли, что, направляясь на ужин, я чувствовало себя, словно вывихнутый сустав, и шаталось, как зуб алеута.

Попутно отметим: было это именно в тот период духовной моей эволюции, когда под влияньем Плутарха я особенно увлекалось вопросами морали и нравственности. Ежедневно теория настаивала на одном, а практика требовала противного. Легкое раздвоение личности в сочетании с ее половым изнурением привели к депрессии, которая усугублялась неуважительным ко мне отношением большинства богаделов. Весть о моей двуединости плюс casus cactus произвели на публику тот эффект, что — о нет, я не побоюсь этого слова! — мной стали *брезговать* — мной, самым что ни на есть чистоплюем!

Впрочем, я тоже особенно их не жаловало. Я — презирало их. Презирало за их мелкотравчатость, ретроградство. За европейский релятивизм. За грязь под ногтями. За незнание языков. За нестираные чулки и носки. За перхоть, гунявость. За трепет перед скорою смертью. За суетные о ней разглагольствования и сплетни. С большой обличительной силой рисуются автором нравы навзничского приюта.

«Особенно,— пишет П.,— мне претили их пошлые застольные шутки, без коих не обходилось, наверное,

ни одно принятие пищи. Считалось хорошим тоном во всеуслышание предположить, что шеф-повар Амбарцумян * снова мыл свои закавказские ноги в кальмаровом супе, а яблочное пюре выглядит так, будто однажды его уже съели. И все в том же роде».

Следует также учесть, что по просьбе всего коллектива со столов не сходило козье молоко, которое я никогда не пило, т. к. по моему глубокому убеждению оно откровенно пахнет подмышкой; а бывшая депутат бельведерской думы В., сидевшая за столом напротив меня, без конца уверяла, что проклинает тот день и час, когда пришла на конюшню. «Отдаться гермафродиту! — говорила она драматическим шепотом.— Quel cauchemar!»

Ко всему добавьте влачимое мною духовное одиночество, сравнимое разве что с одиночеством сверхмарафонца,— и вот Вы уже почти догадались, зачем, сокращая и без того краткий сон и стараясь не видеть неба, я хаживало за водяную мельницу, на берега близлежащей трясины. Я хаживало туда отойти душою и сладко поплакаться жабам на идиотизм богадельского экзистенса. Предсказанное Модерати сбылось: удобно в шато Мулен де Сен Лу мне не было. И все, что мне оставалось делать,— это молиться. И я поступало так.

«Воззри, о Господи, на Твоего Палисандро. Се человек, пораженный сиротством, лишенный надежд на увнученье, родины и свободы, реноме и невинности, юности и багажа. И все это — в самые сжатые сроки. Воззри на него, Господи, и призри».

Когда я смолкало — тогда воцарялась Вечность. Твердь цвета индиго молча глядела сверху. А снизу — но тоже молча — из своих бородавчатых тел наблюдали жабы. И молча пустыми глазницами циферблатов смотрела на сироту История. И молчали: каждое дерево, всякая птица, любые комар и крот. И лишь со сторо-

* Мне показалась его стряпня. Поэтому, когда в девяносто девятом решался вопрос, кто будет кормить нас в походе, я вспомнило об Амбарцумяне, вызвало его к себе в ставку и произвело в кашевары-на-марше. То был его звездный час, никогда им не чаянный.

ны богадельни, из окна, озаренного ночником, доносилось сольфеджио сладострастия. Вкушая амброзии Гименея, колоратурный фальцет пел бельканто.

И все-таки выдалась ночь, когда, утомившись утехами, новобрачные угомонились. И стало так тихо, что Вечность воцарилась вполне. Так тихо, что Тот, к Кому я взывал в молитвах, услышал меня и внял им. И взял надлежащие меры.

На следующий день Он посылает ко мне затейника.

«Извините,— взволнованно-вежливо сказал де Сидорофф, подсаживаясь ко мне в кафетерии,— вы отфриштикали?»

«Более или менее».

«У меня для вас новость. Только выйдем, пожалуй, а то тут сквозит».

«Давайте отправимся к озеру».

«Не возражаю, давайте. Правда, я до сих пор не пойму, отчего вы зовете озером то, что всегда было морем».

«Я сам не пойму. Вероятно, по той же причине, по какой перелетные стаи дают колоссального кругаля в облет абсолютно ровного и сухого пространства. В силу какой-то необъяснимости. Мистика, всюду мистика».

Я накинуло кофту, и мы удалились в дюны.

«Не знаю, по-видимому, это совсем не моя забота, но приобретенный партикул, который вы так хвалили, дает мне право по крайности предупредить вас.— Он говорил так, что его волнение стало моим.— И помимо того, я вам попросту благодарен. Ведь вы открыли во мне поэта. Вы окрылили меня. Я — пишу».

«Неужели и вы?»

«Позвольте, кстати, зачесть образчик».

«Благоволите».

Простой когда-то механик, де Сидорофф привел помещаемое здесь двенадцатистишие.

Осень, пора золотая!
Воздух ядреный алкая,
Утром из ящика вынь
Письма Берклея, Барклая,
Письма династии Мынь.
Вынь и другие. Листая,

Крикни соседке: — Аглая!
Что вы там как неживая.
Вам от царя Менелая
Весть поступила благая.
— Ах, наконец-то!
— Аминь.

«Филигранно,— отметило я.— А главное — исторично. Моя мастерская, моя».

«Вот видите. Короче, я очень признателен и хотел бы предупредить вас о неприятности». Дмитрий мялся.

«Не мнитесь. Излагайте сплеча, по-нашему».

«Вчера,— объявил затейник,— мне стало известно, что на последних скачках в Эпсоме Мажорет Адамовна проигралась на тотализаторе и поэтому отдает вас в сераль».

«Поэтому? Я не усматриваю тут никакой логической связи».

«Связь? Деньги. Она хочет отдать вас туда в погашение долга».

«А в чей, Дмитрий Евграфович? В чей, если не тайна, сераль?»

«Кронпринца Аравии Фад Ибн Абдул Азиза».

«Это тот, что с бородкой, такой симпатичный?»

«Да-да, они все там с бородкой».

«Презренное злато! Но отчего непременно меня? Разве я более ей не мило?»

Массовик не ответил. Он знал, что я знаю ответы на эти вопросы само. Отменный психолог, я давно обратило внимание, что Мажорет пресытилась мною, что наша связь ее тяготит.

«Ваш ход, господин затейник?»

«Конем»,— возражал де Сидорофф.

«На которое поле?»

«i9».

«Бежать? — Идея представилась суетной.— А куда? В сопредельные княжества, что ли? А паспорт?»

«Я вам достану. У меня хорошие связи».

«Послушайте, а может, проще пожаловаться куданибудь? В прокуратуру там, в мэрию».

«Исключено. Вас и слушать не станут. С момента поступления в старческий дом вы на территории Бельведера бесправны, за вас все решает администрация».

«Ну, бежать так бежать,— согласилось я, не отваживаясь еще представить, на чем и куда конкретно, а также что будет с моим государственным пенсионом, который мне, вероятно, с таким трудом выхлопотал Модерати.— А вы, Дмитрий Евграфович, не желали бы присоединиться?»

«Я — пас».

«Жаль, а то за компанию — как бы славно».

«Увы,— с большою определенностью отвечал затейник.— Мое место — здесь, среди угнетенных духом. Я развлекаю их — и вижу в том свое основное призвание. Буду работать, пока хватит сил,— одушевленно делился планами Дмитрий.— А когда не хватит — просто умру. Я умру, развлекая!» — воскликнул он.

«Что ж, тоже дело»,— одобрил я.

Де Сидорофф вскрыл портсигар: «Угощайтесь».

Мы закурили, и дым отечества переполнил нам легкие *.

«Не поминайте лихом!» — бросило я затейнику наступившей ночью.

Он отвечал адекватно. Мы обнялись. Незаметно Дмитрий сунул в карман моего архалука какой-то пакет.

«Вероятно, деньги,— мелькнуло во мне; и мелькнуло: — Как чуток!» И гордость за человечного земляка заставила подтянуться и приосаниться.

* В те годы я злоупотребляло курением всласть. Бесшабашные сроки! Непосредственность восприятия, свежесть мысли, ясность побуждений и чувств, неудержимо брызжущая моложавость членов — зрелость! Куда что девалось? Прошло. Сегодня — ванна, а завтра — в отставку, в запас, в скромный горного хрусталя саркофаг. И — в барельеф, в горельеф, в мемориальную плашку. Да, смерти нету. Но есть запредельная, одутловатая тишь да гладь, и в кувшине у изголовья — казенные по расписанию лютики. И — взгляните! Не сами ли мы кувшины и амфоры — хрупкие, прихотливо сработанные сосуды с горячей кровью, медленно стынущей с течением бытия, чтобы остыть окончательно.

Передряга, нанятая им в соседней деревне, тронулась. Из вещей со мною лишь надувная ванна, единственное мое утешенье во всех походах.

Выехав за пределы поместья, действие ускоряется. Впопыхах торопливого повествования неизбежно становишься сбивчив. Не успеваешь додумать мысль, досмотреть путевой эпизод. Бегство! Воля! Прощай, моя растлительница Цирцея, чрез час я буду уже в смежной державе. Фальшив ли мой паспорт на имя какого-то мосье Монпасье, фальшив ли я сам — что нужды, коль помыслы искренни и высоки — как высоки и искристы пики пепельно розовеющих в отдалении Альп. О, складчатый край Жан-Жака, раскрой на этом рассвете бутоны своих одуванов навстречу очередному Кандиду, сентиментальному беглецу от страстей человеческих.

В Женеве, а может, в Цюрихе или Берне — зашло в журнал:

«Я покушался на Брежнева».

«Брежнев? А кто это?»

Объясняю.

«А, этот. Так он ведь, простите за прямоту, того-с».

«Допустим, но память о нем жива».

«Память — это не актуально».

«Sic transit gloria mundi»,— печалилось я, направляясь в своем пестроватом заморском пончо — вон. Пряча презрительную гримасу в пенсне, я напоминало себе очковую выхухоль.

Диалоги, подобные приведенному выше, имели место в редакциях прочих изданий. Паблисити не состоялось. А пытаясь встать в связь с Николаем Романовым, узнаю, что и его времена истекли. Просрочены оказались и явки. В растерянности решаю завербоваться в наемники — шлю документы на Корсику, в штаб Иностранного легиона. И вновь неудача: не подхожу по возрасту.

Подстегиваемо нуждою, берусь за работу. Служу в управах по ведомству всевозможной статистики: считаю и пересчитываю число экипажей, проехавших

через мосты в единицу времени; учитываю количество стихийных бедствий; из них пожаров, разливов, обвалов, восстаний, свадеб, деторождений, измен — столько-то. Подвизаюсь курьером в посредническом бюро неприятных известий. Поливаю цветы в обезлюдевших апартаментах. Даю уроки стихосложения и дзюдо, оригами и камасутры. Гадаю на картах и по руке. Держу пансион для собак и кошек из хороших семей. Составляю кроссворды и притчи, скороговорки и некрологи. Наведываться по вечерам.

Но деньги имеют тот категорический недостаток, что пока их не слишком много, их неизменно недостает. И тогда наступает пора припомнить, что кроме уже потраченной мною суммы, в пакете, что положил мне в карман де Сидорофф, имелось рекомендательное письмо к его другу, парижскому сутенеру Ц.

И вот я в Париже. Порывистый ветер с реки треплет кудри моего парика, опрокидывает мольберты художников на Монмартре, лотки букинистов в Латинском квартале и дует в уши угрюмому волку в безлюдном зоо.

Первый клиент, как и первый учитель, незабываем. А у меня оказалось два первых клиента сразу. То была пожилая чета Пежо, пресытившаяся брачной рутиной и вместе ищущая внесемейных возможностей. Искушенность супругов равнялась их неразборчивости. Они перепробовали, казалось бы, все сколько-нибудь интересное — от цирковых обезьян до резиновых кукол. Но отведать истинного гермафродита им никогда еще не выпадало. Миллиардеры, они откупили меня на неделю. Мы быстро сблизились и уже на вторые сутки сделались так неразлучны, что даже в санузел, ласкавший взор чистым золотом унитазов, умывальников и биде, ходили все вместе. Однако Запад есть Запад. В последний вечер мы вновь стали холодны, замкнуты, почти незнакомы, едва раскланивались и опять говорили друг другу vous. И когда, расставаясь в фойе их версальского особняка на площади де Фюрстенберга, мосье Пежо подал мне шубу и зонт, я — в прощальной попытке детанта неловко шутя — сунуло в руку ему какую-то

мелочь — су двадцать. А он — он не увидел тут шутки и принял свои чаевые за чистую, как говорится, монету. «О Русь! — я подумало.— Моя закадычная бессребреница! Днем с огнем не сыскать по здешним палероялям твоей разбойничьей неразберихи и щедрости». Словом, алчность клиента омрачила мне весь дебют.

Биограф, если когда-нибудь Вам случится прогуливаться Парижем и Вы набредете на скандально известный сквер Порт Дофин, что неподалеку от русской миссии,— остановитесь. Снимите в молчании шляпу. И сострадательно вдумайтесь. Тут, где-то тут, совершило я свою первую профессиональную сделку с совестью. Под стать событию сквер был заплеван, как душа потаскухи. Да и прочий Париж моих полусветских дней не отличался особым лоском. Проворовавшиеся отцы города вконец его запустили. Отчаянно возмечтав стимулировать экономику, власти открыли новый аттракцион — экскурсии по системам канализации. Варварское развлечение рекламировали кощунственные афиши: к путешествию радушно приглашал Мыслитель Родена, восседавший на стульчаке. Но Эльдорадо не выгорело. Париж продолжал нищать и обнашиваться. Вообразите, на тех самых улицах и площадях, где еще столетье тому вершились судьбы Европы, сегодня грязь, на углах валяются тряпки, которыми дворники направляют сток дождевой воды в решетки клоак; валяются также клошары; полно каких-то арабов и в обилии бродят подозрительные существа, торгующие своими несвежими телесами. И Вы — одно из таких существ, персонаж с набережной Сены, с улицы Сен-Дени. Вы — проститутко. Вращаясь на общественном дне, неплохо представленном в разного рода шедеврах критического реализма, Вы опустились, обрюзгли. Вашим единственным утешением делается работа, а увеселением — рентгеновский автомат в кегельбане. Всего за какие-нибудь пять франков можно часами сидеть у экрана, пить свой абсент и любоваться собственной требухой и скелетом в свете пронизывающих лучей. А по утрам Вы испытываете комплекс вселенской вины и, плетясь домой,

в конуру на рю дез Аршив *, сознаете, что жизнь подмяла Вас под себя беспардонно.

Спасает случай.

Однажды, когда продавцы печеных каштанов опять взвинтили и без того непомерные цены и закрепленная за Вами панель отзывалась сплошным неуютом осени, Вас подцепил и отвез к себе в номера некий Шарль, назвавшийся антрепренером.

«Давно ты занимаешься этим?» — спросил он меня потом, когда, отдыхая на низкой тахте, мы освежали себя анжуйским и сладостями.

Я сказало. Тогда он признался, что я ему нравлюсь и подхожу, и справился, не желало ль бы я участвовать в одном предприятии, связанном с дальними путешествиями.

Предложение заинтересовало меня. Мы обговорили контракт и ударили по рукам. Выезд назначили на воскресенье.

Кибитка Шарля ждала меня на Елисейских Полях. Миновав Триумфальную Арку, мы в полдень были уже в Клиши и не успели достичь Лаваля, как в Орлеане нагнали главный обоз. Мне оглянулось — «Адье, Пари, я не любило тебя, друг мой!»

Жара шла на убыль, но пыль, подымаемая передними тарантасами, практически не оседала. «Черт с ней»,— думалось мне, чихая.

К закату остановились, разбили шатры, стали ужинать, хохотать, у костров заслышались песни, и чьи-то влюбленные тени шептались на придорожном погосте. Пахло прелью. Дышалось всем существом. А где-то в селенье плясали джигу, бубнил тамбурин, и какой-то крупный вития достал откуда-то целую пригоршню звезд и зашвырнул их на небо. Чувствуя себя в новой компании совершенно своим, счастливым и пьяным, я не испытывало астрофобии и о звездах думало не менее снисходительно, чем о пыли: «Пусть, пусть роятся, если не лень». И мыслило: «Со старым покончено. Время жить набело, перечеркнув в кондуите Рока все

* Address, как Вы понимаете, далеко не prestigious.

прежние страхи, грехи, огрехи. Время высветлить себе всю артистическую палитру, воспрянуть. И время нажать на какие-нибудь потайные пружины жизни столь страстно, чтобы — расшевелить — ускорить — увеселить ход событий. Время — вперед!»

В таком энергическом настроении влилось я тем незапамятным вечером в несколько необычный, точнее, единственный в своем роде художественный коллектив — труппу странствующих проституток. Не стану распространяться о судьбах ее миловидных актрис, рассуждать о творческих методах и твердить о волнительных буднях и трудных радостях этой немолодой, а вместе с тем вечно юной профессии. Позволю себе лишь несколько беглых штрихов из области путевых зарисовок.

Перевалив через Пиренеи, мы постепенно откочевали в долину Тибра и встретили Новый год в Вечном городе. Начиналась коррида. По улицам бежали взъерошенные быки, по небу — тучи. Шел дождь. Барахло, выбрасываемое из окон темпераментными тиффози, немедленно намокало.

А после была Португалия, были Греция, Мадагаскар, Филиппины. И открылся весь мир. И повсюду происходило не то, так это. Так, в Белфасте какие-то сорванцы забросали меня снежками. В Стокгольме, у Академии, столкнулось с самим Сведенборгом, и он меня сильно выбранил. Огорчили и Салоники. Там, в краеведческой галерее, мне показали ясли-кровать, сработанную местными мастерами по заказу Екатерины Великой. От нашей, манежной, эта отличалась более изощренной, изысканной росписью и отделкой. «А, вот почему она никогда не брала нас с кн. Григорием в греческие свои паломничества!» — подсказала мне застарелая конская ревность. И, содрогаясь коварству Катрин Алексевны, я прокляло всех жеребцов Эллады и вышло, пылая отчаянием. И, впав в прострацию и в безветрии уронив ветви рук, долго-долго маячило на углу с незакуренной пахитоской в губах, пока подошедший клиент не поднес к ней зажженную спичку.

«А!» — воскликнуло я в испуге и отшатнулось.

«Почем?» — приценился клиент.

«Нынче — даром»,— сказало я, мысля шальную, с надрывом, ночь — ночь возмездия.

И быстро мы зашагали к белевшему в отдалении шапито, где размещался наш бродячий борделло.

И снова — в путь. Снова пущена карусель калейдоскопических впечатлений: Бразилия, Гваделупа, Английское Конго, Венесуэла и Гондурас с его обрывистым побережьем.

Не забыть и страну победившей нирваны. Там капля дождя, достигая поверхности лужи, отчетливо произносит не «кап», а «дзен». Там — все концы и начала. Там — благодать. Только, пытаясь ей приобщиться, не спрашивайте у прохожего, который час или век, видел ли он, как течет река или квадрат Малевича. В лучшем случае Вас не поймут, не заметят, пройдут насквозь. В худшем — унизят, станут бить палкой по голове.

Вряд ли будет преувеличеньем сказать, что кругосветное странствие требует от вояжера выдержки и хладнокровия. Как-то в Иоганнесбурге иль в Дуйсбурге иду по бульвару, и кто-то внутренним голосом окликает меня внезапно по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а Палисандр Александрович!» И притом — абсолютно явственно. Мне сделалось остраненно. Однако я быстро взяло себя в руки и не только что не откликнулось, но даже и голову не повернуло. Спаси Господь — невозможно — чуть выкажешь им слабинку — сразу слетятся — осенят шершавыми крыльями, и начнутся такие страсти, хоть в петлю лезь. Нет-нет, увольте, милые тетушки, от ваших загробных заигрываний. Вы слышите? Кыш!

Но есть, сударь, голос, есть мысль и чувство — есть их триединство, которому Вы не ответить не в силах и на которое не оглянуться Вы не имеете никакого морального права. И — будьте прокляты, если однажды Вы все-таки не ответите — не оглянетесь и перестанете быть верны ему всею сущностью человека — пусть человека, быть может, затоптанного или затянутого

нездоровой средой и в довольно прискорбных кармических обстоятельствах — человека греха и маразма, сумы да тюрьмы, нор да дыр. Т. к. если Вы не ответите — не оглянетесь — не помыслите встречно, значит, Вы хуже плевка на лоне земли — копошащееся ничто, абсолютная склизкая слизь. Простите, что изъясняюсь с таким придыханием; речь — о России. Зане, как бы она ни была к нам строга и немилосердна, в какие б обличия ни рядилась, мы обязаны ей слишком многим, чтобы не оказывать хоть элементарного пиетета. Почтите, впрочем, за лучшее возлюбить ее и вседневно, всечасно хворайте о ней гражданской душой. Лично я безусловно было, есть и останусь горячим поклонником нашей неброской Отчизны. Конечно, у меня с ее дипломатами в Бельведере сложились весьма, как Вы знаете, натянутые отношения. Да ведь что дипломаты? Гниль, плесень, плебейская шушера: нынче эти, а завтра другие. Россия же — та неизбывна. И вместе с тем никогда я не звало ее ни мамашей, ни бабушкой или там теткой. И не казалась мне родина ни вечерней звездой, ни полдневной в бору кукушкой, ни ранней — ни свет ни заря — молошницей, каковою она являлась джойсовскому студиозусу в башне на берегу бурнопенного моря Гиннес; она мне всегда рисовалась скуластой болезненной нищенкой с паперти храма Святого Василия, рахитичным подростком с матовыми и подсвеченными светом свечи щеками, с высоким костистым челом и в чьих-то обносках. И прекраснейшим среди этих обносков мне было ее застиранное подвенечное платье. Похожий на проползень городской поземки, шлейф его был дыряв и ввиду отсутствия пажей влачился по праху. Мы никогда не знакомились, и в неведении об ее настоящем имени я нарекло ее Рек. Примелькавшись друг другу в предшествующих бытиях, при встрече мы молча раскланивались. И хотя нищета ее меня тяготила, я ни разу не подало ей: благотворительность с моей стороны оскорбила бы нас обоих. Ведь, несмотря на все внешнее их отсутствие, нас связывали известные отношения: мы тянулись друг к другу. И пусть мы жили по разные стороны крепостной стены, с годами наша

приязнь все крепла, становилась возвышенней и нежней, но в силу моей посвященности женщинам пожилым могла быть лишь платонической. Назовите ее любовью издалека, и Вы нисколько не ошибетесь, ибо до самого отъезда дерзающего лица в послание мы так и не сблизились, не обмолвились словом. А там, в послании, под влиянием похождений во мне — будто старая рана — открылась по ней ностальгия. А тут еще мои экзальтированные товарки с их воздыханиями о первой любви — ах, чему еще предаваться странницам на привалах. Истории женщин были душещипательны и единообразны: всем им некогда наобещали с три короба, всех соблазнили иль изнасиловали и всех покинули. И вот они перед Вами.

В походе о первой любви рассказывается у костра, по кругу, и Вы не можете отказаться от исповеди, хотя бы и выдуманной. Но я ничего не хотело выдумывать, я повествовало лишь правду.

«Жила-была девочка с вечнозелеными, как у Луны, глазами,— начинало я повесть. Тьма наступала и миновалась. И я заканчивало: — И она была столь прекрасна, что почти не была, потому что была когда-то, в иной, невозвратной жизни. Не плачьте, сударыни,— утешало я спутниц.— Пора в дорогу, светает». И — в сторону: «И ты тоже не плачь обо мне, Россия. Не плачь, ведь тебя больше нету. Как и меня. Нас нету. Мы перешли. Отболели. И все-таки — да здравствуем мы, вечно сущие в области легенд и преданий, мы, обреченные вечной разлуке брат и сестра».

Мы собирались и выезжали. Обще говоря, дорога — если только Вас не везут на казнь,— рассеивает уныние. Но что примечательно. Едешь Тропиком Козерога ли, Рака — едешь в феске, косынке или чалме — едешь во мраке ночи или невежества, где-то в тебе неустанно пульсирует потаенная мысль — о Рек, о Родина! И в ответ — ее ласковый, словно ля укулеле, глас — О Палисандр, брат мой! И чувство не то чтобы смутной, а какой-то неопределенной печали — печали и жалости — жалости и томления — догробового томления по малолетней, предсказанного Вам в отрочестве горбатой

преображенской соительницей,— томленья и неги — помните? — помните? — целая гамма чувств брезжит в Вас здесь, в послании, как брезжила там, в равелине. Гамма эта — она, конечно, сродни ужебыло. Двоюродна? Даже роднее. Наверное, единоутробна. Кажется, будто что-то кому-то должен, будто бы надо куда-то пойти иль уехать, кого-то о чем-то предупредить. А может — не кажется? Может — действительно надо? Но если и так, то, пожалуй, потом, не нынче. Отсрочка сладка. Вы млеете. Мыслится лавка кожевника, голубика со сливками иль латук. А мулы, гонимые стимулами возниц, бегут, фуры — катят, и экзистенс, соблазняя, пьяня и виясь наподобие то ль алкогольного, то ли воздушного змия, пирует в неописуемой славе. И неисчислимы фантазии его и сюрпризы.

«Вы в интересном положении»,— объявил мне однажды ирландец О', заботливо осмотрев.

Мы стояли лагерем под Вальпараисо. Весна ликовала. На юг полетели с курлыканьем журавли. Зацветали павлины. Не в тех ли волшебных числах поэт каменистой республики Огненная Земля Хорхе Перро писал: «I gru cominciarono a volare verso il sud, con il loro, i pavoni cominciarono a fiorire»*.

«Не хотите ли вы сказать, будто я беременно?» — возражало я ирландцу.

В прошлом крупный гомосексолог с международным апломбом, О' разочаровался в науке, наследственно запил, публично отрекся от имени, пустился в интернациональный загул и по идейным соображениям кончал в нашем передвижном заведении рядовым гинекологом.

«Si, señoro»,— сказал ирландец. Уменьем поставить ранний и точный диагноз дурной болезни О' завоевал среди проституток незыблемый авторитет. «Вы безусловно беременны»,— сказал мне ирландец.

Родить и воспитать своего ребенка было моею мечтой еще в детстве, когда я с таким упоением игрывало

* «Журавли с курлыканьем полетели на юг, и зацветали павлины». (Перевод с исп. мой.— *П. Д.*)

в дочки-матери. Однако становиться родителем-одиночкой в походных условиях казалось верхом нерассудительности.

Слово аборт прозвучало. Через неделю О' проделал необходимые манипуляции и выписал мне бюллетень.

Пережитые ощущения побудили меня вплотную задуматься о судьбе простого трудящегося гермафродита в теперешнем мире, о положении гермафродита вообще. Меморандумом «В защиту двуполых», адресованным главам восьмидесяти четырех * разновеликих держав, началась моя общественная деятельность. Я умело сочетаю ее с работой по специальности и литературно-художественными исканиями. Последние увенчались заслуженными успехами, которые общеизвестны. Поэтому если ниже мы с Вами и пробежимся по ним, то довольно глиссандо.

Сначала в «Пингвине» выходит мой автобиографический путеводитель по сингапурским домам терпимости, исполненный сценами самого исступленного толка. За ним последовал созданный по заказу Северо-Атлантического Союза Трезвенников роман «С глазами кроликов», оказавшийся на поверку досужих критиков апологией алкоголизма. И в том же году свет увидел мой «Бронкс» — сборник жизнеутверждающих повестей из быта нью-йоркских мусорщиков. Все три произведения получили большую прессу и стали бестселлерами. Снятые по ним синема запретили повсюду.

Но наилучшая участь постигла еще один том моих мемуаров. Книга выдержала девяносто изданий. Ее тиражи превысили таковые гитлеровских дневников, опубликованных годом ранее. В пространном предисловии к ней редактор журнала «Колл-Бой» Белл Соллоу указывал: «"Обстоятельства внучатого племянника" — так с присущей ему неброской громоздкостью озаглавил свой труд сам автор. Однако, соболезнуя нездоровому интересу читающей публики к интригующим и фривольным названиям, мы вынесли на обложку одно из них: "Инцест кремлевского графомана". И оно тем

* В честь международного года Оруэлла.

более извинительно, что обнажает всю суть по-солдатски сразу, без фарисейских преамбул, так что читатель с первых страниц догадывается, что Агриппина, растлившая маленького Палисандра, не просто няня его, а родная прабабушка — А. А. Распутина-Книппер. Кроме того, есть уверенность, что второе название не только успешней определяет пафос воспоминаний, но и точнее очерчивает весь круг тогдашних общественных идеалов и мучительных поисков на путях всемирной генеалогии, кремленологии и словесности».

Финансовый успех публикаций позволяет мне удалиться от странствий. «Отныне,— писало я в Лигу Морального Большинства,— прошу считать меня вашим членом».

Желая очиститься от всяческой скверны, провожу я два года в монастыре на острове Санторини. Затем по предложению приятеля моего Ж.-К. Дювалье обосновываюсь у него на Гаити и становлюсь владельцем широкой сети массажных салонов таиландского типа. В них массируются виднейшие просветители, музыканты, артисты, промышленники и политические прохвосты. Я богатею. И с ростом банковских накоплений растет моя страсть к собирательству. Бессонными тропическими ночами, исполненными трепетных отношений массажного персонала и клиентуры, она особенно неотступна.

«Коллекционировать!» — стрекочут цикады.

«Коллекционировать!» — лепечет океаническая волна, перебирая береговую гальку.

«Коллекционировать!» — мыслит тростник.

«Да, во что бы то ни было,— соглашаюсь я.— Только — что?»

В нашумевшей статье «Что нам коллекционировать?», опубликованной в еженедельнике «Вэнити Феер», я ставлю этот вопрос совершенным ребром.

«Пароходы? — писало я.— Дома? Летательные аппараты? Громоздко. Искусство? Банально. Искусством уставлена и увешена уж любая гостиная. Марки? Пуговицы? Монеты? Или каких-нибудь кафкианских

жуков? Ничтожно. Оставим сие на откуп посредственностям и неимущим».

Проблему решило время. Дни, когда повальное увлечение ненасущным вышло из граней разумного и коснулось потустороннего,— наступили. Стало модным скупать и дарить старинные захоронения, урны, а то и целые кладбища и колумбарии. Мелкая буржуазия разбирала останки более или менее известных людей восемнадцатого, девятнадцатого веков. Крупная приобретала средневековых правителей, именитых повстанцев, деятелей Ренессанса. Последние стоили баснословно. Еще больше ценились философы и пророки дохристианской эры, популярные воины и диктаторы Рима. А за древнеиндийские и древнеегипетские погребения платили вообще неслыханно.

Кладбищенская лихорадка достигла апогея в том самом году, когда египетский президент Мубарак презентовал мне на именины мощи своего далекого предка Тутанхамона. Специалисты оценивали роскошное подношение в четырнадцать миллиардов гурдов! Столько не стоили все сокровища покойного фараона, взятые вместе. И хотя эта натуго перетянутая выцветшими бинтами мумия не являла собой ничего вдохновляющего, она, доставленная в мою высокогорную резиденцию в самый разгар галопа, произвела впечатление неразорвавшейся бомбы. Следовало видеть физиономии дорогих во всех отношеньях гостей, когда двери бального зала разъехались — и двенадцать ливрейных в лиловом внесли подернутый катакомбной патиною саркофаг. Раскрыв, из него пахнуло стоячим нильским болотом, древними поверьями, испарениями нечистот. «Смотрите! — вскричала, если не ошибаюсь, вдова тридцать пятого президента Америки Жаклин Онассис.— Он похож на куколку шелкопряда!» Фурор сделался необыкновенный. Некоторым стало дурно, другие только поморщились, но восторг был всеобщим, и дамы уверяли мужей, что «Тутти» замечательно сохранился.

По совету своего бальзамолога я поместило «Тутти» в прохладу и сухость собственной холостяцкой постели, причем неудобств это практически не доставило: ведь

само-то я почивало по преимуществу в ванных покоях, обитых на всякий случай пуленепробиваемой пробкой. И вот, злодеи, врывавшиеся по ночам в мою спальню убить меня и застававшие в ней другого, бывали, по-видимому, вельми раздосадованы таким оборотом событий, и моя репутация оборотня, которую я приобрело еще во дни отрочества, заметно упрочилась.

Благодаря Тутанхамону, а точней — Мубараку, я тоже подпало поветрию моды: решаю коллекционировать старинные захоронения. Только не захороненья вообще; вульгарным любительством, эклектизмом я не грешило и в малом. Натура систематическая, и сознавая себя патриотом в послании, автор делает соответственный выбор: коллекцию составят останки соотечественников, умерших вне родины.

Не мешкая, П. встает в связь с пастырями русских зарубежных епархий, с агентством по скупке краденых трупов и урн, с казанострой и другими всесильными институциями при Организации Объединенных Наций. В известность относительно его планов ставятся тысячи близких ему по духу политических лидеров и единиц печати. Обаятельно и щедро, оно заручается их поддержкой.

Хорошо, запершись ввечеру у себя в мезонине с бутылкою старого дебюсси, перебирать, ворошить персональные карточки, медленно наливаясь той самой, знакомой всякому собирателю, рыцарской скупостью и хмелея в грезах о новых сериях и раритетах. В одночасье — со всеми их милыми, но никому уж не нужными фразами, позами и проказами — мелькнут перед Вашим умственным взором различные Крупенские, Михайловы, Струве. Возникнут графья Толстые и Граб/бе, князья Лихтенбергские и Люциферские. Явится столп послания Оползнев, мемуарист. Обремененные знаниями, грузно прошествуют в беличьих душегрейках философы Шестов, Бердяев. Пройдет и сам Николай Александрыч с семейством. Снобируя толпу почитателей, профланирует последний дворянский писатель Бунин, нобелевский лауреат.

Как Вам известно, я тоже удостоилось скандинавских лавров. Моя борьба за эмансипацию и равноправие гермафродитов была высоко оценена в Осло. И той же, довольно туманной, осенью литературные мои достижения получили признание у стокгольмских высокоумов, с одним из которых, если Вы не забыли, мне уже приходилось сталкиваться. Приехав, я зачитало речи и, расшаркавшись своим вечным пером в обеих премиальных ведомостях, сделало таким образом первый в истории нобелевский дубль. Премии были, конечно, весьма символические, карманные, вкупе что-то около шестисот тысяч долларов, но в добром хозяйстве все пригодится. Приблизительно эта сумма покрыла расходы, связанные с приобретением небольшого братского захоронения в Константинополе.

Постепенно престиж мой и международный авторитет возросли предельно. Я делаюсь фигурой поистине раблезианского измеренья. Меня цитируют и узнают повсеместно. Достаточно указать, что на автора строк оборачивались не только на улицах индонезийских или новозеландских весей и городов, но и в долинах Тибета, хотя путешествовало я постоянно в масках.

«Не беда, что моя посланническая карьера не задалась,— подводило я некоторые итоги в амбарной книге, служившей мне блокнотом для тригонометрических экзерсизов и максим.— И не беда, что неслышно, непрошено подступает ко мне безуханная старость. Зато она обеспечена и беспечна, а я уважаемо и овеяно опахалами преданных лиц. Я — почетнейший член сотен клубов, лиг, комитетов и академий. Я — обладатель целой связки ключей от столиц планеты, держатель самых высоких в мире — кладбищенских — акций. Я — владелец земельных угодий. Из них болот, пустырей и оврагов — столько-то. Я — хозяин замков, гасьенд и вилл, дирижаблей и барж, фаэтонов и катафалков. Я знаменито. Я — знамение своего времени. Я его знаменосец. И, неопалимо пылая огнем гуманизма,— горю, озаряя заблудшим овнам народов путь в ночи бытия».

Но Родина,— бредило я порою, рея в этом неверном свете,— где моя Родина? — шарило я в этом мраке

руками ветвей и ветвями дланей. И внутренним голосом возражало: про Рек — забудьте, Ваше отечество — Хаос.

Но вот заходит ко мне однажды сосед Дювалье на предмет обсуждения биржевых новостей и, поглаживая моего кота В., говорит:

«Вы слышали, кстати? В России-то опять катавасия намечается».

«Полноте!»

«Истинный крест».

Посылаю за прессой. Приносят. На первый взгляд все как прежде. Бастуют трамвайщики, кладовщики. А студенты, подстрекаемые агентами иностранных разведок, ушли в беспорядки и вирши. Ничего примечательного. Серые эволюционные будни. Однако меж строк отчетливо прочитывается — «Началось!» И поэтому почти что не удивляюсь, когда в один из нежнейших бермудских полдней месяца Козерога моя экономка Пепита, вся в буклях, протягивает мне в плескалище со сгущенными сливками пакет с приветственным адресом, подписанным всеми кремлянами.

«Кремль,— говорилось в нем,— гордится своим легендарным сыном и желает ему и его коллекции скорейшего возвращенья в Отчизну». И реагировало телеграммой сдержанного согласья: «Грядем». Ответная депеша из Эмска гласила: «Орден часовщиков назначает Вас комендантом Российского Кладбищенского Зарубежья».

Тогда, сняв себе в Гибралтаре отличную штаб-квартиру с видом на одноименный пролив, действенно собираюсь я в путь. В продолжение ряда лет мой разбросанный по всему свету антиквариат эксгумируется, изымается из ниш колумбариев и пироскафами свозится в сей юго-западный угол Европы. Здесь, на запасных путях тупикового толка, формируются составы сугубого назначения. Первым со мной во главе отправится партия неизвестных солдат, видных деятелей культуры, науки, политики, кое-кто из генералитета и некоторые члены императорской фамилии. А за ним

в соблюдение субординации потянутся поезда с менее именитым прахом *.

«Дерзайте! — говаривало я подчиненным, инспектируя ход погрузочных операций.— Служа своему народу, грузите и помните: смерти нет!»

Накануне отправки — еще одна телеграмма из Эмска. «Правящий Орден часовщиков просит Вашего разрешения заочно провозгласить Вас Свидетелем по делам Российского Хронархиата и Командором Ордена по праву наследия».

Не смутясь высочайшими званиями, отбиваю ответ: «Провозглашение разрешаю». Затем поворачиваюсь к Одеялову и повелеваю трубить поход.

Дни в дороге летят стремглав. Не успели мы оглянуться, а Западная Европа уже за холмами: мчимся Чехией, Польшей. И вот как-то под вечер Одеялов выходит на станции скупить газет и узнать заодно, где стоим. И когда возвращается, спрашиваю: «Ну, где?»

Имя города, произнесенное денщиком, походило на звук, сопутствующий откупориванию шампанского: «Чоп!» — сказал Одеялов.

Мы были на грани Родины.

Встрепенувшись, я высунулось из окна. Пахло мятой и чебрецом. Вдали голубело. И всю наполненную гулом колес и сердца ночь напролет была Малороссия, праотчий край Николая Гоголя и Якова Незабудки. А утром пошла Смоленщина — Русь.

Остановив состав на случайном разъезде, спустилось в какую-то балку и долго лежало ничком, исступленно прильнув губами к нещедрой земной коросте. Но позволив себе эту слабость, поспешно вернулось в вагон и до самого Эмска диктовало секретарю реестр первоочередных мероприятий. Уже подъезжая к вокзалу,

* Для справки. К Стрельцу девяносто шестого года в картотеке коллекции насчитывалось более двух миллионов имен: от известного своей сообразительностью шахматиста Алехина до какого-то слабоумного и всеми забытого однофамильца его, скончавшегося в хронологической глуши восемнадцатого столетья в Эль Чико-Потато.

на крыше которого колыхался плакат «Дальберг — совесть нашего человечества», продиктовало последний тезис: «Культ моей личности всячески пресекать». И вышло на крытый перрон, где оркестры шумели «Аве Марию», ставшую позже державным гимном.

Встречавшее в полном составе Временное правительство — трепетало. Я пристально поздоровалось.

В крепость ехали по Тверской, ныне проспект Кербабаева. Заложив руки за спину и мерно покачиваясь с носков на пятки, я стояло в открытом авто и экспромтом бросало на ветер речь «К моему народу».

«Безвременье кончилось,— говорило я, говоря.— Наступила пора свершений и подвигов. Разберем кирки и лопаты и маршем бодрой печали и горестного ликованья отправимся хоронить своих мертвецов. Клянусь вам, мы разобьем для них кладбища лучше прежних!»

«Да здравствует!» — кричали в ответ и устилали дорогу любезными моей сердцевине иерихонскими розами. А? Вы помните? И повсюду — по улицам, закоулкам и площадям — по всему ненаглядному Эмску — по всей Москве — штопорили метельные крутни.

ЭПИЛОГ

Жизнь обрывалась. Она обрывалась безвкусно и медленно, словно тот ничтожный бульварный роман, что заканчивается велеречивой смертью героя. Заштатный бульвар, на котором его листали, пролег, осыпан огарками спичек и звезд, и окурками, и неотвратимой в демисезонной литературе листвой. Там стояли скамейки. Они стояли витиевато, массивно, с незыблемой основательностью кованого литья, сучковатого дуба, антично изогнутой пустоты. На них и листали — слюнявя и замусоливая. И, листая его, сей роман моего непотребного экзистенса, Вы забывали об унизительных тяготах и трудах своего. Вы — забывались. И мысли о бренности всех и всего переставали подтачивать, чревоточить труху организма. Вы увлекались настолько, что Вам иногда мерещилось, будто этому тексту ничуть не дано затеряться во времяворотах и завихрениях относительности. Вы заблуждались. Хотя вся предваряющая меня словесность есть только робкая проба пера, неуклюжая клинопись, дань человеческому бескультурью и хамству,— дано: затеряется всякое слово.

И очертя похмельную голову — и опрокидывая стоящие на пути предметы житейской утвари — и навзрыд — автор слепою летучей опрометью кидается вон — на засаленную черную лестницу имени Достоевского и, вцепившись в перила негибкими пальцами, наклоняется над пролетом имени Гаршина, которого некогда бесконечно ценило. И наклонившись, искоса оно оглянулось. О детство! О юность! О молодость! О любовное догробовое томление по девочке Рек, с которой мы более никогда не виделись. Или же — виделись,

но не узнали друг друга, поскольку оба неузнаваемо постарели. О старость! Даже и ты отлетела. И — обратите внимание! — все, что случилось, случилось напрасно и зря. А про́брешь — зияла, а жизнь — отболела. И — медленно она обрывалась.

Тогда автор привстало на цыпочки. И, подавшись еще немного вперед, перевесилось и вообразило ее себе во всех ее пошлостях, безобразиях и гнойниках, как если бы это была не жизнь, а какая-то прокаженная сифилитичка, продажная тротуарная дрянь, которую оно когда-то боготворило. Его передернуло. Борт души накренился. О равновесие, инстинктивно робея утратить тебя самым необратимым образом, оно держалось одною рукой за перила, меж тем как иною нащупывало неразличимые в свете перегоревшей лампочки спекшиеся уста свои. Нащупав, оно разомкнуло их. Разъяло и челюсти. И привычным движеньем бывалого ключника сунуло в разверстую скважину рта ключ двуперстия.

Автора вырвало.

И, вращая стрелки вселенских часов — часов на мильонах небесных брильянтов в мильярды карат,— прихлынули в виде воспоминаний все остальные столетия.

год 2044
Дальберг

ЭССЕ
•
ВЫСТУПЛЕНИЯ

ОТКРЫВ — РАСПАХНУВ — ОКРЫЛИВ *

Пути вдохновения, написания и издания неисповедимы. Впечатление, что мы выбираем их сами, не более чем иллюзия. Взять того же меня. Чтобы собраться с мыслями и составить первый роман, я поступил по наитию. В оные лета столичный газетчик, сочинитель чего изволите, я вдруг осознал, что пора бы преобразиться. Я ушел из редакции, уехал на север, в глушь, и поселился в егерском доме. Убит браконьерами, хозяин почти постоянно отсутствовал, и его профессия и предметы его домашнего обихода невольно стали моими. Одноместная койка аскета, стул, стол. На последнем — перо, бумага и керосиновый светоч. И если днем бытие освещается оловянным сиянием свыше, то вечером — озари все событие сам: чиркни спичкой, зажги фитиль, и лицо художника в юности на портрете в раме окна станет сразу божественно желтым. И в акриды, и в дикий мед обращается битая дичь, рыба рек и картошки. Не в пример своему жилищу, сей рефлексирующий анахорет не был скромен. Напротив, он был дерзновен. Отчетливо сознавая, что книгу эту в отечестве опубликовать не удастся, не знал ни уныния, ни сомнений. Ибо дело было в России, где литература, включая неприкаянную и нищую духом, есть дело чести и доблести, не говоря о геройстве. Она же — дело святое. Она же — краеугольный камень культуры. И если в поры экономических неурядиц там слово заменяет валюту, то в годы вялотекущих репрессий — свинец. Сомнения,

* Слово, сказанное на вечере памяти Карла Проффера в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

впрочем, были потом, когда со случайной оказией я отправил рукопись за границу. Отправил наугад, не зная, в какое издательство она попадет и попадет ли вообще. Ответа не было несколько месяцев, и я думал, что никогда ничего не дождусь: либо рукопись не дошла, либо я настолько бездарен, что даже и отвечать мне не имеет смысла. Оба варианта представлялись фатальными. Иными словами, откуда мне, маловеру, было знать, что Провидение обо всем давно позаботилось, что где-то на Ниагаре тридцать пять лет назад родился человек, который в какой-то момент своей жизни тоже испытывает необходимость преображения — преобразится, и полностью посвятит себя тому же делу, что я: русской литературе. Человек, который первым прочтет, полюбит, переведет и издаст первую мою книгу. Человек, которому я буду обязан практически всем, что будет касаться моих реальных литературных обстоятельств. Сегодня естественно оглянуться. Оглянуться и осознать еще раз, что в те дерзновенные дни ранних опытов ты был не столько непризнанным гением, сколько типичным представителем своего непризнанного поколения. Поколения преображенных, что по егерским избам, по будкам обходчиков, сторожей и лифтерским альковам составляло российскую литературу семидесятых, восьмидесятых годов. И поступая так, без очевидных на то оснований питало большие надежды, которыми только и живо искусство в эпоху отчаяния. Для многих, в том числе для меня, надежды эти сбылись: явился Проффер, открылся «Ардис». Он открылся в Америке, а в России сразу выросли многие крылья, окрепли перья. Он возник в тот момент, когда наступило время именно для такого издательства. Сработало то же наитие, позаботилась та же судьба. Назовем ее общей. «Ардис» начинался и продолжается как явление уникальное не только в русскоязычной, но и в мировой издательской практике. Ведь оценочный принцип его редколлегии — художественность; он же — единственный. Русская литература — где бы ни находились ее составители: в метрополии или в рассеяньи — нынче — как и вчера — вся по сути в изгнании. Состояние ее погранично. Но выживет, потому что необходима. Карл

Проффер — открыв — распахнув — окрылив,— стал не только пророком ее грядущего выздоровления; он помог ей в ее настоящем. Помог конкретно и зримо. Оба списка далеко не полны. Уйдя, Карл остался в изданных и переведенных им книгах, в судьбах многих писателей и читателей здесь и в стране моего языка, в судьбах русской словесности и славистики. Когда-нибудь, когда большая Россия очнется от своего летаргического забытья и заговорит человеческим голосом, она воздаст ему честь и окажет признание. Просвещенная Америка делает это уже сегодня.

ТРЕВОЖНАЯ КУКОЛКА *

...Все по плану
Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом
Бредил всеми землями, путая быль и небыль.
. . . .
Нам бы знать — за что нас так, Боже?

Ирина Ратушинская

Какая промашка: вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Буэнос-Айресе, где вместо Ко́мо эста́ усте́? — все спрашивают друг у друга: Ко́мо э́стан лос а́йрес? — и отвечают: Гра́сиас, гра́сиас, муй буэ́нос,— и где веломальчик газеты Ой демонстративно читает ее без всякого словаря и вдобавок едет без рук, а кондуктор — обыкновенный трамвайный кондуктор — по памяти декламирует пассажирам пассажи Октавио Паза,— то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных и стать гражданином по имени Хорхе Борхес,— а впрочем, нет, погодите — в Упсале — в неописуемой Упсале — в краю готической хмурой мудрости — и слывя профессором Ларсом Бакстрёмом,— быть им: во имя прелестной Авроры из славной семьи Бореалис самозабвенно творить ворожбу, именуемую свенкс поэси,— или вот: не взыскуя

* Опубликовано в: Континент, 1986, № 48.

ни Рима, ниже Афин,— в несказанном Иерусалиме: о лучезарное детство на улице Долороса, среди вериг и преданий,— о боги, да что там в Иерусалиме, оставим его в покое до будущих календарей, ведь можно явиться и под — в неказистом, пропахшем фалафелями Вифлееме, а нет — в преисполненной былого величья и мулов Афуле, а нет — в развеселом Содоме,— и жизнь напролет как ни в чем не бывало болтая с приятелями экклезиастовым языком, сделаться мастером гильдии Амоса Оза; словом, вместо чего бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе — являешься и живешь черт-те где — лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзопишешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском — и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, кем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще. Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи — связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях, в некой пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, окуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство. И муха ли я? Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае — ноль вниманья. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они, иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости; да и то сардонически. Впрочем, жизнь отставала. Ища побороть депрессию, ты по афишке с постскриптумом: «Слабонервных просят не беспокоиться»,— трудоустроился в морг. Начав с помощника санитара, выбился в препараторы. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие неэстетично,— значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста, оно от разнузданного глумления над

покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все, скончавшиеся в больнице. Порядок свят: исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы были невольники двух несогласных стихий. Ты — невольник присущего языка, клиентура — летального безъязычия. Жить и пошло, и вредно, жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть — не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочившиеся профессиональной печалью. И в зале — по скользкой эмали — кружился полночный скелет — из бледно-оранжевой дали — струился задумчивый свет. Терзания надломленного таланта отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий сезам. А как ярились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как Мойра, котов, стерегущих возле аквариумов своих — рыб ювелирных. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сезамы. Их либе дих, сагало, те амор, твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Так, например. Позвольте, но где же выбор? — говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь горячечно, нутряно, точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора несть, отвечает он холодно и высоколобо. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы — счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Право? мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность — для счастья. Ты не личность, роняет он, ты — личинка. Да как вы смеете — что за бестактность — эт цетера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные седые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трепещущий и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже расстроенный. Расчетверенный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я —

Неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я — немецкое да и зеркально затранскрибированное английское я. Я — ай. Я — я. Я — Он, Который утверждает: Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряженья. Я — враг твой. Я — бич. Я — неволя, недоля и дольняя незабудка. Я — любит-не-любит. Я — стерпится-слюбится, слюбится-воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровоточащую суть. Не корми ею птиц небесных: те сыты печенью Огнекрада. Но капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я — язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сон и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда к тем запросто, без звонка и без запонок, эдаким фармазоном, заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долой барокко, а да здравствует-де рококо. Пример, достойный всемерного подражанья. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим — терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародей мгновения, виртуоз эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, споткнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платья твоего артистического гардероба можно было бы приодеть всю голь карнавальную Копакабаны. На досугах ты открывал многоуважаемый шкап и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает гроссбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препараторского халата тут наблюдались: сюртук конторского клерка, униформы циркового уборщика и театрального брандмайора, безрукавка истопника и фрак трубо-

чиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, китель егеря и траченная собаками телогрейка их дрессировщика, шинель рядового и смирительная рубаха. Последней ты дорожил как реликвией. Парадоксально: этот неброский наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в ней ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и председатели шара. В ней в то хмурое по-толстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы — в самое вольное изо всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верноподданным, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля: Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм. И в той же рубахе семьсот двадцать девять уколов спустя предстал ты перед высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? — сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я — дивная куколка, выросшая из простой личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я совершенно окуклен. Прямо роденовский Оноре. Благодарю вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде щемило, мне сейчас бесконечно; точней — бесконечно уютно. Но в целом — я весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ах, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистадорской политики позднесредневековой Испании и лично Америго Веспуччи маршировал ты своим неласковым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубаху келейно. Ты похитил ее из дурдома, словно герой-лазутчик — знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере

ослабил гидру. Однако был по крайней мере еще один повод для ликования. В соответствующем документе значилось вожделенное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне вялотекущей мегаломании. И — ликовал. И являлся в своей рубахе среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, дерзавших гласить крамолу на съежившихся площадях и в томных салонах. И в зале — по скользкой эмали — из бледно-оранжевой дали. О рубаха. Это именно в ней ты прожег свою юность, будто бы сигаретой — дыру. Ах, навылет. Какая неаккуратность. Ну разве неясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь — реликвия. Вспомни, это именно в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натурщиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстракласса — класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков. Ордена мятущихся и бунтующих, неприкаянных и непридельных, правдоискателей и юродивых ради идеи-фикс, где магистром сеньор Кихот. Барабанщик милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты был откровенным врагом всего, что не нравилось. И не беда, что в силу окукленности собственно барабанить было тебе не с руки. Что нужды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем — в ребра, но кровью — в висок, но ею же — в барабанные перепонки свои, но воплем — в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводитесь — саван не шейте. Обрядите в рубаху — и баста. На память о том моменте, когда я жил-был, боролся и барабанил. И если угодно — мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколенье. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фиглярском твоем шкапу. И больше, чем тех

эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал Уолт Уитмен, мечтатель заморский. А именно: ты многолик и массов. Тебя было столь много, что хватило бы на батальную киномассовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа окуклен тебе подобно — обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный народ свой, рожденный в смирительной косоворотке. И язык его стал тебе горек. И исполнилось предреченное им в видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови, стал пыльцою на крыльях: в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, окрыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо, нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознал себя малой, но вольной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык по-прежнему — влачился внизу, во прахе немилой юдоли, или лежал, как бесправный больничный труп, потому что казавшееся в бреду молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора было на деле таким же — как у тебя и у каждого — красным смирительным. И тупые, бескрылые препараторы над языком твоим все глумились, язвя. О несчастный, бессильный, окукленный и оглупленный, говорил ты себе о нем. И молился. Господи, сохрани и помилуй присущее нам наречие, ибо иным не владеем. Сохрани и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Буэнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смирительных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Воззри на нас и на них. Поговори к нам высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь и что это уже не сон, а явь. А сон — разбуди

и откройся. Лишь мне, малому мотылю. Мне, моли. Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прошелести опавшим листом — листом ли рукописи — бамбуковой рощей; за что?

В ДОМЕ ПОВЕШЕННОГО *

Пытаясь осмыслить свое понимание прав человека, я в качестве образца человека не мог отыскать никого конкретней себя и задал этому человеку ряд наводящих вопросов. Какое обстоятельство твоей биографии, спросил я его, представляется тебе наиболее неудачным? Не считая рождения как такового, ответил он, самым огорчительным я полагаю факт моей изначальной причастности к бесправному обществу. Конечно, могло быть хуже. Я мог бы родиться гражданином Китая, Камбоджи, Вьетнама, Великой Албании, негром Южно-Африканской Республики или вовсе подопытным кроликом. Но подобные рассуждения утешают мало, ибо забыть, что могло быть гораздо лучше,— не удается. И естественно, что на вопрос о самом отрадном обстоятельстве я отвечаю: оно приходится на шесть часов вечера восьмого октября семьдесят пятого года, когда самолет, на котором я вылетел из Москвы, приземлился в Вене. Я шел подземным тоннелем к таможне и лихорадочно, но совершенно четко осознавал: невермор. И чувство свободы, которое я испытывал тогда и потом, гуляя по райскому вертограду Европы, было полным и высшим. Свобода почти материализовалась; она была музыкой механического волчка, которая непрерывно гудела в сердце. Со временем это чувство утишилось, но и теперь, спустя столько лет, я не устаю поздравлять себя с убытием из заморóченной родины. Почему меня отпустили, думаю я, именно меня — из стольких жела-

* Речь, сказанная в университете Эмори (г. Атланта) на конференции «Переосмысление человека».

ющих, страждущих и ненавидящих? Почему меня? спрашивал знаменитый соратник Сталина и враг народа Лаврентий Берия — герой моего романа «Палисандрия». Тот же вопрос, но в иной ситуации: министра влекли на расстрел. Почему, имел он в виду, не Хрущева, не Ворошилова, не Кагановича с Молотовым, не весь остальной ЦК, а его, Лаврентия Павловича? В жестоком жесте судьбы он не усматривал логики, и его наводящий вопрос казался ему законным. Но нам, потомкам, особенно физиономистам, виднее. Достаточно вглядеться в черты казненного палача, и диагноз ясен: сей кончит плохо. И верно. А кроме лица наше будущее обличают наши поступки. Ведь мы повторяемся, и положения, в которых находим себя в силу этих поступков, нередко бывают схожи. Некогда я знался с одним патологическим книгочеем. Он родился и вырос в Москве и никогда не выезжал из нее дальше могилы Бориса Леонидовича Пастернака, что в двадцати от столицы милях, ибо всем путешествиям в мире предпочитал книгу. И был другой человек, который ни с кем никогда не ссорился, не порывал, не прекращал знакомств — чего бы это ему ни стоило. Перед вами стоит человек, решительно противостоящий тем двум. Всю свою жизнь он с чем-нибудь порывал, нисколько не дорожил никакими знакомствами и без конца куда-нибудь уезжал — далеко и надолго. Идеалист, эгоцентрист и романтик, он ставил истину выше дружбы и рассматривал свой уход из привычной и, зачастую, постылой среды как средство роста, как метод борьбы за свое эго. Он оглядывался на оставленное, как змея — на покинутую ею старую кожу: без жалости, облегченно, и в умении поступать так видел залог индивидуальной свободы. Ее он полагал своим основным и первейшим человеческим правом. Полагал, начиная с первого сентября пятидесятого года, когда, приведен впервые в одну из тьмы затхлых московских школ,— бежал, не приходя в сознание. Пойман был только вечером. Грустные сроки, проведенные в классах в качестве перманентно худшего ученика, бездельника и мятежника, пройдут недаром. Они представят пищу для размышлений о чеховской

серости будней, о тупости и бесправии учителей и учеников их, они дадут материал для первой повести, которую он напишет, сбежав из престижной литературной газеты в волжские егеря. Рукопись тайно покинет Россию на два года ранее автора, потому что опубликовать ее там будет немыслимо. Волей случая она попадет в Америку, в издательство «Ардис», где ее напечатают на английском и русском. То будет книга об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, об ученике Таком-то, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра. Автор симпатизирует своему герою. Их взгляды на права человека вообще и на бесправие русского человека в частности совпадают со взглядами третьего, более именитого диссидента. В книге цитируется свидетельство последнего, датированное глухоманью семнадцатого столетья. Оно показывает, что даже время не способно улучшить положение нашего народа, равно изменить его точку зрения на это положение. Выпросил у Бога светлую Русь Сатона, говорит протопоп Аввакум, да же очервленит ю кровию мученическую. Добро ты, диавол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать. Конец цитаты. Многотерпение русских людей — историческая притча во языцех. И писалось о нем достаточно. Мне осталось добавить лишь несколько слов, да и то не своих. Я взял эпиграфом к «Школе для дураков» одиннадцать русских глаголов, составляющих известное исключение из до сих пор не известного мне правила. Гнать — держать — бежать — обидеть — слышать — видеть — и вертеть — и дышать — и ненавидеть — и зависеть — и терпеть. За прошедшие после написания «Школы» десять лет мой взгляд на российскую ситуацию еще более помрачнел. Сказался, видимо, возраст, сказался опыт пребывания в странах с гуманным режимом. К тому же — и это случилось невольно — я занял позицию почти стороннего наблюдателя. И многое стало виднее. И, взирая на годы, прожитые моим народом до и после меня, я не

могу не заметить, что вся история России есть история подавления прав ее граждан и граждан соседствующих с ней государств — ее правителями. Я никому не навязываю своих мнений. Но разубедить меня не удастся ни коммунистам, ни монархистам. И все-таки надежда на лучшие времена еще трепещет. Она трепещет, покуда хотя бы в романах у нас встречаются люди вроде Павла Норвегова, учителя географии из школы для дураков, что давно уже умер, но все еще продолжает являться. Вот человек бесстрашия и неограниченной внутренней раскрепощенности. Ибо чего убоюсь перед лицом вечности, восклицаем мы с ним, если сегодня ветер шевелит мои волосы, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвет пуговицы пиджака, а завтра — вырывает с корнем дубы, возмущает водоемы и разносит семена моего сада по всему свету. Убоюсь ли чего я, Павел Норвегов, честный загорелый человек из пятой пригородной зоны, скромный, но знающий свое дело педагог, чья худая, но все еще царственная рука с утра до вечера вращает планету, сотворенную из обманного папье-маше. Дайте мне время — я докажу вам, кто из нас прав. Я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески. Вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя, укоряем мы с Павлом Норвеговым наших читателей, безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами. Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и обиженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий в жилах у вас вместо крови. Конец цитаты. Итак, да здравствует свобода. Свобода, о которой в словаре цитат имени Барлетта сказано столько же, сколько о Боге и любви. И тем не менее, повторив вслед за кем-то великим: свобода — мой Бог, хочется добавить еще что-нибудь от себя лично. Поэтому когда Протагор говорит мне, что человек

есть мера всех вещей, я продолжаю мысль Протагора. А свобода, говорю я ему, есть мера всякого человека. В смысле — его понимание свободы, его отношение к ней. Отношение к ней большинства моих соотечественников, их непониманье ее меня неизменно взрывало. Особенно в юности. Случалось, в пылу мимолетной уличной или ресторанной дискуссии — дискуссии, в конечном счете, о правах и свободах,— я использовал веский аргумент кулака, но судьба благоволила и тут: арестован за драку я никогда так и не был. Я был арестован совсем за другое — за серию самовольных отлучек из вонючей казармы, где подвизался курсантом. Мне и тут посчастливилось. Я сидел в той самой тюрьме и в том же крыле ее, где ждал расстрела недоумевавший Лаврентий Павлович. Только он сидел за одиннадцать лет до меня и двумя этажами выше — в номере люкс. Не могу поручиться за тот этаж, но на нашем права человека не обсуждались, хотя их и было предельно мало. Так, на камеру человек в девять полагалась одна «Правда» в день, а на утренний и вечерний туалет две минуты. Да и вообще, я никак не могу припомнить, чтобы в какой-то — студенческой даже — компании рассуждалось бы о правах человека. Рассуждалось бы, то есть, не мимолетно, но обстоятельно и серьезно, с выкладками. В скобках: возможно, что я вращался не в тех компаниях, так бывает. Рассуждалось, допустим, о запрещенной литературе, но речь не заходила о том, почему и кем она запрещена. Это разумелось само собой. Рассказывались антисоветские анекдоты, пелись подпольные песни, выкрикивались — вполголоса и шутя — крамольные лозунги, передавались сообщения, что тех-то судят, а тех-то уже осудили. Но никогда не подводилось под все это теоретической базы. Никто не заявлял, что в силу таких-то и таких-то статей Конституции мы, советские граждане, имеем право свободно слушать передачи зарубежных радиостанций и ездить за границу, а нам не велят. С одной стороны, каждый сызмала знает, что пользы от таких разглагольствований не будет: запрещено — значит, запрещено. А с другой стороны, в доме пове-

шенного о веревке — молчок. Напрасно болтать неэтично. Все ясно без разговоров. Все все понимают. И это всеобщее понимание — понимание безнадежности собственного положения — внутренне раскрепостило меня, я сделался несравненно вольнее. И я осознал, что ни жить, ни писать по-старому более не способен. После того, как высшая военно-врачебная комиссия официально признала меня неразорвавшейся бомбой, я получил белый билет и влился в блистательную толпу свободных столичных художников. К тому же стояли шестидесятые годы — самый демократичный период в истории режима после нэпа. По вечерам на площадях города читали друг другу стихи молодые гении. Я был одним из них: немного поэт, немного бродяга. Власть была к нам почти равнодушна. И тем не менее именно в те счастливые месяцы я понял, что рано или поздно сбегу из этой страны. Хотя бы из здорового любопытства. Скушно, господа, всю инкарнацию томиться в родном и том же отечестве. На лодке ли через Черное море, на лыжах ли через Шпицберген, пешком ли через Лапландию или Памир. Да мало ли способов у нашего гражданина осуществить свое право не быть им. Я строил прожекты и предлагал приятелям отправиться вместе со мною. И только один — из примерно тридцати посвященных — заинтересовался моим предложением. В результате он ныне обретается в Калифорнии, а остальные живут и, видимо, до конца дней будут жить по прежним адресам. В то время я был отчаянным, непримиримым максималистом. Я полагал, что из сложившейся у нас в стране ситуации есть приблизительно единственный выход: массовая эмиграция. Массы не оправдали моих надежд. И слава Аллаху, говорю я теперь, не всем обязательно убегать, порывать, капризничать — должен же кто-нибудь населять державу. Но и теперь, став вдвое старше того вольнолюбивого поэта-шестидесятника, я втайне — втайне, чтобы не подорвать себе репутацию солидного, с портмоне, человека — не понимаю: какого дьявола миллионы милых, чудных, душевных, смышленых, честных моих соотечественников терпят условия своего существования.

Разве не унизительно жить в стране, где попрано то, что мы здесь так свободно переосмысливаем. И разве не стыдно ее населять. У меня в Москве был знакомый — молодой дипломат. Подолгу служил в Нью-Йорке секретарем советского представительства. Однажды, когда он в очередной раз приехал в отпуск, я прямо так и спросил: послушай, дескать, дружище, жена тебя все равно оставила, детей у вас нет, ты — вольная птица, скажи мне, зачем ты все сюда возвращаешься, что ты здесь потерял? И хоть выпито было к тому моменту уже достаточно, он просто не понял вопроса. Точнее, понял, но столь поразился ему, что в это время кто-то вошел и вопрос остался открытым. Пытаясь закрыть его, я прибегаю порою к банальнейшей параллели. Есть разные птицы, говорю я себе. И тут же память подсказывает строку Жака Превера: «Чтобы нарисовать птицу, нужно сначала нарисовать клетку». Разумеется, отвечаю я, разумеется, есть и клетка. И в ней есть разные птицы. И птица-секретарь, предположим, прекрасно переносит свое заточение, разве что немного жиреет. А, например, птица-соловей в той же клетке молчит и дохнет. А птица-феникс? О, птица-феникс верна себе и в неволе. Она в знак протеста сжигает себя, и когда ее пепел выметают из клетки, она возрождается и улетает. У нее обостренное — пламенное чувство собственного достоинства. Едем дас зайне, или — оставьте мертвым хоронить своих мертвецов, свои права и свободы. Я оставил. Я быстро побросал в чемодан несколько ненужных вещей и, ни с кем не простившись, совершил очередной уход из постылой среды. Массы не оправдали моих надежд, и я решил вопрос об эмиграции в индивидуальном порядке. То был самый трудный уход. Я полагаю, он удался по той причине, что ради него я был готов пожертвовать почти всем. Да, в сущности, и пожертвовал. Жизнь на Западе представляется вполне подходящей. Я нахожу здесь именно то, что надеялся обрести. Здесь установлены именно те права и свободы, которые мне наиболее дороги. Свобода собраний и манифестаций. Право уезжать из страны проживания и право в нее возвращаться. Право свободно выражать

свои идеи в любой форме и право не выражать ничего. Как писателю мне особенно импонирует отсутствие цензуры в газетах, журналах, издательствах. Примечание: исключение составляют некоторые русскоязычные издания. Парадоксально, что часть из них выходит при поддержке Америки и на ее земле. Рабская трусость, лживость и косность неизлечимы даже путем эмиграции. И довольно об этом.

НА СОКРОВЕННЫХ СКРИЖАЛЯХ *

Само ли прекрасное приискивает себе подмастерьев среди беспризорных и озорных духом и, очаровывая невечерним светом своей бесполезности, возводит их в мастера? Премного ль обязаны те умениями своими прекраснодушным наставникам из ремесленных душегубок? Иль все начинается и творится по воле прекрасной инакости — отрешенно и вопреки? Иными словами: на чем мы остановились? что умозаключили на наших тысячелетних досугах? что было и будет в начале: художник или искусство? И: наличествует ли наше прекрасное, если мы не имеем его в виду, отвернулись и очерствели. Или ударились в безобразное. Положим — в безобразие благополучия, небытия — в этот кромешный стыд; в безобразие сплетен об истине. Где там, кстати, в каком балу влачится ее драгоценный шлейф, отороченный благородным скунсом? Что нам делать без этой сиятельной дамы, ведь в наших собраньях повисла масса вопросов. Ведь нам неймется не только сравнить их с висящими на наших же вешалках старомодными зонтиками и тростями, но и выпрямить эту согбенность, исправить их вопросительную горбатость — словно бы раболепную, угодливую, а в сущности настырную и узурпаторскую. Вопросы пленяют нас.

* Речь, сказанная на конференции «Русская литература в эмиграции» (Лос-Анджелес).

Что там себе поделывал в деревне зимой Александр Сергеевич и как хороши, если конкретизировать, в какой именно степени были свежи розы Ивана Сергеевича? Как — а главное: чем делать стихи и вообще изящное и замечательное? И если нечем, то чем тогда заниматься? Не сочинить ли биографию Навуходоносора, не составить ли мемуары, не податься ли в отцы нации, не причислиться ли к лику святых? Кто есть кто? Кто зван, а кто призван? Или просто ребром: ты меня уважаешь? На улице неотложных вопросов — фиеста. В балаганах политики, идеологии и тщеславия — полный сбор. Там витийствуют околоведы, вещают пророки. Именно там на публику, обданную словесной дрисней и тем умиленную, является во всем белом сама Посредственность. Ну а те-то, которые беспризорные духом? В культуре, подвергшейся множественным размозжениям духа с применением лакированной тары, затоваренной умопомрачительной требухой, глас они вопиющего в индифферентности: подайте юродивому копеечку. И что, казалось бы, делать — только не Александру Сергеевичу и не зимой у себя в поместье, а мне, Александру Всеволодовичу, круглый год и в совершенно иной земле, где не пахнет клубника, сирень, черемуха, деревья забыли свои имена, где о свойствах древесных лягушек можно потолковать лишь с самоотверженным соколоведом Доном Бартоном Джонсоном, а на кладбищах вместо мудрых могильщиков с их гуманными лопатами и веревками работают трубоукладчики и бульдозеры? Что делать нам всем, для которых полупроводник — это не более чем проводник, обслуживающий два вагона? Конечно же — преподавать, прометействовать, возжигать светильники разума, университетов же — тьма. Как возможно не знать произведений Дамокла, трудов Сизифа, философских воззрений Прокруста,— воскликнул профессор, до слез восхищенный неведением студента. Да будет вам,— отмахнулся студент,— у вас — своя компания, у нас — своя. В самом деле, с чего сей экзальтированный экзаменатор возомнил, что его дисциплина чего-нибудь стоит, чего он пристал к представителю молодежи? Видать, господин

профессор — приезжий, небось эмигрант из какой-нибудь там России, где, слышно, Союз писателей играет роль чуть ли не оппозиционной партии. И чего еще церемонятся там с этими борзописцами. Вот отрубят им всем, говоря по-китайски, собачьи головы — тогда узнают. Не скажу за Париж, за Лондон, за Копенгаген. Быть может, процесс выздоровления объединенных наций от литературной хандры происходит неравномерно, и в ряде одряхлых столиц, как в каких-нибудь бразилиях и сибирях, еще не в курсе, что лавочку изящной словесности пора прикрывать. Но у нас в Новом Свете, рекомендуясь: писатель,— вы должны непременно оговориться, что позволяете себе данное слово в значении здесь отставном и невнятном. Ибо в представлении нечитающей массы райтер — это человек, умеющий набросать письмо, заявление, пособие по бегу трусцой, трактат о диете или какой-нибудь Горьки Парк. Поэтому слово «графоман» имеет в местном наречии узкоклинический смысл. Да и чего там, право, эстетствовать, элитарничать. Здесь нам не петербуржский салон времен замечательного поэта-нудиста Константина Кузьминского, пусть сам он и переехал в Техас. Оставьте в покое свою Мнемозину, милостивый государь, не теребите ее, не мусольте. Когда я, оздоровленный новейшим опытом, живописую коллегам, что значит в стране моего языка быть писателем или хотя бы слыть им, то чувствую сам: баснословен. А когда, вояжируя из Канады в Америку, меня на таможне спрашивают: занятие? — и я отвечаю: писатель,— меня немедля начинают обыскивать. Потом прибывает проникновенный гражданин в штатском, и у нас заходит душеспасительная беседа на предмет сердечной привязанности. В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, на русском? А сердце твое, говоришь, где? Мое сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр. Вот как уклончиво следовало бы мне отвечать, но я опасаюсь прослыть излишне сентиментальным. Ведь моя литературная репутация и без того уж

подмочена. Вы знаете, отчего я столь внимательно вас лорнирую? — сказала мне княгиня из первой волны, когда мы сидели с ней за одним из ее наполеоновских столиков, имея ленч. Помилуйте,— возражал я, тушуясь. Я прочла вашу «Школу для дураков» два раза,— продолжала княгиня,— и, поверите ли, поначалу решила, что вы, по-видимому, вольнодумец, масон, а теперь догадалась: вы просто умалишенный. Лорнирует меня и канадская Ее Величества конная контрразведка. Однако ее осенила догадка иного толка. Ваша карта бита,— заявили нам в компетентном монреальском учреждении,— вы, Соколов Александр, он же — Саша, шпионы. Улики? Более чем достаточно. Во-первых, мы оба что-то все время пишем, а во-вторых, мы однофамильцы. Только один из нас, будучи монархистом, пишет нашу фамилию с двумя эф на конце, а другой, будучи сам по себе, с одним ви. Когда меня, наконец, арестуют, я утешусь следующим воспоминанием. Однажды в Италии был задержан немецкий лазутчик, который методически срисовывал старинные башни. И хотя он пытался уверить следственные органы, что он просто известный поэт, дескать, Гете, имя это ничего никому не сказало. Ведь Иоганн Вольфгангович тоже подвизался под рубрикой «Литрачер Бийонд Политикс»*. А ведь упреждал, упреждал меня пьяница дядя Петя, малограмотный провидец из-под Твери, где я работал егерем и писал первую мою книгу: Санька,— говаривал дядя Петя,— не ездь в Америку. Впрочем, когда он давал мне этот стариковский совет, об отъезде я даже не помышлял. И искренне удивлялся: Бог с тобой, Петра Николаич, с чего ты взял, какая Америка. Вижу, вижу,— читал он мою судьбу,— уедешь. Слова его тем более озадачивали, что мы никогда не заговаривали с ним о политике. Газет в деревне не получали, радио не слушали и жили размышлениями о состоянья реки, погоды, охоты. И пророчество дяди Пети являлось вдруг, в просторечьи прекрасной застольной беседы минимального смысла и осмысления. Странны,

* Литература вне политики *(англ.)*.

загадочны и трагичны события, происходящие в той захудалой местности, где, кроме меня, обретали покой и волю Чайковский и Пришвин, Рильке и его переводчик от русской сохи Дрожжин, но где душа человеческая не многим дороже пары сапог. Там протекает Волга, она же Лета, впадающая в тюркское море забвения. Чаевничая ее водою, входя в обстоятельства ее берегов, делаешься навсегда причастен к необъяснимому и нездешнему — в ней и судьбах ей обреченных. Недавно я получил письмо от приятеля-браконьера. А что, начинается эта неглазированная деревенская проза, не сказывал ли тебе Петра Николаич, чтобы не ездил куда не след? Не послушал — вот и не знаешь про нашу здешнюю жизнь. После утопления Ломакова Витька за время твоего отсутствия — приключилось. Помнишь ли Илюху-придурошного? Пошел Илюха за Волгу за выпивкой в День Конституции, а лед еще слабый был — так уж после только лыжи нашли. Костя Мордаев, который инвалид-перевозчик: тому конец загодя был известен. Вот и уснул на корме. Глубины, куда култыхнулся, с полметра было. Но Мордаеву и того достало. А теперь про Вальку, Витька́-хромого жену, да про бабку-Козявку. На ноябрьские поехали на ту сторону в магазин, а уж закраины обозначились. Выпили в магазине — и обратно гребут. А когда на лед вылезали, то опрокинулись. Стоят в воде и кричат. Услышали их в домах, стали мужей ихних будить, а те сами в стельку. Проснулись они утром, а жены их — в сетях стылые уж лежат. Запили мужики пуще прежнего. Или вот Борька-егерь как-то с папироской уснул. Ну и сгорела изба. Да и от Борьки ничего не осталось. И еще много всяких таких историй случилось у нас и в соседних селах, заканчивается этот сокращенный мною мортиролог, обо всем не расскажешь, книжку надо писать. Я написал ее. С фотографией деревенского ясновидца Петра Красолымова на обложке книга «Между Собакой и Волком» вышла в «Ардисе» за несколько месяцев до получения мной сих печальных известий. Тем не менее все они в той или иной интерпретации в ней прочитываются. А что касается невзгод человека, который стал

прототипом матроса Альбатросова, то эти невзгоды постигли его чуть ли не в полном соответствии с сочиненным. Увы: написанное сбывается. Ибо судьба подсказывает беспризорному духом решения, которые уже приняла. И мастер ли сочиняет житейские мифы, они ли — его, все равно: текст промыслен все там же, на сокровенных скрижалях. И не судьба ли ответит на все вопросы, не она ли решит, что пребудет: молчание или слово? И если потребуется — вырвет наши грешные языки.

PALISSANDRE — C'EST MOI? *

Посвящается ОМ, АБ, ДД, АЖ, АЦ

Создатель изысканных прозаических партитур Набоков не понимал назначения музыки. Сартр поплыл по течению экзистенса и потерял его смысл. Недостойный их современник, я утратил вкус лишь к сюжету. А любит Б, Б—В, В—Г. Какая докука. Если любое сравнение клавдикант, то всякий сюжет — инвалид высшей марки, член привилегированной гильдии калик перехожих, коего благодетельная вдова залучает под вечер в дом, дабы умыть безногому ноги его. Самовар поспевает — смеркается — лается на луну. И не успела еще догореть лучина, а уж лукавые жмурки не отличить нам от пламенных ласк. Жанр федотовской кисти. Пост мортем. Сюжет навязан художнику сочинителем С, в чьей неразборчивой памяти оживает уж случай в булочной. Чу: ничем не бравируя и ничуть не рисуясь, туда является некто и спрашивает, а нет ли изюму. Ставя русскую истину — как бы та ни была горька — выше приторного притворства японского этикета, ему отвечают прямо: Вот, нету. Однако пришедший

* Палисандр — это я? *(Фр.)*
Слово, сказанное в Южнокалифорнийском университете на симпозиуме, посвященном творчеству Иосифа Бродского и Саши Соколова.

не успокаивается на достигнутом. А батоны с изюмом? — молвил он с едва уловимым поклоном. И возражали: Вот, есть. И тогда говорит им спокойно и просто: Наковыряйте-ка с фунт. И отныне — в святцах он городского фольклора. Да чем же так дорог нам образ данного покупателя? Какие качества привлекают нас в этом герое? Пытливость? Находчивость? Неуспокоенность? Несомненно. Но в первую голову — дерзновенность. Она завораживает. Она заразительная. И когда я слышу упреки в пренебреженьи сюжетом, мне хочется взять каравай словесности, изъять из него весь сюжетный изюм и швырнуть в подаянье окрестной сластолюбивой черни. А хлеб насущный всеизначального самоценного слова отдать нищим духом, гонимым и прочим избранным. Говоришь ли об отделеньи изящного от государства — политики — средств информации — средств производства и производства средств? — встрепенется имеющий уши. Ты — говоришь. Я — кричу. Ибо чем, кроме крика, рассеять нам тут окрестную мглу. Но жизнь продолжается, и ни дня не обходится без сюжета. Смотрите, смотрите, Г любит Д! Вы шутите. Истинный крест. А Д? А Д обожает Е. А вон там, левее, в затхлом углу, Е—Ё. А меж тем профессор Южнокалифорнийского университета Ж ежезимне наезжает кататься на лыжах в Вермонт к сочинителю С. Целыми днями сидя на застекленной террасе виллы с видами на глазированные хребты, приятели попивают глинтвейн и красиво грассируют про российскую литературу. И если в районе обеда оба еще довольно тверды в убеждении, что — одна, то уже ближе к ужину отчетливо различают: две. И если на завтрак чего-то и хочется, так лишь полицейского чаю. Но если поэт делит всю ее на написанную с разрешенья и — без, публицист Юрий Мальцев — на вольную и невольную, летописец Владимир Козловский — на подцензурную и нецензурную, переводчик Барбара Хельдт — на мужскую и женскую, пятый муж моей бабушки пушкинист Дмитрий Дарский — на пушкинскую и всю остальную, если франко-английский писатель и фортепьянист Валерий Афанасьев советует вычленять из нее — окромя

деревенской — особые прозы рабочих окраин, казачьих станиц, кишлаков городского типа, эт цетера, то сочинитель С и профессор Южнокалифорнийского университета Ж — о Боже, как хорошо, как уютно им там, у камина, в этих лекалообразных качалках и коконах козьих шотландских пледов — они сквозь магические кристаллы своих хрусталей различают словесность, сработанную на скорую руку и созданную не спеша. Последняя вызывает у собеседников чувство неизъяснимой приязни. Друзья полагают себя апологетами медленного письма, и взгляды их на природу его совпадают. Беседуя конспективно, прекрасное просто обязано быть величаво. Хотя бы условно. И пусть величавое не обязано быть прекрасным, оно им невольно является. Исключения вроде гигантских мусорных куч или чудовищных каракатиц и редки, и спорны. Но как бы там ни было, величавое кажется столь же очаровательней суетливого, сколь равелевское Болеро возвышеннее хачатуряновского Танца с саблями. Впрочем, как День Творения не имеет ничего общего с днем календарным, так и художническая медлительность, например — Леонардо, не есть медлительность идиота или сомнамбулы. Это неторопливость другого порядка. Текст, составленный не спеша, густ и плотен. Он подобен тяжелой летейской воде. Ах, Лета, Лета, писал один мой до боли знакомый, как пленительна ты своею медовой медлительностью, как прелестна. Текст летейской воды излучает невидимую, но легко осязаемую энергию. Теоретики медленного письма обозначили эту энергию термином архаическим и заумным, как шахматная игра, из лексики коей он и заимствован: качество. Но, помимо сей голой абстракции, неторопливый стилист обретает и нечто существенное. Блаженны медлительные, говорит мой до боли знакомый, ибо они созерцают течение Вечности. Медлители — это гурманы, эпикурейцы искусства, так как только они вкушают истинное наслажденье и пользу от творческого процесса с его облагораживающими терзаниями. Не напрасно погрязший в страстях Достоевский мечтал сочинять не спеша, как Тургенев: хотелось очиститься. Федор Михайлович

думал, войди его быт в наезженную колею, не преследуй его кредиторы, не мучь падучка да совесть, он записал бы в свое удовольствие — с чувством, с толком. Он заблуждался. Способность к медленному письму не зависит от бытовых обстоятельств. Это — от Бога. И если вам не дано, научиться писать не спеша столь же немыслимо, сколь научиться летать, не отрастив прежде крыльев. Сочинителю С — дано. Гений медлительности выказал он еще в чреве матери. Как бы предвидя все неурядицы, весь неуют земного существования и словно догадываясь, что всяческая суета — от лукавого, он родился десятимесячным. Выйдя вон, младенец предстал и огромен, и величав. Рекорды родильных учреждений канадской столицы пали. И, вся поваленная сюжетами, потекла перед его изумленным взором — жизнь; Ё—К—Л—М—Н. Через несколько лет по явлении С вынужденно покинул родину, а через тридцать три года вернулся к ее пределам. Той осенью в славном граде Детройте, в консульстве, осененном кленовым листом, ему надлежало дать клятву на верность Ее Великобританскому Величеству Елизавете. Утром в день церемонии сочинителю С позвонил консул О. Мы никогда не встречались, сказал он взволнованно, но я о вас чрезвычайно наслышан. Дело в том, что мой батюшка принимал роды у вашей maman. Ваш случай был самым крупным успехом во всей его практике. Между прочим, не доводилось ли вам бывать в оттавском музее патологической эмбриологии? Не преминете, отец был его основатель и попечитель. Чудесная экспозиция. Специалисты считают ее лучшей в целом Онтарио. Там собраны разного рода зародыши. Папа вложил в это дело всю душу. Но я никогда не забуду, с какой неподдельной грустью он говорил, что без колебания променял бы все эмбрионы в мире на один только ваш. О нет, нет, не подумайте! Как гинеколог и гуманист он абсолютно искренне радовался, что все обошлось. Однако в нем жил еще неуемный исследователь, страстный коллекционер, отчаянный экспериментатор. Иными словами, вы не можете отнять у человека мечту, не так ли? С не ответил. О продолжал: Все эти

годы мы, О, думали о вас постоянно. Вы стали нашей семейной легендой, реликвией, и мы аккуратнейшим образом отмечали ваш день рождения. Кстати, вы обратили внимание: вас угораздило на две даты, и революция, и кончина Толстого. А как вам нравится это созвучье — Оттава, Остапово. Мистика. В общем, мне страшно не терпится вас увидеть, скорей приезжайте, дружище, сказал консул О. С отправился. Но стремясь сохранить душевное равновесие, мы описание мрачноватых детройтских предместий заменим здесь небольшим элегическим отступлением. В знак будущей ностальгии по нашим вермонтским беседам на застекленной веранде с видами на глазированные хребты я, сочинитель С, посвящаю вышеизложенное рассуждение о литературе летейской воды собеседнику моему профессору Ж. И вот я у цели. По мере того, как, предшествуемый глашатаем, входил я в предписанный кабинет, лицо джентльмена, медленно поднимавшегося мне навстречу из своего глубокого, словно счастливый обморок, дипломатического шезлонга,— заметно менялось. Это лицо опадало. Так опадают небрежно подвязанные чулки, занавески, жалюзи. Так опадает опара. Анамнез: сын доктора О ожидал увидеть героя семейных мифов, существо величиной с Вяйнемяйнена, с Гайавату, а тут вошел человек не крупнее С. Диагноз: консула О постигло хроническое разочарование, сопровождавшееся острым опущеньем лица. Точно такое же разочарованье испытывает читатель, когда знакомится с автором какого-нибудь героического произведения, а тот — на поверку — оказывается ничуть не героем. А автор сентиментального произведения оказывается прожженным циником, хулиганом. А создатель блестящего детектива — откровенно скушным. А воспевший маленького человека Чехов, наоборот, велик: семь футов. А Галич, написавший несколько песен в лагерном жанре, в заключении не был. И когда это выяснилось, стали думать, что и Алешковский никогда не сидел, и снова ошиблись. Итак, та неотъемлемая наша часть, которую мы называем читатель, упорно не хочет усматривать разницы между героями и сочинителями и

отличать художественный умысел от фактографии. Когда в Москве появился мой первый роман, одна из ближайших родственниц автора принялась убеждать знакомых, что я все это придумал и что в действительности все было совсем не так, потому что на самом деле мы никогда и не думали продавать дачу и я никогда не ездил в город заниматься музыкой, а главное — разве она могла бы хоть раз изменить супругу с каким-то там педагогом. Воображаю, какие хлопоты предстоят ей в связи с «Палисандрией». Что вы, что вы, будет она говорить соседкам, он же никогда не интересовался старухами, он гулял исключительно с девушками — Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Как же, как же, так они ей и поверили, эти наши соседки, особенно пожилые. Кикиморы чертовы. А я — что я сам могу предпринять, чтобы спасти свое доброе имя? Дыша духами «Ночная фиалка», быть может, пачулями доброй волшебницы Лауры Эшли, юная «Палисандрия» впервые отправляется в свет. И покуда наш просвещенный читатель еще не коснулся ее руками своими и не сделал далеко идущие выводы, я должен взять превентивные меры. Флобер — вольно же ему откровенничать: Madame Bovary c'est moi *. Ведь если подумать, не такая она и падшая, эта Эмма. Даже для моего жеманного времени. Как справедливо заметила бы в ее отношении светлейшая княжна Черногории Мажорет Модерати, в девичестве — Навзнич: Ах-ах, двое любовников, целых двое. И дико расхохоталась бы гордой Эмме в лицо. А затем, исхлестав ее всю жокейским своим хлыстом, позвала бы с улицы каких-нибудь отвратительных, покрытых хрестоматийными струпьями нищих бродяг и приказала бы им взять несчастную. И наблюдая за этим целительным наказанием, приговорила бы шепеляво: Не сметь, не сметь обманывать мужа. Ибо она шепелявила. Иными словами, сегодня, когда горизонты приличия раздвинуты много шире, чем прежде, двое любовников или любовниц — это не то чтобы мало: это мало до неприличия. Но с другой стороны, к достижениям

* Мадам Бовари — это я *(фр.)*.

вроде лопедевеговских современное общество тоже еще не готово. А Палисандр, как известно, перещеголял испанского драматурга уже в пору своей монастырской юности. А уж что было потом — о том и говорить не приходится, сплошной моветон и шокинг. И поэтому я, сочинитель С, перед лицом своих критиков должен голосом вопиющего прокричать слова страшной клятвы: Palisandre c'est ne moi pas *. Ибо похож я на племянника Берии, внука Распутина или хотя бы на гермафродита? И полагаю ли я, будто вся предшествующая мне словесность есть лишь робкая проба пера. И служил ли я ключником в Доме Массажа Правительства, работал ли в труппе странствующих проституток, соблазнял ли кладбищенских вдов, вешал ли кошек. Jamais **. Правда, я ловил и душил цыплят, да ведь кто же их не душил в те поры. Милое босоногое детство, куда ускакало ты на своих зеленых кузнечиках. Впрочем, чтобы не быть голословным, приведу два-три доказательства. Было так: цепь счастливых случайностей и времен распалась, и гиря ходиков упала Палисандру на нос. Тогда хирурги вживили ему туда платиновую пластинку. И когда наступал приступ тик-така, Палис начинал часто-часто пощелкивать себя по носу, и звук тех пощелкиваний был до странности звонок. А у меня? Ничего подобного. Хотя и тут вы можете только поверить мне на слово, потому что пощелкать и даже просто пощупать я вам, разумеется, не позволю. Есть, правда, нечто, что мы могли бы не только пощупать, но и измерить. Только для этого надо поехать в Эмск, на Новодевичье кладбище и посетить там ряд заброшенных склепов. П говорит, что постаменты в тех склепах были раздражительно высоки. А ведь даже и мне, который так разочаровал консула О своим обычным размером, они были, что называется, в самый раз. И то же можно сказать по поводу подоконников в эмских подъездах: вполне комфортабельны. Из чего следует, что Палисандр не только не величавый гигант, каким

* Палисандр — это не я *(фр.)*.
** Никогда *(фр.)*.

он себя нам рисует, а едва ли не лилипут. И значит, П не равно С. И все же на усредненном лице моего воображаемого читателя я вижу выражение недоверия. Вижу и сознаю, что достаточно вескими аргументами не располагаю. Да и кто я, в конце концов, такой, чтобы рассчитывать на приятное исключение. Обретаясь в таком бессилии, я взываю к доброжелательным критикам, прося их побыть моими свидетелями и адвокатами и объяснить читательскому суду, что писатели обладают способностью абстрагироваться от конкретного Я. Я—Ю, Ю—Э, Э—Щ. О амурная карусель алфавита! Даже и обращенная вспять, ты прекрасна. Крутись. Заранее благодарный доброжелательным критикам, я посвящаю им все части речи, со всеми их интертекстами. Все, за исключением той, которую посвятил уже Ж. А один из своих любимых стихов пера моего до боли знакомого дарю всем присутствующим.

Что в имени мне есть моем?
Что имя? Просто звук?
Кимвал бряцающий иль некий символ смутный?
Мне имя — Палисандр. С ним свыкся я давно.
И всюду я ношу его с собою.
Браню подчас, но более хвалю:
Любезно мне сие буквотворенье.
Я — Палисандр, и с именем таким
Я чувствую себя благоприятно.
Мы двуедины и созвучны с ним.
Но дерево ли я? Навряд ли.
Так персонаж, по глупости своих
Родителей, что Львом зачем-то назван,
Отнюдь не лев. И Петр — не камень ведь.
И масса суть таких несоответствий.
И все-таки в те дни, когда один
В безветрии стоишь ты в поле хлебном
И, руки уронив, глядишь окрест,
Случаются событья, что колеблют
Твою уверенность. То бурундук
Тобою скачет вдруг до ночи.
То ворон вьется вкруг —
Очи ли выклевать,
Гнездо ли свить все хочет.
И мыслишь озадаченно: «Кто знает,
И может, ты — и дерево: бывает».

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В АМЕРИКЕ: В ОЖИДАНИИ НОБЕЛЯ *

Восточные мудрецы утверждают, что сорок лет — это молодость, и еще есть силы и время начать все заново. Надо лишь отречься от прежнего образа жизни и полностью сменить обстановку. Так поступали поэты в средневековой Японии. Прославясь среди земляков, они раздавали имущество и в одном застиранном хитаре брели в чужую провинцию. Там они назывались другими именами и обретали иную творческую судьбу. Так поступили великие подвижники христианской поэзии Марк, Матфей, Лука, Иоанн. Откликнувшись на зов Учителя, они оставили мертвым хоронить своих мертвецов и пошли за Ним. Они следовали путем призвания. То был путь к вершинам духовности и, как выяснилось впоследствии, в большую литературу. Путь, исполненный горечи и лишений. Сам Он, величайший из посетивших эту юдоль поэтов, был и беднейшим. Лисицы имели норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имел где преклонить голову. Не Святым ли Духом — духом скитальчества, нищеты, самоотрицания, самоуничижения — жива поэзия христианского мира; поэзия в том пронзительном смысле слова, в каком она только и может ею считаться. На русском Парнасе сей дух витает особенно ощутимо. Туг беден едва ли не всякий. Из именитых скитальцев достаточно вспомнить безумного Константина Батюшкова, разменявшего бытие по пятидесяти городам от Тобольска до Лондона, или бездомного Велимира Хлебникова. А гениальные самоубийцы Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Сергей Есенин в рекомендациях не нуждаются. Впрочем, не стоит вдаваться в крайности. Здесь это не модно. Вернемся лучше к нашим японцам. Оптимизм их философий всегда восхищал меня, но что касается упомянутой выше теории, то

* Лекция, прочитанная в Калифорнийском университете (Санта-Барбара).

прежде я никогда не принимал ее на свой счет. Ибо художник нередко идеалист, в силу чего недальновиден донельзя. Пока ему не исполнилось тридцать девять, сорок видится возрастом недосягаемым, легендарным. До сорока надо еще дожить, годами твердит он, беспечный, беспечному собутыльнику в зеркале. И у того нет решительно никаких оснований не согласиться. И, уж конечно, никаких там memento mory. Ведь тот, кто творит нетленное, бессмертен и вечно молод. Однако случилось так, что я дожил. Я стал человек легендарного возраста. И, говоря фигурально, пришла пора применить старинное хитатаре. Повертевшись в нем перед все тем же зеркалом, я обнаружил, что оно мне вполне к лицу, но, к сожалению, обветшало не только материально, а и морально. Иными словами, менять обстановку уже не имело смысла. Лет десять назад я сменил ее так основательно, что инерции обновления хватит мне до глубокой молодости. Сначала я уехал из Москвы в Вену, где русский образ существования сменил на австрийский, а после отправился в Мичиган и австрийский сменил на американский. В ходе этих разъездов сменил три вида на жительство, три круга друзей и подруг, четырех дантистов, гражданство, диету, сколько-то пар ботинок и брюк, несколько мировоззрений, отношение к Израилю и Вьетнаму, к Голливуду и Уотергейту, к феминизму и гомосексуализму в целом. Сменил даже имя. В России был Александром, в Америке выдал себя за Сашу. Словом, легче перечислить, чего не сменил. Во-первых, и в-главных, я верен роду занятий. Я все пишу, а конца все не видно. Переживания, которые испытываешь по этому поводу, сходны с эмоциями машиниста из рассказа Рея Брэдбери «Тоннель». Поезд входит в обычный с виду тоннель, а выйти не может, потому что тот не кончается. Он не кончается никогда, и неизвестно, что будет дальше. Скорее всего, ничего хорошего. Понять состояние машиниста нетрудно: сей положительно заинтригован. То же в литературе: начав, никогда не знаешь, что из этой затеи выйдет, выйдет ли вообще и стоило ли браться за гуж. О муках писательского творчества писали все,

кто писал. От Гесиода до Хемингуэя. Приятель последнего, Илья Эренбург, сказал, что самое трудное в мире дело — водить перышком по бумаге. Человек и вообще-то слаб, а художник — тем паче. Он утончен, мягкотел, болезнен, и мировая скорбь беспрепятственно вьет гнездо в его сердце. Зайдите на досуге в литературный салон. Сидя по разным углам, писатели смотрят волком, общаются внутренними монологами и мечтают о Нобелевской премии. Они грезят о ней так долго, что совершенно сроднились с нею, грядущей, и называют ее по-свойски и ласково: нобелевка. А то и пренебрежительно: Нобель. Перемывая кости семье изобретателя, как своей собственной, писатели вспоминают, что супруга его одно лето танцевала с юным математиком из местной школы. Узнав об этом, инженер пригласил нотариуса и к тексту своего завещания приписал постскриптум: «Математикам премии не давать». Слава Богу, она не связалась со словесником, радуются писатели, то-то было бы нам ахти. Ах, скорее бы уже свершилось. Но Нобель все нейдет, и писателям снова печально. Типичные жертвы экзистенциализма, они жалуются на одиночество и отчужденность, алкоголизм и мегаломанию, а сочинение прозы сравнивают с каторжными работами на рудниках, на галерах, со страстями роженицы и марафонца. Одно из самых тонких сравнений предложила Майя Каганская. Жизнь наедине с написанным, точнее — с пишущимся словом — это эмиграция, сказала она, эмиграция из жизни. Прочтя эти слова, я вспомнил замечание Алексея Цветкова, сделанное им на поэтическом вечере в Мичиганском университете. Некто из тех эмигрантов, что за годы изгнания не особенно преуспели в английском, но успели запамятовать родной, раздраженно выкрикнул из зала: Звучит красиво, но непонятно: о чем вы пишете? Я пишу о смерти, признался Цветков. Ответ поэта навел меня тогда на размышления о природе творчества. Фрейд считал, что познать ее невозможно. Методом психоанализа — во всяком случае. Ему, ученому, виднее. Зато мне, писателю, чувствительней. И я чувствую, что природа творчества познается в его процессе. Она — летальна, и пла-

тить за это познание приходится соответствующей валютой. Скажем, оболосами. И если нужно одним словом определить пафос словесности в ее высоких и естественных проявлениях, то можно вспомнить вышеупомянутое самоуничтожение. В подкрепленье своим не слишком оригинальным умозаключениям и в помощь любителям сравнительной литературы процитирую еще одного мастера. Каждый, кто сравнивал западные стихи с подлинными стихами, написанными в тоталитарных странах, говорит он, вероятно, испытал своеобразное ощущение: это не варианты одного искусства, а как бы два разных его вида. То, что на Западе — забава или в лучшем случае исповедь на фрейдовской кушетке, на Востоке все еще является делом жизни, а нередко и смерти. На Западе слушатели поэтов — другие поэты, и то не всегда: на Востоке поэзия — с великим риском для своего автора — преодолевает изоляцию и отчуждение. Так говорит Томас Венцлова, литовский поэт. Подобно своему земляку, польскому поэту Чеславу Милошу, он живет в Америке. Здесь же гражданствует русский поэт Алексей Цветков. А эссэистка Майя Каганская и новеллист Юрий Милославский поселились в Иерусалиме. Сотни прозаиков и поэтов из стран Восточной Европы оказались в странах Западной, в Соединенных Штатах, Канаде, в Израиле. Это люди, выбравшие свободу. Свободу творческую и личностную, которой здесь так много, что ее забываешь ценить. Родившимся здесь она дается бесплатно. А им, рожденным в неволе, приходится платить и тут. И тоже недешево. Будучи писателями, то есть эмигрантами по натуре, по духу, они теперь стали эмигрантами и в национальном смысле. Они оторваны от своей нации, от привычной среды, а главное — от своего читателя. Не всякий способен преодолеть этот разрыв. Точнее — почти никто. Нечеловеческим усилием воли можно забыть о соловьях по-курски во имя цыплят из Кентукки. И примеров подобного героизма немало. Но как научиться писать на чужом языке? И — не письма, не заявления, не статьи, хотя их тоже; но прозу или поэзию. История русской эмиграции до недавнего

времени знала лишь одного писателя, сумевшего это сделать. То был Владимир Набоков. Но вот появился еще один феномен: пианист Валерий Афанасьев. Знатоки, в частности скрипач Гидон Кремер, полагают его игру виртуозной. Афанасьев — лауреат нескольких международных конкурсов. После одного из них он попросил политическое убежище в Бельгии. Получив его, переехал во Францию. Продолжая концертировать ради хлеба насущного, Афанасьев большую часть времени посвящает литературе. Свой первый роман он написал по-французски. Книга была опубликована в Париже и получила завидные отзывы критиков. Оставаясь жить во Франции, свой второй и третий романы Афанасьев написал по-английски. В связи со сказанным позволю себе экскурс в сравнительную психолингвистику. Владимир Набоков покинул Россию юношей. Валерий Афанасьев стал невозвращенцем в тридцать лет. Няня Набокова была англичанка, мать — англоманка, он говорил по-английски с детства и высшее образование получил в Кембридже. Афанасьев до эмиграции практически не знал ни французского, ни английского. Чтобы начать писать английскую прозу, Набокову потребовалось лет двадцать. Роман Афанасьева «Disparacion» появился спустя шесть лет по исчезновении автора из прежней действительности. Когда после долгой разлуки мы встречаемся у него в Версале или у меня в Вермонте, Валерий искренне удивляется: Неужели ты все еще пишешь на этом варварском языке. Из всех человеческих недостатков снобизм представляется мне наиболее привлекательным. Да и вообще: по мере жизни на Западе становишься все толерантнее. Поэтому так же, как Афанасьев не устает удивляться, я не устаю объяснять ему, а заодно и себе, почему я пренебрегаю сокровищами более куртуазных наречий. Чтобы научиться всему, что я умею делать с русским, мне потребовались те самые сорок лет. Перейти на другой язык — значит заведомо писать ниже своих возможностей. Потому что овладеть им в равной степени немыслимо. А я, как ты знаешь, максималист, говорю я Валерию. Чепуха, парирует Афанасьев, я тоже макси-

малист, а все-таки овладел и пишу. Хорошо, положим, что я решился; но языков масса: который выбрать? Английский, конечно, ты ведь живешь в Новом Свете. А если мне вздумается куда-нибудь переехать — в ту же, скажем, Японию? Тогда выучишь японский, говорит Афанасьев, любуясь своим хитатаре от Кристиана Диора. И эти слова его тоже звучат совершенно искренне. Моя лингвистическая ограниченность ему невнятна: он — гений. В то самое время, как я учился в школе для дураков, Афанасьев ходил в спецшколу для вундеркиндов. Но это различие не кажется нам слишком принципиальным. То общее, что нас связывает, гораздо важнее. Мы одного поколения. Оба обожаем Набокова, Беккета, Джойса и Боргеса. С некоторыми оговорками любим Маркеса. Благоволим Кальвино. Мысленно поощряем опыты Куэтци. Оба мы выросли в Москве и получили высшее образование в одном околотке. Только я околачивался возле университета, а Афанасьев имел отношение к консерватории. Улица, где все это происходило, носит имя выдающегося литературного эмигранта Александра Герцена. Эмигрантом был и ближайший друг его — Николай Огарев. В его честь тоже назвали улицу. Сегодня в России есть улицы Тургенева, Достоевского, Гоголя, Куприна и других писателей, предпочитавших жить вне ее — подолгу или всегда. В прошлом веке эмиграция стала у нас доброй традицией. Тогда же в российской литературе явилась проблема лишних людей. Так называли мятущихся героев дворянского, как правило, происхождения, не нашедших себе места в обществе, несозвучных своей эпохе. Ныне дворянского сословия у нас не существует. А в новой российской словесности не существует лишних людей. Они рассеялись, как дым их дуэлей, со всеми своими проблемами. Зато возникла проблема лишних писателей. Они несозвучны тоже. Однако не столько эпохе, сколько режиму. Лишние писатели не вписываются в рамки идеологии. У них беда: у них совесть, и они не могут молчать. Лишние писатели России — это те самые, что выбирают свободу — в речи и на письме — и, продолжая вековую традицию, уходят

в прекрасное далеко и долго. Страна богата талантами. Имеются в ней и лишние живописцы, и скульпторы, и актеры, и музыканты. Они выбирают те же дороги: в молчание, в изгнание, в мастерство. Художники девятнадцатого века уезжали на Запад в поисках более широких перспектив и изысканных обстоятельств. Ими руководила любознательность и гипертрофированное чувство прекрасного. Лишними художниками двадцатого века движет чувство самосохранения искусства. И они скорее бегут, нежели едут. Они бегут от воинствующей посредственности. От культурной революции, условно названной социалистическим реализмом. Оказавшись в Америке, русский художник делается очарован ее красотами, свободами, дарованиями. Но постепенно он понимает, что и здесь дело не обходится без революции. Ее именем не отправляют в Гулаг, как это было в его отчизне. Ее именем не отрубают пальцев буржуазным пианистам и скрипачам, а философам и писателям — их собачьих голов, как случалось в Китае. Американская культурная революция, как сказал бы товарищ Сталин, это революция американского типа, это гуманная революция. Тенденции, вызванные ею в искусстве, суть изоляционизм, отказ от традиционных ценностей, размывание критериев, снижение уровня художественности. Ее лозунг — business as usual *. Ее любимое детище — массовая культура. В противовес социалистическому реализму я назвал бы ее капиталистическим примитивизмом. Русский художник в Америке, как на родине, оказывается перед выбором: принять революцию или не принять. Причем принять — значит наступить на горло песне и забыть многое из того, чему научился ты в мастерской Европы. Забыть уроки Флобера, Томаса Манна, Феллини, Бергмана, Ионеску, Данте, Кафки, Вирджинии Вулф, Пруста. Забыть и никогда не спрашивать — ни себя, ни других,— как случилось, что в стране Мелвилла, Фолкнера, Диккенса основная масса публикуемого выглядит так, словно их никогда здесь не было, словно бы лите-

* Способ зарабатывать деньги не хуже, чем прочие *(англ.)*.

ратура потекла вспять — куда-то к Майн Риду и Фенимору Куперу. Принять — значит забыть о веслах и с улыбкой клинического энтузиаста отдаться течению. Впрочем, при всем желании утратить себя вполне — невозможно. Некто из тех российских художников, кто принял американскую культурную революцию и в результате успешно трудится в местном кино, сказал мне: Ты даже не представляешь, насколько тут нужно продаться, чтобы тебя купили. Зато — свобода, утешил я соотечественника чем мог. Не принять же культурную революцию — значит не поддаваться царящей вокруг амнезии и голого короля полагать безнадежно голым. Значит — примкнуть к тем лишним художникам Америки, которые называют себя элитой, меж тем как уважающая себя публика зовет их богемой. Значит — остаться аристократом духа и ответственность за свое будущее просперити возложить на Мак-Артура, Нобеля и других Годо. Значит — не наступать на горло песне, но петь ее самому себе, словно Сэлинджер. Если бы по достижении сорокалетнего рубежа я все же решил бы воспользоваться советом восточных старейшин, то стал бы художником в первом значении слова. Благодаря упорству я наверстал бы упущенное стремглав. Тема моей первой выставки формулировалась бы примерно так: Между Сциллой идеологии и Харибдой бизнеса — двоеточие — противостояние российской творческой эмиграции двум культурным революциям. Кроме портретов Барышникова, Солженицына, Рахманинова, Шаляпина, Бунина, Ростроповича, я бы представил изображения менее именитых, но не менее достойных деятелей искусств. Тут возникла б железная женщина нашей литературы Нина Берберова. Тут были бы скульптор Эрнст Неизвестный и прозаик Василий Аксенов, которые отстаивали творческую свободу в спорах с великими мира. И — скульптор Валентин Саханевич, что во имя ее переплыл на резиновой лодке Черное море. И — поэт Константин Кузьминский, запомнивший наизусть тысячи стихов независимых русских поэтов и опубликовавший их здесь в своей многотомной антологии. И — неистовые

живописцы Владимир Некрасов, Оскар Рабин, Василий Ситников, Давид Мерецкий, Игорь Тюльпанов. И — все те мастера, о которых сказано прежде. Плюс много других, тоже призванных и бескомпромиссных. Следуя путем призвания, они удалились в чужие пределы и начали новую творческую судьбу. Смотрите, какие прекрасные, вдохновенные лица, говорил бы я посетителям своего вернисажа. Только боюсь, не все согласились бы с этой оценкой. Дело в том, что, по мнению специалистов, отсутствие у меня способностей к рисованию и живописи является полным. И чтобы не афишировать сей досадный для художника недостаток, я стал бы концептуалистом. Концепция моя состояла бы в том, чтобы не стеснять воображение зрителя никакими рамками. Ни даже полотнами. Впрочем, дабы избегнуть упрека в излишнем минимализме, я вбил бы гвозди.

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ,
или же
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ СМОГа *

Посвящается Венедикту Ерофееву

Вот притча о том, как некто, ранимый да ранний, к тому же имеющий уши,— а? слышать? вы шутите, лекарь, клевреты ли мы Selene, чтоб отращивать себе эти устрицы ради Людвига? лицам нашего круга, числа уши надобны, дабы парить над мраком, над прахом, поверх, извините, вольер — уши, а в клетке скелета

* Речь идет об обществе московских молодых литераторов и художников, которое образовалось в 1965 году. Расшифровывалось как «Смелость—Мысль—Образ—Глубина» или «Самое Молодое Общество Гениев». Спустя полтора года было запрещено. Двое — Николай Недбайло и Владимир Батышев — были высланы в Сибирь, Леонид Губанов направлен в психиатрическую лечебницу, Владимир Алейников исключен из МГУ, остальные тоже так или иначе пострадали.
Опубликовано в: Юность, 1989, № 12.

лелеющий — что бы вы думали? угадайте, такое певучее, певчее, чистый волчок, нечто, подчас величаемое нутром: чуять, чаять и, кажется, петь — что? пока непонятно, не приложить ума, ясно только, что где-то там что-то зреет, возможно, какая-нибудь газелла, лалайя ль, возможно, ее и петь; уж как некто, кому в несусветном гаме да гуле улиц, проулков, пролетов, туннелей и прочих, как говорится, труб, очень, в принципе, медных да яростных, тот, которому в крике да скрежете их иерихонском был зов, был голос, словом, тот самый,— как хорошо он всем певчим нутром своим голос тот слышит, отчетливо сколь. Об этом. Слышит и неотвратимое чует. Об этом. Чует и понимает: ему, его. Кто бы грезил: об этом. О том, как — порывист — весь прямо движение — сдвиг в иное — во вне — так иль эдак, но именно так, как нужно, как надлежит, вероятней всего, что резко,— не правда ли? — резко рванув судьбой точно так же, как в экстренном случае там, где должно, где принято, рвут какую-нибудь отчаянную рукоять, не исключено, что стоп-крана, рвут вздорного рода мосты, векселя, купюры да всякие там еще узы, включая дверные цепо́чки — це́почки, по-цыгански сказать,— он, поскольку последователен дотла, соответственно поступает и впредь: как требуется, как следует быть. То ли дело и впрямь происходит под стук колес, то ли нет, нету разницы, только не взяв ни сурка, ни курева, что называется, налегке, взял да сошел вдруг на первой же шепетовке: шлак, кипяток. Честь имея, метнулся, что называется, прочь, в сплошное ненастье, умалчивая — дабы не в рифму — про ночь. Где бы ни был — оттуда и вон. Вышел, будто необратимый тотошник из Боткинской, про которого сказано: вышел — и все, повело человека наискось, на ипподром, ибо где же еще, как не в шалмане Бега, воспригубить ему за арабских кобыл, чтоб планида его разлетелась бы аж, благосклонно осклабясь на перекос. Вышел, сошел ли,— словно зашел с козырного нутра, раззудел волчок. Вышел, вам говорят,— оглохли? продуйте евстахиевы, был да вышел. И только тогда начинается: все остальное. Тогда. И только. И пусть — в силу чего бы то ни

было — лишь бы,— пусть явится эта притча разуму нашему в снах его, да скажется в судьбах круга, числа, да строится в зерцалах наших психей. Да, да, разумеется, о чем разговор, неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит, не сказано: отразится. Ответ однозначен: сказано. Оттого-то и отражается — отразилось, сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябом канале — каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чем-то дорожном, неброском, как бы навыворот,— торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей рощи аллей. Се лель есть, влекущийся, к великолепью, простого олейника отпрыск. Воистину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рощей: торопится пустырями окраин, тропою в разрыв-траве. Ничего не сея, не взращивая, рвет походя блеклые лютики, ноготки. Рвет когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведьм говоря. Гражданин почтмейстер, вместо того, чтобы попусту рифмоваться с клейстером, заклеймили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь мертвецам не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчетливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шел на изящных пружинах, и фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразясь — как эхо — давно многократна. Да и вообще, человек сей — художник, в значеньи — поэт, а потому — почему бы ему не отправиться в путь, в другие места, и там не открыться во всех своих впечатлениях, не объясниться в пристрастиях. Странствовать — в частности, на трамваях — тем паче на ранних — это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим не важно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом солнц, как ни в чем не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо

хватает на́долго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите: деревья ладонями машут: прощанье, исчезновение за. Но что характерно: что из игры — здесь игры Парменидова воображения, расстроенного, как бабушкин клавесин,— им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни — по буквам: Тифонус — Елена — Лена — Елена же — Гея — Рея — Афина — Федра — понятно? — ни телеграфным проволокам плакучим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа чтит долгочаянное число. И в том же канале, смекай — кристалле, рябом, но магическом различимо, как кто-то другой, но из тех же вышеозначенных и насквозь же ранимый, хоть до поры хранимый пернатыми горних сфер,— он в рассуждении выйти пройтись, чтоб уже никогда не вернуться,— рвет рану на ранней заре. Неверно, досадная несуразка: не рану, но раму. Но на заре. Оконную раму, но: то ли заклеено, то ли заело, то ль что. Что бы ни. Не играет. Не в этом суть. Не открывается — вот в чем. И все. И поскольку это именно так, то постольку он просто берет и шагает — вышагивает сквозь колкое стекло непосредственно в высь — в эфир — в эти тихие вечера — в жанре — нету его родней — приблатненного городского романса. Не спрашивай же, с чего начинается, ибо знаешь. А знаешь — так заводи, воспевай; хочешь — волком, а хочешь — молчком, волчком. И вышагнул, и воспел, и се: невредим, воспаряет над ерундой обстоятельств, над вздором семейных терзаний, дворовых драм. Этот мальчик растроган. Образами его изъясняясь, он умилен приблизительно в том ключе, в том духе, в котором растроган и умилен Гумилев был на той ли расстрельной заре. В духе прощанья, прощенья, исчезновения за. Пав, встает. И по лестнице, полной чего-то онтологического, или во всяком случае не лишенной его, он восходит. Он мыслит вернуться в свою кубатуру, в обитель, в уютный фамильный склеп. Вернуться и раздобыть по сусекам с пригоршню каких-либо изумительных слов: возвестить свободу парения. Да возвестит. Да возвысит.

А восходить еще высоко — на пятый. Но вот и какая-то дверь. Кто там? Ваш искренне. Отворяют. Вернее, не отворяют, а нé отворяют. Не. Наверное, не хотят: вероятно, поэтому. Или хотят, но не могут: расслаблены, утомлены. То ли попросту томны. Но так как поэт все стучится, то все-таки отворяют, но не совсем. Отворяют отчасти. Приотворяют, навесив ту самую цéпочку. Но поскольку поэтов путь — взрыв да взлом, то что цéпочку, что цепóчку — он все равно ее, понимаешь, срывает — и там. Где его почему-то не ждали. Там ждали хорошего сына, а заявился не больно-то, а главное, что не свой, свой еще за Можаем, когда еще. Сверху мальчик, соседский. Он сверху-то сверху, да тоже ведь не презент. Рос тихоня, а вырос смогист, колоброд, сладу нету, когда разгуляется, прямо хоть караул. Поэта уничижают, бранят, говорят ему безуханное «вы». Как странно: как к звездам — так непременно чрез тернии. Что за притча. Он жалует в некую комнату вроде своей и садится за клавесин типа бабушкина. И в тетради для нот, между струн пресловутой Лунной: Полина, полынья моя. А далее — все остальное, все строки. И видно, как вольно им там, в этой общей тетради. Но видно: с комплектом смирительного является караул. Но это не угнетает поэта, это не напрягает его. Потому что Полина уже на крыле, и не на пару ли с кралею, сам в тулупе с заячьего плеча, в новомодном треухе воспарит над препонами Пугачев. То есть все, что случится отныне,— не столь уж и гибельно. И ничего, что какого-то мальчика свыше по лестнице, не лишенной не этого, так того, сводят вниз и усаживают в экипаж откровенно трамвайного облика. Ничего не поделаешь, вот: случается. Только случается, чтоб миноваться. Да и случается ли? И в минуту последнего умиленья в альбом милосердной сестре: «Настоящая справка выдана певчей Фортуне о том, что ни в чем не повинна, ибо не ведала, что творит: просто пела». И подпись, вплетенная в акростих памяти Ли Цин-Чжао: Грачи Улетели; Будучи Art Nouvo, Осень Волнительна. А кто-то еще из грядущих сих был по духу не столько порывист, хоть сколько-то и,— сколько бегл и бродяч был, и чтобы

от всяческой суеты не клонило в сон, то и дело склонялся к побегу куда глаза и,— склонившись,— в него и срывался. Звездой не звездой, но с цепи как пить. Спросите любого Гончего Пса: Пес знает, чем в юные луны беглого веял последнего след. То веял он, как ни крути, служивой портянкой; то — несколько позже — курсантской венгеркой; то — вышел, считай, вчистую — студенческой вольной полькой, летучей голландкой, скитальческой немкой Поволжья, блудливой болгаркой, чалдонкой, румынкой ночного дозора, дремучей тунгуской, чухною, непроходимой чудью, чумичкой истопника. След пылко петлял, обрывался. Но жизнь как видение, в качестве фата-морганы блазнилась как ни при чем, точно сама не своя. Не своя, а чужая, нагаданная. И дальними были дороги ее, а дома — и казенны, и скаредны: что ни дом, то вон, а улицы — медные трубы. Да будут, кстати воскликнуть, неладны клаксоны таксомоторов, зловонье омнибусов, блеяние менял. Неладны и прокляты. Вы согласны? Лишь в доме блистательно обнищавших духом обрящешь ты благодать. Ибо лишь там тишина настолько матросская, что рябая кобыла, чьи грезы отобразились в яузах наших душ, ржет и шьет себе из нее мировую тельняшку. Но тут ряд змееносных чинов в измерение входит. Эксперты. Ряд пушечных эскулапов, лапчатых и душистых. Будь ласков: почти их вставанием, засвидетельствуй. Они освидетельствуют тебя. Все в белых хламидах, в бурнусах, чины начинают и сразу проигрывают. Ход. Ладно, положим, кобыла, бывает, но почему тельняшка? Ход. Ибо любая кобыла хотела бы преобразиться в зебру дальнего плаванья. Ход. Логично, однако уместно спросить, как же так: ржать, тревожа настолько матросскую тишину? Ход. Но столь же прелестно ответить: не бойтесь, она совершает это бесшумно, прислушайтесь, ни и-го-го, тихо, словно в скотомогильнике. Ход. Сколь образно. Ход. Нет людей, чтоб возле колыбели конских черепов не вспоминали. Ход. Вы не поэт ли? Ход. Аз прост. Ход. Про что-с? Ход. Про то-с, как заря с зарей, ворон с горлицей, град с дождем, а цыганочка с кастаньетами в гуще сандаловой рощи

доводит до сандальет: ламца-дрица. Проэт — это, если угодно, бастард, помесь прозаика с лириком, полу-полу. Но то, что он сочиняет, пролаза,— проэзия есть высоких кровей, чистых слез. Слез по сути своей изумления, каковое назвать умиленьем, в мажоре ли, наизнанку, наружу ль мездрой — невозможно не. Это проэзия незамутненного изумизма здесь, среди мерзостей мира есть. И звенит, заливаясь, заповедь номер раз: «Поющему — изумляй изумляясь». Чу: какая удача, газелла-то вызрела. Не угодно ль. Начну, разумеется, ниоткуда, точней, наобум, как взрыв. То бишь попросту ни с того ни с сего, с середины. Правда, хотел бы оговориться: грешен. Имею дурную наклонность к рифмам. Так что забудьте их мне, не вменяйте, все как-то не волен избавиться, отвертеться. Однако ведь отверчусь же, избавлюсь. В долине реки Цинандали Дали живопишет сюжет: из псевдоклассической дали струится изысканный свет, и, весь преломляясь в рояли, Вертинский роняет куплет. Ход. Чудно, милый, вы явно у нас молодцом: посвежели, окрепли. Вам хорошо. Вы чувствуете себя в пределах положенного. Как должно. Нормально до изумления. Вольно, считайте себя резервистом. Счастливого лета, паренья, лелейте устрицы. Выйдя, следует повернуть за угол, где дует, и, делая вид, будто это не ты, а некто, тебе почти незнакомый, пусть тоже в шинели, в ушанке, с ушами, метущими персть,— прошествовать мимо Дантовой лужи со вмерзшей по горло баклагой. По горло, которое на ветру дойну Сен-Санса сифонит. А в кассе чертова колеса, не смущаясь, что та заколочена, позабыта, заплевана, да и вообще — не сезон, надо взять да и подарить себе на прощанье билет на трамвай, идущий куда-нибудь. Закатиться бы, сударь, на двадцать третий иероглиф: где хорошо. Например, в Хорошево, в бор, в пенаты серебряной молодежи. Короче — прочь. Это будет трамвай гумилевского толка; вагон, ударившийся в бега; экипаж, насвистывающий на ходу грибоедовский вальс пополам с каким-то персидским мотивом. Экспресс подают. Ты входишь. А все остальные — они уже там как там. И тогда начинается все остальное. Особенно — ваше

время. Поздравь себя с ним, обернувшись; не оттого ль исцелиться от оного не дано никаким иным, что оно бесподобно. Оно подобало вам, подходило, шло. Вашему кругу, исчисленному на перстах числу, было оно сколь кстати, столь и под стать: было певчим. И голубы руки его мольбертов вам были. И над трамваем присущей ему современности, резко сорвавшимся в лебединый запев — в смелость — в мысль — в образ — и, разумеется, в глубину,— реял манифест изумизма. Ваганьково следующая, вещал кондуктор. Но вы не страшились. Ты помнишь? Героем был всяк. Но когда бы числу предстояло отчислить профиль на мемориальный металл, лично ты отчеканил бы лик живописца. Тот ехал от Верхней Масловки, всею сутью и всей атрибутикой — от бороды до кистей — ощетинившись против догм. Даже имя его глядело неодобрительно, исподлобья, сугубо недбайло. Что же касалось картин, их развесили накануне в читальном приюте, куда вы так мчались, дабы начать. Вам было пора — порывисто — вас ждали столь издавна. Вожатый, je ne joue pas *: Беговая; остановите сейчас вагон. Да, это она, твоя пожилая улица, ждущая ежедневно без выходных, тихо фонариками кирными маня. Это — ранняя родина, неминучий сосуд. Чаша? Кубок? Пустое. Простое копытце, след бега во все те концы, где начала, след, памяти полный об испытаниях отрочества рысистых, о бегствах откуда бы и куда бы ни — лишь бы о беге во имя бега, о побегушках амурных, горелках жарких и негасимых. А после, сорвавшись с орбиты Бегов, ты бежал по делам поколенья. Дела были трубы, звенящая медь, не Сачмо, не Диззи, не Паркер, но тоже ведь смачно, и для культурного парка, для Пешков-стрит — лучше некуда. Чуял, чаял, и в звуках той монголоидной му — голос ты различил, тебя звавший. И голос сказал тебе так, как про подобное только и следует. Он заявил тебе тихо, вернее, безмолвно. Он сообщил тебе вот что. А впрочем, что нужды: неважно, что именно; что сказал, то сказал. Что надо,— то молвил. Одними губами. Губами, и все. И баста. Рек, молвил, а ты, лелеющий

* Я не играю *(фр.)*.

певчее, чуешь, что вот оно, самое что ни на есть, то самое, когда уже более некуда, ибо больше уже нельзя, невозможно, нет смысла, ведь далее только мрак того же туннеля, бред той же трубы, приехали. Кондуктор, рваните вашу бикфордову бечеву — да откроется нам. И не далее как февраля отрывного числа — числом своим взрывчатым — честь имели. Мело. Гололедило. И с какою-то легкостью, щегольски, беззаботно, как Боткин бы будто — цитаты из Цицерона и Тацита, улица имени терапевта роняла прохожих и перспективы. Но, млад да ранен, ты всем твоим певчим — всем волчьим — всем беговым чуял близкое поперек и вдоль. И далекое. И неизбежное тож. Evoe, с трамвая за номером двадцать три сойдя, ты выдвинулся в иное, вернулся к себе, человеку привычному, своему. И поскольку число отрывное было скромнее трамвайного, а взрывчатое — и того скромней, то сомнений не оставалось: лишь оставалось начать. Начать и только. Причем почти ни с того ни с сего, с середины. В средине шестидесятых — из самого их средостенья, из чрева их, из нутра — заговорить человеческим голосом, наговорить откровений, притч. Только спокойно. Без нервов. В манере далеких солнц: так, будто бы ничего не случилось. Чу: нормальной проэзией. Нормального изумизма. Короче, взорваться, милостивый государь, взорваться.

ЗНАК ОЗАРЕНЬЯ *

Попытка сюжетной прозы

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая.

Б. Пастернак. Охранная грамота

Завязка. Один человек, не лишенный известных амбиций, а может, и совершенств, но в дальнейшем именуемый просто ты,— ты обнаруживаешь, что напра-

* Опубликовано в: Октябрь, 1991, № 2.

сен. Немало смятен, и пытаясь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе, как же так, ты изнуряешь язык твой словами уныния — перебираешь их гроздь — снаряжаешь рой. Ты молвишь: напрасен — ненужен — негоден. И мыслишь: обманут по части перспектив, упований, причем, что особенно глупо, неясно кем. Впрочем, если употребить умозрение в вящей мере, то, разумеется, ясно. Ведь стоит немного прищурить рассудок, насупить ли ум, как сразу черты нереченного образа делаются отчетливей, четче, существование оного более не нуждается в доказательствах, ибо становится аксиомой. А заметят, что это все якобы вздор или призрак, то возрази, говоря. Если ты одинок, неустроен, горестен и кто-то тебе подставляет щеку, дабы прильнул ты к ней, если хочешь, своей, и приблизительно так вот — вот так — как заведено в лучших салонах мелонги — щека к щеке — коротал бы сам-друг пляс ли, сплин — то не имеет значения, призрак это или не призрак, тем паче, что речь тут об образе крайне близком, ближайшем. Другое дело, что вы еще, может быть, не представлены, не знакомы формально. Тогда познакомьтесь: один человек, не лишенный известных амбиций,— Судьба такового; она же участь и Мойра. Подумать, самая что ни на есть. Только не приступай к ней с расспросами, не нависай, теребя на предмет откровения, отчего, мол, она позволяет себе бестактности, едкости, злые ухмылки. Не надо. Будь выше. В смысле — смиренней. А что касается утешения, отыщи его в чем-либо отвлеченном, в какой-нибудь мозговой разминке вроде устного счета. Или воспоминаний. Известно, что если прошлое обременяет, гнетет, причиняет недуг ностальгии, сворачивает душу в бараний рог, то следует поставить его вне закона так называемой Мнемозины: забыть. Но прежде необходимо вспомнить, что представляет собой это прошлое, из чего состоит, вспомнить, как именно было дело. Не исключено, что это поможет, и степень смятения твоего прищуренного рассудка не будет больше такой высокой. Сколь можно судить по раскладу событий, полету стай, форме луж и амеб в них, однажды в пиру

словоблудов, прилежных и записных, чьи галстуки полюбили брильянтовые заколки, однако в последнее время отведали общепитовских щей, речь как раз и зашла о превратностях такового. И ты, который по роду труда и тревог причастен был к этому кругу и пиру, заговорил горячась. Что вы, дескать, все цацкаетесь там с вашим временем, собственно говоря, тоже еще нашли категорию. Мало того, что оно есть гребная галера, орудье наживы и рабства. Вдобавок оно не обладает должным изяществом форм. И потом, есть в нем некая фельетонная пошлость, сиюминутность, как в наших творениях. И говорил. Неужели оно вас не огорчает. Смотрите, если взять и сравнить его с той же вечностью, то получится полный конфуз. Ибо время настолько же непрезентабельнее последней, насколько реальность невзрачней искусства. Тебе оппонировали. Послышались выраженья: мальчишество, ницшеанство, элементарное неуважение к жизни. Что жизнь, возражал ты сображникам. Этот способ существования тел есть не более нежели случай для мастера явить мастерство. А точней, много случаев, в том числе немало несчастных — вдребезги — как Пьеро. Ты забываешься, говорили тебе, разве можно людей обзывать телами, в иные дни за подобные оскорбления приглашали на казнь. Или просто кидали в вольер ко льву. Ведь люди — это все мы, а мы суть наше единственное достоянье, и ты — не один ли из нас. Из вас, ты ответил. И вместе с вами — на благо любезного человечества — работаю густопсовую борзопись. Браво. Но как утверждал наиболее озаренный лирик, есть, знаете ли, искусство. Помимо и вопреки. И это — совсем не то, что вы думаете. Это — иное. И есть мастера. И я бы хотел быть с ними, ибо они изображают людей лишь затем, чтобы примерить на них погоду, а на погоду — страсть. И в таком любомудрии нет ничего обидного. Ни для кого. Ибо искусство тем и отменно, что отменяет логии: идео-, физио-, пато-, и тем и заветно,— кавычки открыть,— что интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается,— больше человека,— закрыть. Но закрыть кавычки — не зна-

чит остановить развитье идеи, поскольку подспудный побег ее прорастает асфальт нашей косности бескомпромиссно, безудержно, без. Не стоит ломиться в отверстые двери насчет того, что и образ какой-нибудь араукарии, банданеллы или викуньи больше данных предметов как таковых, если только они действительно местоимеют. Если же нет — то не стоит тем паче. Достаточно просто заметить, что хоть человек человеку — рознь, всяк из нас, пусть субъектов вполне захолустных, являет собой осколок чего-то нечеловеческого. И отзывается им. И мерцает — когда мерцается — во славу его. И звенит. И коль скоро образы наши больше, а по нашем перемещении в лучший мир — чище и лучше нас, облеченных в не слишком уклюжую плоть, то вот тут и выходит. Искусство, которое сплошь состоит из отдельных образов, которыми бредит и манит, кричит и молчит,— оно несравненно огромнее и прекрасней всех нас целокупно взятых: оно — наше светило есть. И буквально все мы вращаемся вкруг него, полагая наивно, что вовсе нет. Что это оно, искусство, вращается вокруг нас. И что стоит нам захотеть, и мы будем такими же. Как оно. Ан не будем. Нам бы лишь успевать вращаться. Цейтнот, цугцванг. Проливная нехватка времени, истинный дефицит циферблата. И резюмировал. Что говорить, время у нас — главбух, главбог, поганое идолище. Каковое, позируя мастеру,— дальше в кавычках — может вообразить, будто поднимает его до своего преходящего величия. Кавычки замкнуть. Экая наглость, однако. Знак восклицанья: восклик. А сображники рассуждали: нет, нет. И говорили: о, нет. Они говорили так, потому что считали, что время — их время — шито отнюдь не лыком, и ты не имеешь права уничижать его в их присутствии. И вообще, мол, откуда в тебе такое отчаяние. Ты отвечал им цитатой. Не столько начитан, сколько наслышан, ты не ручался за точность очередного заимствования и поэтому раскавычил его, расковал, раскупорил и дополнил своими соображениями. Получилась длинная фраза про то, что имеется круг явлений, вызывающих самоубийства, особенно в отрочестве, и что есть круг ошибок младенческого воображения, извращений, юношеских голодовок, круг

Крейцеровых сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат, и что есть, наконец,— ты приблизился к сути проблемы,— есть круг замалчивания и забвения са́мого озаренного лирика века, поэта истинного экстаза, и некоторые из присутствующих обретались в этом кругу непростительно долго, иначе они бы не спрашивали: откуда — вопрос — и не говорили б: отчаянье. Ты кипятился, но был по-хорошему риторичен, и речь твоя — благодарение логопедам — звучала довольно членораздельно. Кто мог бы тут заподозрить, что на задворках детства приятели звали тебя Шепелявым. Звали — а ты отзывался. Однако не потому, что тебе так уж нравилась эта кличка или что ты прочитал сочиненье Сенеки о том, что мудрец невосприимчив к несправедливости и униженью, а потому, что уже с гадких лет был отзывчив, был справедлив, объективен. И так как данное прозвище соответствовало положению дел, а конкретнее: положению языка относительно нёба и губ, не говоря о зубах, даже не заикаясь о них, ибо обычно, львиную долю дней, те числились в нетях,— то злоба не накипала на сердце твоем, принцип оказывался насущнее горечи, он довлел. Но с тех же лепечущих лет — справедливости ж ради — ты начал и сам называть и людей, и вещи достойными их именами. Сам. Не упуская ни повода. Вот и теперь. Фарисеи, заметил ты оппонентам. Противник дрогнул. Чтоб закрепить успех, срочно требовалось проиллюстрировать мысль соответствующей цитатой; неточность: стаей цитат, целой стаей. Но именно тут выясняется, что цитаты все вышли — и выбежал вон, дабы пополнить запас их в хранилище мудрости, то бишь в библиотеке, каковая — в нее по пути — отчего-то все мнилась ветхозаветной, с ударением на о, и где — в силу сумерек, что — так говорилось на произвольной странице необходимого тома — были,— снова кавычки — словно оруженосцы роз,— кавычки — против чего ты нисколько не возражал, ибо сумерки суть бесспорно, суть истинно оруженосцы роз,— где — в их силу — можно было в два счета ослепнуть и обратиться: к гекзаметру, окулисту или в летучих гадин. И поскольку библиотекарь посетовал, что, мол, пробки пере-, а свечи вы-, стало ясно,

что корень зла извлечен, изыскан: он равен корню словесному гор-. Но даже и взятый отдельно, гор- не горит и не светит. Тогда — в силу обыкновенной необходимости, которая, если что, пересиливает и полную тьму,— перелистывать ты продолжал. Поясни: перелистывать книгу. И перелистывая ее, обратил вниманье на строки, которых прежде не замечал. Причина: их строй по сравнению со строем прочих — был редкостно прост. Они были кратки, и при порядочном освещении не смотрелись. Следствие: не замечал, читая. А тут, в полумгле, скромность их процвела, просияла, и ты озарился; не правда ли. Впрочем, без ажитации. Потому что зачем же, ведь не впервой. Что же касается содержания строк, то оказывалось, что кто-то кого-то любил, уезжал на Урал, презирал все нетворческое, сознавал себя полной бездарностью, становился охотником, возвращался в столицу. Вдобавок благоухала сирень, лето обещало быть жарким, кончался сентябрь, близился обеденный час, двигались и умозаключали краски, искусство называлось трагедией, трагедия называлась именем автора-футуриста, а из-за черной реки являлся его закадычник. А в вашем общем любимом городе было как встарь: трепетали огни, его засыпало снегом, и ничуть не герои — обычные служащие, покашливая и сморкаясь в платки, пощелкивали на счетах, похрустывали суставами и составами лязгали на путях. И ты озарился сиянием синтаксической скромности, как когда-то создатель строк, возвратившись в огромность и грусть жилья, озарился огнями улиц. А надо сказать, это был тот самый род озаренья, когда озаряемый озаряется изнутри, невечерним внутренним светом, и делается как бы светильником, правда, не всякому явным, поскольку свет, наполняющий очи его, очевиден только ему и другим озаренным, и только он и они могут видеть при этом свете в ночи и видят, чего не видели днем. Короче, ты был как фонарщик, о ком говорят: блажен фонарщик, следующий заповеди отцов: фонарщику: гори сам, гори ясно. И озарившись — читал. И в ночи, что затмила оруженосцев роз, обнаружил, читая, то самое. Что напрасен. Зане живешь не своей, но чужою жизнью. Завязка, завязка, изображенье смятенья.

Дескать, немало смятен, и, пытаясь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе суть случившегося, ты изнуряешь язык твой словами уныния, их перебором, выстраиваешь их ряд. Ты молвишь: напрасен — ненужен — негоден. Ты шепчешь: невзыскан — никчемен — нечаян. И мыслишь. Смешно и кромешно. Годами быть почитателем лирика, прилежно и часто его перелистывать, полагать, что едва не все пребывают в кругу замалчивания его и забвенья, почитывая каких-то не тех: нечутких да смутных, муторных да смурых. И все это для того, чтоб однажды, взглянув на его труды невечерним взглядом, понять, что и ты — по крайности временами — обретаешься в том же кругу, сам же почитываешь нечутких. Ибо если бы это было не так, ты бы жил и мечтал по-иному, не путая свои воображаемые тексты с текстами сáмого озаренного, точней, не питая амбиций своими варьяциями на темы его, и уж во всяком случае не выдавал эти варьяции самому себе за оригинальные сочинения. И ты бы не выдавал желаемое за факт, не уверял себя, будто знаком был с поэтом лично, и что еще немного — и ты набросаешь о нем мемуары на том основании, что вы оба захаживали в некий дом на Остоженке, и оба же — вот совпадение — иногда. Ты бы не. Ибо последний раз он зашел туда до твоего рождения. Нет, ты не был знаком с поэтом. Но в некоторые из дней случай сводил тебя с некоторыми из тех, кто — без сомнения — знал его. Справедливо: никто из них не промолвил об этом ни звука. Что было естественно, потому что ты не просил их тебе о нем рассказать. Сказать как отрезать, ты не просил у них ничего: совсем. Ты не обращался к ним совершенно. Но не из гордости лишь, не затем единственно, чтоб они не имели каких-либо оснований думать, что ты — в отличье от них — не представлен, не вхож, а еще потому, что не знал их тоже. Ведь случай сводил вас на взмах ресниц — на улице — в качестве встречных прохожих или в пролетке ближнего следования, где заговаривать с посторонними чуть ли не моветон, да и слякотно, блекло. Но если это и вправду так, если встречи те, что есть, оказывались столь кратки, что встреченные почти не отличались от встречных и были

немотны, то как же можно было понять, что они знают са́мого озаренного лирика. Вопросительный знак. Даже два. Так при разборе шахматной партии помечается очень слабый ход. Отличие только в том, что тут ход не слабый, а сильный, поскольку вопрос правомерен: как можно. Ответ исчерпывающ. Он блестящ. Очень просто. По лицам. Порядочный физиономист отличает чело человека, лично знавшего поэта экстаза, от чела человека, его не знавшего,— без проблем. Ты всегда был порядочным физиономистом; и совокупность благоприобретенных черт, свойственную челу человека знавшего, называют в размышленьях печатью причастности. Ты дал и другой, синонимический термин: знак озаренья. Но что же сулили тебе те встречи, то знание знавших, но замкнутых и мимолетных. Вопрос. Ничего. Ровным счетом. Восклик. Они, их молчанье могли пригодиться в одном только случае. В случае, если бы ты решился писать мемуары о том, как ты не встречал озаренного, о ваших невстречах: воспоминания о непричастности, о незнаньи. Причем начать следовало бы самым определенным образом. Нужно было бы сразу признаться, что ты не знал его очень долго. И чтобы ни у кого не возникало сомнения, уточнить; дать жесткие сроки незнания; датировать этот провал; заявить, сознавая ответственность перед историей: самого озаренного лирика века я не знавал никогда. Например, всю жизнь. И сделав такое признание, было бы совершенно естественно описать ее: жизнь без поэта экстаза, без личной взаимоприязни, взаимоучастия в участях, без совместных прогулок, без дружеской критики, без поздравлений, без пожеланий то славного сна, то года, то просто всего. Без. Особые главы составило б описание лет, когда ты даже не подозревал, что существуешь в его эпоху, в его измереньи. Как, впрочем, и в чьем бы то ни. Затем — годы именно подозрений, догадок, что все это измеренье придумано неспроста, не напрасно, что есть тут где-то неподалеку эпоха, она дана, и что в ней, у нее должен быть кто-нибудь экстатичней, пронзительней и озаренней, чем все остальные лирики. И что, хотя остальные имеются налицо, а его как бы нет как нет, это лишь потому, что это только пока, до срока.

А после предстояло бы рассказать, при каких обстоятельствах ты впервые прочел его лирику. Но поелику ты, вероятно, не помнишь тех обстоятельств, что совершенно естественно для лица, пребывающего в кругу забвения лирика,— то пришлось бы прищурить рассудок сызнова. Или насупить ум. Признаться, в отличие от коллеги Кольриджа, ты не настаиваешь на различии этих понятий, не противополагаешь их. Ум, разум, рассудок: что в лоб, что по лбу. Насупить, прищурить и следом немедленно разветвить молнию гипотетической мысли. И снарядить рой гипотез. И рассмотреть их. Одна из. Покупка каких-либо ягод, плодов. Вкус ягод, их цвет, машинальное чтение текста, опубликованного на кульке. Неточность. Не на кульке. На журнальной странице, из коей торговка свернула кулек. Неважно. Довольно придирок. Текст, опубликованный на кульке, стихотворен, это — лирика лирика. Ты зачитался, забылся. И ягоды сыплются из кулька. Восклик. Никогда ничего подобного. Не. Как выражается юность апокалипсиса, ты тащился. Но не с сумой, а душою — за строем созвучий — за красками страсти. Другая гипотеза отзывалась бы хмурым казенным эхом. Сокамерник, злостный курильщик, сворачивал самокрутки из человеческих писем, читай — из посланий с воли. Однажды его увели на допрос посреди перекура, и, созерцая угасший его чинарь, ты обнаружил на нем поэму за подписью незнакомого лирика, переписанную чьей-то вольной рукой. Чьей — осталось неясным, так как сокамерник не возвратился. Ни за окурком. Ни за другими вещами. Он не вернулся в принципе. Не возвратился вообще. И когда ты спросил охрану, когда же он, наконец, возвратится, охрана ответила: никогда. И когда никогда наступило, ты взял и выучил те стихи наизусть: на долгую память. И докурил его козью ножку: за упокой. Помогло ль, упокоилась ли душа его. Знак вопроса. Поди пойми. Но твоя с той поры — тащилась — влеклась — влачилась за теми строчками и за другими — того же поэта, разысканными после на воле, в келейных углах. И рассмотрел бы иные гипотезы; однако из всех выбрал бы, видимо, самую натуральную. Именно здесь пригодилось бы знание, в смысле — не-

знанье, неведенье знавших. Но замкнутых. Но мимолетных. Представив их в полный рост, в полной мере — в качестве пешеходов и пассажиров, знаком отмеченных озарения, или печатью причастности, ты мемуары о собственной непричастности продолжал бы следующими речами. Да, люди молчали, но наступили дни, когда вестью о нем и его стихами — стихия проникласъ. Стихия всего измеренья. По сути оно было попросту ими пронизано, напоено, и не чувствовать этого и не слышать, что сказано данным лириком, самым пронзительным и лиричным, мог, казалось бы, только убогий, и то лишь — от небытия. Очнуться — восстать из бестрепетных — отречься от беженства в быт — от блаженства сует — увлечься хоть некоторым искусством, пусть невпопад — вот, пожалуй, и все, что требовалось, дабы проникнуться тоже. И ты очнулся. Восстал. Отрекся. И в беспощадном полюдье — в несчастье и ликованье — в задрипанности и чистоплюйстве — повлекся душою за строем созвучий, за красками страсти. А лирик в те сроки прятался от молвы под городом и, бродя — тут, увы, предстоят кавычки, их надо открыть по причине положенности — по кошачьим следам и по лисьим, по кошачьим и лисьим следам,— кавычки закрыть — бродя, полагал свое место бедственным. Даже и ныне, при свете его простоты, жалобы мастера тебе не вполне понятны. Ты склонен усматривать в них некоторое лукавство. Неужто он в самом деле не знал, что поэту подобного ранга бедам подлежать не положено. Во всяком случае — не надлежит. Он должен быть выше их по определению. А вернее, в силу определений творчества, ремесла и души, данным им же самим летом семнадцатого. В конце концов, он может, если захочет, пресечь наступление зла точно так же, как гумилевский мальчик останавливал дождь: словом. Причем, вероятно, любым, взятым прямо из воздуха: словом кошачьим иль лисьим, птичьим иль песьим, чеховским или шекспировым. Правда, последнее требует перевода, который — по мысли поэта — должен давать впечатление жизни, а не словесности. Что ж, переводы учителя именно таковы, и ты впечатляешься и Шекспиром его, и Шиллером. Но не настолько, чтоб хоть на окурок зари

не нуждаться в нем собственно, в нем своем: довоенном и дачном, в дождевике, веющем паклей и керосином. Влюбленность наличествовала, и чтоб обнаружить ревность, не требовалось и оглядки. Но как и положено в литературных мечтаниях, ревность глядела размытой и анемичной, как жертва импрессиониста. Ибо неясно было, к чему она, или, вернее, к кому: к лирику, Музе или к обоим сразу. И было еще нетерпенье. И часто оно возгоралось. Парадоксально: известия типа тех, что написаны Вертер и Валерик, Серебряный Голубь и Золотой Осел, Отелло и Лалла-Рук, нетерпения не вызывали. Оно возгоралось от новостей гораздо более скромных. К примеру, о том, что кого-то там мало, и есть вероятность, что число этих лиц составляет три; а на террасе спят дети; а под дождем все кипят их любимые тополя; что сначала мерещилось, будто кусты неких чащ перевиты плющом, а потом оказалось — хмелем; а сеновал ностальгически пах винной пробкой. Ведь дело было не столько в фактической стороне новостей, сколько в том, что — по мере вещанья — испытывал вестник. Испытывал и сообщал. Он испытывал озаренье. Но полагать, будто он сообщал и о нем, помещая его тем самым в разряд известий, не надо. Он сообщал не о нем, а его самое, в качестве необычайного чувства, чистого, как у цыган и цыганок. И ты оживлялся этой эмоцией, и это она возжигала в тебе нетерпение. Если перевести твои обстоятельства в плоскость листа и представить тебя в виде текста, оттиснутого на нем, то можно заметить, что прежде оно опаляло поля — слева, у строчных, и справа, у рифм, а потом прожигало середину твою, средостенье со всеми его цензурами. И занималась вся плоскость. И словно бы легкие у курильщиков, зеленели буквы твои. И сгорал. Так в обмен на исчезновение обретался покой. Но когда возникал ты на новом листе, нетерпение возвращалось. Тебе нетерпелось каким-нибудь образом стать таким же пронзительным и экстатичным, как лирик из Книги О Непричастности, дабы путем письма сообщать необычайное чувство. Его недостаток в обществе остр, вопиющ. Судя по лицам альбомов и улиц, лиц, озаренных истинно, то есть природно, к несчастью, почти что несть. Тебе

нетерпелось. Цель выявлена. Она благородна. Посредством простого стила взять и снова напомнить миру о позабытой эмоции, научить его ей, как песне. И тем-то его заодно и спасти. Нетерпелось. Тревожил только вопрос о даре. Тревожил и отрезвлял. Достанет ли. Вопросительный знак. Хватит ли сил озариться настолько неистово, пламенно, чтобы эмоция сообщилась количеству лиц, достаточному по любому счету: всем, кто жив, всему измерению. Знак вопроса. Речь — пернатое самых почтовых качеств: куда ни отправь, непременно вернется в пенаты ума, на насесты мысли, в ущелье уст. О голубка твоя, забот о ней полон рот. Перифраз: от словесности, от голубки и шепелявой, и дряхлой, нет спасу. Прием повтора: вопрос и тревожил, и отрезвлял: достанет ли дара души, дара речи. Знак. Вопроса. Ответ был довольно дежурен, однако столетней выдержки, из почтенного новоанглийского вертограда. Цитату начать. Не знаем, как велики мы: Откликнувшись на зов, Могли бы мы восстать из тьмы До самых облаков. Цитату закончить. Сюжет развить. Мысль, бьющаяся в оковах незримых кавычек, казалась тем более верной, что представлялась знакомой. Цитата, имевшая силу рецепта с пометой «цито», перекликалась со строфою немецкого лирика Рильке в интерпретации лирика русского; сей видел его, между прочим, в поезде, когда германец паломничал в Ясную. Помнишь ли, сколь незабываемо это было, насколько девятисто, каникулярно. Настолько, что Рильке в то утро надел тирольскую разлетайку. Цитата. Как мелки с жизнью наши споры, Как крупно то, что против нас. Когда б мы поддались напору Стихии, ищущей простора, Мы выросли бы во сто раз. Стоп цитата. Тебе нетерпелось тем пуще, что мыслимое имело возможность осуществиться, будущность обещала быть, следовало лишь поддаться, откликнуться. И, конечно, использовать опыт предшественников, в частности, опыт самовнушения, самогипноза. Ведь прежде, нежели в художника поверят ценители, он должен сам поверить в себя. Но и на этом пути есть опасность. Вот: сколько их было, напористых, ясноожих, вполне утвердившихся в частном мнении, что они-то и есть те самые

тинторетто, сибелиусы, мао-дуни, которых тут столь заждали́сь, так зажда́лись. Естественно, это стоило им титанических экзерсисов. Но цель окупила все средства, все серые вещества. Тем досаднее, что большинство талантов закончило как-то латенно, квело. Вот почему так ценен совет врачей-вялоло́гов: пилюли от вялости требуйте у любого аптекаря. А меж тем терапевт из стихов твоего учителя о несчастной любви, каковая является сортом вялости,— рекомендует душ и гимнастику. Можно также лечиться голодом, холодом. Можно смертью. Клинической или простой. Чудодейственно, батенька, истинное воскресенье. Но это — потом, на досуге. А ныне — ныне лучше не умствовать: но творить, совершать поступки. Тебе нетерпелось. Ты чаял духовного преображенья. Взяв озаренного лирика за идеал творца, в него-то как раз ты и мыслил преобразиться, то есть войти в его положение, в роль, встать на место его, пусть даже и вправду бедственное: не привыкать. Только не надо бы мимикрировать, есть в этой практике нечто ползучее, рабье. Не надо, достаточно просто вообразить, будто он и ты — суть не то чтоб одно и то же лицо — о нет, подобное противоречило бы здравому смыслу,— а впрочем, в известной мере — в той мере, в которой сие возможно и допустимо правилами хорошего тона,— при некоторых ухищрениях и опущениях — даже вот и одно. Ибо что же. Вопрос. Нельзя ж постоянно печься о здравом смысле, дрожать над ним и кудахтать. При чем тут, ей-богу, смысл, если дело идет о таком высоком безумии, как искусство, которое есть пожизненная попытка мастера увериться в существовании жизни, напрасная, но прекрасная. Да, пусть даже одно. Пусть все что угодно. Лишь бы откликнуться и поддаться. А если грянет вопрос ребром: быть таким же, как лирик, или не быть,— то ответ прозвучит гениально в своей небывалости: быть и не быть. Одновре́менно. То есть будучи как бы ему подобным и осмыслив и полюбив бытие учителя, как свое, оставаться не кем иным, как собою. Но оставаться так, чтобы — по слову его — некое совершеннейшее — кавычки — я — это ты — кавычки закрыть — связывало вас всеми мыслимыми на свете узами. Тебе нетерпелось. Тогда ты

откликнулся и поддался. Вхождение в роль упростилось за счет биографических совпадений, пусть и частичных. Неважно, пусть, чего там считаться, талантам подобного толка не свойственна щепетильность. Конечно, случались порывы слабости, налетали летучие мыши сомненья, но с верою во взаимность Вселенной их наподобие бабочек ночи по кличке «мертвая голова» следовало однозначно гнать, обрекать забвенью. Лишь бы откликнуться. Только б поддаться. Пусть не было у тебя до тех пор ни школы ваяния, ни ВХУТЕМАСа, и где и когда бы ни нанималась дача, во сколько б она ни вставала, соседом вашим ни разу не оказался Скрябин. Зато приглашала школа морзянки, маячил кружок джиу-джитсу, манило училище кролиководства. А Скрябина в качестве дачного компаньона ряд лет компенсировал отставной капельмейстер, что подшофе присваивал себе звание подпоручика подстоличья. И если у композитора русская тяга к чрезвычайности проявлялась в исканиях сверхчеловека, то капельмейстер был чрезвычайно бывал, исключительно балагур, изумительно бодр, баловался болотной охотой, холодной телятиной, и среди светозарных его приветствий сквозь перепончатый лай слышались: добрая утка, утка бодрая, бодрый же день, а на сон грядущий желал он спокойной ноты. Но нот ты не знал, слух твой выдался абсолютно немузыкален, и ночи твои оборачивались не ноктюрнами, но натюрмортами мрака и немоты, но речами без слов, ибо их еще не было у тебя, потому что будущее еще не настало. И немузыкальными были пальцы твои, ни волосы, ни глаза, ни лоб, и если бы композитор Скрябин все-таки оказался соседом, ты не сумел бы сыграть ему ничего — ни собственного, ни чужого, и ни на каком инструменте: ни на-ни-на́. И в итоге хвалить тебя композитору было бы не за что. Разве что просто так, по-приятельски, из чисто человеческих соображений: за такт, за элементарное добрососедство. Мол, лето уже на исходе, а между тем вы не причинили мне никаких беспокойств, не сказали ни колкости, я, безусловно, благодарю вас, вы добрый содачник. Но сколь снисходительно, но какою подачкой звучала б подобная похвала. Нет, если на то пошло,

то уж пусть капельмейстер, тот, право же, ободрительнее. И был капельмейстер. И он являлся соседом по даче. И все. А композитора в этом качестве не случилось. Зато композитором слыл один из соседей в городе, не виданный никем нелюдим, что — по непроверенным слухам — все жил этажами выше и был по-бетховенски глух, что — по слухам же — совершенно не отражалось на творчестве, потому, что он был композитором не обычным, а необычным, из тех набычившихся маньяков, чьи лбы и этюды чреваты убийствами августейших и умыканием их коней и слонов, чьи морды не терпится уподобить противогазам. Особенно в сновиденьях. Особенно о войне зоопарков. Типичный цейлонец, ты на ветру Европы схватил африканский насморк. Тебе заложило хобот: его не продуть. Как грустно. И стоя с открытым ртом посреди вольера, негромко дремлешь. И тут начинается. Белые у ворот. И поскольку ты черен, как лебеди на пруду, надо придумать защиту. Цейтнот, цугцванг. И в знак уваженья к соседу сверху ты изобретаешь староиндийскую: ведь говорят, этот шахматный композитор немолод. И ничего, что, по более точным сведениям, он скорее был шашечным композитором, а по сведениям точным вполне — старым карточным шулером. Ничего, бывает: главное, что он был композитором в принципе, комбинатором в корне. И не за это ли ты прощал ему единственный недостаток его: недостаток присутствия в поле зрения, а вернее, хроническое отсутствие там, объективное небытие. Нет, все-таки не за это. А потому, что и ты был ущербен на свой манер: тебе не с чем было ходить к композитору: ты не имел соответствующих композиций. Что же касалось Скрябина в качестве не человека, а только фамилии человека, то тут не совпало. В том смысле, что ты не знал никого, кто носил бы такое имя. Не знал, но хотел бы. Стремился найти. Вел умозрительный поиск. Чаял. Отсутствие имени Скрябин в твоем кругозоре указывало на его присутствие вне. И поскольку жизнь, как ни бейся, а все — театр, имя это могло быть значащим. Словно у Грибоедова. Вполне вероятно, что драма творится не далее как на Моховой, и вся ирония драматурга пошла на то, что фамилию

композитора носит консерваторский дворник. Покладист, с окладистой бородой, с неплохим окладом, он регулярно счищает наледь и с тротуаров, и с мостовой. Слегка вечереет. Скребешь — вопросительный знак — окликает работника созерцательный персонаж, вольноопределяющийся неудачник из скрипачей. Скребу, соглашается дворник. И вежливо добавляет: скребком-с. Что ж, скреби, говорит скрипач, зря ты, что ли, у нас тут Скрябин. И, вскрыв футляр, изымает скрипку. Настраивает. Отчетливо вечереет. Занавес. Полный успех. Одевшись, зритель покидает фойе и выходит на Моховую, мохнатую, всю в мехах. Вечер подан. Сюжет развивается окончательно. На фоне Чайковского дворник с бляхою на груди: дворник Скрябин — скребет тротуар, а изгнанный из заведенья скрипач-неудачник увечит Поэму Экстаза. А если все это и не так, думал ты, если фамилию Скрябин не носит даже консерваторский дворник, то вот уже наступили дни, когда появился некто по имени Оскар Рабин, и это созвучие можно было употребить взамен, тем паче что Рабин тоже: селился в дачных местах; тоже уехал потом в Европу; тоже надолго, и равным же образом имел отношенье к искусствам. Он был художник, и все говорили друг другу: вы видели его Лианозовские Бараки. Вопрос. А Сельдь-на-Газете. Вопрос. Как выпукло. Экий глаз. Он создал целое направленье. А между тем — пропитания ради — Рабин тоже работал то ли скребком, то ли сторожем. Много было их по России, платоновых, рабиных: сторожили, скребли. И ими — ими ведь тоже — стихия всего измеренья проникласъ, стихия эпохи. И ты. Ты проникся — откликнулся — ты поддался — предался Орфею, гармонии. Ты заиграл взахлеб. И много случилось других совпадений. Ибо игра в любимого лирика — разве она могла бы без них продолжаться. Пустое. И чтобы не ждать подачек от Мойры, тебе приходилось заботиться о совпадениях самому, но, естественно, так: чтоб твое участие было не слишком заметно, в первую голову — зренью ума твоего, называемому умозреньем. Иначе ты получил бы все основания обвинить себя в определенной нечестности, пусть и не ясно, по отношению к кому. Пусть неясно, ибо

нечестность — подобно честности — может быть и безадресной, безотносительной, без. Ибо этого права отнять у нее невозможно. Тем паче, что заниматься такими вещами решительно некому. Как бы то ни было, дабы не огорчать умозрения, о совпадениях следовало заботиться, будто не замечая забот своих, глядя на них сквозь пальцы. Заботиться, но — сомнамбулически, невзначай, заботиться безотчетно. И вместе с тем — вкрадчиво, тайновидно. Причем подобная тактика сочеталась со стратегией быть, но не быть — лучшим образом. Сочеталась и сослагалась. И несколько безотчетно — без — потек ты однажды в Марбург. И прибыл. И у подножья горы, на которой по-прежнему мшели: ратуша, замок, университет — заломил в подражание Ломоносову и учителю голову. Заломил и тем самым отпраздновал два юбилея — в кавычках: чужих шейных мышц. Речь кстати и честно, сей жест в описании лирика показался чрезмерным. Он будто бы спутал марбургские крутизны с крутизнами Зурбагана. Сугубости свойственны странникам. Из аналогий достаточно вспомнить какую-нибудь гиперболу Миллера Генри, порнографа. Например, по его словам, пролив между Поросом и Галатами столь неширок, а дома на набережных стоят столь близко к воде, что носы любопытствующих домоседов едва не касаются рей проходящего судна. Но будет о Греции: вива Гессен. Восклик. Мысля сомнамбулически, идеально, в Марбурге следовало отыскать того кельнера, что накануне переоценки всех ценностей дружен был со всеми философами. И когда в разгар испытаний к поэту пожаловал младший брат, ловко спас положенье, привадив последнего к выпивке и бильярду. Однако выяснилось, что, уйдя на Первую мировую, кельнер не возвратился ни с Первой, ни со Второй. А впрочем, в университетской таверне по-прежнему упражнялся брат, но только уже не поэтов, а кельнеров, и не младший, а старший. И тем старше он выглядел, чем более пил, и поэтому к вечеру, когда ты зашел туда поболтать на обрывках наречий, сем лаконическом эсперанто невежд, брат кельнера, тоже кельнер, смотрелся Мафусаилом и живо помнил кого изволите. Ломоносова так Ломоносова, Лютера — так его: заслуженный был

завсегдатай; случалось, заговорится с нечистым за полночь — не прогонишь; только потом его, кажется, застрелили, Мартина этого,— за морями. А Гриммы — чего с них возьмешь: братья как братья, как мы, как все, что тот брат, что этот. Брат кельнера помнил и русского лирика, правда, столь смутно, что стало пора по домам. И хотя не через Венецию — через Вену с ее склеротической ностальгией в желтых гамашах и розовых рединготах — отправился ты в пределы, где тебя помнили если не лица — так улицы, не филармония — так гармоника, не газоны — так горизонт, не обстоятельства — так пространства. Пространства, где вас ожидала известность — цитата — которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Цитату пресечь. Невольной украдкой — украдкой свидетеля по делам изумленья сограждан — ты возвратился в ваш общий город и жил в нем почти безотчетно — по образу усыпительной жизни в разливе. И, следуя по стопам поэта, почти невзначай, стал студент, зачастил в те же самые аудитории знаний и коридоры чувств. И заездил в концертные залы, в музеи, еще — на катки. И, в сущности, вовсе не нарочито — спонтанно — пил горечь сентябрьского неба и тубероз, клейковину слякоти, кровоподтеки зорь, синей — нет, лучше — лиловой каплей вис на пере у Творца, а в качестве пассажира пик вис на поручнях транспортных средств, постигая всю прелесть пролеток, зубря расписания поездов или графики их движенья по различным веткам, Камышинской в том числе. И следил за движением гроз, низложением любовался зим и влюблялся. Любил приблизительно тех же — во всяком случае с точки зрения близорукости — по крайности точно с такими же именами — женщин. И будто бы невзначай — бездумно — стелил им на траву плащ. А они — точно так же — бездумно — сомнамбулически, будто б как осень — лист, все роняли наряды. И ты загорался и гаснул, горел и мыслил стихами. И все это ненароком и безотчетно, без. И что было нужды, что в замшевой консерватории замшелые скрипки карябали слух не волшебней скребков; что, кипя приобщиться к Шуберту, ты по рассеянности прикипел к оперетте

и, грешным делом, увлекся другим, правда, тоже ведь австровенгром, и то и знай напевал его искрометное: Сильва, давай блинов с огня. А что было нужды, что симпатии однокашников распределялись не между Бергсоном, Шпете и Трубецким, а между тремя столовыми: у Никитских, против дома Румянцева и той, что в подвале исторического факультета, называемом обыкновенно трубой, а напоминающем морг. И не стоило горевать, что в которую и в какой прострации ни взойди — серебро приборов в засаленности своей глядело каким-то немилосердным оловом: тускло, в самую душу; образование продолжалось. Аналогичным взглядом взглянуть из окна Зоологической аудитории. Дать очерк погодных кондиций. Шаржировать профессуру. Представить декамерон общежития в натуральный размах. И не так уж и важно, нисколько не страшно, что встреченный на катке матрос — клеши-ленточки, эники-беники, пили-на-брудершафт — вышел, в общем-то, не таким, как следовало по мастеру, ибо не было в нем самом ни черта романтического, ни единой звездной черты — чистосердечная низость, цинизм, дно. И то не морское: ибо служил не на флоте и даже не на флотилии, а являлся матросом-спасателем, тут, на дачном пруду, был вылавливатель утопленников, ловец русалок, блюститель, мол, вод стоячих и сточных, алкоголический человек причала. Но все это летом, а зимами — просто так, не у дел, пьян — и баста, принял — и на коньки. Наконец, не имело значения, что матрос вышел и вправду маленький, как из считалки. Он походил на сюрреалиста Ива Та́нги с дагеротипии двадцать парижского года: мятежный гений в детской матроске, мудреный карлик, но не с большой, а с пугающе небольшой головой. Итого: не имело — не стоило — не было нужды — и ничего — и неважно. Так как, откликнувшись и поддавшись, нельзя то и дело оглядываться на отдельные нелады, недочеты, зацикливаться на них. Потому что бессмысленно. Так как ежели требуется достичь вдохновения, то бишь горения в полную силу, то надобно делать это не обинуясь, не плача по мелочам и не пробуя обмануть Фортуну. Во-первых, не выйдет. А во-вторых, сплошное везенье — удача, идущая кося-

ком, без помарок, едва ли не мерзопакостна. Не напрасно учитель настаивал, что успех — не цель. Цель скорее утрата, отдача, возможно, даже падение, низвержение в грязь. Блаженен, кто пил до дна чашу дней своих черных и бед. Пил и радовался. Тем паче что в целом-то обстоятельства складывались вполне терпимо. И достигая — Бог ведал, какой ценой,— неординарности ощущений, порывов, снов, а попутно и вдохновенья, ты постепенно входил в заветную роль, а войдя, начал в ней быть, пребывать, стал, насколько умел судить, поэтом. Хотя, насколько великим — судить не умел, точно так же как был совершенно не в состоянии различить, где победа, а где неуспех. И думалось: что это: трепетность — робость — сорт аберрации — куриная слепота души. Знак вопроса. А может, то самое: самое драгоценное свойство ее, без которого поэт умирает и предается прозе, а вундеркинд моментально тупеет. Иными словами: не озаренность ли это. Знак, напоминающий крюк. Однако и это неясно. Но что бы то ни было, образ жизни, достойный ученика такого учителя, был заведен и велся. Он в принципе вышеописан. Штрихами. Осталось лишь подчеркнуть, что его отличала сугубая, особая патетичность поступков и жестов, увеселений и творческих планов, разлук и встреч. И — личная окрыленность. И замыкая сюжетный круг, нужно вспомнить, что внутреннее озарение, положившее ей предел, постигло тебя в результате одной из. Продолжи: одной из встреч. Конкретней: встреч с кругом прилежных и записных. Срочно требуется признанье. Чистосердечно: встреч с кругом, к которому ты украдкой, келейно, прячась от взоров Музы и собственных устыжаясь фраз — почему-то — наверное, в силу слабости — принадлежал. Прискорбно: ты был сотрудником борзописцев. И то и дело — нет, нет, свеча ни при чем — деловые встречи происходили средь бела дня — то и дело перо поэта — образно речь — обмакивалось в общие с ними чернила, а галстуки — в общие щи. А сходки во имя безделья случались по вечерам. Кто знает, не оттого ли они называются вечеринками, раздумывал ты, когда течение сей основательной мысли прервано было какими-то криками. Ты прислушался. Шел спор о

времени, напоминавший бой. И тогда, сознавая, что все это уж с тобою случалось, ты принял участье. И времени противоположил искусство и вечность и, в частности, вечность искусства, оставив в резерве искусство вечности и другие божественные ремесла. Успешно развив основные фигуры речи, ты вскорости ощутил недостаток цитат и в поисках таковых ретировался в библиотечные сумерки: лампы пере-, а свечи вы-, объяснил служитель. Не страшно, ему отвечал ты. И обратившись к учителю, озарился весь скромностью строк его, строк и строф, не осознанной прежде. Ты озарился внезапно, спонтанно, почти что не отдавая себе отчета в том, что восточнее Чечжудо подобное состояние называют са́тори, ударенье на **а**, а фонарщики Фландрии шутят: фонарщику: фонарей. И читал. И читая, определил, что погиб, ибо случилось нижеизложенное. Играл заветную роль, роль самого озаренного, ты играл ее беззаветно, без, всеми бликами. Не брани же себя, между прочим, за это арго, дай волю голубке, горлице речи твоей картавой. Воркуй. Восклик. Ты играл, говорит, всеми гранями, до зари, фонаре́я на полное са́тори. Было ярко, но, к сожалению, ты заигрался, офонаре́л, впал в путаницу. Ты озарился вплоть до того, что перестал отличать не только победу от поражения, но и себя от учителя, а участь его — от своей. И не различал биографий ваших. Ты преступил запретную грань. И вместо того, чтобы быть им, оставаясь собой, быть не будучи, следовать за ним, но собственною дорогой,— пробовал быть им единственно. Ты забыл о себе, о своем, и спустя невозвратную сумму зим обернулся кем-то безличным — напрасным никем — и за вычетом кошек да лис никому не понятным. Ведь: было бы что понимать: ведь случилось и нечто худшее, самого кульминационного толка. Мало того, что ты оказался путаником и перепутал все перечисленное; ты оказался к тому же забывчив. Ты помнишь Знак в форме крюка. Поэзия самого озаренного лирика вдохновляла тебя регулярно, однако твое вдохновение не находило выхода, не достигало итога. Оно все бродило в тебе в чистом виде, в виде неких абстракций: разрозненных ритмов и звуков, идей и просодий, но переложить их на язык языка — все как-то

недоставало времени. Ибо ведь если время непрезентабельно, фельетонно, ничтожно, его как бы нет. Или есть, но ничтожно мало. И никакое там нетерпенье беде не поможет, гори не гори. Но было известно, что близится время другое, и в ожиданьи его ты строчил фельетоны, ел щи и копил в голове вдохновенные заготовки, планируя переложить их, как только. Но все твои упования и озаренья пошли вдруг прахом. Озарясь в полумгле библиотеки ясным сатори, ты увидел, что перекладывать чуть ли не нечего, потому что почти что все заготовки выветрились из памяти вон, а те, что каким-то образом в ней сохранились,— ни изложению, ни переложению не подлежат, так как излишне абстрактны. Недаром птица-библиотекарь, которое тысячелетье дремавшая в соседнем вольере, прокаркала раздраженно: какие абстрактные заготовки. Ибо она была вещей и видела сон о твоем озаренье. Тем лучше. Типичная кульминация. И — опять же — прием повтора: немало смятен и, пытаясь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе суть случившегося, ты изнуряешь язык твой словами уныния. Перебираешь их гроздь. Снаряжаешь рой. Ты молвишь: напрасен — никчемен — нечаян. Ты шепчешь: ненужен — негоден — невзыскан. И добавляешь: ненадобен — невостребован — непотребен. И дабы немного украсить этот невзрачный ряд, приплюсовываешь французистое: мизерабелен. Говоря фигурально, как и положено на театре,— кавычки открыть,— Гул затих. Я вышел на подмостки,— закрыть. Хотелось творческой паузы. Желалось милого забытья, милосердия. Как дышал ты вечор в ухо Участи, теребя ее на предмет приязни, так ныне дышит тебе в лицо свидетель крушения: зритель. Он дышит как стая. Как свора. Он черств и категоричен. Он мудр категориями буфета, семейного очага, конституций и примерно с такой же энергией, как поэт экстаза добивался свидания с неким графом,— дескать, пустите, пустите, мне надо его повидать,— зритель требует твоего финального монолога. Произнеси же его, оправдайся, найди себе в нем утешенье. Скажи о том, что если весь век сей пронизан эмоциями твоего кумира, то это не значит, что жизнь — каково б ни случилось

ее отношенье к искусствам — сестра лишь ему, поэту; нет, нет, образ близкий, ближайший, она сестра и тебе. И нисколько не обязательно что-то творить, сочинять; достаточно просто жить и свидетельствовать, как сочиняет кто-то другой. Жить и быть его вдохновенным ценителем. Жить и знать, что у вас бездна общего, в частности, вечность и речь. И разве в этом одном нет известного рода величия. Хоть небольшого. И разве, играя в озаренного лирика, ты не вырос в ту самую — в ту, мечтаемую,— сотню раз. И не твоя ли душа озарениями его озарена стала. Твоя. И встав, ты выходишь из библиотечной тьмы на свет коридора и лестниц. Лестниц и улиц. И делается превосходно видно, что ты один, и что все вокруг утопает в сплошном фарисействе, и вытерпеть бытие — несмотря на его неказистость,— не поле, мол, перейти. И хотя, пролистав поэтовы книги, ты изрядно пополнил запас цитат, становится почему-то ясно: как тот сокамерник не пришел докурить чинарь, так — хотя по иной причине — ты уже не вернешься в круг борзописцев. Так. Ни в чуждые их пиры, ни в акакиевские кабинеты. Наверное, это становится ясно по жестам. Так. Ведь именно в них трепетала известная безвозвратность. Не так ли. Особенно в тех, каковыми ты на ходу развязал себе галстук. Так: в значении никогда. Развязка. Знак озаренья.

КОНСПЕКТ *

Выступление по поводу вручения Пушкинской премии

Когда меня спрашивают, отчего я все не пишу для театра, я возражаю в том смысле, что рад бы, но Мельпомена со мной неулыбчива, холодна, и что я драматург лищь постольку, поскольку улавливаю подчас — как бы это отчетливее — да вы не тушуйтесь, бодритесь, советую, кстати, увлечься подвижным образом жизни, дви-

* Речь, сказанная 26 мая 1996 г.

женьем, а главное: не берите в голову, полагайте, что это особый тип абсолютного слуха — улавливаю чьи-то беседы, беседующие, в сущности, голоса, и по их мотивам, мотивам то есть этих бесед, сочиняю скетчи, страницы в две-три, не больше, причем исключительно для себя, ни о какой постановке их не приходится и говорить, они слишком поверхностны, легковесны, что и понятно, ибо не таковы ли образчики, лишь однажды я уловил разговор, из которого получилась пьеса, хотя бы чего-то, пожалуй, стоящая, если выразиться в манере афиш, это пьеса для определенного числа человеческих голосов, свидетельствующих о судьбе кого-то не слишком уравновешенного, мятущегося, склонного к перемене мест и к побегу в вольнолюбивую лирику, да не цыган ли он, спрашивается, вероятно, отчасти, по крайней мере, в душе, как, быть может, любой настоящий русский, у коего Соколовская та гитара в ушах как звенела, так и звенит, и ниже: нет, что там ни говорите, а скушно на этом свете нам без хорошей цыганщины, дамы и господа, особенно без романсов, особенно без жестоких, а знаете, между прочим, какой из них дорог вольнолюбивому лирику более, нежели все остальные вкупе, не приложу ума, назовите, романс о печальной участи хризантем, о кусте их, что поначалу расцвел, а после, когда в саду наступила полная осень, отцвел и увял, что увы, то увы, но по какой же причине лирик столь ценит именно эту вещь, дело в том, что она для него род семейной реликвии, музыкальная память о бабушке, та, надо заметить, была записная аристократка духа: читала немецкую философию, британскую энциклопедию, несколько фехтовала, курила, играла на скачках, водила знакомства с модными беллетристами, критиками, поэтами, с пушкинистами наезжала все в Ясную, с футуристами — в Яр, а танцевала, а пела, а что касается внешности, то извольте не беспокоиться, в свой момент она была просто прелестна, вернее, не просто, а словно бы невзначай, и мужчины в нее влюблялись безотлагательно, но — напрасно, ибо взаимностью если и отвечала, то не иначе как мельком, хоть плачь, юная бабушка, кто целовал губы твои бабэоби, когда покинутый тобой гитарист все

бродил аллеями городского сада и складывал свою лебединую, если не ошибаюсь, песню, с тем, чтобы спеть ее тебе на прощанье и посвятить, и невольные слезы катились и капали на увядший тот куст хризантем, ах, как жестоко третировала ты не милого более трубадура, но зато какой жестокий романс сочинился в этой связи, мыслит лирик, взрослея, откуда вы знаете, что он мыслит именно так, из его собственных рассуждений ранней поры, как письменных, так и устных, короче сказать, он гордится бабушкой, и бабушкой он гордится другой, той, что тихо жила за сибирскими синими реками и в ожидании мужа сибирские же лепила пельмени, сибирские поливала розы, сибирского поглаживала кота и все выходила к насыпи погадать: едет-не едет, едет-не едет, и дедушкой-машинистом, который был долгожданный тот муж и все ехал и ехал, все вел свои транссибирские скорые, им гордится он тоже, и дедушкой-оружейных-дел-мастером, что все занят был отливанием тульских пуль, из коих одна, вероятно, и разлучила с землею того гитариста, жаль, право, что все так нелепо закончилось, жаль, но вольному воля, и несколько ниже: но будет о родственниках, поговорим о друзьях, сколь дороги ему те, с которыми вместе в юности жить и чувствовать он спешил, столь, что при мысли, как именно все это было, он делается отстранен и мечтателен, и он не забудет их, разумеется, никогда, примите его уверения, и ни за что, и приблизительно то же можно сказать о городе, где все это происходило, и о деревне, где написал он первую настоящую вещь свою и се: стал прозаик, и о реке, на берегу которой стоит та деревня, и о равнине, по которой течет та река: не забудет, однако же никакая привязанность, никакая приязнь, ни даже почтение к дыму отечества — даже оно — вольнолюбия в нем не превыше, и — пауза — почему вы остановились, мне хочется, чтобы вы уловили всю важность происходящего, продолжайте, мы уже уловили — и в некий ненастный день поздней молодости он из отечества уезжает, вообразите, ну, вот и уехал, ибо почувствовал, что пора жить в свободном — нет-нет, падение было бы тут не совсем уместно, оно ведь нередко смотрится не особенно эсте-

тично и зачастую заканчивается вполне плачевно — в свободном пора, брат, пора жить в движенье, в свободном и вечном, великому мельнику из Виннервальда подобно, и колеся по свету, стать героем пространства, ибо какого еще там времени, собственно говоря, а не героем, так просто студентом стать факультета скитаний вечным, и все сочинять, все мыслить, но только не слишком бедным студентом, Господи, если можно, ибо бедность лишает скитания всякой прелести, истинно Тебе говорю, и поступал по задуманному, поступал, пока на путях своих не утомился душой, не соскучился по домашним романсам, по старым приятелям, и в намеренье возвратиться является на вокзал, покупает билет, но, буквально за минуту до отправления, мысль его начинает метаться, он впадает в полную нерешительность: ехать ли, стоит ли, и в этот момент повествование обрывается: голоса почему-то пропали, и поскольку вновь не возникли, постольку пьеса моя не завершена, но ничего, успокаиваю я себя, ничего, когда Мельпомена мне наконец улыбнется, я сам домыслю судьбу героя, домыслю и доиграю, воображения театр, смотри — да прозреешь, да воспаришь, доиграю и допишу текст пьесы, конспект же дописывать вряд ли стоит, мне кажется, незавершенность тут более к месту, чем завершенность, в надежде, что здесь я не ошибаюсь, осмеливаюсь посвятить эту во многом автобиографическую вещь всем тем, кто, прочтя мои книги, поверили в вашего покорного слугу как в писателя и произвели его в ранг пушкинского лауреата, и тем, кто верили в меня с тех пор, когда я еще ничего не опубликовал и никуда пока не уехал, друзья мои, друзья словесности русской, милостивые государыни и государи, ваше внимание и поддержка мне несказанно дороги, я благодарю вас.

КРЕМЛЕВСКИЙ ХРОНИСТ

Роман Саши Соколова «Палисандрия» является своего рода семейной хроникой новой европейской и советской мифологии. Роман этот столь богат мифологическими и метафорическими связями, что сколько-нибудь добросовестное комментирование его представляло бы собой чрезвычайно трудоемкую задачу, если бы она не была отчасти уже выполнена самим автором, поскольку роман является также своего рода автокомментарием. Как и в мифологии греческой, все враждующие боги новой истории оказываются у Соколова близкими родственниками. Герой романа Палисандр (чье имя отсылает нас как к имени самого писателя — Александр, так и к Александрии с ее эклектизмом, но только еще более усиленным — «ПолиСандрия», а также к благородному дереву палисандру — символу аристократической традиции) — есть в сущности художник, творец, заброшенный в пространство постистории, в котором творчество становится более невозможным.

В начале романа время останавливается, ибо на часах кремлевской башни вешается родственник и попечитель героя — глава НКВД Лаврентий Берия — символ сталинского террора. Остановка времени совпадает, таким образом, с крушением сталинского тоталитарного проекта. Характерно также, что госбезопасность (агентом которой является и сам герой) обозначается как «орден часовщиков». Миф о всевидящей и тайно руководящей жизнью госбезопасности оказывается новым вариантом мифа о роке, о Божественном Провидении. Смерть этого мифа означает наступление безвременья. Сталинский кремлевский мир, в котором вырастает герой, описывается им как рай. Но это не рай доисторического времени, а рай истории, в котором все исторические фигуры интимно связаны кровным родством: историческая хроника становится семейной в сознании историка-художника. Поэтому изгнание из рая, постигающее героя, происходит как изгнание не в историю, а из истории — в утрату исторической памяти, в повседневность, в которой исторические герои теряют свою вечную юность.

Характерно, что, хотя Палисандр состоит в родстве или тесном личном знакомстве со всеми исторически значительными фигурами Нового времени — будь то кремлевские властители или

властители западных дум, — он не помнит своих родителей. Как в платоновской утопии, в идеальном сталинском государстве человек во всех узнает своих родителей, но в то же время не знает их. Поэтому Палисандр обращает свою страсть исключительно к старухам, заменяющим ему мать. Нарушение эдипова запрета как по отношению к своей собственной семье, так и по отношению к государству — Палисандр, в частности, соблазняет жену Брежнева Викторию, — означает отрицание времени, наступление постисторического утопического существования, в котором зачатие более невозможно, мать неузнаваема, райская свобода желания абсолютна. Изгнание из рая, совпадающее у героя с эмиграцией на Запад, вызывается проектом, подсказанным ему госбезопасностью (лично Андроповым),— восстановить связь времен путем встречи с эмигрировавшей старой русской культурой, которая обещает «увнучить» героя, заменить ему, обращением к еще более отдаленному прошлому, утраченного после смерти Сталина отца и утраченное государство с тем, чтобы вновь пустить в ход время, историю.

Изгнание героя описывается в терминах, отсылающих, в свою очередь, ко всем мифам современной культуры. По Фрейду, герой в изгнании впервые смотрится в зеркало, по Юнгу — он открывает в себе гермафродитизм, по Марксу — оказывается отчужденным в капиталистическом западном обществе и т. д. «Увнучение» оказывается невозможным в эмиграции — живущей в том же мире после истории, в мире «дежа-вю», — но все же герой выполняет свою миссию. Пройдя через негативное, через отчуждение, через ад, он достигает мифической цельности и овладевает всеми секретами успеха: полупреступными махинациями зарабатывает колоссальные деньги, удостаивается всех Нобелевских премий (вечная мечта русского писателя-диссидента) и в конце концов получает предложение править в России, куда и отправляется, везя с собой из потустороннего (западного) мира гробы всех русских, похороненных вне родной земли. Однако победа его в конечном счете оборачивается поражением: хотя ход времени и возобновляется, но только — на бесконечном числе циферблатов, каждый из которых показывает собственное время.

Таким образом, сталинская культура предстает у Соколова как исторический рай, как породнение всего исторического в едином мифе. Крах этой культуры в то же время означает и окончательное поражение истории. Герой реализует все рецепты современной культуры, долженствующие вернуть ему утраченную целостность: через эмиграцию в русское прошлое, через психоаналитические мифы о либидо, об аниме, через обращение к запретному, к вытесненному, к репрессированному в политическом и эротическом отношении, он стремится вновь вернуться в историю, своими силами, как Гамлет, восстановить разрушенную связь времен, расширить, «ремифологизировать», а не «демифологизировать» миф, чтобы вновь сделать нарратив возможным.

Но внутреннее единство исторического мифа оказывается недостижимым так же, как и утопия выхода за историю.

Для Соколова — и в этом сказывается его происхождение из культуры социалистического реализма — идеологии нашего времени, такие как марксизм, фрейдизм, юнгианство, структурализм, являются не метадискурсами, не интерпретационными схемами для понимания литературного повествования, которые литература должна принять или отвергнуть, а как раз литературными нарративами par excellence, подлинными сюжетными схемами нашей эпохи. И если идеологии эти выступают на метауровне как конкуренты, то на уровне нарратива они обнаруживают глубокое единство, роднящее их со всеми повествованиями всех времен и народов. Поэтому они не вступают у Соколова в диалог, не противостоят друг другу, не смешиваются «карнавально» и т. д., но мирно разыгрывают свои семейные игры, подмигивая друг другу и радуясь на свое семейное сходство. Будучи полиморфным, мир Соколова не плюралистичен, ибо представление о плюрализме предполагает несопоставимость различных «точек зрения», «дискурсов», «идеологий» и т. п. Между ними предполагаются только внешние отношения «рациональной дискуссии» или иррациональной власти. Претензия же объединить эти «индивидуальные перспективы» немедленно обвиняется поклонниками «другости другого» и его «нередуцируемости» в некоем тоталитаризме, гегемонизме, воли к власти. Как и многие другие современные русские авторы, Соколов демонстрирует, что идеологический плюрализм нашего времени сам по себе иллюзорен, является идеологической конструкцией. Если современные «теории» и противоречат друг другу или, даже точнее, оказываются несоизмеримыми друг с другом, то их нарративы обнаруживают тем самым большее сходство, так что один и тот же сюжет оказывается историей художника, обретающего женскую сторону своей души, наемного рабочего в условиях отчуждения, агента госбезопасности во враждебном окружении, диссидента, ищущего истины за рубежами советского мира, и т. д. Все они свершают один и тот же ритуал индивидуации путем выхода за пределы «имеющегося», «принятого», «традиционного», «заданного» и т. п., обретают путем этого выхода новую истину и провозглашают ее человечеству. Осознание этого ритуала и есть осознание неизбежности истории, исторического нарратива. Его нельзя преодолеть ни единовременным, окончательным выходом за пределы исторического в пространство внеисторической истины, ни безвременьем плюрализма: «историческая история» и состоит в истории попыток преодоления истории.

Борис Гройс

СОДЕРЖАНИЕ

ПАЛИСАНДРИЯ

ЭССЕ. ВЫСТУПЛЕНИЯ

Соколов Саша

С 59 Палисандрия: Роман. Эссе. Выступления. — СПб.: «Симпозиум», 1999. — 432 стр.

ISBN 5-89091-091-4

Небольшое по объему творчество Саши Соколова (р. 1943) — значительное (без преувеличения) и загадочное явление русского языка и литературы последней четверти XX века. Мифотворец и эксцентрик, постмодернист и новый классик, блестящий стилист и тонкий психолог, Саша Соколов — один из немногих, кто, смело переосмысливая лучшие традиции классики, возвращает русской литературе современное и всемирное звучание.

Настоящий том впервые изданного в России собрания сочинений, признанных писателем, включает в себя нашумевший роман «Палисандрия», определяемый как «Лолита»-наоборот, экстравагантное осмысление политико-экономической обстановки брежневской эпохи, а также эссе и выступления, выражающие взгляд писателя на творчество и современный литературный процесс.

Все произведения заново отредактированы автором.

САША СОКОЛОВ

Палисандрия

Эссе. Выступления

Редакторы *Т. В. Суворова, М. В. Козикова*
Художественный редактор *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *О. П. Романова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 10.
Тел./факс +7 (812) 319-93-82. E-mail: symposium@neva.spb.ru
ЛР № 066158 от 02.11.98.

Подписано в печать 17.08.99. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура Школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1249.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"SYMPOSIUM"